

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

С. ЛЕМ

НАВИГАТОР ПИРКС

ГОЛОС НЕБА

З
А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Я

Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
К
А



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«МИР»



Станислав Лем

НАВИГАТОР ПИРКС

ГОЛОС НЕБА

Перевод с польского

Послесловие З. Файнбурга

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» МОСКВА 1971

И (Пол)

Л 44

Лем Станислав

Л 44 Навигатор Пиркс. Голос Неба. Пер. с польск.
Послесл. З. Файнбурга. М., «Мир», 1970.
592 с. (Зарубежная фантастика)

В очередной авторский сборник видного польского фантаста Станислава Лема, выпускаемый издательством «Мир», входят цикл рассказов о Пирксе и новый роман «Голос Неба», посвященный проблеме контактов с инопланетными цивилизациями.

Инд. 7-3-4

15-70

И (Пол)

*Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы*

ИСПЫТАНИЕ

— Курсант Пиркс!

Голос Ослиной Лужайки вернул его к действительности. Пиркс как раз представил себе, что в карманчике его старых штатских брюк, на дне шкафа, лежит монета в две кроны. Серебряная, звенящая, забытая. Еще минуту назад он знал наверняка, что ничего там нет — самое большее старая почтовая квитанция, — но теперь начал убеждать себя, что монета существует, и к моменту, когда Ослиная Лужайка назвал его имя, окончательно в этом убедился. Можно сказать, он отчетливо ощущал ее округлость и видел, как она приютилась в карманчике. Он мог бы пойти в кино, и у него еще останется полкроны. А если пойти только на хронику, так останется полторы, из них одну крону он отложил бы, а остальных хватило бы для игры на автоматах. Если б автомат заело, он начал бы без конца сыпать мелочь — прямо в раскрытую ладонь, и Пиркс едва поспевал бы рассовывать ее по карманам и снова подставлять руку... ведь случилось же такое со Смигой! Пиркс уже сгивался под тяжестью неожиданно свалившегося богатства, когда голос Ослиной Лужайки развеял его мечты.

Преподаватель обычным жестом заложил руки за спину и, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, задал вопрос:

— Что вы сделали бы, встретив во время патрульной службы корабль с чужой планеты?

Курсант Пиркс открыл рот, будто пытаясь вытолкнуть находившийся там ответ. Он выглядел как человек, меньше всех на свете знающий, что следует делать, встретив корабль с чужой планеты.

— Я приблизился бы... — сказал он глухим, странно огрубевшим голосом.

Курс замер. Все учуяли, что предстоит нечто менее скучное, чем лекция.

— Очень хорошо,— отеческим тоном сказал Ослиная Лужайка.— И что же дальше?

— Застопорил бы...— выпалил курсант Пиркс, чувствуя, что уже давно перешагнул рубеж своих познаний. Он лихорадочно отыскивал в опустевшей голове какие-нибудь подходящие параграфы из «Поведения в космосе». Ему казалось, что он никогда в жизни не видел этой книги. Пиркс скромно потупился и тут заметил, что Смига что-то говорит в его сторону — одними губами. Прежде чем смысл подсказки дошел до его сознания, он громко повторил:

— Я бы им представился.

Весь курс взревел как один человек. Ослиная Лужайка секунду сдерживался, потом тоже расхохотался. Однако серьезность быстро вернулась к нему.

— Завтра явитесь ко мне с бортовым журналом... Курсант Бёрст!

Пиркс уселся так, словно стул был из расплавленного, еще не совсем остывшего стекла. Он даже не особенно обиделся на Смигу — такой уж он был, этот Смига, не мог пропустить удобного случая. Пиркс не слышал ни слова из того, что говорил Бёрст,— тот рисовал на доске кривые, а Ослиная Лужайка по своему обыкновению приглушал ответы электронного вычислителя, так что отвечающий в конце концов запутывался в вычислениях. Устав разрешал прибегать к помощи вычислителя, но Ослиная Лужайка придерживался в данном случае собственной теории: «Вычислитель — тоже человек,— говорил он,— и может испортиться». Пиркс не обиделся и на Ослиную Лужайку. Он вообще ни на кого не обижался. Почти никогда. Через пять минут он уже воображал, как стоит перед магазином на улице Дайергоффа и смотрит на выставленные в витрине газовые пистолеты, из которых можно стрелять холостыми зарядами, пулевыми либо газовыми — целый

комплект с сотней патронов за шесть крон. Конечно, и на улице Дайергоффа он был только в мечтах.

После звонка курсанты покинули зал — без крика и топота, как первый или второй курс, они ведь не дети! Добрая половина курса направилась в столовую — в это время там нечего есть, зато можно встретить новую кельнершу. Говорят, хорошенькая. Пиркс медленно шел мимо стеклянных шкафов, битком набитых звездными глобусами, и с каждым шагом все больше терял надежду найти в карманчике две кроны. На последней ступеньке он понял, что монеты там никогда не было.

У ворот стояли Бёрст, Смига и Пайартц, с которым Пиркс полгода сидел за одним столом на лекциях по космодезии. Пайартц замазал черной тушью все звезды в атласе Пиркса.

— Завтра у тебя пробный полет,— сказал Бёрст, когда Пиркс проходил мимо.

— Порядок,— флегматично ответил он. Его не так-то легко разыграть.

— Не веришь — прочти! — Бёрст стукнул пальцем по стеклу доски приказов.

Пиркс хотел пройти дальше, но голова сама повернулась. В списке стояли только три фамилии. Черным по белому на самом верху значилось: «Курсант Пиркс».

У него потемнело в глазах.

Потом он услышал издали свой голос:

— Ну и что? Я же сказал — порядок!

Он прошел мимо них и зашагал по аллее между клумбами. В этом году тут была масса незабудок, хитроумно расположенных так, что получалась приземляющаяся ракета. Лютики изображали пламя выхлопа, но они уже отцвели. Пиркс не видел ни клумб, ни дорожки, ни незабудок, ни Ослиной Лужайки, который торопливо вышел из бокового крыла института. В воротах Пиркс едва не нале-

тел на преподавателя и отсалютовал прямо у него под носом.

— А, Пиркс! — сказал Ослиная Лужайка. — Вы завтра летите? Счастливого старта! Может, вам удастся встретить тех — с других планет.

Интернат находился в парке, на противоположной стороне, за большими плакучими ивами. Он стоял на берегу пруда, а боковое крыло высилось над самой водой, поддерживаемое каменными колоннами. Кто-то распустил слух, будто эти колонны привезены с Луны — чистейший вздор, но первокурсники со священным трепетом вырезали на них свои инициалы. Имя Пиркса тоже там было: он старательно выгравировал его четыре года назад.

Попав в свою комнату — она была такая маленькая, что Пиркс ни с кем ее не делил, — он долго размышлял, стоит ли открывать шкаф. Он точно помнил, где лежат старые брюки. Держать здесь гражданские вещи запрещалось — вот почему он их оставил; на самом-то деле никакого проку от брюк не было. Зажмурился, присел у шкафа, приоткрыл дверцу, просунул руку внутрь и нащупал карманчик. Конечно, как он и предполагал, карман был пуст.

Он стоял в еще не наполненном воздухом комбинезоне, на стальном помосте, под самым сводом ангара, цепляясь локтем за натянутый вместо перил трос, так как обе руки у него были заняты: в одной он держал бортовой журнал, а в другой — брик. Это была шпаргалка, которую одолжил ему Смига. Говорят, с ней летали все курсанты. Правда, было не ясно, каким образом она возвращалась: ведь после пробного полета курсанты покидали институт и отправлялись на север, на Базу, где начиналась зубрежка перед выпускными экзаменами. Но, как видно, она все-таки возвращалась, — может, ее сбрасывали на парашюте? Разумеется, это была только шутка.

Он стоял на пружинящем помосте над сорокаметровой пропастью и старался убить время размышлениями о том, будут ли его обыскивать, — к сожалению, это случалось. В пробные полеты курсанты брали с собой самые невероятные и строжайше запрещенные предметы — от плоских фляжек с водкой до жевательного табака и фотографий знакомых девушек. Не говоря уж, конечно, о шпаргалках. Пиркс долго искал место, где бы скрыть брик. Прятал раз пятнадцать — в сапог под пятку, между двумя носками, за голенище, во внутренний карман комбинезона, в маленький звездный атлас — такие атласы разрешалось брать с собой. Неплохо бы иметь футляр для очков, но, во-первых, тут подошел бы лишь огромный футляр, а во-вторых, Пиркс не носил очков. Несколько позже он сообразил, что если б носил очки, то его не приняли бы в институт.

Итак, он стоял на стальной доске, поджидая инструкторов и шефа, но все трое почему-то запаздывали, хотя старт назначили на девятнадцать сорок, а было уже девятнадцать двадцать семь. Он подумал, что, если б нашелся кусок лишнего пластыря, можно было бы прилепить брик под мышку. Говорят, так сделал маленький Джеркес, а когда инструктор дотронулся до него, он запищал, что боится щекотки, и все обошлось благополучно. Но Пиркс не походил на человека, боящегося щекотки. Он это знал и не питал никаких иллюзий. Он попросту держал шпаргалку в правой руке и, лишь когда сообразил, что придется здороваться со всеми тремя провожающими, переложил ее в левую руку, а бортовой журнал — из левой в правую. Манипулируя таким образом, он невольно раскачал стальной помост, и тот заколебался, как трамплин. Вдруг на той стороне послышались шаги. Пиркс не сразу увидел инструкторов: под сводом ангара было темно.

Все трое, как всегда, были одеты щеголевато, в мундирах, особенно шеф. А на нем, на курсанте Пирксе, был комбинезон, который и без надувки выглядел, словно це-

лых двадцать одеяний вратаря-регбиста, надетых одно на другое. К тому же с обеих сторон высокого ворота свисали длинные концы интеркома * и наружного радифона, у шеи болтался шланг с маховичком, ведущий к кислородному аппарату, на спину давил запасной резервуар; Пирксу было адски жарко в двойном предохраняющем от пота белье, а больше всего мешало приспособление, которое позволяло во время полета не выходить в случае нужды.

Вдруг весь помост начал подпрыгивать. Кто-то подходил сзади. Это был Бёрст в таком же комбинезоне. Он отсалютовал четким движением руки в огромной перчатке и остановился так, будто очень хотел столкнуть Пиркса вниз.

Когда инструкторы прошли вперед, Пиркс удивленно спросил:

— Ты тоже летишь? Ведь тебя не было в списке.

— Брендан заболел. Я лечу вместо него,— ответил Бёрст.

Пирксу на мгновение стало слегка не по себе. Это, в конце концов, был один-единственный шанс подняться хоть на миллиметр выше к недостижимым высотам, на которых пребывал Бёрст, казалось бы, не прилагавший для этого ни малейших усилий. Он был не только самым способным на курсе, что Пиркс относительно легко ему прощал, питая даже известное уважение к математическим способностям Бёрста с того дня, как стал свидетелем его мужественного состязания с вычислительной машиной — Бёрст замедлил темп лишь при извлечении корней четвертой степени; мало того, что родители его были состоятельными и ему вовсе не приходилось предаваться мечтам о монете в две кроны, заваливавшейся в кармане

* Интерком — внутренняя система связи на космических кораблях.— *Прим. ред.*

старых штанов, но он к тому же был прекрасным легкоатлетом, прыгал, как дьявол, отлично танцевал и — что уж там говорить! — был очень красив, чего никак не скажешь о Пирксе.

Они шли по длинному помосту между решетчатыми креплениями сводов, мимо выстроившихся рядами ракет, пока их не залило сияние, так как здесь свод был уже раздвинут на протяжении двухсот метров. Над огромными бетонированными воронками, которые втягивали и отводили пламя выхлопа, стояли рядом два конусообразных великана, во всяком случае в глазах Пиркса они были великанами; каждый из них имел сорок восемь метров в высоту и одиннадцать метров в диаметре у нижних ускоряющих двигателей.

К отвинченным люкам уже были перекинuty небольшие мостики, но проход загораживали установленные посредине свинцовые подставки с маленьким красным флажком на гибком флагштоке. Пиркс знал, что сам отставит в сторону этот флажок, когда на вопрос, готов ли он к выполнению задания, ответит утвердительно, и что сделает это первый раз в жизни. И вдруг он проникся уверенностью, что, когда будет отодвигать флажок, непременно зацепится за трос и растянется на помосте — такие вещи случались. А если с кем-нибудь такое бывало, то с ним уж *должно* случиться что-нибудь в этом роде — ведь ему всегда не везет. Преподаватели оценивали его иначе: он, мол, ротозей, растяпа и вечно думает о чем угодно, кроме того, о чем как раз и надлежит думать. Правда, Пирксу было гораздо легче действовать, чем говорить. Между его поступками и мыслями, облеченными в слова, зияла, может, и не пропасть... но, во всяком случае, было тут какое-то препятствие, мешающее ему жить. Преподаватели не знали, что Пиркс — мечтатель. Об этом никто не знал. Все полагали, что он вообще ни о чем не думает. А это было неверно.

Он скосил глаза и увидел, что Бёрст уже стал в предписанной позиции, на расстоянии одного шага от мостика, переброшенного к люку ракеты, вытянулся и прижал руки к еще не надутым резиновым бандажам комбинезона.

Пиркс подумал, что Бёрсту к лицу даже этот чудной костюм, будто скроенный из сотни футбольных мячей, и что комбинезон Бёрста действительно не надут, в то время как в его собственном оставалось немало воздуха, и потому так неловко ходить в нем — приходится широко расставлять ноги. Он попытался сдвинуть ноги как можно ближе, но каблуки никак не сходились. Почему у Бёрста они сошлись? Это было непонятно. Впрочем, не будь Бёрста, у Пиркса совсем вылетело бы из головы, что надо занять надлежащую позицию, спиной к ракете и лицом к трем людям в мундирах. Сначала они подошли к Бёрсту — допустим, потому, что его имя начиналось на «Б», но и это не было чистой случайностью, или, вернее, было случайностью опять-таки не в пользу Пиркса: ему вечно приходилось подолгу ждать, пока его вызовут, и он нервничал, ибо предпочитал, чтобы плохое приключалось сразу.

Он слышал с пятого на десятое, что говорили Бёрсту, а Бёрст, вытянувшись в струнку, отвечал быстро, так быстро, что Пиркс ничего не понял. Потом подошли к нему, и, когда шеф заговорил, Пиркс вдруг вспомнил, что ведь сегодня лететь должны были трое, а не двое, так куда же девался этот третий? К счастью, он услышал слова шефа и в последнюю минуту успел выпалить:

— Курсант Пиркс к полету готов!

— Мда... — произнес шеф. — И курсант Пиркс утверждает, что он здоров телом и душой... гм... в пределах своих возможностей?

Шеф любил украшать такими цветами красноречия стереотипные вопросы, и он мог себе это позволить, так как был шефом.

Пиркс ответил, что он здоров.

— На период выполнения полета произвожу вас, курсант Пиркс, в пилоты,— произнес шеф сакраментальную фразу и продолжал:

— Задание: стартовать вертикально, при половинной мощности ускорителей. Выйти на эллипс Б-68. На эллипсе сделать поправку на постоянную орбиту с временем обращения 4 часа 26 минут. Ждать на орбите два корабля непосредственной связи типа ИО-2. Предполагаемая зона радарного контакта — сектор III, спутник ПАЛ, с допускаемым отклонением до 6 угловых секунд. Установить радиотелефонную связь с целью согласования маневра. Маневр: сойти с постоянной орбиты по курсу 60 градусов 24 минуты северной широты, 115 градусов 3 минуты 11 секунд восточной долготы. Начальное ускорение 2,2 g. Конечное ускорение по истечении 83 минут — 0. Не выходить из радиуса действия радиотелефонной связи, пилотировать оба ИО-2 в строю по направлению к Луне, выйти на временную орбиту в ее экваториальной зоне согласно указаниям Луна — ПЕЛЕНГ, убедиться, что оба ведомые корабля находятся на орбите, а, сойдя с нее при ускорении, курсом, взятым по собственному усмотрению, вернуться на постоянную орбиту в зоне спутника ПАЛ. Там ожидать дальнейших приказаний.

В институте говорили, что скоро взамен теперешних шпаргалок появятся электронные брики, то есть микро-мозги величиной с косточку от вишни, их можно будет носить в ухе или под языком, и они подскажут всегда и всюду все, что окажется необходимым. Но Пиркс не верил в это, считая — и не без оснований, — что, когда появится такой аппарат, уже не нужны будут курсанты. А пока он должен был сам повторить всю суть задания и сделал это, допустив лишь одну ошибку, но зато основательную: спутал минуты и секунды времени с минутами и секундами долготы и широты. После чего, мокрый как мышь в предохраняющем от пота белье под толстой оболочкой комби-

незона, ожидал дальнейшего развития событий. Повторить задание он повторил, но смысл его еще не начал проникать в сознание. Единственная мысль беспрерывно кружила в мозгу: «Ну и задали они мне жару!»

В левой руке он сжимал шпаргалку, правой подал бортовой журнал. Устный пересказ задания был просто придиркой — все равно задание вручалось в письменной форме, с вычерченным первоначальным курсом. Шеф вложил конверт с заданием в кармашек на обложке журнала, вернул журнал Пирксу и спросил:

— Курсант Пиркс, вы готовы к старту?

— Готов! — ответил курсант Пиркс.

В этот момент у него было единственное желание — очутиться в кабине управления. Он мечтал о том, чтобы растегнуть комбинезон — хотя бы воротник.

Шеф отступил на шаг.

— По-о ракетам! — крикнул он звучным, металлическим голосом, который, подобно колоколу, перекрыл глухой, неумолчный шум, стоявший в грандиозном ангаре.

Пиркс сделал поворот кругом, схватил красный флажок, споткнулся о трос, в последний момент удержал равновесие и, как Голем, затопал по тонкому мостику. Когда он дошел до середины, Бёрст (сзади он все же сильно напоминал футбольный мяч) уже входил в свою ракету.

Пиркс спустил ноги внутрь, схватился за массивные крепления люка, съехал по эластичному желобку вниз, не касаясь перекладин («Перекладины — только для умирающих пилотов», — говаривал Ослиная Лужайка), и принялся задраивать люк. Сотни и тысячи раз он упражнялся на макетах и на настоящей крышке, только вынутой из ракеты и укрепленной посреди учебного зала. Тошно становилось от всего этого: левая рукоятка, правая рукоятка до половины оборота, проверить герметизацию, вторая половина оборота обеих рукояток, дожать, проверить герметичность под давлением, задрать люк внутренней по-

крышкой, задвинуть противометеоритную заслонку, выйти из колодца люка, запереть дверцы кабины, дожать, рукоятка, вторая рукоятка, задвижка — все!

Пиркс подумал, что Бёрст, наверное, давно сидит в своем стеклянном шаре, а он еще только закручивает маховик герметического затвора, но тут ему пришло в голову, что ведь все равно они стартуют не вместе, а с шестиминутным интервалом, значит, нечего спешить. Но все же лучше сидеть уже на месте с включенным радиофоном, по крайней мере услышишь команды, которые даются Бёрсту. Любопытно, какое тот получил задание?

Лампочки вспыхнули автоматически, едва он запер наружный люк. Управившись со своим хозяйством, Пиркс по ступеням невысокого ската, устланного очень жестким и в то же время упругим пластиком, перешел на место пилота.

Черт знает, почему в этих маленьких одноместных ракетах пилот сидел в круглой стеклянной банке трехметрового диаметра. Эта банка, хоть и совершенно прозрачная, была, конечно, не из стекла и вдобавок пружинила, как толстая, очень твердая резина. Этот пузырь с раздвижным креслом пилота в центре был вмонтирован в середину конусообразной кабины управления; таким образом, пилот, сидя в своем «зубоврачебном кресле» — так его прозвали — и имея возможность вращаться по его вертикальной оси, видел сквозь прозрачную оболочку, в которую он был заключен, все циферблаты часов, индикаторы, экраны — передние, задние, боковые, диски обоих вычислителей и астрографа, а также святая святых — траектометр, который чертит толстой, ярко светящейся линией по матовому выпуклому диску путь ракеты по отношению к неподвижным звездам в проекции Гарельсбергера.

Элементы этой проекции надо было знать наизусть и уметь определять их по прибору с любой позиции, даже висая вверх ногами. Когда пилот уже устраивался в крес-

ле, по обе стороны у него оказывались четыре главные рукоятки реактора и ракетных двигателей рулевого управления, три аварийные рукоятки, шесть рычагов простого пилотажа, маховичок старта и холостого хода, а также регулятор мощности тяги, продувки сопла, а над самым полом — большое спицевое колесо климатизаторной и кислородной аппаратуры, рукоятка противопожарной установки, катапульты реактора (на случай, если в нем начнется неуправляемая цепная реакция), тонкий трос с петлей, прикрепленный к верхушке шкафчика с термосами и едой, а под ногами — мягкие, снабженные петлями в виде стремян педали тормозов и предохранитель катапульты: если на него нажать (сначала требовалось разбить ногой его колпачок и подтолкнуть вперед), он выбрасывал оболочку вместе с креслом и пилотом и вылетающими вслед за ним стропами ленточно-кольцевого парашюта.

Помимо главного — спасения пилота в случае аварии, устранить которую невозможно, — существовало еще восемь чрезвычайно важных доводов в пользу конструирования стеклянного пузыря, и при благоприятных обстоятельствах Пиркс даже сумел бы все эти доводы перечислить, но ни один из них не был для него убедительным (как, впрочем, и для других курсантов).

Устраиваясь как полагается, с огромным трудом сгибаясь в поясе, чтобы ввинтить все висящие и торчащие из него трубки, кабели, провода в наконечники, закрепленные в кресле (причем каждый раз, когда он наклонялся вперед, комбинезон мягко толкал его в живот), он, само собой разумеется, перепутал кабель радифона с нагревательным кабелем, — к счастью, у них были различные муфты, но Пиркс обнаружил ошибку лишь после того, как с него сошло семь потов, — и под шум сжатого воздуха, который молниеносно наполнил комбинезон, со вздохом откинулся назад, накладывая на себя левой и правой рукой оба набедренно-наплечных пояса.

Правый застегнулся сразу, а левый что-то заупрямился. Ворот, надутый, как автомобильная шина, мешал оглянуться, и Пиркс мучился, вслепую дергая широкую застежку пояса. Тут в наушниках раздалась приглушенные голоса:

— Пилот Бёрст на АМУ-18! Старт согласно радиофону по счету ноль! Внимание — готовы?

— Пилот Бёрст на АМУ-18 готов к старту согласно радиофону по счету ноль! — раздался мгновенный ответ.

Пиркс выругался — застежка защелкнулась. Он упал в мягкое глубокое кресло, так измучившись, словно только что вернулся из очень продолжительного межзвездного рейса.

— Двадцать три — до старта... Двадцать две — до старта... Двад... — бормотал голос в наушниках.

Говорят, однажды, услышав громовое слово «ноль», одновременно стартовали два курсанта — тот, которому следовало, и тот, который лишь ждал своей очереди. Они шли на расстоянии двухсот метров друг от друга по вертикали и в любую секунду могли столкнуться, по крайней мере так рассказывали на курсе. Утверждают, что с тех пор запальный кабель включали в последний момент, делал это сам комендант ракетодома из своей застекленной кабины управления, и весь этот отсчет секунд был просто блефом. Однако никто не знал, как обстоит дело в действительности.

— Ноль!!! — раздалось в наушниках.

В ту же минуту Пиркс услышал приглушенный, раскатистый грохот, его кресло слегка задрожало, отраженные искорки огней чуть шевельнулись на стеклянном колпаке, под которым он лежал распростертый, глядя на потолок, то есть на астрограф, индикаторы циркуляции охлаждения, тяги главных и вспомогательных дюз, плотности потоков нейтронов, индикатор загрязнения изотопами и еще на восемнадцать других приборов, половина ко-

торых ведала исключительно состоянием ускорителей. Вибрация ослабла, стена глухого шума передвинулась куда-то в сторону и словно расплылась вверх; казалось, какой-то невидимый занавес взвился в небо, гром все удалялся и, как обычно, все более походил на отголосок бури. Наконец наступила тишина.

Что-то зашипело, зажужжало — он даже не успел испугаться. Это автоматическое реле включило бездействовавшие до сих пор экраны: когда кто-нибудь стартовал рядом, они были закрыты снаружи, чтобы ослепительное пламя атомного выхлопа не повредило объективов.

Пиркс подумал, что такие автоматические приспособления очень полезны, и так размышлял о том о сем, но вдруг почувствовал, что волосы встают у него дыбом под выпуклым шлемом.

«Господи боже, я лечу, я, я, я сейчас лечу!» — пронеслось у него в голове.

Он начал лихорадочно подготавливать рычаги к старту, то есть по очереди дотрагиваться до них пальцем и считать: раз... два... три... а где же четвертый? Потом этот... так... этот указатель... и педаль... нет, не педаль... ага, есть... красная... зеленая рукоятка... потом автомат... так... или сначала зеленая, а потом красная?!

— Пилот Пиркс на АМУ-27! — прервал его размышления громкий голос, бьющий прямо в ухо. — Старт согласно радиофону по счету ноль! Внимание — пилот готов?

«Еще нет!!!» — чуть было не закричал пилот Пиркс, но произнес:

— Пилот Бёр... пилот Пиркс на АМУ-27 готов к старту... э... согласно радиофону по счету ноль!

Он хотел сказать «пилот Бёрст», потому что отлично запомнил, как отвечал Бёрст. «Идиот!» — прикрикнул он сам на себя в наступившей тишине. Автомат (неужели у всех автоматов должен быть голос унтер-офицера?) лаял в ухо:

— До старта шестнадцать... пятнадцать... четырнадцать...

Пилот Пиркс обливался потом. Он силился вспомнить нечто ужасно важное — он знал, что это прямо-таки вопрос жизни и смерти, но никак не мог.

— ...шесть, пять, до старта четыре...

Он сжал мокрые пальцы на стартовой рукоятке. К счастью, она была шероховатая. «Неужели все так потеют? По-видимому...» — мелькнуло у него в голове в тот момент, когда в наушниках прогремело:

— Ноль!!!

Его рука сама — совершенно самостоятельно — потянула рычаг, отодвинула его до половины и остановилась. Раздалось рычание. Казалось, какой-то эластичный пресс надавил ему на грудь и голову. «Ускоритель!» — успел он подумать, и у него потемнело в глазах. Лишь слегка и лишь на мгновение. Когда он смог хорошо видеть, хотя все та же неотступная тяжесть сковывала тело, экраны, во всяком случае те три, что находились прямо перед ним, были белые, как молоко, выливающееся из миллиона кувшинов.

«Ага, пробиваю облака», — подумал он.

Размышлял он теперь свободнее, несколько вяло, зато совершенно спокойно. Через некоторое время Пиркс почувствовал себя так, будто он лишь свидетель всей этой слегка смешной сцены: лежит парень, развалившись в «зубоврачебном кресле», ни рукой, ни ногой не шевельнет. Облака исчезли, небо еще слегка голубоватое, но уже как плохая синька, кажется, и звезды видны — звезды или нет?

Да, это были звезды. Стрелки бегали по потолку, по стенам, каждая на свой лад, каждая что-то показывала, все надо было видеть, а у него только два глаза. Тем не менее его левая рука, подчиняясь короткому, повторяющемуся свисту в наушниках, сама — опять сама — потянула

рычаг, сбрасывая ускорение. Сразу стало немного легче: скорость 7,1 в секунду, высота 201 километр, заданная кривая старта кончается, ускорение 1,9 — можно садиться, и вообще теперь-то и начнется настоящая работа!

Он медленно сел, нажимая на подлокотники кресла, отчего поднялась спинка, и вдруг весь похолодел.

— Где же шпаргалка?!

Это и была та ужасно важная вещь, которую он никак не мог вспомнить. Пиркс начал осматривать пол, будто на свете и не было целой тучи индикаторов, подмигивающих со всех сторон. Брик лежал под самым креслом. Пиркс наклонился — пояса, разумеется, не пустили, расстегивать их не было времени — и с таким чувством, словно он стоит на верхушке высоченной башни и падает вместе с ней в пропасть, раскрыл бортовой журнал, который лежал в кармане над коленом, вынул из конверта задание и... ничего не понял: где же, черт бы ее побрал, орбита Б-68? Ага, вот эта! Он сверился по траектометру и начал медленно поворачивать. Он удивлялся — как-то все же получилось.

На эллипсе вычислитель благосклонно сообщил ему данные для поправки, Пиркс снова сманеврировал, сошел с орбиты, слишком резко затормозил — в течение почти 10 секунд ускорение было минус 3 g, но ничего ему не сделалось, он был очень вынослив физически («Если б у тебя были такие же мозги, как бицепсы,— говорил ему Ослиная Лужайка,— то, возможно, из тебя что-нибудь и вышло бы»), исправив ошибку, вышел на постоянную орбиту и передал по радиотелефону данные вычислителю, но тот ничего не ответил — по его диску пробегали волны холостого хода. Пиркс проревел свои данные еще раз, — конечно, он забыл переключиться, — теперь исправил ошибку, и на диске моментально появилась мерцающая вертикальная линия, а все окошечки единодушно показали единицы.

«Я на орбите!» — обрадовался он. Да, но время обращения составляло 4 часа 29 минут, а должно быть 4 часа 26 минут. Теперь он уж окончательно не знал, допустимое это отклонение или нет. Ломал голову, начал уже подумывать, не отстегнуть ли пояса — шпиргалка лежала под самым креслом, — но, черт его знает, написано ли в ней об этом? И вдруг припомнил, что профессор Кааль говорил: «При расчете орбиты допустима погрешность до 0,3 процента». На всякий случай передал данные вычислителю: он находился в пределах допустимой погрешности. «Ну, как будто порядок», — сказал он себе и лишь теперь как следует осмотрелся.

Тяжесть исчезла, но он был пристегнут к креслу на совесть, только чувствовал себя очень легким. Передний экран — звезды, звезды и светло-бурый рубчик на самом нижнем крае, боковой экран — ничего, лишь чернота и звезды. Нижний экран — ага! Пиркс внимательно всматривался в Землю — он несся над ней на высоте от 700 до 2400 километров в зоне своей орбиты; Земля была огромная, заполняла весь экран, он как раз пролетал над Гренландией — ведь это Гренландия? Пока он решал, что это такое, оказался уже над Северной Канадой. Вокруг полюса искрились снега, океан был черно-фиолетовый, выпуклый, гладкий, словно отлитый из чугуна, удивительно мало туч — будто кто-то разбрызгал по выпуклой поверхности жидкую кашу. Пиркс взглянул на часы.

Он летел уже семнадцать минут.

Теперь полагалось поймать радиосигналы ПАЛа и следить за радаром при прохождении его зоны. Как называются эти два корабля? РО? Нет. ИО. А номера? Он заглянул в листок с заданием, засунул его вместе с бортовым журналом в карман и подвигал на груди контрольный регулятор. Раздался писк, треск. ПАЛ... какой у него сигнал? Морзянка... Он напрягал слух, поглядывал на экраны, Земля медленно поворачивалась под ним, звезды

быстро передвигались на экранах, а ПАЛа нет как нет — ни слуху, ни духу.

Вдруг он услышал жужжание.

«ПАЛ? — подумал Пиркс, но тотчас же отбросил эту мысль. — Идиотизм! Ведь спутники не жужжат! А что жужжит?»

«Ничего не жужжит, — ответил он самому себе. — Так что же это? Авария?»

Он как-то совсем не испугался. Что за авария, если он летит с выключенным двигателем? Жестянка сама по себе рассыпается — так, что ли? А может, короткое замыкание? А, замыкание! Боже милостивый! Противопожарная инструкция ИПА: «Пожар в космосе на орбите... параграф... черт бы его побрал! Жужжит и жужжит», — он едва слышал попискивание отдаленных сигналов.

«Совсем как муха в стакане», — подумал он, обалдев, лихорадочно переводя взгляд с одного циферблата на другой. И тут он увидел ее.

Это была муха-гигант, зеленовато-черная, той отвратительной породы, которая словно создана лишь затем, чтобы отравлять людям жизнь, наглая, назойливая, идиотская и в то же время хитрая, шустрая муха, которая прямо чудом (а как же иначе?) влезла в ракету и летала теперь за прозрачным колпаком, тычась, как жужжащий шарик, в светящиеся диски циферблатов.

Когда она приближалась к вычислителю, ее жужжание гремело в наушниках, как четырехмоторный самолет: над верхней рамой вычислителя помещался резервный микрофон, чтобы им можно было пользоваться без ларингофона сидя в кресле, если кабели радифона будут выключены. Зачем? На всякий случай. Подобных приспособлений было немало.

Пиркс проклинал этот микрофон. Он боялся, что не услышит сигналов ПАЛа. В довершение всех бед муха начала предпринимать вылазки и в другие места. Несколько

минут он невольно водил за ней глазами, пока наконец не сказал себе строго, что ему на эту муху наплевать.

Жаль, что нельзя туда насыпать ДДТ.

— Хватит!

Зажужжало так, что он даже поморщился. Муха разгуливала по вычислителю. Стало тихо — она чистила крылышки. Что за отвратительная муха!

В наушниках возник равномерный, далекий писк — три точки, тире, две точки, два тире, три точки, тире — ПАЛ!

— Ну, а теперь надо глядеть в оба! — сказал он себе и приподнял немного кресло: все три экрана были у него перед глазами. Он проверил еще раз, как движется фосфорический управляющий луч радара, и стал ждать. На радаре не было ничего. Но кто-то кричал:

— А-7 Земля — Луна... А-7 Земля — Луна, сектор III, курс 113, вызывает ПАЛ ПЕЛЕНГ. Дайте пеленг. Прием.

— Вот несчастье, как же я теперь услышу моих ИО! — заволновался Пиркс.

Муха взвыла в наушниках и исчезла. Вскоре сверху его накрыла тень — словно летучая мышь уселась на лампу. Это была муха. Она ползала по стеклянному пузырю, будто исследуя, что скрывается внутри него. Тем временем в эфире становилось тесно. ПАЛ, который уже виднелся (он действительно выглядел, как гигантская палица: это был восьмьсотметровый цилиндр из алюминия, заканчивающийся шаром обсерватории), летел над ним на расстоянии каких-нибудь четырехсот километров, — может, чуть больше — и медленно обгонял его.

— ПАЛ ПЕЛЕНГ к А-7 Земля — Луна, сто восемьдесят запятая четырнадцать, сто шесть запятая шесть. Отклонение растет линейно. Конец.

— Альбатрос-4 Марс — Земля вызывает ПАЛ Главный. ПАЛ Главный, схожу на заправку сектор II, схожу на заправку сектор II, иду на резерве. Прием.

— А-7 Земля — Луна вызывает ПАЛ ПЕЛЕНГ...

Остального он не слышал, все звуки заглушило жужжание мухи. Наконец она утихла.

— Главный к Альбатросу-4 Марс — Земля, заправка сектор VII, Омега Главная, заправка перенесена на Омегу Главную. Конец.

«Они нарочно здесь столпились, чтобы я ничего не слышал», — подумал Пиркс.

Предохраняющее от пота белье прямо-таки плавало на теле. Муха, жужжа, яростно кружилась над диском вычислителя, словно стараясь во что бы то ни стало догнать собственную тень.

— Альбатрос-4 Марс — Земля, Альбатрос-4 Марс — Земля к ПАЛу Главному, выхожу в сектор VII, выхожу в сектор VII, прошу пилотировать по интеркому. Конец.

Послышался удаляющийся писк интеркома, утонувший в нарастающем жужжании. В этот гул ворвались слова:

— ИО-2 Земля — Луна, ИО-2 Земля — Луна вызывает АМУ-27, АМУ-27. Прием.

— Интересно, кого он вызывает? — подумал Пиркс и вдруг подпрыгнул в своих поясах.

«АМУ...» — хотел он сказать, но охрипшая глотка не пропускала ни звука. В наушниках жужжало. Муха. Он закрыл глаза.

— АМУ-27 вызывает ИО-2 Земля — Луна. Нахожусь в квадранте 4, сектор ПАЛ, включаю позиционные огни. Прием.

Пиркс включил свои позиционные огни — два красных по бокам, два зеленых по носу, один голубой сзади — и ждал. Ничего не было слышно, кроме мухи.

— ИО-2 бис Земля — Луна. ИО-2 бис Земля — Луна, вызываю... — Снова жужжание.

«Это, пожалуй, тоже меня?» — подумал он с отчаянием.

— АМУ-27 к ИО-2 бис Земля — Луна. Нахожусь в

квадранте 4, граничный сектор ПАЛ. Все позиционные огни включены. Прием.

Теперь оба ИО отозвались одновременно — он включил селектор очередности, чтобы приглушить того, кто отозвался вторым, но жужжание продолжалось, — конечно, муха!

«Я, кажется, повешусь!» — подумал Пиркс. Ему не пришло в голову, что из-за невесомости даже такой выход невозможен.

Вдруг он увидел на экране радара два корабля — они шли за ним параллельным курсом на расстоянии не более девяти километров друг от друга, следовательно, в зонах взаимно запрещенных. Его обязанностью как пилотирующего было приказать им разойтись на дозволенное расстояние — 14 километров. Он контролировал по радару положение пятнышек, обозначавших корабли, когда муха уселась на одном из них. Он запустил в нее бортовым журналом, тот не долетел до цели, ударился о прозрачную оболочку и, вместо того чтобы соскользнуть с нее, полетел назад, потом вверх, ударился о свод стеклянного пузыря и закружился там — невесомость! Муха даже не соизволила улететь — она медленно отползла.

— АМУ-27 Земля — Луна к ИО-2, ИО-2 бис. Я вас вижу. У вас бортовое сближение. Перейти на параллельные курсы с поправкой ноль запятая ноль один. Выполнив маневр, перейти на прием. Конец.

Оба пятнышка начали не спеша расходиться, возможно, они говорили ему что-то, но он слышал только муху. А та с жужжанием разгуливала по микрофону вычислителя. Нечем уже было швырнуть в нее. Бортовой журнал плавал над ним, тихо шелестя страницами.

— ПАЛ Главный к АМУ-27 Земля — Луна. Выйти из граничного квадранта, выйти из граничного квадранта, принимаю транссолнечный корабль. Прием.

«Какая наглость! Еще и транссолнечный подвернулся! Какое мне дело до транссолнечного?! Кораблям, идущим

в строю, предоставляется первенство!» — подумал Пиркс и начал кричать, изливая в крике свою бессильную ненависть к мухе:

— АМУ-27 Земля — Луна к ПАЛу Главному. С квадранта не схожу, мне наплевать на транссолнечный, я иду в треугольном строю: АМУ-27, ИО-2, ИО-2 бис, эскадра Земля — Луна, ведущий АМУ-27. Конец.

«Не следовало говорить, что мне наплевать на транссолнечный, — подумал он. — Ясно — заработал штрафные очки. Чтоб их всех черти побрали! А за муху кто получит штрафные? Тоже я!»

Он подумал, что такая история с мухой могла приключиться только с ним. Муха! Важное дело! Он представил себе, как Смига с Бёрстом покатываются со смеху, узнав об этой идиотской мухе. Впервые с момента старта он подумал о Бёрсте. Впрочем, у него не было ни минуты, чтобы думать — ПАЛ все больше отставал. Они летели втроем уже пять минут.

— АМУ-27 к ИО-2, ИО-2 бис Земля — Луна. Двадцать часов ноль семь минут. Маневр выхода на параболический курс Земля — Луна начинаем в двадцать часов ноль десять минут. Курс сто одиннадцать... — прочел он на листке, который ему только что удалось с ловкостью акробата схватить в воздухе у себя над головой. Его корабли ответили. ПАЛ уже скрылся из виду, но Пиркс все еще слышал его — не то его, не то муху. Вдруг жужжание как бы раздвоилось. Ему хотелось протереть глаза. Так и есть. Мух было уже две. Откуда же выползла вторая?

«Теперь они меня прикончат», — подумал он спокойно, совсем спокойно.

Было даже что-то приятное в такой уверенности: уже не стоило ни с чем возиться, трепать себе нервы — мухи все равно доконают. Это продолжалось секунду, потом Пиркс глянул на часы: наступил момент, который он сам

назначил для начала маневра, а он не успел даже руки положить на рычаги!

Муки тысячекратных упражнений, как видно, не пропали впустую: он вслепую схватил оба рычага, следя за траектометром, двинул правый, потом левый. Двигатель глухо отозвался, потом что-то зашипело, он получил удар по голове и даже охнул от неожиданности: бортовой журнал хлопнул его корешком по лбу, у самого края шлема! Он закрыл все лицо, Пиркс не мог сбросить его — обе руки были заняты. В наушниках жужжало и бурлило от любовной игры мух на вычислителя. «В полет должны давать револьвер», — подумал он, чувствуя, как бортовой журнал под действием возрастающего ускорения расплющивает ему нос. Пиркс как безумный мотал головой — ведь надо же ему видеть траектометр! Журнал весил примерно три килограмма; вдруг он, хлопнув Пиркса по лицу, свалился на пол — так и есть, было почти 4 g. Пиркс тотчас же уменьшил ускорение, поддерживая его в границах маневра, укрепил защелки рычагов — теперь ускорение было 2 g. Неужели мухам это не вредит? Ничего им не делалось. Они чувствовали себя великолепно. Он должен был лететь так целых 83 минуты. Пиркс посмотрел на экран радара: оба ИО шли следом, расстояние между его кормой и ими возросло приблизительно до семидесяти километров; это потому, что несколько секунд ускорение доходило до 4 g и он выскочил вперед. Не беда.

Теперь у него было немного свободного времени — до самого конца полета с ускорением. 2 g — это ничего. Он сейчас весил всего-навсего сто сорок два килограмма. Ему случалось сидеть в лабораторной центрифуге при 4 g и по получасу.

Конечно, это неприятно: руки и ноги будто налиты свинцом, головой невозможно даже пошевелить — в глазах темнеет.

Он еще раз проверил положение обоих своих кораблей за кормой и подумал: «А что теперь делает Бёрст?» Он представил себе его лицо — вероятно, оно выглядело совсем как на киноэкране. Вот ведь карточка у парня! Нос прямой, глаза серые — стальные... и, уж конечно, он-то не взял с собой никакого брика! Хотя и Пирксу шпаргалка пока не понадобилась. Жужжание в наушниках затихло: обе мухи ползали над ним по стеклянной поверхности колпака, их тени пробегали по лицу — в первый раз его даже передернуло. Пиркс посмотрел вверх: их черные лапки кончались приплюснутыми утолщениями, брюшко в свете ламп отливало металлическим блеском. Мерзость!

— Порыв-8 Марс — Земля вызывает тройку Земля — Луна, квадрант 16, курс одиннадцать запятая шесть. Вижу вас на сближающемся курсе одиннадцать минут тридцать две секунды, прошу изменить курс. Прием.

— Ну и везение! — застонал Пиркс. — Болван, прет прямо на меня... ведь видит же, что я иду в строю!

— АМУ-27, ведущий тройку Земля — Луна, ИО-2, ИО-2 бис, вызывает Порыв-8 Марс — Земля. Иду в строю, курс не изменю, выполняйте маневр расхождения. Конец.

Произнося эти слова, он искал на радаре этого наглеца, Порыв-8, и нашел. На расстоянии не более полутора тысяч километров!

— Порыв-8 к АМУ-27 Земля — Луна. У меня пробито гравиметрическое распределение, немедленно выполняйте маневр расхождения, точка пересечения курсов сорок четыре ноль восемь, квадрант Луна четыре, граничная зона. Прием.

— АМУ-27 к Порыву-8 Марс — Земля, ИО-2, ИО-2 бис Земля — Луна, произвожу маневр расхождения в двадцать часов тридцать девять минут, одновременный поворот за ведущим на расстоянии видимости, отклонение на север, сектор Луна один ноль запятая шесть, включая двигатели малой тяги. Прием.

Говоря это, Пиркс одновременно включил оба нижних двигателя рулевого управления. Оба ИО сейчас же ответили, повернули, звезды поплыли на экранах. Порыв-8 поблагодарил, он летел к Луне Главной. Пиркс вдруг воодушевился и пожелал ему счастливого прилунения по всем правилам хорошего тона, тем более что там приключилась авария. Теперь он видел Порыв-8 на расстоянии тысячи километров с горящими позиционными огнями. Затем Пиркс вызвал свои ИО и снова начал ложиться на прежний курс — кошмар! Известно, что нет ничего легче, чем сойти с курса, а отыскать потом тот же самый отрезок параболы кажется просто немыслимым. Новое ускорение — он не успевал передавать координаты вычислителя, по нему ползали мухи, а потом начали гоняться друг за другом — их тени метались на экране. И откуда у этих тварей берется столько сил? Прошло добрых двадцать минут, пока корабли наконец очутились на первоначальном курсе.

«А у Бёрста дорога, наверное, как пылесосом вычищена! — подумал Пиркс. — Впрочем, что ему! Он одной рукой с чем угодно управится».

Он включил автомат редуктора ускорения, чтобы на 83-й минуте получить ускорение, равное нулю, согласно инструкции, и тут увидел такое, что его мокрое белье, предохраняющее от пота, стало ледяным.

С распределительного щита — миллиметр за миллиметром — сползала белая крышка. Как видно, она была слабо закреплена, и во время толчков ракеты при маневре возврата (а он действительно маневрировал очень резко) задвижки отошли. Между тем ускорение все еще составляло $1,7\text{ g}$; крышка медленно-медленно сползала, словно кто-то тянул ее снизу за невидимую нить, наконец сорвалась и упала. Она ударилась о стекло колпака и соскользнула на пол. Заблестели четыре обнаженных медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители.

«Ну... и чего же я, собственно, перетрусил? — подумал Пиркс. — Упала крышка и упала — подумаешь! Не все ли равно, с крышкой или без крышки?»

Однако он беспокоился: такие вещи не должны случаться. Если может упасть крышка с предохранителей, то и корма ракеты может отвалиться.

Оставалось только двадцать семь минут полета с ускорением, когда Пиркс подумал, что после выключения двигателей крышка сделается невесомой и начнет летать. Может, она натворит каких-нибудь бед? Пожалуй, нет. Слишком легка. Даже ни одного стеклышка не разобьет. Э, ничего!

Он поискал глазами мух: гоняясь друг за другом, кружась, жужжа, они летали вокруг кабины и наконец уселись под предохранителями. Пиркс потерял их из виду.

На экране он нашел оба свои ИО — они шли по курсу. На переднем экране виднелся огромный, занимающий половину неба диск Луны. Однажды они проводили селенографические учения в кратере Тихо — тогда еще Бёрст произвел вычисления при помощи самого обычного переносного теодолита... Эх, черт возьми, чего только он не умеет! Пиркс попытался отыскать Луну Главную на внешнем скате Архимеда. Она едва виднелась, почти вся укрытая в скалах, можно было разглядеть лишь гладкую поверхность ракетодома с сигнальными огнями — и то, конечно, когда она оказывалась в зоне темноты, а теперь там светило солнце. Правда, сама станция лежала в полосе тени, которую отбрасывал кратер, но контраст с ослепительно сверкающим диском был так резок, что слабенькие огоньки сигнализации вообще не были видны.

Казалось, на Луну никогда не ступала нога человека, от Лунных Альп ложились длинные-длинные тени па равнину Моря Дождей. Пиркс вспомнил, как перед полетом на Луну — тогда они летели целой группой и были еще обыкновенными пассажирами — Ослиная Лужайка

попросил его проверить, видны ли с Луны звезды седьмой величины, а он-то, балда, взялся за это с величайшим воодушевлением. Начисто забыл, что днем с Луны вообще не видно никаких звезд — глаза слишком ослеплены блеском солнца, отраженным от ее поверхности. Ослиная Лужайка еще долго припоминал ему эти звезды с Луны.

Диск медленно распухал на экранах — скоро он окончательно вытеснит черное небо с переднего экрана.

Странно — ничто не жужжало. Он взглянул в сторону — и оцепенел от ужаса: одна муха сидела на выпуклой поверхности предохранителя и чистила себе крылышки, а вторая ухаживала за ней. Рядом, в нескольких миллиметрах, блестел кабель. Изоляция кончалась немного выше, все четыре кабеля толщиной почти с карандаш были обнажены. Напряжение не такое уж высокое, 1000 вольт, и потому промежутки между ними не были большими — всего семь миллиметров. Он случайно знал, что семь. Они однажды разбирали всю электропроводку, и поскольку тогда Пиркс не знал, какие расстояния должны быть между проводами, он всякого наслушался от ассистента. Мухе надоело ухаживать, и теперь она ползала по обнаженному проводу. Ей это, конечно, не вредило. А вот если ей захочется перелезть на другой... видно, ей как раз захотелось этого: она зажужжала и уселась на самой крайней медной жиле. Как будто во всей кабине не нашлось другого места! А вдруг она станет передними лапками на один провод, а задними на другой...

Ну и что ж? В худшем случае произойдет короткое замыкание. Впрочем, муха, пожалуй, не так уж велика. А если даже и произойдет, то на мгновение, автоматический предохранитель выключит ток, муха сгорит, автомат опять включит ток, и все придет в норму — зато от мухи он избавится! Как загипнотизированный, Пиркс смотрел на щит высокого напряжения. Все-таки ему не хотелось, чтобы эта тварь производила опыты. Короткое замыка-

ние — черт его знает, что из этого получится... Может, и ничего, но зачем?

Время: еще восемь минут при постепенно ослабевающей тяге двигателей. Сейчас кончится. Он как раз смотрел на часы, когда что-то сверкнуло и свет погас. Продолжалось это, вероятно, около трети секунды. Муха! Затаив дыхание, он дожидался, пока автомат включит ток. Включил.

Свет загорелся, но оранжевый, слабый, и тут же снова щелкнул предохранитель. Тьма. Автомат опять включил ток. Выключил. Включил. И так беспрерывно, без конца. Лампы светили вполнакала. В чем дело? С трудом он разглядел при равномерно мигающем свете: от мухи — втиснулась-таки эта тварь между двумя проводами! — остался трупик, продолговатый уголек, который продолжал соединять провода.

Нельзя сказать, чтобы Пиркс уж очень перепугался. Он был взволнован, но разве с момента старта он хоть минуту чувствовал себя спокойным? Часы были видны плохо. Щиты имели собственное освещение, радар тоже. Тока хватало как раз на то, чтобы аварийные огни и резервная цепь не включались, но для полного освещения его явно не доставало. До момента выключения двигателей оставалось четыре минуты.

Об этом ему заботиться не приходилось: автомат должен сам выключить двигатели. Ледяная струйка пробежала вдоль позвоночника — как же сработает автомат, если произошло короткое замыкание?

Какую-то секунду он колебался: та самая это цепь или другая? Потом сообразил, что это главные предохранители. Для всей ракеты и для всех цепей. Но как же котел, ведь он сам по себе?..

Котел — да. Но не автомат. Ведь ты же сам предварительно отрегулировал его. Значит, надо выключить. Или лучше не трогать? Авось, как-нибудь сработает!

Конструкторы не учли, что в кабину управления может попасть муха, что крышка может свалиться и произойдет короткое замыкание — да еще какое!

Свет беспрерывно мигал. Надо было что-то предпринимать. Но что?

Очень просто: надо переключить главный выключатель, который находится под полом, за креслом. Он выключит главную цепь и приведет в действие аварийную. И все будет в порядке. Ракета не так уж плохо сконструирована, все предусмотрено для обеспечения надлежащей безопасности.

Любопытно, а пришло бы это вот так, сразу, в голову Бёрсту? Пожалуй, пришло бы. Может быть, даже... Но осталось всего две минуты!!! Он не успеет произвести маневр! Пиркс подпрыгнул на месте. Он начисто забыл о Бёрсте!

Несколько секунд он соображал, закрыв глаза.

— АМУ-27, ведущий Земля — Луна, к ИО-2, ИО-2 бис. У меня короткое замыкание в кабине управления. Маневр выхода на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной Луны выполняю с опозданием в... э... в неопределенный срок. Выполняйте маневр самостоятельно в установленный момент. Прием.

— ИО-2 бис к ведущему АМУ-27 Земля — Луна. Выполняю маневр одновременно с ИО-2, выхожу на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной. До момента прилунения у тебя остается девятнадцать минут. Желаю успеха. Желаю успеха. Конец.

Едва дослушав, Пиркс отвинтил кабель радифона, кислородный шланг, второй кабель — пояса он расстегнул заранее. Когда он поднимался с кресла, табло автомата вспыхнуло рубиновым светом. Вся кабина то возникала из тьмы, то погружалась в мутный оранжевый полусвет. Двигатель не выключился. Красный огонек смотрел на него из полутьмы, словно спрашивая совета. Раздалось равномер-

ное гудение — предостерегающий сигнал. Автомат не смог выключить двигатели. Стараясь сохранить равновесие, Пиркс бросился за кресло.

Выключатель находился в кассете, вделанной в пол. Кассета заперта на ключ. Да, конечно, заперта. Он дернул крышку — не поддается! Где же ключ?

Ключа не было. Дернул еще раз — результат тот же.

Пиркс выпрямился и уставился перед собой невидящими глазами: на передних экранах пылала уже не серебристая, а белая, как горные снега, гигантская Луна. Зубчатые тени кратеров передвигались по ее диску. Отозвался радарный альтиметр — или он давно уже работал? Он мерно тикал, из полумрака выскакивали маленькие зеленые цифры. Расстояние — двадцать одна тысяча километров.

Предохранитель регулярно выключал ток, свет мигал без устали. Но когда он гас, в кабине уже не наступала темнота: призрачное сияние Луны заливало ракету и лишь слегка ослабевало, когда вспыхивал тусклый свет ламп.

Корабль летел прямо, только прямо и все увеличивал скорость при остаточном ускорении $0,2\text{ g}$, вдобавок Луна притягивала его все сильнее. Что делать? Что делать? Он рванулся еще раз к кассете, ударил ногой по крышке — сталь не дрогнула.

Сейчас, сейчас! Боже! Как он мог так потерять голову! Надо... надо просто попасть туда, по ту сторону облочка! Ведь это возможно! У самого выхода, там, где стеклянная банка, сужаясь в туннель, становится воронкой, кончающейся у затвора, находится специальный рычаг, покрытый красным лаком, с надписью: «Только при аварии в системе управления». Стоит его передвинуть, и стеклянный колпак поднимется почти на метр — можно будет подлезть под него! Каким-нибудь кусочком изоляции очистить провода и...

Одним прыжком он очутился у красного рычага.

«Идиот!» — выругал он себя мысленно, схватился за стальной рычаг и так дернул его, что у него хрустнул плечевой сустав. Рычаг выскочил на всю длину сверкающего машинным маслом стального прута, а пузырь хоть бы дрогнул! Обалдев, Пиркс глядел на пузырь — и видел в глубине экраны, заполненные пылающей Луной. Свет беспрерывно мигал над его головой. Он еще раз дернул рычаг, хотя тот был уже вытянут до отказа... Ничего.

Ключ! Ключ от кассеты с выключателем! Он бросился плашмя на пол, заглянул под кресло. Там лежал только брик... Свет беспрерывно мигал, предохранители регулярно выключали ток. Когда свет гас, все вокруг становилось белым, будто это были скелеты.

«Конец! — подумал он. — Выброситься вместе с пузырем? Катапультироваться с креслом? Нельзя — парашют не затормозит, ведь на Луне нет атмосферы».

«Спасите!!!» — хотелось ему кричать, но не к кому было звать, он один. Что делать? Должен же быть какой-то выход!!

Пиркс еще раз кинулся к рукоятке, дернул — рука чуть не выскочила из сустава. Он готов был заплакать от отчаяния. Так глупо, так глупо... Где же ключ? Почему механизм заело? Альтиметр... Он быстрым взглядом окинул циферблаты: девять с половиной тысяч километров. На светящемся фоне отчетливо выделялись зубчатые края Тимохариса. Ему казалось, что он уже ясно видит место, где врежется в покрытую пемзой скалу. Будет грохот, огонь и...

Вдруг при очередной вспышке света его лихорадочно блуждающий взгляд упал на четыре медные жилы. Там отчетливо чернел маленький уголек, соединяющий кабели, — останки сгоревшей мухи. Выставив плечо, как вратарь в отчаянном броске, Пиркс прыгнул вперед; удар был страшным, от сотрясения он едва не потерял сознание. Эластичная оболочка отбросила его, как надутая ав-

томобильная шина, он упал на пол. Кабина не дрогнула. Он вскочил на ноги, тяжело дыша, с окровавленными губами, готовый опять броситься на стеклянную стену.

И тут он глянул вниз.

Рычаг простого пилотажа. Для больших кратковременных ускорений, до 10 g, но только на долю секунды. Он действовал непосредственно, на механической тяге. Давал мгновенный аварийный ход.

Но этим путем он мог лишь увеличить скорость, то есть еще быстрее долететь до Луны. Нет, надо тормозить. Эффект был слишком кратковременным. Торможение должно быть непрерывным.

Он бросился на рычаг, падая, схватился за него, рванул — и, лишенный амортизирующей защиты кресла, почувствовал, что буквально разваливается на части — так сильно ударился об пол. Он потянул за рычаг еще раз. Такой же страшный, мгновенный рывок ракеты! Пиркс стукнулся головой об пол, и если б не пенопласт, его череп раскололся бы.

Предохранитель звякнул, мигание внезапно прекратилось. Кабину залил нормальный, спокойный свет ламп.

Двойной толчок молниеносных ускорений выбросил обугленный трупик мухи, застрявший между проводами. Короткое замыкание было ликвидировано. Чувствуя на губах соленый вкус крови, Пиркс кинулся в кресло, будто прыгнул с трамплина, но не попал в его объятия, пролетел высоко над спинкой — страшный удар о потолок, чуть ослабленный шлемом.

В тот момент, когда он готовился к прыжку, вступивший в действие автомат выключил двигатели. Корабль, теперь уже только по инерции, камнем падал прямо на скалистые зубы Тимохариса.

Пиркс оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна, которую он выплюнул, плавала вокруг него — красновато-серебристые пузырьки. Он отчаянно извивался в воздухе,

протягивая руки к спинке кресла. Вытащил из карманов все, что в них было, и швырнул за спину.

От этого рывка его тело начало медленно и мягко опускаться все ниже, пальцы, вытянутые так, что жилы лопались, сначала царапнули ногтями по никелированной трубке, потом вцепились в нее. Теперь уж он ее не выпустит. Он подтягивался вниз головой, как акробат, делающий стойку на ручках кресла, поймал пояс, по поясу съехал вниз, обмотал его вокруг тела, застегнул... Он не стал тратить время на застегивание, зажал конец пояса зубами — держится! Теперь руки на рукоятки, ноги на педали!

Альтиметр: тысяча восемьсот километров до Луны. Успеет он затормозить? Исключено! Сорок пять километров в секунду! Надо повернуть, провести глубокий выход из пикирующего полета — только так!

Пиркс включил рычаги поворота — 2... 3... 4 g. Мало! Мало!

Он дал полную тягу на поворот. Сверкающий ртутным блеском диск Луны на экране, словно вмурованный в него снаружи, теперь дрогнул и начал все быстрее опускаться вниз. Кресло скрипело под возрастающей тяжестью тела. Корабль входил в дугу с большим радиусом над самой поверхностью Луны — такой радиус был необходимым из-за огромной скорости. Рычаг торчал неподвижно, дожатый до отказа. Тело вдавливалось в губчатую обивку кресла, Пиркс задыхался — комбинезон не был соединен с кислородным аппаратом, он чувствовал, как гнутся его ребра, серые пятна поплыли перед глазами. Он ждал слепоты, не отрываясь от рамки радарного альтиметра, на циферблате которого мелькали маленькие цифры: 990... 840... 760 километров...

Хоть он и знал, что идет на полной мощности, но продолжал нажимать на рычаг. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и, несмотря на это, продолжал терять высоту, цифры уменьшались, хотя и

медленнее — он все еще находился в нисходящей части большой дуги. Пиркс посмотрел на траектометр — он едва смог повернуть зрачки.

Как обычно в опасной зоне небесных тел, диск аппарата показывал не только кривую, которую чертила ракета, и слабо светящееся воображаемое продолжение траектории, но также профиль поверхности Луны, над которой проводился весь этот маневр.

Обе эти кривые — полета и лунной поверхности — почти сходились. Пересекаются ли они? Нет. Но его дуга была почти касательной. Не известно, проскользнет он над самой поверхностью Луны или врежется в нее. Траектометр работал с точностью до семи-восьми километров, и Пиркс не мог знать, проходит ли кривая в трех километрах над скалами или под ними.

Темнело в глазах — 5 g делали свое дело. Но сознания он не потерял. Лежал ослепший — руки крепко сжимали рычаги, — чувствуя, как постепенно подаются амортизаторы кресла. Он не верил, что погибнет. Как-то не мог в это поверить. Он был уже не в силах шевелить губами и в окутавшей его тьме лишь медленно считал про себя: 21... 22... 23... 24...

Дойдя до пятидесяти, подумал: сейчас произойдет столкновение, если оно вообще должно произойти. И все-таки не выпускал из рук рычаги. Он понемногу терял сознание: духота, звон в ушах, в горле полно крови, перед глазами — кровавая тьма.

Пальцы разжались сами, рычаг медленно сдвинулся, он уже ничего не слышал, ничего не видел. Постепенно светлело — дышать стало легче. Он хотел открыть глаза, но ведь они были все время открыты, и теперь их жгло: пересохла слизистая оболочка глазного яблока.

Он сел.

На гравиметре — 2 g. Передний экран пуст. Звездное небо. От Луны ни следа. Куда делась Луна?

Она была внизу, под ним. Он вырвался из смертельного пике и теперь удалялся от Луны с сокращающейся скоростью. На какой высоте он проскочил над Луной? Это, конечно, зарегистрировал альтиметр, сейчас Пирксу было не до исследования цифровых данных! Только теперь он осознал, что гудевший беспрерывно сигнал тревоги умолк. Очень нужен такой сигнал! Лучше б уж колокол повесили под потолком. Кладбище так кладбище. Что-то тихонько зажужжало. Муха! Вторая муха! Жива, скотина этакая! Она летала под самым куполом. Во рту у Пиркса было что-то отвратительное, жесткое, с привкусом ткани — конец предохранительного пояса! Он все время безотчетно сжимал его зубами.

Пиркс пристегнул пояса, положил руки на рычаги — надо было вывести ракету на заданную орбиту. Ясное дело — обоих ИО уже и след простыл, но он должен доползти куда следует и сдать рапорт Луне Навигационной. А может быть, Луне Главной, поскольку у него была авария? Черт его знает! Или промолчать? Нет, это исключено. Вернется он — увидят кровь, даже потолок в красных брызгах (теперь он это заметил), да и автоматический регистратор записал на ленту все, что здесь творилось: и фортели предохранителя, и борьбу с аварийным рычагом. Хороши же эти АМУ — нечего сказать! Хороши и те, кто подсовывает пилотам такие гробы!

Однако пора было рапортовать, а Пиркс все не знал кому. Он наклонился, отпустил немного плечевой ремень.

Протянул руку к шпаргалке, лежащей под креслом. В конце концов, почему бы и не заглянуть в нее? Хотя теперь пригодится.

И тут что-то скрипнуло — совсем так, будто отворилась какая-то дверь.

Никакой двери за ним не было — он это прекрасно знал. Привязанный поясами к креслу, он не мог обер-

нуться назад. Но на экраны упала полоса света, звезды побледнели, и он услышал приглушенный голос шефа:

— Пилот Пиркс!

Пиркс хотел вскочить, но ремни не пустили, он упал обратно в кресло — ему казалось, что он сошел с ума. В проходе между стенкой кабины и прозрачной оболочкой показалась фигура шефа. Он остановился перед Пирксом в сером мундире, глядел на него серыми глазами — и улыбался. Пиркс не понимал, что с ним происходит. Прозрачная оболочка поднялась вверх, Пиркс инстинктивно отстегнул пояса, встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, будто их ветром сдуло.

— Весьма хорошо, пилот Пиркс, — сказал шеф. — Весьма хорошо.

Пиркс все еще не соображал, что с ним делается. Он встал по команде «смирно» перед шефом и сделал нечто страшное — повернул голову, насколько позволил надутый воротник.

Весь проход вместе с люком был раскрыт — словно ракета в этом месте лопнула пополам. В лучах вечернего солнца виднелся помост ангара, стоящие на нем люди, тросы, решетчатые фермы. Пиркс поглядел на шефа.

— Иди, мальчуган, — сказал шеф. И медленно протянул ему руку, которую Пиркс взял. Крепко сжав его пальцы, шеф добавил: — Выражаю тебе благодарность от имени Института полетов, а от своего собственного — прошу извинить меня. Это... это необходимо. А теперь идем, зайдешь ко мне. Сможешь умыться.

Он двинулся к выходу. Пиркс пошел за ним, ступая тяжело и неуклюже. Снаружи было холодно, веял слабый ветер — он врвался в ангар через раздвинутую часть свода. Обе ракеты стояли на тех же местах, что и раньше, лишь несколько длинных, толстых кабелей были подключены к их носам. Прежде этих кабелей не было,

Инструктор, стоявший на помосте, что-то говорил ему. Сквозь шлем он плохо слышал.

— Что? — спросил он машинально.

— Воздух! Выпусти воздух из комбинезона!

— Ага, воздух...

Он нажал клапан — зашипело. Пиркс стоял на помосте. Какие-то два человека в белых халатах ждали у барьера. Похоже было, что у его ракеты лопнул нос. Постепенно Пиркса начало охватывать ощущение странной слабости... изумления... разочарования... которое все явственнее переходило в гнев.

Отвинчивали крышку второй ракеты. Шеф стоял на помосте, люди в белых халатах что-то ему говорили. Внутри ракеты раздался слабый треск...

Какой-то коричневый извивающийся клубок выкатился оттуда, смутным пятном моталась голова без шлема, давилась криком...

У Пиркса подкосились ноги.

Этот человек...

Бёрст врезался в Луну.

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС

Случилось это на четвертом году обучения, как раз перед каникулами.

К тому времени Пиркс уже отработал все практические занятия, остались позади зачеты на симуляторе*, два настоящих полета, а также «самостоятельное колечко» — полет на Луну с посадкой и обратным рейсом. Он чувствовал себя докой в этих делах, старым космическим волком, для которого любая планета — дом родной, а поношенный скафандр — излюбленная одежда, который первым замечает в космосе мчащийся навстречу метеоритный рой и с сакраментальным возгласом «Внимание! Рой!» совершает молниеносный маневр, спасая от гибели корабль, себя и своих менее расторопных коллег.

Так по крайней мере он себе это представлял, с огорчением отмечая во время бритья, что по его виду никак не скажешь, сколько ему довелось пережить... Даже этот паскудный случай при посадке в Центральном Заливе, когда прибор Гаррельсбергера взорвался чуть ли не у него в руках, не оставил Пирксу на память ни одного седого волоска! Что говорить — он понимал бесплодность своих мечтаний о седине (а чудесно было бы все же иметь тронутые инеем виски!), но пускай бы хоть собрались у глаз морщинки, с первого взгляда говорящие, что появились они от напряженного наблюдения за звездами, лежащими по курсу корабля! Пиркс как был толстощеким, так и остался. А поэтому он скоблил притупившейся бритвой свою физиономию, которой втайне стыдился, и придумывал каждый раз все более потрясающие ситуации, из которых в конце концов выходил победителем.

* Симулятор — учебный стенд, создающий иллюзию космического полета.— *Прим. ред.*

Маттерс, который кое-что знал о его огорчениях, а кое о чем догадывался, посоветовал Пирксу отпустить усы. Трудно сказать, шел ли этот совет от души. Во всяком случае, когда Пиркс однажды утром в уединении приложил обрывок черного шнура к верхней губе и посмотрелся в зеркало, его затрясло — такой у него был идиотский вид. Он усомнился в Маттерсе, хотя тот, возможно, не желал ему зла; и уж наверняка неповинна была в этом хорошенькая сестра Маттерса, которая сказала однажды Пирксу, что он выглядит «ужасно добропорядочно». Ее слова доконали Пиркса. Правда, в ресторане, где они тогда танцевали, не произошло ни одной из тех неприятностей, которых обычно побаивался Пиркс. Он только однажды перепутал танец, а она была настолько деликатна, что промолчала, и Пиркс не скоро заметил, что все остальные танцуют совсем другой танец. Но потом все пошло как по маслу. Он не наступал ей на ноги, в меру сил своих старался не хохотать (его хохот заставлял оборачиваться всех встречающих на улице), а потом проводил ее домой.

От конечной остановки нужно было еще порядочно пройти пешком, и он всю дорогу прикидывал, как дать ей понять, что он вовсе не «ужасно добропорядочен» — слова эти задели его за живое. Когда они уже подходили к дому, Пиркс переполошился. Он так ничего и не придумал, а вдобавок из-за усиленных размышлений молчал как рыба; в голове его царил пустота, отличавшаяся от космической лишь тем, что была пронизана отчаянным напряжением. В последнюю минуту метеорами пронеслись две-три идеи: назначить ей новое свидание, поцеловать ее, пожать ей руку (об этом он где-то читал) многозначительно, нежно и в то же время коварно и страстно. Но ничего не получилось. Он ее не поцеловал, не назначил свидания, даже руки не подал... И если б на этом все кончилось! Но, когда она своим приятным, воркующим голоском произнесла «Спокойной ночи», повернулась к калитке и взялась за

завдвижку, в нем проснулся бес. А может, это произошло просто потому, что в ее голосе он ощутил иронию, действительную или воображаемую, бог знает, но совершенно инстинктивно, как раз когда она повернулась к нему спиной, такая самоуверенная, спокойная... это, конечно, из-за красоты, держалась она королевой, красивые девушки всегда так... Ну, короче, он дал ей шлепок по одному месту, и притом довольно сильный. Услышал тихий, сдавленный вскрик. Должно быть, она порядком удивилась! Но Пиркс не стал дожидаться, что будет дальше. Он круто повернулся и убежал, словно боялся, что она погонится за ним... На другой день, увидев Маттерса, он подошел к нему, как к mine с часовым механизмом, но тот ничего не знал о случившемся.

Пиркса беспокоила эта проблема. Ни о чем он тогда не думал (как легко это ему, к сожалению, дается!), а взял да отвесил ей шлепок. Разве так поступают «ужасно добропорядочные» люди?

Он не был вполне уверен, но опасался, что, пожалуй, так. Во всяком случае, после истории с сестрой Маттерса (с той поры он избегал этой девушки) он перестал по утрам кривляться перед зеркалом. А ведь одно время он пал так низко, что несколько раз с помощью второго зеркала пытался найти такой поворот лица, который хоть частично удовлетворял бы его великие запросы. Разумеется, он не был законченным идиотом и понимал, как смешотворны эти обезьяньи ужимки, но, с другой стороны, ведь искал-то он не признаков красоты, помилуй бог, а черты характера! Ведь он читал Конрада и с пылающим лицом мечтал о великом молчании Галактики, о мужественном одиночестве, а разве можно представить себе героя вечной ночи, отшельника, с такой ряшкой? Сомнения не рассеялись, но с кривлянием перед зеркалом он покончил, доказав себе, какая у него твердая, несгибаемая воля.

Эти волнующие переживания несколько улеглись, по-

тому что подошла пора сдавать экзамен профессору Мериносу, которого за глаза называли Мериносом. По правде сказать, Пиркс почти не боялся этого экзамена. Он всего лишь три раза наведывался в здание Института навигационной астродезии и астрогнозии, где у двери аудитории курсанты караулили выходящих от Мериноса не столько для того, чтобы отпраздновать их успех, сколько чтобы разузнать, какие новые каверзные вопросы придумал Зловещий Баран. Такова была вторая кличка сурового экзаменатора. Этот старик, который в жизни не ступал ногой не то что на Луну, а даже на порог ракеты! — благодаря теоретической эрудиции знал каждый камень в любом из кратеров Моря Дождей, скалистые хребты астероидов и самые неприступные районы на спутниках Юпитера; говорили, что ему прекрасно известны метеориты и кометы, которые будут открыты спустя тысячелетие, — он уже сейчас математически рассчитал их орбиты, предаваясь своему любимому занятию — анализу возмущения небесных тел. Необъятность собственной эрудиции сделала его придирчивым по отношению к микроскопическому объему знаний курсантов.

Пиркс, однако, не боялся Мериноса, потому что подобрал к нему ключик. Старик ввел свою собственную терминологию, которой в специальной литературе никто другой не применял. Так вот, Пиркс, движимый врожденной сметливостью, заказал в библиотеке все труды Мериноса и — нет, вовсе он их не читал — попросту перелистал и выписал сотни две мериносовских словесных уродцев. Вызубрил их как следует и был уверен, что не провалится. Так оно и случилось. Профессор, уловив, в каком стиле Пиркс отвечает, встрепнулся, поднял лохматые брови и слушал Пиркса, как соловья. Тучи, обычно не сходявшие с его чела, рассеялись. Он словно помолодел — ведь он слушал будто самого себя. А Пиркс, окрыленный этой переменной в профессоре и собственным нахальством, неся

на всех парусах, и, хотя полностью засыпался на последнем вопросе (тут нужно было знать формулы и вся мериносовская риторика не могла помочь), профессор вывел жирную четверку и выразил сожаление, что не может поставить пять.

Так Пиркс укротил Мериноса. Взял его за рога. Куда больше страха испытывал он перед «сумасшедшей ванной» — очередным и последним этапом накануне выпускных экзаменов.

Когда дело доходило до «сумасшедшей ванны», тут уж не помогали никакие уловки. Прежде всего нужно было явиться к Альберту, который числился обычным служителем при кафедре экспериментальной астропсихологии, но фактически был правой рукой доцента, и слово его стоило больше, нежели мнение любого ассистента. Он был доверенным лицом еще у профессора Балло, вышедшего год назад на пенсию на радость курсантам и к огорчению служителя (ибо никто так хорошо не понимал его, как отставной профессор). Альберт вел испытуемого в подвал, где в тесной комнатке снимал с его лица парафиновый слепок. Затем полученная маска подвергалась небольшой операции: в носовые отверстия вставлялись две металлические трубки. На этом дело кончалось.

Затем испытуемый отправлялся на второй этаж в «баню». Конечно, это была вовсе не баня, но, как известно, студенты никогда не называют вещи их подлинными именами. Это было просторное помещение с бассейном, полным воды. Испытуемый — на студенческом жаргоне «пациент» — раздевался и погружался в воду, которую нагревали до тех пор, пока он не переставал ощущать ее температуру. Это было индивидуально: для одних вода «переставала существовать» при двадцати девяти градусах, для других — лишь после тридцати двух. Но, когда юноша, лежавший навзничь в воде, поднимал руку, воду прекращали нагревать и один из ассистентов накладывал

ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль (но не цианистый калий, как всерьез уверяли те, кто уже искупался в «сумасшедшей ванне»), — кажется, простую поваренную соль. Ее добавляли до тех пор, пока «пациент» (он же «утопленник») не всплывал так, что тело его свободно держалось в воде, чуть ниже поверхности. Только металлические трубки высывались наружу, и поэтому он мог свободно дышать.

Вот, собственно, и все. На языке ученых этот опыт назывался «устранение афферентных импульсов». И в самом деле, лишенный зрения, слуха, обоняния, осязания (присутствие воды очень скоро становилось неощутимым), подобно египетской мумии, скрестив руки на груди, «утопленник» покоился в состоянии невесомости. Сколько времени? Сколько мог выдержать.

Как будто ничего особенного. Однако в таких случаях с человеком начинало твориться нечто странное. Конечно, о переживаниях «утопленников» можно было почитать в учебниках по экспериментальной психологии. Но в том-то и дело, что переживания эти были сугубо индивидуальны. Около трети испытуемых не выдерживали не то что шести или пяти, а даже и трех часов. И все же игра стоила свеч, так как направление на преддипломную практику зависело от оценки за выносливость: занявший первое место получал первоклассную практику, совсем не похожую на мало интересное, в общем-то даже нудное пребывание на различных околоземных станциях. Невозможно было заранее предсказать, кто из курсантов окажется «железным», а кто сдастся: «ванна» подвергала нешуточному испытанию цельность и твердость характера.

Пиркс начал неплохо, если не считать того, что он без всякой нужды втянул голову под воду еще до того, как ассистент наложил ему маску; при этом он глотнул добрую порцию воды и получил возможность убедиться, что это самая обыкновенная соленая вода.

После того как наложили маску, Пиркс почувствовал легкий шум в ушах. Он находился в абсолютной темноте. Расслабил мускулы, как было предписано, и неподвижно повис в воде. Глаза он не мог открыть, даже если б захотел: мешал парафин, плотно прилежавший к щекам и лбу. Сначала зазудело в носу, потом зачесался правый глаз. Сквозь маску, конечно, почесаться было нельзя. О зуде ничего не говорилось в отчетах других «утопленников»; по-видимому, это был его личный вклад в экспериментальную психологию. Совершенно неподвижный, покоем он в воде, которая не согревала и не охлаждала его нагое тело. Через несколько минут он вообще перестал ее ощущать.

Разумеется, Пиркс мог пошевелить ногами или хоть пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, но он знал, что с потолка за ним наблюдает глаз регистрирующей камеры; за каждое движение начислялись штрафные очки. Вслушавшись в самого себя, он начал вскоре различать тоны собственного сердца, необычно слабые и будто доносящиеся с огромного расстояния. Чувствовал он себя совсем не плохо. Зуд прекратился. Ничто его не стесняло. Альберт так ловко приладил трубки к маске, что Пиркс и забыл о них. Он вообще ничего не ощущал. Но эта пустота становилась тревожащей. Прежде всего он перестал ощущать положение собственного тела, рук, ног. Он еще помнил, в какой позе лежит, но именно помнил, а не ощущал. Пиркс начал соображать, давно ли он находится под водой, с этим белым парафином на лице. И с удивлением понял, что он, обычно умевший без часов определять время с точностью до одной-двух минут, не имеет ни малейшего представления о том, сколько минут — или, может, десятков минут? — прошло после погружения в «сумасшедшую ванну».

Пока Пиркс удивлялся этому, он обнаружил, что у него уже нет ни туловища, ни головы — вообще ничего. Совсем

так, будто его вообще нет. Такое чувство не назовешь приятным. Оно скорее пугало. Пиркс будто растворялся постепенно в этой воде, которую тоже совершенно перестал ощущать. Вот уже и сердца не слышно. Из всех сил он напрягал слух — безрезультатно. Зато тишина, целиком наполнявшая его, сменилась глухим гулом, непрерывным белым шумом, таким неприятным, что прямо хотелось уши заткнуть. Мелькнула мысль, что прошло, наверное, немало времени и несколько штрафных очков не испортят общей оценки: ему хотелось шевельнуть рукой.

Нечем было шевельнуть: руки исчезли. Он даже не то чтобы испугался — скорее обалдел. Правда, он читал что-то о «потере ощущения тела», но кто бы мог подумать, что дело дойдет до такой крайности?

«По-видимому, так и должно быть,— успокаивал он себя.— Главное — не шевелиться; если хочешь занять хорошее место, надо вытерпеть все это». Эта мысль поддерживала его некоторое время. Сколько? Он не знал.

Потом стало еще хуже.

Темнота, в которой он находился, или, точнее, темнота — он сам, заполнилась слабо мерцающими кругами, плавающими где-то на границе поля зрения,— круги эти даже и не светились, а смутно белели. Он повел глазами, почувствовал это движение и обрадовался. Но странно: после нескольких движений и глаза отказались повиноваться...

Но зрительные и слуховые феномены, эти мерцания, мелькания, шумы и гулы, были лишь безобидным прологом, игрушкой по сравнению с тем, что началось потом.

Он распадался. Уж даже и не тело — о теле и речи не было — оно перестало существовать с незапамятных времен, стало давнопрошедшим, чем-то утраченным навсегда. А может, его и не было никогда?

Случается, что придавленная, лишенная притока крови рука отмирает на некоторое время, к ней можно при-

коснуться другой, живой и чувствующей рукой, словно к обрубку дерева. Почти каждому знакомо это странное ощущение, неприятное, но, к счастью, быстро проходящее. Но человек при этом остается нормальным, способным ощущать, живым, лишь несколько пальцев или кисть руки омертвели, стали будто посторонней вещью, прикрепленной к его телу. А у Пиркса не осталось ничего, или, вернее, почти ничего, кроме страха.

Он распадался — не на какие-то там отдельные личности, а именно на страхи. Чего Пиркс боялся? Он понятия не имел. Он не жил ни наяву (какая может быть явь без тела?), ни во сне. Ведь не сон же это: он знал, где находится, что с ним делают. Это было нечто третье. И на опьянение абсолютно не похоже.

Он и об этом читал. Это называлось так: «Нарушение деятельности коры головного мозга, вызванное лишением внешних импульсов».

Звучало это не так уж плохо. Но на опыте...

Он был немного здесь, немного там, и все расплзлось. Верх, низ, стороны — ничего не осталось. Он силился припомнить, где должен быть потолок. Но что думать о потолке, если нет ни тела, ни глаз?

— Сейчас, — сказал он себе, — наведем порядок. Пространство — размеры — направления...

Слова эти ничего не значили. Он подумал о времени, повторял «время, время», будто жевал комоч бумаги. Скопление букв без всякого смысла. Уже не он повторял это слово, а некто другой, чужой, вселившийся в него. Нет, это он вселился в кого-то. И этот кто-то раздувался. Распухал. Становился безграничным. Пиркс бродил по каким-то непонятным недрам, сделался громадным, как шар, стал немыслимым слоноподобным пальцем, он весь был пальцем, но не своим, не настоящим, а каким-то вымышленным, неизвестно откуда взявшимся. Этот палец обособлялся. Он становился чем-то угнетающим, непо-

движным, согнутым укоризненно и вместе с тем нелспо, а Пиркс, сознание Пиркса возникало то по одну, то по другую сторону этой глыбы, неестественной, теплой, омерзительной, никакой...

Глыба исчезла. Он кружился. Вращался. Падал камнем, хотел крикнуть. Глазные орбиты без лица, округлые, вытаращенные, расплывающиеся, если пробовать им сопротивляться, наступали на него, лезли в него, распирали его изнутри, словно он резервуар из тонкой пленки, готовый вот-вот лопнуть.

И он взорвался...

Он распался на независимые друг от друга доли темноты, которые парили, как беспорядочно взлетающие клочки обуглившейся бумаги. И в этих мельканиях и взлетах было непонятное напряжение, усилие, будто при смертельной болезни, когда сквозь мглу и пустоту, прежде бывшие здоровым телом и превратившиеся в бесчувственную стынущую пустыню, что-то жаждет в последний раз отозваться, добраться до другого человека, увидеть его, прикоснуться к нему.

— Сейчас,— удивительно четко произнес кто-то, но это шло извне, это был не он. Может, какой-то добрый человек сжалился и заговорил с ним? С кем? Где? Но ведь он слышал. Нет, это был не настоящий голос.

— Сейчас. Другие-то прошли сквозь это. От этого не умирают. Нужно держаться.

Эти слова все повторялись. Пока не утратили смысл. Опять все расплзлось, как размокшая серая промокашка. Как снежный сугроб на солнце. Его размывало, он, недвижимый, неся к куда-то, исчезал.

«Сейчас меня не будет»,— подумал он вполне серьезно, ибо это походило на смерть, а не на сон. Только одно он знал еще: это не сон. Его окружали со всех сторон. Нет, не его. Их. Их было несколько. Сколько? Он не мог сосчитать.

— Что я тут делаю? — спросило что-то в нем. — Где я? В океане? На Луне? Испытание...

Не верилось, что это испытание. Как же так: немного парафина, какая-то подсоленная вода — и человек перестает существовать? Пиркс решил покопчить с этим во что бы то ни стало. Он боролся, сам не зная с чем, будто приподнимал придавивший его огромный камень. Но не смог даже шелохнуться. В последнем проблеске сознания он собрал остатки сил и застонал. И услышал этот стон — приглушенный, отдаленный, словно радиосигнал с другой планеты.

На какое-то мгновение он почти очнулся, сосредоточился — чтобы впасть в очередную агонию, еще более мрачную, все разрушающую.

Никакой боли он не ощущал. Э, если б была боль! Она сидела бы в теле, напоминала бы о нем, очерчивала бы какие-то границы, терзала бы нервы. Но это была безболезненная агония — мертвящий, нарастающий прилив небытия. Он почувствовал, как судорожно вдыхаемый воздух входит в него — не в легкие, а в эту массу трепещущих, скомканных обрывков сознания. Застонать, еще раз застонать, услышать себя...

— Если хочешь стонать, не мечтай о звездах, — слышался тот же неизвестный, близкий, но чужой голос.

Он одумался и не застонал. Впрочем, его уже не было. Он сам не знал, во что превратился: в него вливали какие-то липкие, холодные струи, а хуже всего было то — почему ни один болван даже не упомянул об этом? — что все шло через него насквозь. Он стал прозрачным. Он был дырой, решетом, извилистой цепью пещер и подземных переходов.

Потом и это распалось — остался только страх, который не рассеялся даже тогда, когда тьма задрожала, как в ознобе, от бледного мерцания — и исчезла.

Потом стало хуже, намного хуже. Об этом, однако,

Пиркс не мог впоследствии ни рассказать, ни даже вспомнить отчетливо и подробно: для таких переживаний еще не найдены слова. Ничего он не смог из себя выдать. Да, да, «утопленники» обогащались, вот именно обогащались еще одним дьявольским переживанием, которого профаны даже представить себе не могут. Другое дело, что завидовать тут нечему.

Пиркс прошел еще много состояний. Некоторое время его не было, потом он снова появился, многократно умноженный; потом что-то выедало у него весь мозг, потом были какие-то путанные, невыразимые словами мучения — их объединял страх, переживший и тело, и время, и пространство. Все.

Страх-то он наглотался досыта.

Доктор Гротнус сказал:

— Первый раз вы застонали на сто тридцать восьмой минуте, второй раз — на двести двадцать седьмой. Всего три штрафных очка — и никаких судорог. Положите ногу на ногу. Проверим рефлексy... Как вам удалось продержаться так долго — об этом потом.

Пиркс сидел на сложенном вчетверо полотенце, чертовски шершавом и поэтому очень приятном. Ни дать ни взять — Лазарь. Не в том смысле, что он внешне был похож на Лазаря, но чувствовал он себя воистину воскресшим. Он выдержал семь часов. Занял первое место. За последние три часа тысячу раз умирал. Но не застонал. Когда его вытащили из воды, обтерли, промассировали, сделали укол, дали глоток коньяку и повели в лабораторию, где ждал доктор Гротнус, он мельком взглянул в зеркало. Он был совершенно оглушен, одурманен, будто не один месяц пролежал в горячке. Он знал, что все уже позади. И все же взглянул в зеркало. Не потому, что надеялся увидеть седину, а просто так. Увидел свою круглую физиономию, быстро отвернулся и зашагал дальше, оставляя на полу мокрые следы. Доктор Гротнус долго пытался

вытянуть из него хоть какие-нибудь описания пережитого. Шутка сказать — семь часов! Доктор Гротius теперь по-иному смотрел на Пиркса: не то чтобы с симпатией — скорее с любопытством, как энтомолог, открывший новый вид бабочки. Или очень редкую букашку. Возможно, он видел в нем тему будущего научного труда?

Нужно с сожалением признать, что Пиркс оказался не особенно благодарным объектом для исследования. Он сидел и придурковато хлопал глазами: все было плоское, двумерное; когда он тянулся к какому-нибудь предмету, тот оказывался ближе или дальше, чем рассчитывал Пиркс. Это было обычное явление. Но не очень-то обычным был его ответ на вопрос ассистента, пытавшегося добиться каких-нибудь подробностей.

— Вы там лежали? — ответил он вопросом на вопрос.

— Нет, — удивился доктор Гротius, — а что?

— Так полежите, — предложил ему Пиркс, — тогда сами увидите, каково там.

На следующий день Пиркс чувствовал себя уже настолько хорошо, что мог даже острить по поводу «сумасшедшей ванны». Теперь он стал ежедневно наведываться в главное здание, где под стеклом на доске объявлений вывешивались списки с указанием места практики. Но до конца недели его фамилия так и не появилась.

А в понедельник его вызвал шеф.

Встревожился Пиркс не сразу. Сначала он стал считать свои прегрешения. Речь не могла идти о том, что впустили мышь в ракету «Остенса» — дело давнее, да и мышь была крошечная, и вообще тут говорить не о чем. Потом была эта история с будильником, автоматически включавшим ток в сетку кровати, на которой спал Мебиус. Но и это, собственно, пустяк. И не такое вытворяют в двадцать два года; к тому же шеф был снисходителен. До каких-то пределов. Неужели он узнал о «привидении»?

«Привидение» было собственной, оригинальной выдум-

кой Пиркса. Разумеется, ему помогали коллеги — есть же у него друзья. Но Барна следовало проучить. Операция «Привидение» прошла как по-писаному. Набили порохом бумажный кулек, потом из пороха же сделали дорожку, трижды опоясавшую комнату, и вывели ее под стол. Может, пороху насыпали действительно многовато. Другим концом пороховая дорожка выходила через щель под дверью в коридор. Барна заранее обработали: целую неделю по вечерам только и говорили, что о призраках. Пиркс, не будь прост, расписал роли: одни парни рассказывали всякие страсти, а другие разыгрывали из себя неверующих, чтобы Барн не догадался о подвохе.

Барн не принимал участия в этих метафизических спорах, лишь иногда посмеивался над самыми яркими апологетами «потустороннего мира». Да, но надо было видеть, как вылетел он в полночь из своей спальни, ревя, словно буйвол, спасающийся от тигра. Огонь ворвался сквозь щель под дверью, трижды обежал вокруг комнаты и так рванул под столом, что книги посыпались. Пиркс, однако, переборщил — занялся пожар. Несколькими ведрами воды пламя погасили, но осталась выжженная дыра в полу и вонь. В известном смысле номер не удался. Барн не поверил в привидения. Пиркс решил, что, наверное, все дело в этом «привидении». Утром он встал пораньше, надел свежую сорочку, на всякий случай заглянул в «Книгу полетов», в «Навигацию» и пошел, махнув на все рукой.

Кабинет у шефа был великолепный. Так по крайней мере казалось Пирксу. Стены были сплошь увешаны картами неба, на темно-синем фоне светились желтые, как капельки меда, созвездия. На письменном столе стоял маленький немой лунный глобус, вокруг было полным-полно книг, дипломов, а у самого окна стоял второй, гигантский глобус. Это было подлинное чудо: нажмешь соответствующую кнопку и сразу вспыхивают и выходят на орбиту любые спутники, — говорят, там были не только нынешние,

но и самые старые, включая первые, уже ставшие историческими спутники 1957 года.

В этот день, однако, Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Сказал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял очки — он начал носить их всего год назад — и посмотрел на Пиркса, будто первый раз в жизни его увидел. Такая у него была манера. От этого взгляда мог растеряться даже святой, не имевший на совести ни одного грешка. Пиркс не был святым. Он заерзал в кресле. То проваливался в глубину, принимая позу неподобающе свободную, словно миллионер на палубе собственной яхты, то вдруг сползал вперед, чуть ли не на ковер и на собственные пятки. Выдержав паузу, шеф спросил:

— Ну, как твои дела, парень?

Он обратился на «ты», значит, дела обстоят неплохо. Пиркс понял, что все в порядке.

— Говорят, ты искупался.

Пиркс подтвердил. К чему бы это? Настороженность не покидала его. Может, за невежливость по отношению к ассистенту...

— Есть одно свободное место для практики на станции «Менделеев». Знаешь, где это?

— Астрофизическая станция на «той стороне»... — ответил Пиркс.

Он был несколько разочарован. Была у него тайная надежда, настолько сокровенная, что он из суеверия даже самому себе в ней не признавался. Он мечтал о другом. О полете. Столько ведь ракет, столько планет, а он должен довольствоваться обычной стационарной практикой на «той стороне»... Когда-то считалось особым шиком называть «той стороной» невидимое с Земли полушарие Луны. Но сейчас все так говорят.

— Верно. Ты знаешь, как она выглядит? — спросил шеф.

У него было странное выражение лица — словно он не договаривал чего-то. Пиркс на миг заколебался: врать или нет?

— Нет, — сказал он.

— Если возьмешься за это задание, я передам тебе всю документацию.

Шеф положил руку на кипу бумаг.

— Значит, я имею право не взяться? — с нескрываемым оживлением спросил Пиркс.

— Имеешь. Потому что задание опасное. Точнее, может оказаться опасным...

Шеф собирался сказать еще что-то, но не смог. Он замолчал, чтобы лучше приглядеться к Пирксу; тот уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно, благоговейно вздохнул — да так и замер, будто забыл, что надо дышать. Зардевшись, как девица, перед которой предстал королевич, он ждал новых упреждающих слов. Шеф откашлялся.

— Ну, ну, — произнес он отрезвляюще. — Я преувеличил. Во всяком случае, ты ошибаешься.

— То есть как? — пробормотал Пиркс.

— Я хочу сказать, что ты не единственный на Земле человек, от которого все зависит... Человечество не ждет, что ты его спасешь. Пока еще не ждет.

Пиркс, красный как рак, терзался, не зная, куда девать руки. Шеф, известный мастер на всякие штучки, минуту назад показал ему райское видение: Пиркса-героя, который после совершения подвига проходит по космодрому сквозь застывшую толпу и слышит восторженный шепот: «Это он! Это он!», а сейчас, будто совсем не понимая, что делает, начал принижать задание, сводить масштабы миссии к обыкновенной преддипломной практике и наконец разъяснил:

— Персонал станции комплектуется из астрономов, их отвозят на «ту сторону», чтобы они отсидели положенный

им месяц, и только. Нормальная работа там не требует никаких выдающихся качеств. Поэтому кандидатов подвергали обычным испытаниям первой и второй категорий трудности. Но сейчас, после того случая, нужны люди, более тщательно проверенные. Лучше всего подошли бы, конечно, пилоты, но, сам понимаешь, нельзя же сажать пилотов на обычную наблюдательную станцию...

Пиркс понимал это. Не только Луна, но и вся солнечная система требовала пилотов, навигаторов и других специалистов — их было все еще слишком мало. Но что это за случай, о котором упомянул шеф? Пиркс благоразумно молчал.

— Станция очень мала. Построили ее по-дурацки: не на дне кратера, а под северной вершиной. С размещением станции была целая история, ради сохранения престижа пожертвовали данными селенодезических исследований. Но со всем этим ты познакомишься позже. Достаточно сказать, что в прошлом году обвалилась часть горы и разрушила единственную дорогу. Теперь добраться туда можно лишь днем, и то с трудом. Начали проектировать подвесную дорогу, но потом работу приостановили, так как уже принято решение перенести в будущем году станцию впис. Практически станция ночью отрезана от мира. Прекращается радиосвязь. Почему?

— Простите — что?

— Почему, я спрашиваю, прекращается радиосвязь?

Вот такой он был, этот шеф. Облагодетельствовал миссией, завел невинный разговор — и вдруг превратил все это в экзамен. Пиркс начал потеть.

— Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, ни ионосферы, радиосвязь там поддерживается с помощью ультракоротких волн... С этой целью там построены радиорелейные линии, сходные с телевизионными...

Шеф, опершись локтями о письменный стол, вертел в пальцах самопишущую ручку, давая понять, что будет

терпелив и дослушает до конца. Пиркс умышленно распространялся о вещах, известных любому младенцу, чтобы отсрочить ту минуту, когда придется вступить в область, где его знания оставляли желать лучшего.

— Такие передаточные линии находятся как на этой, так и на «той стороне», — тут Пиркс набрал скорость, как корабль, входящий в родные воды. — На той стороне их восемь. Они соединяют Луну Главную со станциями «Центральный Залив», «Сонное Болото», «Море дождей»...

— Это ты можешь опустить, — великодушно разрешил шеф. — И гипотезу о возникновении Луны — тоже. Я слушаю...

Пиркс заморгал.

— Помехи в связи возникают тогда, когда линия оказывается в зоне терминатора. Когда некоторые ретрансляторы находятся еще в тени, а над остальными уже восходит Солнце...

— Что такое терминатор, я знаю. Не надо объяснять, — задумчиво сказал шеф.

Пиркс закашлялся. Потом высморкался. Но нельзя же тянуть до бесконечности.

— В связи с отсутствием атмосферы корпускулярное излучение Солнца, бомбардируя поверхность Луны, вызывает... э-э-э... помехи в радиосвязи. Именно эти препятствия препятствуют...

— Препятствия препятствуют — совершенно верно, — поддакнул шеф. — Но в чем же они состоят?

— Это вторично возбуждаемое излучение, эффект Но... Но...

— Но?.. — благосклонно повторил шеф.

— Новинского! — выкрикнул Пиркс. Вспомнил все же. Но и этого было мало.

— В чем заключается этот эффект?

Вот этого Пиркс и не знал. Вернее, раньше знал, но забыл. Вызубренные когда-то сведения он донес до порога

экзаменационного зала, как жонглер несет на голове целую пирамиду из самых невероятных предметов, но теперь-то экзамен остался позади... Шеф сочувственно покачал головой, прерывая его бредовые измышления об электронах, вынужденном излучении и резонансе.

— Н-да,— произнес этот безжалостный человек,— а профессор Меринус поставил тебе четверку... Неужели он ошибся?

Пирксу показалось, что он сидит вовсе не в кресле, а на вулкане.

— Мне не хотелось бы огорчать его,— продолжал шеф,— так что пусть он лучше ничего не узнает...

Пиркс облегченно вздохнул.

— ...но я попрошу профессора Лааба, чтобы на выпускном экзамене...

Шеф многозначительно умолк. Пиркс замер. Не от этой угрозы: рука шефа медленно отодвигала документы, которые Пиркс должен был получить вместе со своей миссией.

— Почему не осуществляется связь посредством кабеля? — спросил шеф, не глядя на него.

— Потому что это дорого. Коаксиальный кабель соединяет пока только Луну Главную с Архимедом. Но в течение ближайших пяти лет намечают всю радиорелейную сеть сделать кабельной.

Не переставая хмуриться, шеф вернулся к первоначальной теме.

— Ну, ладно. Практически каждую ночь на Луне станция «Менделеев» отрезана от всего мира на двести часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце после обычного перерыва в связи станция не откликнулась на позывные «Циолковского». На рассвете со станции «Циолковский» отправили специальную команду. Выяснилось, что главный люк открыт, а в шлюзовой камере лежит человек. Дежурными были канадцы Шалье и Сэвидж. В камере лежал Сэвидж. Стекло его шлема треснуло. Он

умер от удушья. Шалье удалось найти лишь сутки спустя на дне пропасти под Солнечными Воротами. Причина смерти — падение. В остальном на станции был полный порядок: нормально работала аппаратура, сохранились нетронутыми запасы продовольствия и не удалось обнаружить никаких признаков аварии. Ты читал об этом?

— Читал. Но в газете писали, что произошел несчастный случай. Психоз... двойное самоубийство в припадке помешательства...

— Вздор, — перебил шеф. — Я знал Сэвиджа. Еще по Альпам. Такие люди не меняются. Ну, ладно. В газетах писали чепуху. Прочти-ка доклад смешанной комиссии. Послушай! Такие парни, как ты, в принципе проверены не хуже, чем пилоты, но дипломов у вас нет, значит, летать вы не можете. А преддипломную практику тебе так или иначе пройти надо. Если согласишься — завтра полетишь.

— А второй кто?

— Не знаю. Какой-то астрофизик. В общем-то там нужны астрофизики. Боюсь, что ему от тебя будет мало пользы, но, может, ты подучишься немного астрографии. Ты понял, о чем идет речь? Комиссия пришла к выводу, что произошел несчастный случай, но остается оттенок сомнения: ну, скажем, неясность. Там произошло что-то непонятное. Что именно — неизвестно. Вот и решили, что хорошо было бы послать туда в следующую смену хоть одного человека с психической подготовкой пилота. Я не вижу повода отказать им. В то же время, наверно, ничего особенного там не случится. Разумеется, смотри в оба, но никакой детективной миссии мы на тебя не возлагаем, никто не рассчитывает, что ты откроешь какие-то дополнительные подробности, проливающие свет на это происшествие, и это не твоя задача. Тебе что, плохо?

— Что, простите? Нет! — возразил Пиркс.

— А мне показалось. Ты уверен, что сумеешь вести

себя благоразумно? У тебя, я вижу, голова закружилась. Я подумываю...

— Я буду вести себя рассудительно,— заявил Пиркс самым решительным тоном, на какой был способен.

— Сомневаюсь,— сказал шеф.— Я посылаю тебя без особого энтузиазма. Если б ты не вышел на первое место...

— Так это из-за «ванны»! — только сейчас понял Пиркс.

Шеф сделал вид, что не слышал. Он подал Пирксу сначала бумаги, потом руку.

— Старт завтра в восемь утра. Вещей бери как можно меньше. Впрочем, ты уже бывал там, сам знаешь. Вот билет на самолет, вот броня на один из кораблей «Транс-галактики». Полетишь на Луну Главную, оттуда тебя перебросят дальше...

Шеф говорил еще что-то. Высказывал пожелания? Прощался? Пиркс не знал. Он ничего не слышал. Не мог слышать, потому что был очень далеко, уже на «той стороне». В ушах у него стоял грохот старта, а в глазах — белый, мертвый огонь лунных скал, и на лице его было написано полнейшее остоленение. Сделав поворот налево кругом, он наткнулся на большой глобус. Лестницу преодолел в четыре прыжка, словно и вправду был уже на Луне, где притяжение уменьшается в шесть раз. На улице Пиркс чуть не угодил под автомобиль, который затормозил с таким визгом, что прохожие остановились, — но он даже не заметил этого. Шеф, к счастью, не мог наблюдать, как Пиркс начинает вести себя «рассудительно», ибо снова погрузился в свои бумаги.

За последующие двадцать четыре часа с Пирксом, вокруг Пиркса, в связи с Пирксом произошло столько всего, что временами он чуть ли не тосковал по теплой, соленой «ванне», в которой абсолютно ничего не происходит.

Как известно, человеку одинаково вредны и нехватка, и избыток впечатлений. Но Пиркс таких выводов не делал. Все старания шефа как-то преуменьшить, ослабить и даже принизить значение миссии не возымели, скажем прямо, никакого действия. В самолет Пиркс вошел с таким выражением лица, что хорошенькая стюардесса невольно отступила на шаг; впрочем, это было явное недоразумение, так как Пиркс вообще ее не заметил. Шагал он так, словно возглавлял железную когорту; уселся в кресло с видом Вильгельма Завоевателя; кроме того, он был еще и Космическим Спасителем Человечества, Благодетелем Луны, Открывателем Страшных Тайн, Победителем Призраков Той Стороны — и все это лишь в будущем, в мечтах, что ничуть не портило ему самочувствия, совсем наоборот, наполняло безграничной доброжелательностью и снисходительностью по отношению к спутникам, которые и понятия не имели о том, кто находится вместе с ними в чреве огромного реактивного самолета! Он смотрел на них, как Эйнштейн в старости смотрел на малышей, играющих в песке.

«Селена», новый корабль компании «Трансгалактика», стартовала с Нубийского космодрома, из сердца Африки. Пиркс был доволен. Он, правда, не думал, что со временем в этих местах установят мемориальную доску с соответствующей надписью, — нет, *так* далеко он не заходил в мечтах. Но был довольно близок к этому. Правда, в чашу наслаждений начала понемногу просачиваться горечь. В самолете могли не знать о нем. Но на палубе межпланетного корабля? Оказалось, что сидеть ему придется внизу, в туристском классе, среди каких-то французов, которые были обвешаны фотоаппаратами и перебрасывались чертовски быстрыми и совершенно непонятными репликами. Он — в толпе галдящих туристов?!

Никому не было до него дела. Никто не облачал его в скафандр, не накачивал воздух, не спрашивал при этом,

как он себя чувствует, не прилаживал за спину баллоны. Пиркс утешил себя, что так нужно для конспирации. Салон туристского класса выглядел почти так же, как в реактивном самолете, только кресла были побольше и глубже да табло, на котором вспыхивали различные надписи, торчало под самым носом. Надписи эти преимущественно запрещали всякие вещи: вставать, ходить, курить. Напрасно пытался Пиркс выделиться из толпы профанов в астронавтике тем, что принял вполне профессиональную позу, положил ногу на ногу и не пристегнулся ремнем. Второй пилот приказал ему пристегнуться — и это был единственный момент, когда кто-либо из экипажа обратил на него внимание.

Наконец один из французов, видимо по ошибке, угостил его фруктовой помадкой. Пиркс взял ее, старательно забил рот сладкой клейкой массой и, покорно откинувшись во вздутую глубину кресла, предался размышлениям. Постепенно он снова уверился в том, что миссия его крайне опасна, и медленно смаковал ее ужас, словно закоренелый пьяница, которому попала в руки покрытая плесенью бутылка вина наполеоновских времен.

Ему досталось место у окна. Пиркс решил, разумеется, вообще не глядеть в окно — столько раз он уже это видел!

Однако он не выдержал. Лишь только «Селена» вышла на околоземную орбиту, с которой она должна была взять курс на Луну, Пиркс прилип к окну. Уж очень захватывал момент, когда исчерченная линиями дорог и каналов, испещренная пятнами городов и поселков поверхность Земли словно очищалась от всяких следов человеческого присутствия; а потом под кораблем развернулась пятнистая, облепленная хлопьями облаков выпуклость планеты, и взгляд, перебегая с черноты океанов на материки, тщетно старался обнаружить хоть что-нибудь созданное человеком. С расстояния в несколько сот километров Земля казалась пустой, ужасающе пустой, словно жизнь

на ней только начинала зарождаться, слабым налетом зелени отмечая самые теплые места па планете.

Пиркс действительно видел это уже много раз. Но эта перемена всегда заново ошеломяла его: было в ней нечто, с чем он не мог согласиться. Может быть, первое наглядное свидетельство микроскопичности человека по сравнению с космосом? Переход в сферу других масштабов, планетарных? Картина ничтожности многовековых усилий человека? Или, наоборот, торжество ничтожно малой величины, которая преодолела мертвую, ко всему безразличную силу тяготения этой ужасающей глыбы и, оставив за собой дикость горных массивов и щиты полярных льдов, ступила на берега других небесных тел? Эти размышления, вернее бессловесные чувства, уступили место другим, так как корабль изменил курс, чтобы сквозь «дыру» в радиационных поясах над Северным полюсом рвануться к звездам.

Долго смотреть на звезды ему не пришлось: на корабле зажглись огни. Подали обед, во время которого двигатели работали, чтобы создать искусственное тяготение. После обеда пассажиры опять легли в кресла, свет погас, и теперь можно было разглядывать Луну.

Они приближались к ней с южной стороны. За полтора-дваста километров от полюса полыхал отраженным солнечным светом кратер Тихо — белое пятно с выброшенными во все стороны лучевидными полосами; изумительная правильность этих полос поражала не одно поколение земных астрономов, а потом, когда загадка была решена, стала предметом студенческих шуток. Какому же первокурснику не внушали, что «белая шайба Тихо» — это и есть «дырка для лунной оси», а лучевидные полосы — это попросту слишком толсто нарисованные меридианы!

Чем ближе подлетали они к висящему в черной пустоте шару, тем нагляднее убеждались, что Луна — это застывший, запечатленный в отвердевших массивах лавы облик

мира, каким он был миллиарды лет назад, когда раскаленная Земля вместе со своим спутником проносилась сквозь тучи метеоритов, остатков планетообразования, когда град железа и камней неустанно молотил по тонкой коре Луны, дырявил ее, выпуская на поверхность потоки магмы. И когда через бесконечно долгий срок очистилось и опустело окружающее пространство, шар, лишенный воздушной оболочки, сохранился как омертвелое поле боя, как немой свидетель эпохи горообразовательных катаклизмов. А потом его изуродованная бомбардировками каменная маска стала источником вдохновения для поэтов и лирическим фонарем для влюбленных.

«Селена», неспая на своих двух палубах пассажиров и четыреста тонн груза, повернулась кормой к растущему лунному диску, начала медленное, плавное торможение и наконец, слегка вибрируя, села в одну из больших воронок на космодроме.

Пиркс побывал здесь уже трижды, причем два раза прилетал в однопочку и «собственноручно садился» на учебном поле, удаленном на полкилометра от пассажирской посадочной площадки.

Сейчас он даже и не видел учебного поля, так как гигантский, обшитый керамическими плитами корпус «Селены» передвинули на платформу гидравлического лифта и спустили вниз в герметический ангар, где проходил таможенный досмотр: наркотики? алкоголь? вещества взрывчатые, отравляющие, разъедающие? Пиркс располагал небольшим количеством отравляющего вещества, а именно плоской фляжкой коньяку, которую дал ему Маттерс. Она была спрятана в заднем кармане брюк. Затем последовала санитарная проверка: свидетельства о прививках, справка о стерилизации багажа — чтобы не затащить на Луну какие-либо микробы; это Пиркс прошел быстро. У барьера он задержался, думая, что, может, кто-нибудь встретит его.

Он стоял на антресоли. Ангар представлял собой огромное, вырубленное в скале и забетонированное помещение с плоским полом и куполообразным сводом. Света здесь было вдоволь, искусственного, дневного, он лился из люминесцентных пластин; множество людей сновали во все стороны; на электрокарах развозили багаж, баллоны со сжатым газом, аккумуляторы, ящики, трубы, катушки кабеля, а в глубине помещения неподвижно темнело то, что вызвало всю эту возню, — корпус «Селены», точнее, только его средняя часть, напоминавшая огромный газгольдер; корма покоилась глубоко под бетонным полом, в просторном колодце, а верхушка толстого тела ушла через круглое отверстие в верхний этаж помещения.

Пиркс постоял, пока не вспомнил, что нужно заняться собственными делами. В управлении космодрома его припаял какой-то служащий. Он устроил Пиркса на ночлег и сообщил, что ракета на «ту сторону» отправляется через одиннадцать часов. Он куда-то торопился и больше ничего, собственно, не сказал. Пиркс вышел в коридор, придя к убеждению, что тут форменный кавардак. Он даже не знал толком, по какому маршруту полетит — через Море Смита или напрямик к «Циолковскому»? И где все-таки его неизвестный будущий напарник? А какая-то комиссия? А программа предстоящей работы?

Он думал об этом, пока раздражение не перешло в ощущение более материальное, сосредоточившись в желудке. Пирксу захотелось есть. Он разыскал подходящий лифт и, изучив табличку с надписями на шести языках, которая висела в кабине, спустился в столовую для летного состава, но там узнал, что, поскольку он не плот, питаться ему надлежит в обычном ресторане.

Только этого не хватало. Он направился было в проклятый ресторан и вдруг вспомнил, что не получил свой рюкзак. Поднялся наверх, в ангар. Багаж уже отправили в гостиницу. Пиркс махнул рукой и пошел обедать. Его

затерло между двумя потоками туристов: французы, прилетевшие вместе с ним, направлялись в ресторан, и туда же шли какие-то швейцарцы, голландцы и немцы, только что вернувшиеся с экскурсии селенобусом к подножию кратера Эратосфена. Французы подпрыгивали, как обычно делают люди, впервые испытывающие очарование лунной гравитации, под женский смех и визг взлетали к потолку и наслаждались плавным спуском с трехметровой высоты. Немцы держались более деловито, они вливались в просторные залы ресторана, развешивали на спинках стульев фотоаппараты, бинокли, штативы, чуть ли не телескопы; уже был подан суп, а они все еще показывали друг другу осколки горных пород, которые команды селенобусов продавали туристам в качестве сувениров. Пиркс склонился над своей тарелкой, утоная в этой немецко-французско-греческо-голландско-... бог знает еще какой суматохе, и среди всеобщего энтузиазма и восхищения он, наверно, оставался единственным мрачным человеком, поглощавшим второй обед за день. Какой-то голландец, решив уделить ему внимание, поинтересовался, не страдает ли Пиркс космической болезнью после ракетного полета («Вы впервые на Луне, да?»), и предложил ему таблетки. Это была капля, переполнившая чашу. Пиркс не доел второе, купил в буфете четыре пачки сдобного печенья и отправился в гостиницу. Вся его злость вылилась на портье, который хотел продать ему «кусочек Луны», а точнее говоря, осколок остекленевшего базальта.

— Отвяжись, торгаш! Я был тут раньше тебя! — заорал Пиркс и, дрожа от бешенства, прошел мимо портье, пораженного этим взрывом.

В двухместном номере сидел, устроившись под лампой, невысокий мужчина в полинялой куртке, рыжеватый, сидящий, с загорелым лицом, на лоб его спадала прядь волос. При появлении Пиркса он снял очки. Звали его Лангнер, доктор Лангнер, он был астрофизиком и вместе

с Пирксом направлялся на станцию «Менделеев». Это и был его неведомый лунный компаньон. Пиркс, заранее готовый к самому плохому, тоже назвался, пробурчал что-то себе под нос и сел. Лангнеру было около сорока; по мнению Пиркса, этот старик неплохо сохранился. Он не курил, вероятно, не пил и вроде даже не разговаривал. Читал он три книги сразу: первая представляла собой логарифмическую таблицу, страницы второй были сплошь усеяны формулами, а в третьей не было ничего, кроме спектрограмм. В кармане он носил портативный арифмограф, которым очень ловко пользовался при вычислениях. Время от времени он, не отрываясь от своих формул, задавал Пирксу какой-нибудь вопрос; тот отвечал, продолжая жевать печенье. В крошечном номере стояли двухъярусные койки, в душевую не пролез бы человек солидной комплекции, всюду висели таблички, заклинаящие на многих языках экономить воду и электричество. Хорошо еще, что не запрещают глубокие вздохи: ведь кислород здесь тоже привозной! Пиркс запил печенье водой из-под крана и убедился, что от нее ломит зубы,— очевидно, резервуары с водой находились близко к поверхности базальта. Часы Пиркса показывали без малого одиннадцать, на электрических часах, висевших в номере, было семь вечера, а на часах Лангнера стрелки уже перевалили за полночь.

Они переставили свои часы на лунное время, однако и это было ненадолго; ведь на станции «Менделеев» было другое, свое время, как повсюду на «той стороне».

До старта ракеты оставалось девять часов. Лангнер, ничего не сказав, ушел. Пиркс расположился в кресле, потом пересел под лампу, попытался читать какие-то старые, потрепанные журналы, лежавшие на столике, но не смог усидеть и тоже вышел из комнаты. За поворотом коридор переходил в небольшой холл, где напротив телевизора, вмонтированного в стену, были расставлены кресла.

Австралия передавала программу для Луны Главной — какие-то соревнования легкоатлетов. Пирксу не было никакого дела до этих соревнований, но он сидел и смотрел на экран, пока его не начало клонить ко сну. Вставая с кресла, он взлетел на полметра, так как забыл о слабом притяжении. Все стало ему как-то безразлично. Когда он сможет снять это штатское тряпье? Кто выдаст ему скафандр? Где можно получить инструкции? И вообще, что все это значит?

Он, может, и пошел бы куда-нибудь допытываться, даже скандалить, но его компаньон, этот самый доктор Лангнер, по-видимому, находит их положение совершенно нормальным, так не лучше ли держать язык за зубами?

Передача кончилась. Пиркс выключил телевизор и вернулся в номер. Не так он представлял себе это пребывание на Луне! Пиркс принял душ. Сквозь тонкую стенку были слышны разговоры в соседнем номере. Конечно, это знакомые по ресторану туристы, которых Луна доводит до блаженного псступления. Он сменил сорочку (нужно же чем-нибудь заняться), а когда улегся на койку, вернулся Лангнер. С четырьмя новыми книгами.

Пиркса дрожь пробрала. Он начал понимать, что Лангнер — фанатик науки, нечто вроде второго издания профессора Меринуса.

Астрофизик разложил на столе новые спектрограммы и, разглядывая их в лупу с такой сосредоточенностью, с какой Пиркс не рассматривал даже фотографии своей любимой актрисы, вдруг спросил, сколько Пирксу лет.

— Сто одиннадцать, — сказал Пиркс, а когда тот поднял голову, добавил: — по двоичной системе.

Лангнер впервые улыбнулся и стал похож на человека. У него были белые крепкие зубы.

— Русские пришлют за нами ракету, — проговорил он. — Полетим к ним.

— На станцию «Цполковский»?

— Да.

Эта станция находилась уже на «той стороне». Значит, еще одна пересадка. Пиркс раздумывал, как они проделают оставшуюся тысячу километров. Наверно, не в сухопутном экипаже, а в ракете? Однако он ни о чем не спросил. Не хотелось выдавать свое невежество. Лангнер, кажется, говорил еще что-то, но Пиркс уже заснул, так и не раздевшись. Проснулся он внезапно: Лангнер, склонившись над койкой, тронул его за плечо.

— Пора,— только и сказал он.

Пиркс сел. Похоже было на то, что Лангнер все время читал да писал: стопка бумаг с расчетами выросла. В первую минуту Пиркс подумал, что Лангнер говорит об ужине, но речь шла о ракете. Пиркс навьючил на себя набитый рюкзак, а лангнеровский был еще больше и тяжелый, будто камнями набитый; потом выяснилось, что, кроме сорочек, мыла да зубной щетки, там были только книги.

Уже без таможенного досмотра, без всякой проверки они поднялись на верхний этаж, где их ждала лунная ракета, некогда серебристая, а теперь скорее серая, пузатая, на трех растопыренных, коленчато-изогнутых ногах двадцатиметровой высоты. Не аэродинамическая, так как на Луне нет атмосферы. На таких Пиркс еще не летал. К ним должен был присоединиться какой-то астрохимик, но он опоздал. Стартовали вовремя; полетели они вдвоем.

Отсутствие атмосферы на Луне порождало множество хлопот: невозможно было пользоваться ни самолетами, ни вертолетами — ничем, кроме ракет. Даже машинами на воздушной подушке, такими удобными для передвижения по пересеченной местности: ведь им пришлось бы тащить на себе весь запас воздуха. Ракета движется быстро, но не везде может сесть: ракета не любит ни гор, ни скал.

Это их пузатое трехногое насекомое загудело, загремело и пошло свечой вверх. Кабина была лишь раза в два

больше гостиничной компатушки. В стенах — иллюминаторы, в своде — круглое окно, рубка пилота расположена не наверху, а внизу, чуть ли не между выхлопными дюзами, чтобы пилот как следует видел, куда садиться. Пиркс ощущал себя чем-то вроде посылки: куда-то его посылают, не известно толком, куда и зачем, не известно, что будет потом... Вечная история.

Они вышли на эллиптическую орбиту. Кабина и длинные «ноги» ракеты приняли наклонное положение. Луна проплывала под ними, огромная, выпуклая, — казалось, на нее никогда не ступала нога человека. Есть такая зона в пространстве между Землей и Луной, откуда величина обоих тел кажется примерно одинаковой. Пиркс хорошо запомнил впечатление от первого полета. Земля, голубоватая, затуманенная, с размытыми очертаниями континентов, казалась менее реальной, чем каменная Луна с четко проступающим скалистым рельефом — ее неподвижная тяжесть была почти осязаемой.

Они летели над Морем Облаков, кратер Буллиальд остался уже позади, на юго-востоке виднелся Тихо в ореоле своих блестящих лучей, пересекавших полюс и протянувшихся на «ту сторону»; на большой высоте, как обычно, возникало трудно определяемое представление о высшей точности, по законам которой все это создавалось. Залитый солнечным светом Тихо был как бы центром конструкции: белесыми своими «руками» он охватывал и прорезал Море Влажности и Море Облаков, а северный его луч, самый большой, исчезал за горизонтом, в направлении к Моря Ясности. Но, когда они, обогнув с запада цирк Клавий, начали снижаться над полюсом и полетели уже по «той стороне» над Морем Мечты, обманчивое впечатление правильности исчезало по мере снижения, будто бы гладкая, темная поверхность «моря» теперь обнажала свои неровности, расселины. На северо-востоке засверкали зубцы кратера Верне. Они все теряли высоту, и теперь, вблизи,

Луна предстала перед ними в своем постоянном виде: плоскогорья, равнины, впадины кратеров и кольцеобразных горных цепей — все было в одинаковой степени изрыто воронками — следами космической бомбардировки. Кольца каменных обломков и лавы пересекались, переплетались, будто тех, кто вел этот титанический обстрел, все еще не удовлетворяли произведенные разрушения. Но успел Пиркс разглядеть массив Циолковского, как ракету подтолкнули ненадолго включенные двигатели, она приняла вертикальное положение, и Пиркс увидел уже лишь океан темноты, поглотивший все западное полушарие, а за линией терминатора возвышалась, сверкая своей макушкой, вершина Лобачевского. Звезды в верхнем окне ракеты замерли неподвижно. Спускались они, как в лифте, и это несколько напоминало вхождение в атмосферу, так как ракета погружалась в столб огня от собственных двигателей, сгущавшегося под кормой, и газы завывали, обтекая выпуклости наружной брони. Автоматически откинулись спинки кресел, через верхний иллюминатор Пиркс видел все те же звезды; они теперь стремительно летели вниз, однако ощущалось мягкое, но довольно упорное сопротивление гремющих двигателей, которые толкали ракету в обратном направлении. Вдруг двигатели загрохотали во всю мощь. «Ага, становимся на огонь!» — подумал Пиркс, чтобы не забыть, что он все же настоящий астронавт, хотя еще и без диплома.

Удар. Что-то задребезжало, бахнуло, будто огромный молот бил по камням. Кабина мягко скользнула вниз, вернулась вверх, вниз и опять вверх; так она довольно долго сповала на яростно булькавших амортизаторах, пока три двадцатиметровые, судорожно растопыренные «ноги» не впились как следует в груды скальных обломков. Наконец пилот погасил это скольжение кабины, несколько повысив давление в маслопроводе; послышалось легкое шипение, и кабина повисла неподвижно.

Пилот вылез к ним через люк в середине пола и открыл стенной шкаф, в котором — наконец-то! — оказались скафандры.

Пиркс несколько воспрянул духом, однако ненадолго. В шкафу было четыре скафандра: один для пилота, а кроме того большой, средний и маленький. Пилот моментально влез в свой скафандр, только шлем не надел и ждал своих спутников. Лангнер тоже управился быстро. Один Пиркс, красный, вспотевший и злой, не знал, что делать. Скафандр среднего размера был ему мал, а большой — чересчур велик. В среднем он упирался головой в донышко шлема, а в большом болтался, как кокосовое ядро в высохшей скорлупе. Конечно, ему давали хорошие советы. Пилот заметил, что просторный скафандр всегда лучше тесного, и посоветовал заполнить пустые места бельем из рюкзака. Он даже предлагал одолжить свое одеяло. Но Пирксу сама мысль напихать что-то в скафандр представлялась кощунственной, вся его душа астронавта становилась от этого на дыбы. Завернуться в какие-то тряпки?!

Он надел тот скафандр, что поменьше. Спутники ничего не сказали. Пилот открыл отверстие шлюзовой камеры, и они вошли туда; пилот повернул винтовое колесо и открыл выходной люк.

Не будь рядом Лангнера, Пиркс сразу прыгнул бы и, возможно, ухитрился бы при первом же шаге вывихнуть ногу: до поверхности было метров двадцать, и если учесть вес скафандра, то даже при здешнем малом притяжении это было все равно что прыгнуть со второго этажа на рассыпанную гряду камней.

Пилот спустил за борт складную лестницу, и они сошли по ней на Луну.

И тут никто их не встречал цветами и не было триумфальных арок. Кругом — ни души. На расстоянии менее километра от них возвышался бронированный купол станции «Циолковский», освещенный косыми лучами жут-

кого лунного солнца. За станцией виднелась вырубленная в скалах небольшая посадочная площадка, но она была занята: на ней в два ряда стояли транспортные ракеты; они были куда больше, чем та, на которой прилетели Пиркс и Лангнер.

Их ракета, чуть-чуть скособочившись, покоилась на своей треноге; камни под ее дюзами почернели, опаленные выхлопным огнем. К западу местность была почти плоской, если можно назвать плоской эту безбрежную каменную россыпь, из которой там и сям торчали обломки величиной с городской дом. К востоку равнина поднималась — сначала отлого, а потом вереницей почти вертикальных уступов переходила в главный массив Циолковского; его стена, обманчиво близкая, лежала в тени и была черна как уголь. Градусов на десять выше хребта пылало солнце; оно так слепило, что в ту сторону невозможно было смотреть. Пиркс тотчас же опустил дымчатый фильтр над стеклом шлема, но это мало помогло — разве что не пришлось щурить глаза.

Осторожно ступая по неустойчивым глыбам, они двинулись к станции. Свою ракету они сразу же потеряли из виду, так как пришлось пересечь неглубокую котловину. Станция господствовала над этой котловиной и над всей округой; ее здание на три четверти углублялось в монолитную каменную стену, которая была похожа на взорванную крепость, хранившую в своей памяти еще мезозойские времена. Сходство остро срезанных углов с оборонительными башнями крепости было поразительно, но лишь издалека: чем ближе они подходили, тем заметнее «башни» теряли правильность формы, расплывались, а черные полосы, бегущие по ним, оказывались глубокими трещинами. По лунным понятиям местность тут была все же относительно ровная, и двигались они быстро. Каждый шаг вздымал облачко пыли, этой знаменитой лунной пыли, которая подымалась выше пояса, окутывала людей молоч-

но-белым облаком и никак не оседала. Шли они поэтому не гуськом, а в ряд, и когда уже у самой станции Пиркс оглянулся, то увидел весь пройденный путь: его отмечали три толстые змеиные линии, три извилистые косы пыли, более светлой, чем любая земная.

Пиркс знал о ней много любопытного. Первые покорители Луны были поражены этим явлением: насчет пыли они знали, но ведь даже самая мелкая пыль должна была немедленно оседать в безвоздушном пространстве. А лунная пыль почему-то не оседала. И, что особенно интересно, только днем. Под солнцем. Оказалось, что электрические явления здесь протекают не так, как на Земле. Там существуют атмосферные разряды, молнии, громы, огни святого Эльма. На Луне, конечно, этого нет. Но камни, бомбардируемые излучением частиц, заряжаются тем же зарядом, что и покрывающая их пыль. А поскольку одноименные заряды отталкиваются, то и поднятая пыль из-за электростатического отталкивания не садится иногда по целому часу. Когда на Солнце много пятен, Луна «пылит» больше. Во время спада солнечной активности — меньше. Это явление исчезает лишь через несколько часов после наступления ночи, здешней ужасной ночи, которую можно выдержать только в специальных двухслойных скафандрах, сконструированных по принципу термоса и тяжелых, даже здесь чертовски тяжелых.

Эти ученые размышления Пиркса прервались, когда они подошли к главному входу станции. Приняли их радушно. Увидев научного руководителя станции профессора Ганшина, Пиркс несколько растерялся. Он был весьма доволен своим высоким ростом, так как полагал, что это в какой-то мере скрадывает его толстошекую физиономию. Но Ганшин смотрел на Пиркса сверху вниз — не в переносном, а в прямом смысле слова. А его коллега, физик Пнин, был еще выше — пожалуй, метра два.

Было там еще трое русских, а может, и больше, но они

не показывались: наверно, несли вахту. На верхнем этаже разместились астрономическая обсерватория и радиостанция. Наклонный туннель, вырубленный в скале и забетонированный, вел в отдельное помещение, над куполом которого неустанно вращались огромные решетки радарных установок; через иллюминаторы просматривалось на самой вершине хребта нечто вроде ослепительно-серебристой, симметрично сплетенной паутины — это был главный радиотелескоп, самый крупный на Луне. К нему можно было добраться за полчаса по канатной подвесной дороге.

Потом выяснилось, что станция куда больше, чем кажется вначале. В ее подземельях в огромных резервуарах хранились запасы воды, воздуха и продуктов. В крыле станций встроенные в расщелину среди скал и совершенно незаметные из котловины находились преобразователи лучистой энергии Солнца в электричество. А еще было здесь совершенно изумительное сооружение — огромная гидропонная оранжерея под куполом из кварца, армированного сталью; кроме массы цветов и больших резервуаров с какими-то водорослями, поставлявшими витамины и белки, в самой середине росла банановая пальма. Пиркс и Лангнер съели по банану, выращенному на Луне. Пнин, посмеиваясь, объяснил, что бананы не входят в ежедневный рацион сотрудников станции и предназначены главным образом для гостей.

Лангнер, немного разбравшийся в лунном строительстве, начал расспрашивать о конструкции кварцевого купола, который поразил его больше, чем бананы; это была действительно уникальная постройка. Поскольку ее окружало безвоздушное пространство, купол должен был выдерживать постоянное давление в девять тонн на квадратный метр, что при размерах оранжереи давало внушительную сумму — две тысячи восьмьсот тонн. Именно с такой силой давил во всех направлениях заключенный здесь воздух, пытаясь взорвать изнутри кварцевую оболочку. Кон-

структоры, вынужденные отказаться от использования железобетона, погрузили в кварц сварные ребра, которые всю мощь давления, без малого три миллиона килограммов, передавали вверх на диск, изготовленный из иридия; снаружи этот диск удерживался прочными стальными тросами, глубоко заякоренными в окружающие базальтовые скалы. Так что это был единственный в своем роде «кварцевый воздушный шар на привязи».

Из оранжереи они направились прямо в столовую. На станции как раз наступило время обеда. Для Пиркса это был уже третий обед: первый он съел в ракете, второй — на Луне Главной. Похоже было, что на Луне только обедают.

Столовая, она же кают-компания, оказалась небольшой; стены были обшиты деревом — не панелью, а сосновыми брусьями. Даже смолой пахло. После ослепительных лунных пейзажей эта подчеркнуто «земная» обстановка была особенно приятна. Впрочем, профессор Ганшин признался, что лишь верхний, тонкий слой стен сделали из дерева — чтобы меньше тосковать по Земле.

Ни за обедом, ни после не говорилось о станции «Менделеев», о происшествии, о несчастных канадцах, о предстоящем отлете — будто Пиркс и Лангнер приехали погостить и бог знает сколько здесь пробудут.

Русские держались так, словно им нечем было заниматься, кроме беседы с гостями: расспрашивали, что нового на Земле, как дела на Луне Главной; в порыве откровенности Пиркс признался в своей стихийной неприязни к лунным туристам и их манерам — похоже, что его слушали с одобрением. Лишь спустя некоторое время можно было заметить, что то один, то другой из хозяев покидает компанию, а потом вновь возвращается. Выяснилось, что они ходят в обсерваторию, так как на Солнце появился удивительно красивый протуберанец. Стоило произнести это слово, как для Лангнера перестало существовать все

остальное. Свойственное ученым бессознательное самозабвение овладело всеми сидевшими за столом. Принесли фотографии, потом продемонстрировали фильм, снятый через коронограф. Протуберанец был и впрямь исключительный: он протянулся на три четверти миллиона километров и напоминал допотопное чудовище с огнедышащей пастью.

Когда зажгли свет, Ганшин, Пнин, третий русский астроном и Лангнер начали переговариваться; глаза у них блеснули, они были глухи ко всему постороннему. Кто-то вспомнил о прерванном обеде; вернулись в столовую, но и тут, отодвинув в сторону тарелки, все принялись что-то подсчитывать на бумажных салфетках. Наконец Пнин сжался над Пирксом, для которого эти споры были китайской грамотой, и увел его в свою комнату, маленькую, но привлекательную тем, что из ее широкого окна открывался вид на восточную вершину хребта Циолковского. Солнце, низкое, зияющее как врата ада, бросало в хаос скальных нагромождений другой хаос — теней, которые чернотой своей поглощали контуры предметов, словно за каждой гранью освещенного камня открывалась дьявольская пропасть, ведущая к самому центру Луны. Каменные вершины, наклонные башни, шпили, обелиски будто растворялись там, в этой пустоте, а потом где-то взмывали из чернильной тьмы, словно окаменевшие языки пламени. Взгляд терялся среди этого нагромождения совершенно несовместимых форм и находил облегчение лишь в круглых черных ямах, напоминавших глазницы: это были воронки маленьких кратеров, до краев наполненные тенью.

Пейзаж был единственным в своем роде. Пиркс уже бывал на Луне (об этом он раз шесть упомянул в беседе), но не в такую пору, за девять часов до захода солнца. Они долго сидели у окна. Пнин называл Пиркса коллегой, а тот не знал, как ему отвечать, и мудрил с грамматикой изо всех сил. У русского была фантастическая коллекция фотоснимков, сделанных во время горных восхождений: оп,

Ганшин и еще один их товарищ, который ненадолго улетел на Землю, в свободное время занимались альпинизмом.

Кое-кто пытался ввести в обиход слово «лунизм», но термин этот не привился, тем более что существуют ведь Лунные Альпы.

Пиркс, который ходил в горы еще до того, как стал курсантом, обрадовался, что встретил своего брата альпиниста, и начал расспрашивать Пнина, чем отличается лунная техника восхождения от земной.

— Коллега, надо помнить об одном, — отвечал Пнин, — только об одном. Делайте все, «как дома», пока возможно. Льда здесь нет — разве что в очень глубоких расщелинах, да и там попадается чрезвычайно редко; снега, разумеется, тоже, так что вроде тут очень легко, тем более что можно упасть с высоты тридцати метров и ничего с тобой не случится, но об этом лучше не думать.

— Почему? — очень удивился Пиркс.

— Потому что здесь нет воздуха, — объяснил астрофизик. — И сколько бы вы ни ходили, все равно не научитесь правильно определять расстояние. Тут и дальномер не очень-то поможет, да и кто ходит с дальномером? Взойдешь на вершину, глянешь в пропасть — и кажется тебе, что в ней пятьдесят метров. А в ней, может, действительно пятьдесят, а может, триста или все пятьсот. Случилось мне однажды... Впрочем, вы знаете, как это происходит. Стоит человеку раз внушить себе, что можно сорваться, так он обязательно рано или поздно упадет. На Земле голову разобьешь — заживет со временем, а здесь один хороший удар по шлему, стекло треснет — и все. Так что держитесь, как в земных горах. Что там позволяете себе, то и здесь можно. Кроме прыжков через расщелины. Поищите сначала камешек, швырните его на ту сторону и проследите за полетом. По правде говоря, я, положа руку на сердце, не советовал бы вообще прыгать. Ведь как обычно бывает: прыгнешь раз-другой на двадцать метров, так тебе уж и

пропасти не страшны, и горы по колено — вот тут и жди несчастья. Горноспасательной службы здесь нет... так что сами понимаете...

Пиркс начал расспрашивать о станции «Менделеев». Почему она построена почти на вершине, а не внизу? Трудная ли там дорога? Говорят, приходится карабкаться?

— Карабкаться почти не приходится, но путь довольно опасный. Это потому, что прошла каменная лавина. Из-под Солнечных Ворот. Она снесла дорогу... Что касается расположения станции — мне об этом неловко говорить. Особенно сейчас, после такого несчастья... Но вы, наверно, читали о нем, коллега?..

Пиркс, ужасно сконфузившись, промямлил, что как раз в то время у него была экзаменационная сессия. Пнин усмехнулся, но тотчас же посерьезнел.

— Так вот... Луна является международным владением, но каждое государство имеет здесь свою зону научных исследований — нам досталось это полушарие. Когда стало известно, что радиационные пояса препятствуют прохождению космических лучей на том полушарии, которое обращено к Земле, англичане попросили у нас разрешения построить станцию на нашей стороне. Мы не возражали. Как раз в это время у нас самих велась подготовка к строительству на хребте Менделеева, вот мы и предложили англичанам этот район, с тем что они возьмут завезенные нами туда строительные материалы, а рассчитываться будем потом. Англичане согласились, а затем передали все канадцам, поскольку Канада входит в Британское содружество. Нам, разумеется, было все равно.

Поскольку мы уже произвели предварительную разведку района, оди из наших ученых, профессор Анимцев, вошел в состав группы канадских проектировщиков с советательным голосом как консультант, хорошо знающий местные условия. И вдруг мы узнали, что англичане все же принимают участие в этом деле. Они прислали Шэннера,

и тот заявил, что на дне кратера могут возникнуть потоки вторичной радиации, которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно, но решали все англичане: ведь это их станция. Они постановили перенести станцию наверх.

Конечно, стоимость строительства возросла ужасающе. И всю разницу в стоимости покрывали канадцы. Но дело не в этом. Мы деньги в чужом кармане не считаем. Они выбрали место для станции, начали проектировать дорогу. Анимцев сообщил: «Англичане хотели сначала перебросить через две пропасти мосты из железобетона, но канадцы возражают, потому что стоимость из-за этого возрастает чуть ли не вдвое; они хотят вгрызться в хребет Менделеева и направленными взрывами пробить два скальных выступа. Я им не советую: это может нарушить равновесие кристаллического базальтового основания. Они не слушают. Что делать?» Что же мы могли сделать? Они ведь не дети. У нас опыт селенологических исследований побогаче, но, раз они не хотят прислушаться к совету, не будем навязываться. Анимцев записал особое мнение, и на этом все кончилось. Начали взрывать скалу. Так первая бессмыслица — неправильный выбор места — повлекла за собой вторую. А результаты, к сожалению, не заставили себя долго ждать. Англичане построили три противолавинные стены, сдали станцию в эксплуатацию, по дороге пошли гусеничные транспортеры, — пожалуйста, полная удача. Станция работала уже три месяца, когда у основания каменного навеса, под Солнечными Воротами, под этой большой зазубриной на западной грани хребта, показались трещины...

Пнин встал, вынул из шкафа несколько больших снимков и показал их Пирксу.

— Вот в этом месте. Здесь лежит, вернее лежала, полуторакилометровая плита, местами нависшая над пропастью. Дорога пролегалa примерно на одной трети высо-

ты, по этой красной линии. Канадцы встревожились. Анимцев (он все еще находился там) объяснил им: разница между дневной и ночной температурами составляет триста градусов, трещины будут расширяться, и тут ничего не поделаешь. Разве подопрешь чем-нибудь плиту в полтора километра?! Путь нужно немедленно перекрыть, а к станции, раз уж она построена, провести подвесную канатную дорогу. Они же вызывают эксперта за экспертом из Англии, из Канады, и разыгрывается форменная комедия: экспертов, которые говорят то же, что наш Анимцев, немедленно отправляют домой. Остаются только те, которые пытаются как-то управиться с трещинами. Начинают пломбировать трещины цементом. Применяют глубокое нагнетание раствора, подкосы, цементируют и цементируют, а конца не видно: что зацементировано днем, лопается в первую же ночь. Уже бегут по расселинам небольшие лавины, но их задерживают каменные стены. Возводят систему клиньев, чтобы рассеивать более крупные лавины. Анимцев втолковывает, что дело не в лавинах; вся плита может рухнуть! Я просто смотреть на него не мог, когда он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез: видел надвигающуюся беду и ничего не мог поделать.

Скажу вам беспристрастно: у англичан есть прекрасные специалисты, но тут дело было не в специальных селенологических проблемах, а в престиже: построили дорогу и не могут отступить. Анимцев в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и трения между англичанами и канадцами — все из-за плиты, из-за этого краешка так называемого Орлиного Крыла. Канадцы хотели взорвать ее — пусть разрушит всю дорогу, но зато можно будет проложить новый, безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия. Анимцев подсчитал, что для взрыва понадобился бы водородный заряд в шесть мегатонн, а конвенция ООН запрещает применять радиоактивные материалы в каче-

стве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула... Англичане писали потом, что во всем виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект — эти самые виадуки из железобетона.

Пнин с минуту смотрел на другой снимок, изображавший зазубрину хребта почти в двойном увеличении; черными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил ее вместе со всеми укреплениями.

— В результате станция временами недоступна. Днем туда можно легко добраться — несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога очень опасная. Зато ночью идти туда практически невозможно. У нас тут Земли нет, сами знаете...

Пиркс понял, о чем говорит русский: на этой стороне долгие лунные ночи не освещает огромный фонарь Земли.

— А инфракрасные здесь не помогут? — спросил он.

Пнин усмехнулся.

— Инфракрасные очки? Какой в них толк, коллега, если через час после захода солнца поверхность камней остывает до ста шестидесяти градусов ниже нуля... Теоретически можно бы идти с радароскопом, но вы пробовали когда-нибудь ходить в горы с таким снаряжением?

Пиркс признался, что не пробовал.

— И не советую. Это самый сложный способ самоубийства. Радар хорош на равнине, но не в горах...

В комнату вошли Лангнер и Ганшин: пора уже было отправляться. До станции «Менделеев» — полчаса в ракете, еще два часа отнимет пеший путь, а через семь часов зайдет солнце. Семь часов — запас немалый. Тут выяснилось, что с ними полетит Пнин. Пиркс и Лангнер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели.

В последнюю минуту Ганшин спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на Землю — теперь случай представится не скоро. Правда, между станциями «Менделеев» и

«Циолковский» налажена радиосвязь, но через семь часов они пересекут терминатор и возникнут сильные помехи.

Пиркс подумал, что недурно было бы послать сестре Маттерса привет с «той стороны», но не отважился на это. Так что они поблагодарили и пошли вниз, но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тут Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а тот остался в плюсовой камере станции «Циолковский».

Русский скафандр отличался своим устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Шлем имел не два фильтра, а три: один предохранял от солнца в зените, другой — от низкого солнца, а третий, темно-оранжевый, — от пыли. По-иному были расположены и воздушные клапаны, и очень забавное устройство имелось в ботинках: можно накачать подошвы воздухом — и ходи как на подушках. Камней вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой гладкой поверхности. Это была «высокогорная» модель. Кроме того, скафандр был наполовину серебряный, наполовину черный. Повернешься черной стороной к солнцу — начинаешь потеть, повернешься серебряной — по телу пробегает приятная прохлада. Пирксу это показалось не слишком-то удачной выдумкой: ведь не всегда можно повернуться к солнцу как захочешь. Задом наперед идти, что ли?

Русские ученые расхохотались. Они показали переключатель на груди: он перемещал цвета. Можно было сделать скафандр черным спереди, а серебряным сзади, и наоборот. Интересен был и способ, каким перемещались цвета. Узкое пространство между прозрачной внешней оболочкой из твердого пластика и собственно корпусом скафандра заполнялось двумя разными видами красителей или, скорее, полужидких веществ, приготовленных на алюминии и на угле. А перемещались они просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания.

Пора было идти к ракете. В первый раз Пиркс вошел в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплен, что ничего не видел. Лишь теперь он обратил внимание, что камера была сконструирована особым образом: вся ее наружная стена двигалась вверх и вниз, как поршень. Пнин объяснил, что благодаря этому можно одновременно впускать или выпускать сколько угодно людей и не расходовать воздух попусту. Пиркс ощутил нечто вроде зависти, потому что камеры Института были почтеннейшими ящиками, устаревшими по меньшей мере на пять лет; а пять лет технического прогресса — это целая эпоха.

Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в надувных башмаках — словно и не касаешься почвы, но Пиркс освоился с этим, прежде чем дошел до ракеты.

Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов, потом они пожали друг другу руки в тяжелых перчатках, и вслед за пилотом отлетающие влезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью.

Пилот подождал, пока провожающие отойдут на безопасное расстояние, и запустил двигатели. Внутри скафандра утробный грохот нарастающей тяги звучал, как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета оторвалась от площадки. Только звезды заколебались в верхних иллюминаторах, а гористая пустыня в нижних провалилась и исчезла.

Они летели теперь совсем низко и поэтому ничего не видели, только пилот наблюдал за проплывавшим внизу призрачным ландшафтом. Ракета висела почти вертикально, как вертолет. Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и легкой вибрации всего корпуса.

— Внимание, снижаемся! — послышалось в шлемофоне. Пиркс не знал, говорит это пилот по бортовому радио

или Пнин. Откинулись спинки кресел. Пиркс глубоко вздохнул, он стал легким — таким легким, что того гляди полетит; он инстинктивно ухватился за подлокотники. Пилот резко затормозил, дюзы запылали, завывли, языки пламени с невыносимым шумом устремились в обратную сторону, вдоль обшивки корабля, перегрузка возросла, опять упала, и наконец до ушей Пиркса донесся двойной сухой стук — они сели. А дальше началось нечто неожиданное. Ракета, которая уже начала свои странные колебания и качалась вверх-вниз, будто подражая мерным приседаниям длинноногих насекомых, вдруг накренилась и под нарастающий грохот камней стала заметно сползать с места.

— Катастрофа! — мелькнуло в уме у Пиркса. Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно. Двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота: корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью, и если включить двигатели, то при резком крене одной из «ног» они, не успев взлететь, либо опрокинутся, либо ударятся о скалы.

Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел и наконец утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу, еще какой-то обломок подался вглубь под нажимом шарнирной «ноги» — и кабина медленно осела с креном градусов в десять.

Пилот выбрался из своего колодца слегка сконфуженный и начал объяснять, что изменился рельеф местности: видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он сел на осыпь под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели.

Пнин ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу: каменная осыпь — не космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился, пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь.

Пилот остался в ракете — он должен был ожидать возвращения Пнина, а Лангнер и Пиркс пошли с Ганшиным.

Пиркс считал, что хорошо знает Луну. Однако он ошибался. Район станции «Циолковский» был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела «ногах», ушедших в каменную осыпь, стояла всего в трехстах шагах от границы тени, отбрасываемой главным массивом хребта Менделеева. Плавающее в черном небе солнечное жерло почти коснулось зубцов цепи, и казалось, зубы в этом месте плавятся, но это был обман зрения. Однако отвесные стены, возникшие из тьмы в километре-двух, не были иллюзией. К изрезанной глубокими рытвинами равнине, представляющей собой дно кратера, сбегали из расселин немыслимо белые треугольники осыпей; места свежих обвалов легко распознавались по размытым очертаниям камней, окутанных медленно оседающей пылью. Потрескавшуюся лаву на дне кратера тоже покрывал слой светлой пыли; вся Луна была припудрена микроскопическими частицами метеоров — этого мертвого дождя, миллионы лет падавшего на нее со звезд. По обе стороны тропы — она в сущности была нагромождением глыб и обломков, таким же диким, как все вокруг, и называлась так лишь потому, что была обозначена вцементированными в камень алюминиевыми вехами, каждая из которых увенчивалась чем-то вроде рубинового шарика, — по обе стороны этого пути, нацеленного вверх по осыпи, стояли наполовину залитые светом, наполовину черные, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев.

Слабое лунное притяжение позволяло камням на века застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропастей люди рано или поздно терялись при восхождении к вершинам. Впечатление не-

реальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось и тем, что белые глыбы пемзы от пинка погой взлетали вверх, как пузыри, а самый тяжелый обломок базальта, брошенный вниз по склону, летел неестественно медленно, долго и падал беззвучно, будто во сне.

Когда они поднялись на сотню-другую шагов, цвет скал изменился. Реки розоватого порфира с двух сторон окаймляли расселину, в которой шли Пнин, Лангнер и Пиркс. Глыбы, громоздящиеся подчас в несколько этажей, сцепившись заостренными краями, будто ждали легкого прикосновения, чтобы ринуться вниз неудержимой лавиной.

Пнин вел их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке скафандра, шатался. Тогда Пнин замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место, по известным лишь ему приметам угадывая, выдержит этот камень тяжесть человека или нет. К тому же звук, так много открывающий альпинисту, здесь не существовал. Одна из базальтовых глыб оторвалась без видимых причин и покатила вниз — замедленно, словно во сне, потом увлекла за собой массу других камней, которые яростными скачками мчались все быстрее, и наконец белая как молоко пыль скрыла дальнейший путь лавины. Это было совсем как в бреду: огромные глыбы сталкивались совершенно беззвучно, и даже подрагивание почвы не ощущалось сквозь надувные подошвы. За крутым поворотом Пиркс увидел след лавины, а сама она уже казалась волнистым, спокойно стелющимся облаком. С невольным беспокойством он начал искать взглядом ракету, но она была в безопасности, стояла на прежнем месте, километрах в двух отсюда, и Пиркс видел ее блестящее брюшко и три черточки-ножки. Будто странное лунное насекомое присело на старой осыпи, которая раньше казалась Пирксу крутой, а отсюда выглядела плоской, как стол.

Когда они приблизились к полосе тени, Пнин ускорил шаг. Пиркс был так поглощен зрелищем дикой и грозной природы, что ему просто некогда было взглянуть на Лангпера. Только сейчас он заметил, что маленький астрофизик ступает уверенно и совсем не спотыкается.

Пришлось прыгать через четырехметровую расщелину. Пиркс вложил в прыжок слишком много сил; он взмыл вверх и, бесцельно перебирая ногами, опустился в добрых восьми метрах за противоположным краем пропасти. Такой лунный прыжок мог обогатить человека опытом, не имевшим ничего общего с паясничанием туристов в гостинице на Луне.

Они вошли в тень. Пока они находились сравнительно недалеко от залитых солнцем скал, их отблески слегка освещали тьму, играли на выпуклостях скафандров. Но вскоре мрак настолько сгустился, что путники потеряли друг друга из виду. В тени была ночь. Сквозь все антитермические слои скафандра Пиркс ощутил ее ледяной холод; он не добирался до тела, не жег кожу, но будто напоминал о своем молчаливом, холодном присутствии: некоторые части бронированного скафандра явственно задрожали, охладившись на двести с лишним градусов. Когда глаза привыкли к темноте, Пиркс заметил, что красные шары на верхушках алюминиевых мачт довольно ярко светятся; бусинки этого рубинового ожерелья уходили вверх и исчезали в свете Солнца — там растрескавшийся горный хребет устремлялся в долину, создавая три гигантских крутых уступа, громоздившихся друг на друга; их разделяли узкие горизонтальные выходы горных пластов, образуя нечто вроде острых карнизов. Пирксу показалось, что исчезающая вдали шеренга мачт ведет к одной из этих каменных полок, но он подумал, что это, пожалуй, невозможно. У самого верха сквозь гребень, словно расколотый ударом молнии, прорывался почти горизонтальный сноп солнечного света. Он напоминал возникший в глухом

молчании взрыв, брызгающий раскаленной белизной на скальные выступы и расщелины.

— Вон там станция,— донесся через шлемофон близкий голос Пнина. Русский остановился на границе ночи и дня, мороза и зноя, показывая рукой куда-то вверх, но Пиркс не мог различить ничего, кроме чернеющих обрывов, не посветлевших даже под Солнцем.

— Видите Орла?.. Так мы называли этот хребет. Это голова, вон клюв, а это крыло!..

Пиркс видел только нагромождение света и теней. Над восточной, искрящейся гранью хребта торчала наклонная вершина; из-за отсутствия воздушной дымки, размывающей очертания, она казалась совсем близкой. И вдруг Пиркс увидел всего Орла. Крыло — это и была та стена, к которой они направлялись; выше, на фоне звезд, выделялась голова птицы, наклонная вершина была клювом.

Пиркс посмотрел на часы. Прошло уже сорок минут. Значит, остается идти по меньшей мере еще столько же.

Перед очередной полосой тени Пнин остановился, чтобы переключить свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, куда ведет дорога.

— Туда,— Пнин показал рукой вниз.

Пиркс видел лишь пропасть, а на дне ее — конус осыпи, из которой торчали огромные обломки скал.

— Оттуда откололась плита,— объяснил Пнин, указывая теперь на просвет в гребне.— Это Солнечные Ворота. Сейсмографы на «Циолковском» зарегистрировали сотрясение почвы; по нашим подсчетам, рухнуло вниз около полумиллиона тонн базальта...

— Позвольте,— перебил его ошеломленный Пиркс.— А как же теперь доставляют наверх грузы?

— Сами увидите, когда придем,— ответил Пнин и зашагал вперед.

Пиркс последовал за ним, пытаясь на ходу решить загадку, но ничего не придумал. Неужели они таскают на

спине каждый литр воды, каждый баллон кислорода? Нет, это невозможно. Теперь они шли быстрее. Над пропастью торчала последняя алюминиевая мачта. Темнота снова окутала их, и пришлось зажечь фонарики на шлемах; белые пятна света мерцали, перескакивали с одного каменного выступа на другой. Теперь они шли по карнизу, который иногда сужался до ширины двух ладоней. Они шли, как по канату, по совершенно плоской полке; ее шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, хватило бы одного неверного шага, легкого головокружения.

«Почему бы нам не пойти в связке?» — подумал Пиркс, и в эту минуту световое пятно впереди замерло: Пнин остановился.

— Веревка, — сказал он.

Пнин подал конец веревки Ппрксу, а тот, пропустив ее через специальный карабин, бросил дальше, Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс мог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз.

Вся воронка кратера лежала перед ним как на ладони, черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин, приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень.

Где была ракета? Пиркс не мог ее обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт? Они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске и в полосах черной тьмы, тянувшихся от одной груды камней к другой; светлая каменная пыль, присыпавшая скалы, подчеркивала рельеф местности с ее гротескными группами кратеров, все уменьшавшихся; только в районе хребта Менделеева были, наверное, сотни кратеров разного диаметра — от полукилометровых до еле заметных; все они были идеально круглые, с пологим наружным скатом и более крутым внутренним, в центре у них располагалась горка либо небольшой конус, на худой конец — нечто наподобие пупка; самые маленькие из них были точной копией средних,

средние ничем не отличались от больших, и все это находилось внутри огромного каменного кольца диаметром тридцать километров.

Это соседство хаоса и точности раздражало человеческий разум; в этом созидании и разрушении форм по единому образцу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти. Пиркс посмотрел вверх, потом назад: сквозь Солнечные Ворота по-прежнему хлестали потоки белого огня.

Через несколько сотен шагов, за узкой расщелиной, скала отступила; они все еще шли в тени, но стало светлее от лучей, отражаемых вертикально торчащей каменной палицей, которая вырастала из мрака чуть ли не на два километра. Они перебрались через каменистую осыпь, и перед ними открылся довольно пологий, ярко освещенный склон. Пиркс начинал ощущать странное одеревенение — не мускулов, а разума, наверное оттого, что внимание было перенапряжено: ведь на него обрушилось все сразу — и Луна с ее дикими горами, и ледяная ночь вперемежку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, среди которого человеческий голос, время от времени звучащий в шлеме, кажется таким же неестественным и неуместным, как попытка донести на вершину Маттергорна золотую рыбку в аквариуме.

Пнин свернул за последний пик, отбрасывавший тень, и весь вспыхнул, будто облитый огнем. Тот же огонь брызнул в глаза Пирксу, прежде чем он сообразил, что это — Солнце, что они выбрались на верхний, уцелевший участок дороги.

Теперь они быстро шагали рядом, опутив на шлемах сразу по два противосолнечных фильтра.

— Сейчас придем, — сказал Пнин.

По такой дороге действительно могли ездить машины, ее проделали в скале управляемыми взрывами; она вела под навесом Орлиного Крыла на самую вершину кратера;

там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом, срезанным снизу. Этот котел и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы, и специальный миномет, предварительно пристрелявшись по котлу, начинал выстреливать в него контейнеры с грузом. Несколько контейнеров обычно раскалывалось, но большинство выдерживало и выстрел, и удар о скалу, потому что их бронированные корпуса отличались исключительной прочностью. Раньше, когда не было еще ни Луны Главной, ни вообще каких-либо станций, доставлять припасы экспедициям, углублявшимся в район Центрального Залива, можно было, лишь сбросив контейнер с ракеты; а поскольку парашюты были здесь совершенно бесполезны, приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдержали самый сильный удар. Их сбрасывали, словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали — иной раз для этого приходилось обыскивать целый квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились.

За седловиной дорога шла под самым гребнем к северной вершине Орлиной Головы; метров на триста пониже сверкал бронированный колпак станции. Со стороны склона станцию окружало полукольцо глыб: они катились в пропасть и задержались, встретив на пути стальной купол. Несколько таких глыб лежало на бетонной площадке у входа в станцию.

— Да неужели нельзя было найти места получше? — вырвалось у Пиркса.

Пнин, который уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, приостановился.

— Вы говорите совсем как Ашимцев, — сказал он.

Пнин ушел — один — за четыре часа до захода солнца. Но, собственно, он ушел в ночь: почти вся дорога, которую ему предстояло пройти, была уже окутана непроглядной

тьмой... Лангнер, знавший Луну, сказал Пирксу, что, когда они шли, не было еще по-настоящему холодно — камни лишь начинали остывать. Мороз как следует прихватит примерно через час после наступления темноты.

С Пниним договорились, что он даст знать, когда доберется до ракеты. Действительно, через час двадцать минут они услышали его голос по радио. Разговор был короткий, нельзя было терять ни секунды, тем более что стартовать приходилось в трудных условиях: ракета стояла не вертикально, а ее «ноги» довольно глубоко ушли в каменную осыпь и действовали, как якоря с балластом. Пиркс и Лангнер, отодвинув металлический ставень окна, видели этот старт, — конечно, не самое начало, поскольку место стоянки заслоняли выступы главного хребта. Но вдруг темноту, густую и бесформенную, прошла огненная линия, а снизу взвилось рыжее зарево — это был свет выхлопных огней, отраженный взметнувшейся пылью. Огненное копьё уходило все выше и выше, ракета совсем не была видна, только эта раскаленная струна, все более тонкая, рвущаяся, распадающаяся на волокна, — нормальная пульсация двигателя, работающего на полной мощности. Пиркс и Лангнер запрокинули головы: огненная линия, отмечающая путь ракеты, проходила уже среди звезд; потом она плавно отклонилась от вертикали и красивой дугой ушла за горизонт.

Они остались вдвоем в абсолютной темноте, так как нарочно погасили все огни, чтобы лучше видеть старт. Задвинули бронированный ставень, включили свет и поглядели друг на друга. Лангнер слегка усмехнулся, ссутулившись, подошел к столу, где лежал его рюкзак, и начал доставать из него книги. Пиркс стоял, прислонившись к вогнутой стене. В голове у него все перемешалось: холодные подземелья Луны Главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, подпрыгивающие до потолка и обменивающиеся кусками оплавленной пемзы, полет на станцию

«Циолковский», рослые русские исследователи, серебряная паутинка радиотелескопа, еще один полет и наконец эта дьявольская дорога сквозь каменный холод и зной, с пропастями, глядящими прямо в стекло шлема. Он не мог поверить, что так много уместилось в какие-нибудь несколько часов: время гигантски выросло, охватило все эти картины, поглотило их, а теперь они возвращались, будто борясь за первенство. Пиркс на мгновение сомкнул пылающие, сухие веки и снова открыл глаза.

Лангнер по какой-то своей системе расставлял книги на полке. Пирксу показалось, что он понял этого человека. Спокойные движения его рук, выстраивающих книги в ровный ряд, не свидетельствовали об оцепенении или равнодушии. Лангнера не угнетал этот мертвый мир, потому что он ему служил: прибыл он на станцию по доброй воле, по дому не грустил, дом для него — спектрограммы, результаты вычислений и то место, где эти вычисления производились; он всюду мог чувствовать себя как дома, раз уж весь сосредоточился на ненасытной жажде знаний; он знал, зачем живет. Никогда бы Пиркс не сознался ему в своих романтических мечтах о великом подвиге! Он, наверное, даже не усмехнулся бы, как минуту назад, а выслушал бы его и вернулся к своей работе. Пиркс на мгновение позабывал его уверенность. Но вместе с тем он чувствовал, что Лангнер чужой, что им нечего сказать друг другу, а ведь им предстояло вместе пережить надвигающуюся ночь, и день, и еще одну ночь... Пиркс обвел взглядом кабину, будто впервые увидел ее. Покрытые пластиком вогнутые стены. Закрытое бронированным клапаном окно. Потолочные, вделанные в пластик лампы. Несколько цветных репродукций между полками со специальной литературой; узенькая табличка в рамке, на ней в два столбца написаны фамилии всех, кто жил здесь. По углам порожние кислородные баллоны, консервные банки, наполненные разноцветными кусочками минералов. Легкие металлические

стулья с нейлоновыми сиденьями. Небольшой рабочий стол, над ним лампа, укрепленная на шарнире. Сквозь приоткрытые двери видна аппаратура радиостанции.

Лангнер наводил порядок в шкафу, набитом негативами. Пиркс вышел в прихожую; слева была кухонька, прямо — выход в плюзовую камеру, а справа — две крошечные комнаты. Он открыл свою. Кроме койки, складного стула, выдвижного столика и полочки, там ничего не было. Потолок с одной стороны, над койкой, был скошен, как в мансарде, но не просто, а дугообразно, соответственно кривизне наружной брони.

Пиркс вернулся в прихожую. Дверь плюзовой камеры была скруглена на углах, края ее покрывал толстый слой герметизирующего пластика. Пиркс увидел спицевое колесо и лампочку, которая загоралась, когда наружный люк был открыт и в камере устанавливался вакуум. Сейчас лампочка не горела. Пиркс открыл дверь. Автоматически вспыхнули две лампы, осветив узкое помещение с голыми металлическими стенами и вертикальной лесенкой посередине — лесенка упиралась в выходной люк в потолке. Под нижней ступенькой лесенки виднелся слегка затертый шагами меловой контур. На этом месте нашли Сэвиджа: он лежал на боку, скорчившись, и его не сразу смогли поднять, потому что кровь, залившая ему глаза и лицо, примерзла к шероховатым плитам. Пиркс поглядел на этот белесоватый абрис, еще напоминающий человеческий силуэт, потом попятился и, заперев герметическую дверь, поднял глаза к потолку: сверху доносились чьи-то шаги. Это Лангнер полез наверх по приставной лесенке в противоположном конце коридора и возился в обсерватории. Просунув голову в круглый люк в полу обсерватории, Пиркс увидел зачехленный телескоп, напоминавший маленькую пушку, камеры астрографов и два довольно больших аппарата: это были камера Вильсона и другая, масляная, с устройством для фотографирования следов частиц.

Станция была предназначена для исследования космических лучей, и пластинки, которые применяются для этой цели, валялись повсюду; их оранжевые пакеты лежали между книгами, под полками, в ящиках столов, у кроватей, даже в кухоньке. И это все? Собственно, все, если не считать больших резервуаров с водой и кислородом, размещенных под полом и наглухо закрепленных в лунном грунте, в массиве хребта Менделеева.

Над каждой дверью висел круглый индикатор, регистрирующий концентрацию углекислого газа в помещении. Над ним виднелось ситечко климатизатора. Установка работала бесшумно. Она всасывала воздух, очищала его от углекислого газа, добавляла необходимое количество кислорода, увлажняла или осушала и опять нагнетала во все помещения станции. Пиркс был рад каждому звуку, долетавшему из обсерватории; когда Лангнер не шевелился, тишина так разрасталась, что можно было слышать ток собственной крови, совсем как в экспериментальном бассейне, в «сумасшедшей ванне», но из бассейна можно было вылезти в любую минуту...

Лангнер спустился вниз и приготовил ужин бесшумно и умело; когда Пиркс вошел в кухоньку, все было уже готово. Они ели, обмениваясь дежурными фразами: «Передайте мне соль». — «Хлеб еще есть в банке?» — «Завтра придется открыть новую». — «Кофе или чай?»

Только и всего. Пирксу сейчас немногословность была по душе. Что они, собственно, едят? Третий обед за день? Или четвертый? А может, это уже завтрак следующих суток? Лангнер сказал, что должен проявить отснятые пластинки. Он ушел наверх. Пирксу нечем было заняться. Он вдруг понял все. Его прислали сюда, чтобы Лангнер не был в одиночестве. Пиркс ведь не разбирается ни в астрофизике, ни в космических лучах. Разве станет Лангнер обучать его обращению с астрографом! Вышел он на первое место, психологи заверили, что такой чело-

век не рехнется, поручились за него. Теперь придется просидеть в этом горшке две недели ночи, а потом две недели дня, неизвестно чего ожидая, неизвестно на что глядя...

Это Задание, эта Миссия, которая несколько часов назад казалась ему невероятным счастьем, теперь представала в своем подлинном облике — как бесформенная пустота. От чего должен он охранять Лангнера и самого себя? Каких следов искать? И где? Может, он считал, что открывает такое, чего не заметили лучшие специалисты, входившие в состав комиссии, люди, годами изучавшие Луну? Каким же идиотом он был!

Пиркс сидел у стола. Надо было вымыть посуду. И вернуть кран, потому что утекала по капле вода, бесценная вода, которую привозили в виде замороженных глыб и забрасывали из миномета по дуге в два с половиной километра в каменный котел у подножья станции.

Но он не двигался. Даже не пошевелил рукой, безвольно лежавшей на краю стола. В голове были жар и пустота, безмолвие и тьма, со всех сторон обступившие стальную скорлупу станции. Он протер глаза, они горели, будто их засыпало песком. С трудом встал, словно весил вдвое больше, чем на Земле. Отнес грязную посуду к раковине, с шумом бросил ее на дно, под струю теплой воды. И, моя тарелки, соскребая с них застывшие остатки жира, Пиркс усмехнулся, вспомнив свои мечты, которые развеялись еще где-то на дороге к хребту Менделеева и остались так далеко позади, были такими смешными и чуждыми, такими давними, что их нечего было даже стыдиться.

С Лангнером можно было прожить хоть день, хоть год — это ничего не меняло. Работал он усердно, но размеренно. Никогда не торопился. Не имел никаких дурных привычек, никаких странностей и чудачеств. Если живешь

с кем-нибудь в такой тесноте, любой пустяк начинает раздражать: что твой компаньон долго торчит под душем, что отказывается открыть банку со шпинатом, потому что не любит шпината, что ему бывает весело, что он вдруг перестает бриться и обрастает жуткой колючей щетиной, либо, порезавшись при бритье, потом битый час разглядывает себя в зеркале и корчит рожи, будто он тут один. Лангнер был не такой. Он ел все, хотя и без особого удовольствия. Никогда не капризничал: нужно мыть посуду — моет. Не распространялся подолгу о себе и своих научных трудах. Спросишь о чем-нибудь — ответит. Пиркса он не сторонился. Но и не навязывался ему. Именно эта безличность и могла бы раздражать Пиркса. Потому что первое здешнее впечатление — когда физик, расставлявший книги на полке, показался ему олицетворением скромного героизма, собственно не героизма, а достойного зависти, stoически мужественного отношения к науке, — это впечатление исчезло, и навязанный Пирксу компаньон казался ему бесцветным до тошноты. Но Лангнер все же не вызывал у Пиркса ни тоски, ни раздражения. Потому что у Пиркса оказалась — по крайней мере поначалу — масса дел. И дела эти были захватывающие. Теперь, когда Пиркс знал и станцию, и ее окрестности, он снова припался изучать все документы комиссии.

Катастрофа произошла через четыре месяца после ввода станции в строй. Она наступила не на рассвете и не в сумерки, как того можно было ожидать, а почти в самый лунный полдень. Три четверти нависшей плиты Орлиного Крыла рухнули — без каких-либо признаков, предвещавших катастрофу. Катастрофа произошла на глазах у четырех человек: личный состав станции был тогда временно удвоен, и все как раз стояли, ожидая колонну транспортеров с припасами.

Расследование показало, что проникновение в глубь главной опоры Орла действительно нарушило ее кристалличес-

кую структуру и механическую устойчивость всей системы. Англичане сваливали ответственность на канадцев, канадцы — на англичан; лояльность партнеров по Британскому содружеству проявилась лишь в том, что они дружно умолчали о предостережениях профессора Анимцева. Но как бы ни обстояло дело, результаты были трагическими. Четверо людей, стоявших у станции, менее чем в километре по прямой линии от места катастрофы, видели, как раскалывается надвое ослепительно сверкающая скала, как разваливается на куски система противолавинных клиньев и стен, как вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу вместе с подпирающим ее скальным основанием и падает в долину, которая за тридцать часов превратилась в море слегка клубящейся белой пыли: разлив этой пыли, гонимой бешеным натиском лавины, через несколько минут уже достиг противоположного склона кратера. В губительной зоне обвала оказались два транспортера. Того, что замыкал колонну, вообще не удалось найти. Его обломки были погребены под десятиметровой толщей камней. Водитель второго транспортера пытался спастись. Он проскочил поток лавины и выбрался на верхний, уцелевший участок дороги, но огромная глыба, перемахнув через сохранившийся остаток противолавинной стены, сбросила машину в трехсотметровую пропасть. Водитель успел открыть люк и упал в поток мелких камней. Он один пережил своих товарищей, впрочем лишь на несколько часов. Но эти несколько часов были сущим адом для остальных. Этот человек, канадец французского происхождения по фамилии Роже, не потерял сознания — или пришел в себя сразу после катастрофы — и из глубины белой тучи, закрывшей все дно кратера, звал на помощь. Приемник в радиоаппаратуре его скафандра был поврежден, но передатчик действовал. Найти Роже было невозможно. Запеленговать его передатчик никак не удавалось из-за многократного преломления волн, отражаемых глыбами,

а глыбы были величиной с большой дом, и спасатели двигались по этому лабиринту, залитому молочной пылью, как по руинам города. Радар был бесполезен из-за обилия сернистого железа в осыпавшейся породе. Через час, когда из-под Солнечных Ворот ринулась вторая лавина, розыски пришлось прекратить. Вторая лавина была небольшой, однако она могла предвещать новые обвалы. И они ждали, а голос Роже все еще был слышен, и особенно четко наверху, на станции: каменная воронка кратера действовала как нацеленный вверх рупор. Через три часа прибыли русские со станции «Циолковский» и двинулись в пылевое облако на гусеничных транспортерах; машины становились дыбом и того гляди могли опрокинуться на движущемся склоне: из-за слабого притяжения угол падения каменных осыпей на Луне круче, чем на Земле. Цепочки спасателей прошли туда, где и гусеничные машины не могли пройти, и трижды прочесали зыбкую поверхность осыпи. Один из спасателей упал в расщелину; только немедленная отправка на станцию «Циолковский» и быстрые действия врача помогли ему выжить. Но и тогда люди не ушли из белой тучи, потому что все они слышали постепенно слабеющий голос Роже.

Через пять часов он умолк. Но Роже был еще жив. Об этом знали все. В скафандре, помимо обычной аппаратуры для радиотелефонной связи, есть миниатюрный автоматический передатчик, соединенный с кислородным прибором. Электромагнитные волны передают каждый вдох и выдох на станцию, где он регистрируется специальным устройством вроде «магического глаза»: зеленый светящийся «мотылек» то расправляет «крылья», то складывает. Это флюоресцирующее мигание подтверждало, что потерявший сознание, умирающий Роже все еще дышит; пульсация эта все замедлялась; никто не мог уйти из помещения радиостанции, столпившиеся здесь люди бессильно ждали смерти Роже.

Роже дышал еще два часа. Потом зеленый огонек в «магическом глазе» замерцал, сжался и замер. Лишь через тридцать часов отыскивали изуродованный, окаменевший труп канадца и похоронили его в помятом скафандре, как в металлическом гробу.

Потом проложили новую дорогу, точнее, ту горную тропу, по которой Пиркс пришел на станцию. Канадцы хотели было ликвидировать станцию, но их упрямые английские коллеги разрешили проблему доставки припасов оригинальным способом, который впервые был предложен на Земле при штурме Эвереста. Тогда его отклонили как нереальный. Реальным он оказался лишь на Луне.

Эхо катастрофы прокатилось по всей Земле в многочисленных, порой совершенно противоречивых версиях. Наконец, шум утих. Трагедия стала очередной главой в летописи борьбы с лунными пустынями. На станции посменно дежурили астрофизики. Так прошло шесть лунных дней и ночей. А когда уже казалось, что на этой недавно так много испытывавшей станции не произойдет больше ничего сенсационного, станция «Менделеев» вдруг не отозвалась на позывные, поданные на рассвете радистами станции «Циолковский». И опять туда направилась команда с «Циолковского» — спасать людей или, вернее, выяснить, чем объясняется молчание станции. Их ракета опустилась у края большой осыпи, неподалеку от вершины хребта.

До купола станции они добрались, когда почти весь кратер был еще окутан непроглядной тьмой. Только под самой вершиной искрился в горизонтальных лучах стальной колпак станции. Входной люк был открыт настежь. Под ним, у основания лесенки, лежал Сэвидж — в такой позе, будто он соскользнул со ступенек. Смерть наступила в результате удушья: бронированное стекло его шлема треснуло. Позже на внутренней стороне его рукавиц обнаружили еле заметные следы каменной пыли, будто он возвращался после восхождения в горы. Но следы эти

могли иметь более давнее происхождение. Второго канадца, Шалье, нашли только после тщательного осмотра близлежащих расщелин и откосов. Спасатели, спустившись на тросах длиной триста метров, извлекли его тело со дна пропасти под Солнечными Воротами. Труп лежал в нескольких десятках метров от того места, где погиб и был похоронен Роже.

Все попытки восстановить картину случившегося сразу показались безнадежными. Никто не мог выдвинуть правдоподобную гипотезу. К месту происшествия прибыла смешанная англо-канадская комиссия.

Часы Шалье остановились в двенадцать, но не известно было, в полдень они разбились или в полночь. Часы Сэвиджа остановились в два. Внимательный осмотр (а исследование велось с идеальной тщательностью) показал, что пружина часов раскрутилась до конца. Значит, часы Сэвиджа, по всей вероятности, не остановились в момент его смерти, а шли еще некоторое время.

В помещении станции был обычный порядок. В станционном журнале, куда заносились все существенные факты, не было ничего, что могло бы пролить хоть луч света на происшедшее. Пиркс изучил этот журнал страницу за страницей. Записи были лаконичны: в таком-то часу произведены астрономические измерения, экспонировано столько-то пластинок, в такой-то обстановке проведены следующие наблюдения. Среди этих стереотипных заметок ни одна не имела хотя бы косвенной связи с тем, что произошло в эту последнюю для Сэвиджа и Шалье лунную ночь.

Все здесь свидетельствовало о том, что смерть захватила работников станции врасплох. Нашли открытую книгу, на полях которой Шалье делал пометки; она лежала, прижатая другой книгой, чтобы страницы не закрывались, освещенная электрической лампой. Рядом была трубка, она упала на бок, и выпавший уголек слегка опалил пластиковое покрытие стола. К тому же Сэвидж готовил тогда

ужин. В кухоньке остались открытые банки консервов, в миске белела разведенная на молоке каша для омлета, дверца холодильника была открыта, а на белом столике стояли две тарелки, два прибора и нарезанный зачерствевший хлеб...

Стало быть, один из них оторвался от чтения и отложил дымящуюся трубку, как это делают, когда хотят ненадолго отлучиться из комнаты. А другой бросил готовить ужин, оставив сковородку с расплавленным жиром, даже не захлопнул дверцы холодильника. Они надели скафандры и вышли в ночь. Одновременно? Или один за другим? Зачем? Куда?

Оба они пробыли на станции уже две недели. Превосходно знали окружающую местность. Да и ночь была на исходе. Через десять-пятнадцать часов должно было взойти солнце. Почему они не дождались восхода, если оба — или один из них — решили спуститься на дно кратера? О том, что таково было, по-видимому, намерение Шалье, свидетельствовало место, где нашли его труп. Он, как и Сэвидж, знал, что забираться на площадку под Солнечными Воротами, где дорога неожиданно обрывается, — это сумасшествие. Пологий спуск становился в этом месте все круче, будто приглашая спуститься вниз, но через несколько десятков шагов уже зияла пропасть, образовавшаяся в результате обвала. Новая дорога огибала это место, а потом шла вдоль линии алюминиевых вех. Это знал каждый, кто хоть раз побывал на станции. И вдруг один из постоянных ее сотрудников пошел именно туда, начал спускаться по плитам, ведущим к пропасти. С какой целью? Чтобы совершить самоубийство? Но разве бывает так, чтобы самоубийца оторвался от увлекательного чтения, оставив раскрытую книгу, отложил дымящуюся трубку и пошел навстречу смерти?

А Сэвидж? При каких обстоятельствах треснуло стекло в его шлеме? Когда он только выходил из дома или когда

возвращался? Или он собрался искать Шалье, который все не возвращался? Но почему он не пошел вместе с ним? А если пошел, то как мог позволить ему спуститься к обрыву?

На все эти вопросы не было ответов...

Единственным предметом, оказавшимся явно не на своем месте, была пачка пластинок, предназначенных для регистрации космических лучей. Она лежала в кухне на белом столике, рядом с пустыми чистыми тарелками.

Комиссия пришла к следующим выводам.

В тот день дежурил Шалье. Углубившись в чтение, он вдруг спохватился, что время приближается к одиннадцати. В этот час он должен был заменить экспонированные пластинки новыми. Пластинки экспонировались вне станции. На сотню шагов выше по склону горы был вырублен в скале неглубокий колодец. Стены его выложили свинцом, чтобы на фотопластинки падали только вертикальные лучи, как требовали условия тогдашних исследований. Итак, Шалье встал, отложил книгу и трубку, взял пачку новых пластинок, надел скафандр, вышел через шлюзовую камеру, направился к колодцу, спустился по ступенькам, вделанным в стену, сменил пластинки и, взяв экспонированные, отправился назад.

На обратном пути он заблудился. Кислородный аппарат у него не был испорчен; значит, разум его помутился не от аноксии — кислородного голодания. Так по крайней мере можно было предположить после осмотра разбитого скафандра.

Члены комиссии пришли к убеждению, что сознание Шалье внезапно помрачилось — иначе бы он не сбился с дороги. Слишком хорошо он ее знал. Может, он неожиданно заболел, упал в обморок, может, у него закружилась голова и он потерял ориентировку? Во всяком случае, он шел, думая, что возвращается на станцию, а на самом деле

двигался прямо к пропасти, которая поджидала его в каких-нибудь ста метрах.

Сэвидж, видя, что Шалье долго не возвращается, забеспокоился, бросил стряпню и попытался установить с ним радиосвязь. Передатчик был настроен на ультракороткий диапазон местной связи. Конечно, его могли включить и раньше, если б кто-нибудь из дежурных пытался, несмотря на помехи, установить связь со станцией «Циолковский». Но, во-первых, русские не слышали никаких радиосигналов, пусть даже искаженных до полной непонятности. А во-вторых, это предположение казалось маловероятным еще и потому, что и Сэвидж, и Шалье прекрасно понимали всю бессмысленность такой попытки как раз в период самых сильных радиопомех, перед рассветом... Когда связаться с Шалье не удалось, ибо он тогда уже погиб, Сэвидж, надев скафандр, выбежал в темноту и начал искать товарища.

Возможно, Сэвидж был так взволнован молчанием Шалье, его необъяснимым, таким внезапным исчезновением, что сбился с пути; но скорее он, пытаясь систематически прочесать окрестности станции, напрасно и чрезмерно рисковал. Одно ясно: во время этих головокружных поисков Сэвидж упал и разбил стекло шлема. У него хватило еще сил, зажав ладонью трещину, добежать до станции и взобраться к входному люку, но, прежде чем он задраил люк, прежде чем впустил в камеру воздух, остаток кислорода улетучился из скафандра и Сэвидж на последней ступеньке лесенки упал в обморок, который через несколько секунд перешел в смерть.

Такое истолкование трагедии не убедило Пиркса. Он тщательно ознакомился с характеристиками обоих канадцев. Особое внимание уделил Шалье, ибо тот, по-видимому, оказался невольным виновником гибели и своей, и своего товарища. Шалье было тридцать пять лет. Он был известным астрофизиком и опытным альпинистом. Отли-

чался отменным здоровьем, никогда не болел; головокружений у него не было. До этого он работал на «земном» полушарии Луны, где стал одним из основателей Клуба акробатической гимнастики, этого необычного спорта; лучшие из его приверженцев могли с одного прыжка сделать десять сальто подряд и уверенно опуститься на полусогнутые ноги или выдержать на своих плечах пирамиду из двадцати пяти спортсменов! Неужели такой человек без всякой причины вдруг ослабеет или потеряет ориентировку и не сумеет пройти по отлогому склону последние сто шагов до станции, а свернет под прямым углом в ложном направлении, да еще и перелезет в темноте через груды глыб, громоздящуюся позади станции именно в этом месте?

И была еще одна деталь, которая, по мнению Пиркса (да и не только Пиркса), казалось бы, прямо противоречила версии, записанной в официальном протоколе. На станции сохранялся порядок. Но одну вещь нашли не на своем месте — пачку фотопластинок на кухонном столе. Похоже было на то, что Шалье действительно вышел, чтобы сменить пластинки. Что он сменил их. Что вовсе не пошел прямо к пропасти, не карабкался через каменный вал, а преспокойно вернулся на станцию. Об этом свидетельствовали пластинки. Шалье положил их на кухонный стол. Почему именно туда? И где был в это время Сэвидж? Комиссия решила, что экспонированные пластинки, обнаруженные в кухне, принадлежат к предыдущей, утренней партии и что один из ученых случайно положил их на стол. Однако возле трупа Шалье не нашли никаких пластинок. Комиссия решила, что пачка пластинок могла выпасть из кармана скафандра или из рук Шалье при падении в пропасть и исчезнуть в одной из бесчисленных щелей среди каменной осыпи.

Пирксу казалось, что тут явно подгоняют факты под заранее принятую гипотезу.

Он спрятал протоколы в ящик. Ему больше незачем было заглядывать в них. Он знал их наизусть. Он сказал себе — даже не выразил этой мысли словесно, ибо был непоколебимо в этом уверен, — что разгадка тайны скрыта не в психике обоих канадцев. Не было никакого обморока, заболевания, помрачения сознания — причина трагедии была иная. Ее нужно было искать либо на самой станции, либо в ее окрестностях.

Пиркс начал с исследования станции. Он не искал никаких следов — хотел лишь подробно изучить детали оборудования. Спешить ему не приходилось, времени было достаточно.

Прежде всего он исследовал шлюзовую камеру. Меловой контур все еще виднелся у основания лесенки. Пиркс начал с внутренней двери. Как обычно в малых камерах подобного типа, устройство позволяло открывать либо внутреннюю дверь, либо крышку верхнего люка. При открытом люке дверь нельзя было открыть. Это исключало несчастные случаи, например если один открывает крышку, а другой в это время откроет дверь. Правда, дверь открывалась внутрь и давление воздуха все равно захлопнуло бы ее с силой почти в восемнадцать тонн, но между краем двери и фрамугой могла попасть рука, какой-нибудь твердый предмет или инструмент — тогда произошла бы молниеносная утечка воздуха в пустоту.

С крышкой входного люка дело обстояло еще сложнее, тем более что за ее положением следил центральный распределительный аппарат в помещении радиостанции. Когда крышку открывали, на пульте этого прибора загорался красный сигнал. В то же мгновение автоматически включался приемник зеленого сигнала. Он представлял собой стеклянный глазок в никелированной оправе, расположенный в центре тоже застекленного экрана локатора. Когда «мотылек» в глазке мерно помахивал «крыльями», это значило, что находящийся вне станции человек дышит нор-

мально; кроме того, по расчерченному на сегменты экрану локатора двигалась светящаяся полоска, показывая, где этот человек находится. Эта светящаяся полоска вращалась по экрану соразмерно с оборотами радарной антенны на куполе и позволяла наблюдать окрестности станции в виде фосфорически мерцающих очертаний. Вслед за лучиком, бегущим по кругу, как стрелка часов, на экране появлялось специфическое свечение, возникающее в результате отражения радиоволн от всех материальных объектов; человек, облаченный в металлический скафандр, вызывал на экране особенно яркое свечение. Наблюдая за этим изумрудным продолговатым пятнышком, можно было уловить его движение, так как перемещалось оно на более слабо светящемся фоне, и таким образом определить, куда и с какой скоростью идет человек. В верхней части экрана видна была местность у северной вершины, где находился колодец для экспонирования пластинок, а в нижней части, обозначающей юг, то есть зону, в период ночи запретную, — дорога к пропасти.

Механизмы «дышащего мотылька» и радиолокатора действовали независимо друг от друга. Глазок питался от датчика, соединенного с кислородными клапанами скафандра и работавшего на частотах, близких к инфракрасным, а луч локатора работал на радиоволнах длиной полсантиметра.

Аппаратура располагала только одним локатором и только одним глазком, ибо по инструкции лишь один человек мог находиться вне станции, а другой внутри станции наблюдал за его состоянием; в случае необходимости он, конечно, должен был поспешить на помощь товарищу.

На практике при такой краткой и безопасной отлучке, как для смены фотопластинок в колодце, оставшийся на станции мог открыть настежь двери кухни и радиостанции и поглядывать на приборы, не прерывая стряпни. Можно было также поддерживать радиотелефонную связь,

за исключением предрассветных часов, потому что приближение терминатора, границы света и тени, сопровождалось такой бурей тресков, что разговаривать было практически невозможно.

Пиркс добросовестно изучил действие сигналов. Когда поднимали крышку люка, вспыхивала красная лампочка на пульте. Зеленый «мотылек» светлел, но оставался неподвижным, а его «крылышки» были намертво сжаты до толщины нити, так как отсутствовали внешние сигналы, которые их расправляли. Лучик локатора мерно кружил по экрану, и неподвижные очертания скалистой окрестности возникали там, словно окаменевшие призраки. Он нигде не усиливал свечения и тем самым подтверждал показания «мотылька», что в радиусе его действия вне станции нет ни одного скафандра.

Разумеется, Пиркс наблюдал за поведением аппаратуры и когда Лангнер выходил сменять пластинки.

Красная лампочка вспыхивала и почти немедленно гасла, потому что Лангнер закрывал крышку люка снаружи. Зеленый «мотылек» начинал мерно пульсировать. Через несколько минут пульсация немного ускорялась: Лангнер довольно быстро поднимался по склону, и его дыхание, естественно, учащалось. Яркий отблеск скафандра сохранялся на экране значительно дольше, чем контуры скал, гаснувшие, как только удалялся луч. Потом «мотылек» внезапно сжимался и замирал, а экран пустел, и свечение скафандра гасло. Это происходило, когда Лангнер спускался в колодец, свинцовые стены которого вставляли на пути потока сигналов. Одновременно на главном пульте вспыхивала пурпурная надпись *Alarm!**, а картина на экране локатора менялась. Радарная антенна локатора, продолжая вращаться, уменьшала угол наклона, поочередно прощупывая все более дальние сегменты местности. При-

* *Alarm* — сигнал тревоги.

боры ведь «не знали», что произошло: человек вдруг исчезал из поля их электромагнитной власти. Через три-четыре минуты «мотылек» снова расправлял «крылья», локатор обнаруживал исчезнувшего, и оба не связанных между собой прибора отмечали появление человека. Лангнер, выбравшись из колодца, возвращался на станцию. Сигнал *Alarm* продолжал, однако, гореть — его нужно было выключить. Впрочем, через сто двадцать минут это сделал бы выключатель с часовым механизмом, поставленный для того, чтобы зря не расходовалась электроэнергия. Ночью она поступала только из аккумуляторов, а днем их снова заряжало солнце.

Изучив действие этих приборов, Пиркс решил, что они не отличаются особой сложностью. Лангнер в его эксперименты не вмешивался. Он считал, что канадцы погибли именно при таких обстоятельствах, какие изложила комиссия в своих протоколах; кроме того, он считал, что несчастные случаи вообще неизбежны.

— Пластинки? — ответил он на доводы Пиркса. — Никакого значения эти пластинки не имеют! Когда расстроишься, еще и не такое делаешь. Логика покидает нас гораздо раньше, чем жизнь. И человек начинает совершать бессмысленные поступки...

Пиркс решил больше с ним не спорить.

Кончалась вторая неделя лунной ночи. Пиркс после всех исследований знал не больше, чем в самом начале. Может, и вправду этой трагедии суждено навсегда остаться неразгаданной? Может, это одно из происшествий, встречающихся раз на миллион, когда невозможно восстановить картину случившегося?

Пиркс постепенно втянулся в сотрудничество с Лангнером. Надо же было, в конце концов, что-то делать, заполнить чем-нибудь долгие часы. Он научился обращаться с большим астрографом (значит, все же это была обычная предвыпускная практика...), потом стал по очереди с Ланг-

нером ходить к колодцу, чтобы оставить там на несколько часов очередную партию фотопластинок.

Долгожданный рассвет приближался. Истосковавшись по новостям, Пиркс долго возился с радиоаппаратурой, но извлек лишь ураган треска и свиста, предвещающий близкий восход солнца. Потом был завтрак; после завтрака они проявляли пластинки. Над одной из них астрофизик долго корпел, так как обнаружил на ней великолепный след какого-то мезонного распада; он даже подозвал Пиркса к микроскопу, но тот был равнодушен к красотам ядерных превращений. Потом был обед, потом Лангнер провозился часок с астрографами и провел визуальные наблюдения звездного неба. Время приближалось к ужину, Лангнер был уже на кухне, когда Пиркс (в этот день была его очередь менять пластинки) сказал, что выходит наружу. Лангнер, погруженный в изучение сложного рецепта на коробке с яичным порошком, пробурчал, чтобы он поторопился: омлет будет готов через десять минут.

Пиркс, уже в скафандре, держа в руке пачку пластинок, проверил, хорошо ли прилегает шлем к вороту, распахнул настежь двери кухни и радиостанции, вошел в камеру, захлопнул за собой герметическую дверь, откинул верхнюю крышку и выбрался наружу.

Его окутала та же тьма, что и в межзвездном пространстве. Земному мраку с ней не сравниться, потому что атмосфера всегда немного светится от слабого возбужденного излучения кислорода. Пиркс видел звезды, и лишь по тому, как прерывались то тут, то там узоры знакомых ему созвездий, он понимал, что вокруг громоздятся скалы. Пиркс включил рефлектор на шлеме и, шагая за бледным, мерно подрагивавшим кружком света, добрался до колодца. Перебросил ноги в тяжелых башмаках через борт колодца (к здешней легкости привыкают быстро, куда труднее опять привыкнуть к нормальному притяжению на Земле), нащупал первую ступеньку, спустился вниз и за-

нялся пластинками. Когда он присел на корточки и наклонился над подставками, рефлексор замигал и погас. Пиркс шевельнулся, хлопнул по шлему рукой — свет появился снова. Значит, лампочка цела, только контакт не в порядке. Он начал собирать экспонированные пластинки — рефлексор мигнул раз, другой и опять погас. Пиркс сидел несколько секунд в крошечной тьме, не зная, что предпринять. Обратная дорога не страшила его — он знал ее наизусть, к тому же на куполе станции светились два огонька, зеленый и голубой. Но, идя на ощупь, можно было разбить пластинки. Он еще раз хватил кулаком по шлему — лампочка загорелась. Пиркс быстро записал температуру, вложил экспонированные пластинки в кассеты; когда он начал укладывать кассеты в футляр, проклятый рефлексор снова погас. Пришлось отложить пластинки, чтобы еще несколько раз стукнуть по шлему и включить свет. Пиркс заметил, что, пока он стоит выпрямившись, лампочка горит, а стоит ему нагнуться, как она гаснет. Пришлось продолжать работу в неестественной позе. Наконец свет погас уже окончательно, и никакие удары не помогали. Но сейчас не могло быть и речи о возвращении на станцию, потому что вокруг лежали пластинки. Пиркс прислонился к нижней ступеньке, отвинтил крышку рефлексора, всадил ртутную лампочку глубже в патрон и снова надел крышку. Теперь свет горел, но, как назло, заело винт. Пиркс пробовал и так и сяк, наконец, разозлившись, сунул стеклянную крышку в карман, быстро собрал пластинки, разложил новые и полез вверх. До края колодца оставалось всего с полметра, когда Пирксу показалось, что к белому свету его рефлексора примешался какой-то другой, колеблющийся и угасающий; он посмотрел вверх, но увидел лишь звезды над краем колодца.

«Почудилось мне», — решил Пиркс.

Он выбрался наверх, но его охватило какое-то непо-

нятное беспокойство. Он не шел, а бежал большими скачками, хотя лунные прыжки вопреки мнению многих ничуть не ускоряют движения — прыжки длинные, но зато летишь в шесть раз медленнее, чем на Земле. Он был уже у станции и положил руку на перила, когда снова увидел, как что-то блеснуло, будто на юге выстрелили из ракетницы. Он не увидел самой ракеты — все заслонял купол станции, — только призрачный отблеск нависших скал: они вынырнули на секунду из черноты и снова исчезли. Пиркс молниеносно, как обезьяна, взобрался на купол. Кругом была тьма. Будь у него ракетница, он выстрелил бы. Он включил свое радио. Треск. Ужасный треск.

Вдруг он подумал, что валяет дурака. Какая ракета? Это наверняка был метеор. Метеоры не светятся в атмосфере, потому что ее нет на Луне, но вспыхивают, когда с космической скоростью врезаются в скалы.

Пиркс быстро спустился в камеру, дождался, пока стрелки показали необходимое давление — 0,8 килограмма на квадратный сантиметр, открыл дверь и, стаскивая на ходу шлем, вбежал в прихожую.

— Лангнер! — крикнул он.

Молчание. Не снимая скафандра, Пиркс вбежал в кухню. Обвел ее взглядом. Кухня была пуста! На столе — тарелки, приготовленные к ужину, в кастрюльке — размешанная для омлета каша, сковородка рядом с уже включенной горелкой.

— Лангнер! — заорал Пиркс и, швырнув пластинки, бросился в помещение радиостанции. Там тоже было пусто. Не известно, откуда появилась у него уверенность, что не стоит подниматься в обсерваторию, что Лангнера на станции нет. Значит, эти вспышки все же были ракеты? Лангнер стрелял? Он вышел наружу? Зачем? И идет по направлению к пропасти!

Вдруг он увидел Лангнера. Зеленый глазок мигал: Лангнер дышит. А бегавший по окружности лучик радара

выхватывал из мглы маленький яркий огонек — в самой нижней части экрана! Лангнер шел к обрыву...

— Лангнер! Стой! Стой! Слышишь? Стой! — кричал Пиркс в микрофон, не отрывая глаз от экрана.

Репродуктор тарыхтел. Треск помех — больше ничего. Зеленые «крылышки» махали, но не так, как при нормальном дыхании: они двигались медленно, неуверенно, порой надолго замирали, будто кислородный аппарат Лангнера перестал работать. А резкий блеск в радаре был очень далеко: на координатной сетке, прочерчивающей стекло, он сверкал в самом низу экрана, за полтора километра по прямой линии, значит, уже где-то среди огромных вздыбившихся скал под Солнечными Воротами. И больше он не двигался. При каждом обороте водящего луча он вспыхивал в том же самом месте. Лангнер упал? Лежит там — без сознания?

Пиркс выскочил в коридор. Надо в шлюзовую камеру, наружу! Он кинулся к герметической двери. Но, когда он пробежал мимо кухни, что-то бросилось ему в глаза, черное, на белой скатерти. Фотопластинки, которые он принес и машинально бросил здесь, испуганный отсутствием Лангнера... Это словно парализовало Пиркса. Он стоял у дверей камеры, держа в руках шлем, и не двигался с места.

«Все так же, как тогда. Все так же, — думал он. — Он готовил ужин и вдруг вышел. Сейчас я выйду за ним и... и оба мы не вернемся. Через несколько часов «Циолковский» начнет вызывать нас по радио. Ответа не будет...»

«Сумасшедший, иди! — кричало что-то в нем. — Чего ты ждешь? Он лежит там! Может, его захватила лавина, она сорвалась с вершины, ты не слышал, ведь здесь ничего не слышно, он еще жив, он не движется, но жив, он дышит, торопись...»

Однако Пиркс не двигался. Вдруг он круто повернулся, бросился в помещение радиостанции и внимательно

присмотрелся к индикаторам. Никаких перемен не было. Через каждые четыре-пять секунд — медленный взмах крылышек «мотылька», подрагивающий, неуверенный. И блеск в радаре — на краю пропасти...

Пиркс проверил угол наклона антенны: он был минимальным. Антенна уже не охватывала территории, прилегающей к станции, — она посылала импульсы на максимальное расстояние. Пиркс вплотную приблизил лицо к глазку. И тогда он заметил нечто страшное. Зеленый «мотылек» не только складывал и расправлял «крылышки», но в то же время весь мерно подрагивал, будто на слабый дыхательный ритм накладывался другой, гораздо более быстрый. Судороги агонии? Конвульсии? Там умирал человек, а он с полуоткрытым ртом жадно всматривался в движения катодного огонька, все те же — и замедленные, и отмеченные иным ритмом. Вдруг, сам толком не понимая, почему он это делает, Пиркс схватил кабель антенны и вырвал его из гнезда. Случилось нечто поразительное: индикатор с отключенной антенной, оторванный от внешних импульсов, не замер: «крылышки» все продолжали трепетать...

Все в том же непонятном оцепенении Пиркс бросился к пульту и увеличил угол наклона радарной антенны. Далекая искорка, застывшая под Солнечными Воротами, начала двигаться к рамке экрана. Радар выхватывал из мрака все более близкие участки местности — и вдруг на экране появилась новая вспышка, гораздо ярче и сильнее. Второй скафандр!

Это наверняка был человек. Он двигался. Медленно, мерно спускался вниз, сворачивал то влево, то вправо, видимо обходя какие-то препятствия, и направлялся к Солнечным Воротам, к той, другой, далекой искорке — к другому человеку?

У Пиркса глаза на лоб полезли. На экране действительно светились две искры: близкая — движущаяся и дале-

кая — неподвижная. На станции было только два человека — Лангнер и он, Пиркс. Аппаратура показывала, что их трое. Третьего быть не могло. Значит, аппаратура лгала.

Он еще не успел до конца продумать все это, как был уже в камере — с ракетницей и патронами. Еще через минуту он стоял на куполе и палил сигнальными ракетами, целясь все в одном направлении — прямо вниз, в сторону Солнечных Ворот. Пиркс едва успевал выбрасывать горячие гильзы. Тяжелая рукоятка ракетницы прыгала у него в руке. Он ничего не слышал, только ощущал легкую отдачу после нажатия спускового крючка, потом расцветали полосы света, алмазная зелень и пурпурное пламя, брызжащее красными каплями, и фонтаны сапфировых звезд... Он все стрелял и стрелял. Наконец внизу, в нескончаемом мраке, вспыхнул ответный огонек, и оранжевая звезда, взорвавшись над головой у Пиркса, осветила его и осыпала, словно в награду, дождем пламенных страховых перьев. И вторая — дождем шафранного золота...

Он стрелял. И тот стрелял, возвращаясь: вспышки выстрелов все сближались. Наконец в свете одной из вспышек Пиркс увидел призрачный силуэт Лангнера. Он внезапно ослабел. Все его тело покрылось испариной. Даже голова. Он весь взмок, будто из воды вылез. Не выпуская ракетницы, Пиркс уселся, потому что ноги стали ватными. Он свесил их в открытый люк и, тяжело дыша, ждал Лангнера, который был уже рядом.

Это случилось так. Когда Пиркс ушел, Лангнер, хлопоча в кухне, не следил за приборами. Он посмотрел на них лишь через несколько минут. Точно не известно, через сколько именно. Во всяком случае, это, по-видимому, было тогда, когда Пиркс возился с гаснущим фонариком. Когда он исчез из поля зрения радара, автомат начал

уменьшать угол наклона антенны, и это продолжалось до тех пор, пока кружащийся лучик не коснулся подножия Солнечных Ворот. Лангнер увидел там сверкающую искру и принял ее за отражение скафандра, тем более что ее неподвижность объясняли показания «магического глаза»; этот человек (Лангнер, конечно, подумал, что это Пиркс) дышал так, будто потерял сознание и задышался. Лангнер тотчас надел скафандр и бросился на помощь.

В действительности искорка в радаре фиксировала ближайшую из шеренги алюминиевых мачт — ту, что стоит над самой пропастью. Лангнер, может, и разобрался бы в своей ошибке, но ведь были еще показания глазка, которые, казалось, дополняли и подтверждали то, что показывал радар.

Газеты потом писали, что глазком и радаром ведала электронная аппаратура вроде электронного мозга, а в нем во время гибели Роже зафиксировался дыхательный ритм умирающего канадца, и, когда возникла «аналогичная ситуация», электронный мозг воспроизвел этот ритм. И что это — нечто вроде условного рефлекса, вызванного определенной последовательностью электрических импульсов. На самом деле все обстояло гораздо проще. На станции не было никакого электронного мозга, а только обычное автоматическое управление, не имевшее никакой «памяти». «Неправильный ритм дыхания» возникал потому, что был пробит маленький конденсатор; неисправность эта давала о себе знать, лишь когда был открыт или не завинчен верхний входной люк. Напряжение тогда пере скакивало с одного контура на другой, и на сетке «магического глаза» возникало «биение». Оно лишь на первый взгляд напоминало «агональное дыхание», ибо, присмотревшись получше, можно было без труда заметить неестественное дрожание зеленых «крылышек».

Лангнер уже шел к пропасти, где, как он думал, находится Пиркс, и освещал себе путь рефлектором, а в осо-

бенно темных местах — ракетами. Два ракетных выстрела и заметил Пиркс, возвращаясь на станцию. Через четыре-пять минут Пиркс в свою очередь стал призывать Лангнера выстрелами из ракетницы — и на этом приключение окончилось.

С Шалье и Сэвиджем было иначе. Сэвидж тоже, возможно, сказал Шалье: «Возвращайся поскорей», как это сказал Пирксу Лангнер. А может, Шалье спешил потому, что зачитался и вышел позже обычного? Во всяком случае, он не завинтил люк. Этого было недостаточно, чтобы погрешность аппаратуры привела к пагубным последствиям; потребовалось еще одно, случайное сочетание факторов: что-то, по-видимому, задержало Шалье в колодце до тех пор, пока антенна, поднимаясь при каждом обороте на несколько градусов, не нашла наконец алюминиевую мачту над пропастью.

Что задержало Шалье? Неизвестно. Почти наверняка не поломка рефлектора: такое случается слишком редко. Но из-за чего-то он запоздал с возвращением, а тем временем появилась на экране роковая искорка, которую Сэвидж, как впоследствии и Лангнер, принял за свечение скафандра. Опоздание должно было составить не менее тринадцати минут: позднее это подтвердилось контрольными опытами.

Сэвидж пошел к пропасти, чтобы искать Шалье. Шалье, вернувшись, застал станцию пустой, увидел то же, что и Пиркс, и в свою очередь пошел разыскивать Сэвиджа. Возможно, Сэвидж, добравшись до Солнечных Ворот, с опозданием понял, что на экране отражалась только металлическая трубка, вбитая в каменную осыпь, но на обратном пути оступился и разбил стекло на шлеме. Может, он и не разобрался в механизме этого явления, а просто после тщетных поисков, не найдя Шалье, забрел на какую-то скалу и упал. Всех этих подробностей выяснить не удалось. Так или иначе, оба канадца погибли.

Катастрофа могла произойти только перед рассветом. Потому что, если б не было помех в радиоаппаратуре, тот, кто оставался внутри станции, мог разговаривать с вышедшим наружу, даже находясь в кухне. Так могло произойти лишь в том случае, если вышедший очень торопился. Тогда он не завинчивал крышку люка. Лишь в этом случае сказывалась погрешность аппаратуры. Да и вообще, если человек торопится, он может опоздать именно потому, что хочет поскорее вернуться. Он может уронить пластинки, разбить что-нибудь — мало ли что случается в спешке. Радарное отражение не отличается особой четкостью: на расстоянии тысячи девятисот метров металлическую вежу легко принять за скафандр. При стечении всех этих обстоятельств катастрофа была возможна и даже вполне вероятна. Для полноты картины добавим, что оставшийся внутри должен был находиться в кухне либо где угодно, но только не в помещении радиостанции, иначе он видел бы, что его товарищ пошел по правильному пути, и не принял бы потом искорку на южной части экрана за скафандр.

Труп Шалье, разумеется, не случайно нашли так близко от того места, где погиб Роже. Он упал в пропасть, на краю которой стояла алюминиевая вежа. Вежу поставили там, чтобы предостеречь людей. А Шалье шел к ней, думая, что приближается к Сэвиджу.

Физический механизм явления был банально прост. Нужна была лишь определенная последовательность случаев и наличие таких факторов, как радиопомехи и незавинченная крышка люка в шлюзовой камере.

Возможно, более достоин внимания был механизм психологический. Когда аппаратура, лишенная внешних импульсов, колебанием внутренних напряжений пускала в ход «мотылька», а на экране появлялось ложное изображение скафандра, человек, подходивший к прибору, воспринимал эту картину как реальную. Сначала Сэвиджду-

мал, что видит у пропасти Шалье, потом Шалье не сомневался, что там находится Сэвидж. То же самое произошло впоследствии с Пирксом и Лангнером.

Такой вывод было особенно легко сделать потому, что каждый из них прекрасно знал подробности катастрофы, в которой погиб Роже, и как особенно трагическую деталь помнил его долгую агонию, которую «магический глаз» до конца аккуратно передавал на станцию.

Так что если, как заметил кто-то, и можно было вообще говорить об «условном рефлексе», то он проявился не у приборов, а у самих людей. Они полусознательно приходили к убеждению, что трагедия Роже каким-то непонятным образом повторилась, избрав на этот раз жертвой одного из них.

— Теперь, когда мы все уже знаем,— сказал Тауров, кибернетик с «Циолковского»,— объясните нам, коллега Пиркс, как вы сумели разобраться в обстановке? Несмотря на то что, как вы сами говорите, не понимали механизма этого явления...

— Не знаю,— ответил Пиркс. В глаза ему била белизна залитых солнцем вершин. Их зубья торчали в густой черноте неба, как кости, вываренные добела.— Пожалуй, дело в пластинках. Я посмотрел на них и понял, что швырнул их точно так же, как Шалье. Может, я все-таки ушел бы, да вот еще одно... С пластинками — это, в конце концов, могло быть случайное стечение обстоятельств... Но у нас на ужин был омлет, так же как у них в тот последний вечер. Я подумал, что слишком уж много этих совпадений и что дело тут не в чистой случайности. Так что... омлет... думаю, это он нас спас...

— Люк остался открытым действительно из-за того, что жарился омлет, ради которого вы так торопились: значит, рассуждали вы совершенно правильно, но это вас не спасло бы, если б вы полностью доверяли аппаратуре,— сказал Тауров.— С одной стороны, мы должны ей дове-

рять. Без электронных устройств мы и шагу не ступили бы на Луне. Но... за такое доверие иногда приходится рас-плачиваться.

— Это правда,— отозвался Лангнер, вставая.— Я хочу сказать вам, коллеги, что больше всего понравилось мне в поведении моего товарища. Что касается меня, то с этой головокружительной прогулки я вернулся, не нагуляв аппетита. Но он,— Лангнер положил руку на плечо Пиркса,— после всего, что случилось, поджарил омлет и съел до последнего кусочка. Вот этим он меня удивил! Хотя я и раньше знал, что это человек сообразительный, честный, можно сказать, добропорядочный...

— Какой, какой?! — переспросил Пиркс.

ПАТРУЛЬ

На дне коробочки стоял домик с красной крышей — черепички делали ее похожей на малину, прямо лизнуть хотелось. Если встряхнуть коробочку, из кустов вблизи домика выкатятся три поросенка, словно розовые жемчужинки. И сразу же из норы под лесом — лес был только нарисован на внутренней стороне коробочки, но выглядел совсем как настоящий — выскакивал черный волк и, щелкая при каждом движении зубастой, красной изнутри пастью, бросался к поросятам, чтобы их проглотить: наверно, внутри у него был магнетик. Требовалась большая ловкость, чтобы помешать волку. Нужно было, постукивая ногтем мизинца по донышку коробочки, успеть ввести всех поросят в домик через дверцу, которая к тому же не всегда широко открывалась. Вся игрушка не больше пудреницы, а можно на нее убить полжизни. Теперь, к сожалению, ничего нельзя было сделать: в невесомости игрушка не действовала. Пилот Пиркс тоскливо поглядывал на рукоятки ускорителей. Одно незначительное движение — и тяга двигателей, даже самая слабая, уничтожит невесомость; тогда можно будет, вместо того чтобы вглядываться в черную пустоту, заняться судьбой поросят.

К сожалению, регламентом не предусматривалось пускать в ход атомный двигатель для спасения трех розовых поросят от волка. Более того, категорически запрещалось проводить лишние маневры в пространстве. Слово это был лишний маневр!

Пиркс медленно спрятал коробочку в карман. Пилоты брали с собой куда более странные вещи, особенно если уходили в патруль на долгий срок, как сейчас. Раньше руководство Базы смотрело сквозь пальцы на то, как расходуют уран, выбрасывая в небо разные непредусмотренные предметы, вроде заводных птичек, которые умеют

клевать рассыпанный хлеб, механических шершней, гонящихся за механическими осаами, китайских головоломок из никеля и слоновой кости, и никто уже не помнил, что впервые распространил эту заразу маленький Арменс, который, отправляясь в патрульный полет, попросту отбирал игрушки у своего шестилетнего сынишки.

Такая идиллия продолжалась довольно долго — почти год, до тех пор, пока ракеты не перестали возвращаться из полетов.

В те спокойные времена многие даже ворчали по поводу патрульных полетов, а назначение в группу, «прочесывающую» пустоту, воспринималось как симптом личной неприязни шефа. Пиркса это назначение совсем не удивило — патруль был чем-то вроде кори: рано или поздно каждый должен через это пройти.

Но вот однажды не вернулся Томас, большой толстый Томас, который носил сапоги сорок пятого размера, любил устраивать розыгрыши и воспитывал пуделя, конечно самого умного пуделя в мире. Даже в карманах его комбинезона можно было найти колбасную кожицу и кусочки сахара. Шеф подозревал, что Томас иногда ухитряется протащить пуделя в ракету, хотя тот клялся, что ничего подобного ему и в голову никогда не приходило. Возможно. Никто этого уже не проверит, потому что однажды июльским утром Томас стартовал, взяв с собой два термоса кофе — он всегда очень много пил — и на всякий случай оставив для себя третий термос в кают-компании пилотов, чтобы по возвращении выпить такой кофе, какой он любил: смешанный с гущей и прокипяченный с сахаром. Кофе стоял очень долго. На третий день в семь часов истек срок «допустимого опоздания», и на доске в навигационной было выписано мелом имя Томаса. Его одного. Такого не случалось — только самые старые пилоты помнили времена, когда на ракетах происходили аварии, и даже любили рассказывать молодежи страшные исто-

рии тех дней: как предупреждение о метеоритной опасности приходило за пятнадцать секунд до удара и времени оставалось ровно столько, чтобы успеть попрощаться с семьей,— конечно, по радио. Но это были действительно старые истории. Доска в навигационной всегда пустовала, и фактически ее не снимали со стены лишь по инерции.

В девять было еще довольно светло; все дежурные пилоты вышли из радиорубки и стояли, уставившись в небо, на газоне, окаймляющем огромную бетонированную посадочную площадку. В навигационную никого не пускали. Шеф приехал из города вечером, снял с катушек все регистрирующие ленты с записями сигналов автоматического передатчика Томаса и пошел наверх — в остекленную башню обсерватории, которая вращалась как обезумевшая, зыряка во все стороны черными раковинами радаров.

Томас летал на маленьком АМУ; атомного топлива ему хватило бы, чтоб облететь половину Млечного Пути, как успокоительно говорил пилотам младший офицер из танкерной группы, но все сочли этого младшего офицера последним идиотом, а кто-то даже нехорошо высказался по его адресу: ведь кислорода на АМУ было всего ничего — пятисуточная порция с восьмичасовым НЗ. Четыре дня напролет восемьдесят пилотов станции, не считая множества иных — всего чуть ли не пять тысяч ракет,— обшаривали сектор, в котором исчез Томас, но не нашли ничего, будто он растаял в пустоте.

Вторым исчез Вилмер. Этого, по правде говоря, мало кто любил. Для неприязни, собственно, не было ни одного серьезного повода, но зато множество мелких. Он всех пербивал — вечно старался вставить словечко. Глуповато посмеивался в самых неподходящих обстоятельствах, и чем больше этим кому-нибудь досаждал, тем громче смеялся. Когда ему не хотелось утруждать себя прицельной посадкой, он преспокойно садился на траву около поса-

дочной площадки и выжигал ее вместе с корнями и землей на метр в глубину. Зато если кто-нибудь забирался хоть на четверть миллипарсека в район его патрулирования, он немедленно писал рапорт, даже если это был его товарищ по Базе. Были и другие, совсем уж незначительные причины, о которых даже и говорить-то неудобно: он, например, вытирался чужими полотенцами, чтобы его собственное подольше оставалось чистым. Но когда Вилмер не вернулся из патрулирования, все вдруг обнаружили, что он превосходнейший парень и товарищ. Снова безумствовал радар, пилоты летали бессменно, радисты вообще не возвращались с Базы домой, спали по очереди на скамейке — им даже обед носили наверх. Шеф, который уже выехал было в отпуск, вернулся специальным самолетом. Пилоты прочесывали сектор четыре дня. Настроение у всех было такое, что за какую-нибудь недовернутую гайку они готовы были голову свернуть механику. Приехали две комиссии экспертов. Один из АМУ-116, словно близнец похожий на ракету Вилмера, был буквально разобран по винтикам, как часы, — и все безрезультатно.

Правда, в секторе было 1600 биллионов кубических километров, но он всегда считался спокойным — ни случайных метеоритных угроз, ни постоянных метеоритных потоков; даже пути старых, сотни лет уже не наблюдавшихся комет не пересекали его, а известно, что такие кометы могут иной раз распасться на мельчайшие куски где-нибудь вблизи Юпитера, в его «пертурбационной мельнице», и потом время от времени выбрасывать на прежнюю орбиту осколки своего раздробленного ядра. Но в этом секторе вообще ничего не было — ни один спутник через него не проходил, ни один астероид, не говоря уже о Поясе, и именно из-за того, что пространство здесь было таким чистым, никто не любил тут патрулировать.

Тем не менее Вилмер исчез именно здесь, вторым по счету, а его регистрационная лента, разумеется, десятки

раз прослушанная, сфотографированная, размноженная и пересланная в Институт, объяснила ровно столько же, сколько лента Томаса, то есть ничего. Какое-то время сигналы поступали, потом перестали поступать. Автоматический передатчик высылал их довольно редко — каждый час. Томас подал одиннадцать, а Вилмер — четырнадцать таких сигналов. Вот и все.

После второго происшествия руководство развернуло бурную деятельность. Для начала проверили все ракеты — атомные реакторы, управление, каждую гайку. За царапину на стекле прибора грозили лишить отпуска. Потом заменили часовые механизмы всех передатчиков — словно они были виноваты! Теперь сигналы подавались с ракеты каждые восемнадцать минут. В этом еще не было ничего плохого; хуже, что у стартовой площадки стояли два старших офицера, которые безжалостно отбирали у пилотов все: поющих и клюющих птичек, мотыльков, пчелок, всякие игрушки. Целая гора конфискованных вещей вскоре скопилась в кабинете шефа. Злые языки говорили даже: двери там потому вечно заперты, что шеф сам забавляется этими игрушками.

Лишь в свете этих событий можно по-настоящему оценить высокое искусство пилота Пиркса, который, несмотря ни на что, ухитрился протащить на борт своего АМУ домик с поросятами. Другое дело, что он не извлек из этого ни малейшей пользы, кроме морального удовлетворения.

Патрульный полет тянулся уже девятый час. Тянулся — это самое подходящее слово. Пилот Пиркс сидел в своем кресле, обвязанный и обмотанный поясами, как мумия, — только руки и ноги у него были свободны — и апатично поглядывал на экраны. Шесть недель детали парами — на расстоянии трехсот километров друг от друга, но потом База вернулась к прежней тактике: сектор был пуст, абсолютно пуст, даже одной патрульной ракеты для

него было многовато, но не годится ведь иметь «дыру» на звездных картах, поэтому полеты продолжались, но уже в одиночку. Пиркс стартовал восемнадцатым, считая с момента ликвидации парных полетов.

От нечего делать он размышлял о том, что могло произойти с Томасом и Вилмером. На Базе почти никто о них уже и не вспоминал, но во время такого полета человек достаточно одинок, чтобы разрешить себе даже самые бесплодные мысли. Пиркс летал почти три года (два года и четыре месяца, если говорить совершенно точно) и считал себя старым профессионалом. Астроскука попросту развела его, хоть он вовсе не был позером.

Патрульные полеты сравнивали — не без оснований — с ожиданием в приемной у зубного врача, и единственная разница состояла в том, что врач не приходил. Звезды, понятное дело, не двигались, Земли вообще не было видно — те, кому особенно везло, видели краешек ее, похожий на посиневший ноготь — и то лишь в первые два часа полета, а потом она становилась звездой, похожей на остальные, но в отличие от них медленно передвигавшейся. На Солнце, как известно, смотреть вообще нельзя. В такой ситуации игры и китайские головоломки становились поистине необходимыми. Однако обязанностью пилота было висеть в коконе поясов, контролировать экраны, обычные и радарные, время от времени сообщать на Базу, что ничего не произошло, проверять показания холостого хода реактора, а иногда — но это уж очень редко — из сектора долетал сигнал, зовущий на помощь, или даже SOS, и тогда нужно было лететь сломя голову, но это была «удача», которая случалась не чаще чем раз или два в год.

Если все это учесть, тогда только поймешь, что самые бредовые мысли, приходившие в голову пилотам, прямо-таки преступные с точки зрения обычных смертных, были как нельзя более человеческими. Когда тебя окружает полтора триллиона кубических километров пустоты, в ко-

торой не найдешь и щепотки пепла от выкуренной папиросы, тогда желание, чтобы произошло хоть что-нибудь — пусть даже самая ужасная катастрофа, — становится подлинной манией.

За свои сто восемьдесят два полета в патруле пилот Пиркс прошел все фазы психических изменений: бывал сонным, делался пессимистом, чувствовал себя стариком, становился чудаковатым, был близок к некоему, отнюдь не тихому помешательству и в конце концов, как во времена учебы, начал сочинять разные истории, иной раз такие запутанные, что до конца полета не успевал их закончить. Однако скучал он по-прежнему.

Пускаясь в лабиринт одиноких раздумий о Томасе и Вилмере, Пиркс хорошо понимал, что наверняка он ничего не придумает и что тайна исчезновения двух его товарищей останется неразгаданной. Разве не ломали над ней головы лучшие эксперты Базы и Института в течение многих месяцев? Поэтому он охотнее занялся бы поросятами и волком, ибо это занятие, может не менее бесплодное, было по крайней мере более невинным. Но двигатели молчали, не было ни малейшего повода для того, чтобы пустить их в ход, ракета мчалась по отрезку сильно вытянутого эллипса, в одном из фокусов которого находилось Солнце, и поросятам приходилось ждать лучших времен.

Итак: что произошло с Томасом и Вилмером?

Прозаически настроенный невежда начал бы с предположения, что их ракеты столкнулись с чем-нибудь, например с метеоритом или с облаком космической пыли, с остатками ядра кометы или хотя бы с обломком какой-нибудь погибшей ракеты. Однако вероятность такого столкновения столь же мала, как возможность найти большой бриллиант посреди городской шумной улицы. Расчеты показывают, впрочем, что такой бриллиант найти намного легче.

Со скуки — исключительно со скуки — Пиркс начал

подбрасывать своему вычислителю цифры, составлять уравнения, подсчитывать вероятность столкновения, но вышла такая цифра, что вычислителю пришлось срезать восемнадцать нулей, чтобы она поместилась в его окошках.

Да и вообще пространство было действительно пустым. Никаких старых комет, никаких облаков космической пыли — ничего. Остов старой ракеты мог здесь оказаться — с теоретической точки зрения, так же как и в любой другой точке космоса, — после невообразимо огромного количества лет. Но Томас и Вилмер увидели бы его изда- лека, по меньшей мере с расстояния 250 километров, а если б он вышел прямо со стороны Солнца, то метеорадар все равно поднял бы тревогу за добрых тридцать секунд до столкновения; даже при условии, что пилот прозевал бы сигнал тревоги, скажем задремал, автоматическое устройство само выполнило бы маневр расхождения. А если б автомат испортился, то такое чудо из чудес могло бы случиться однажды, но не два раза подряд на протяжении нескольких дней. Вот что примерно смог бы придумать невежда, который не знает, что в ракете во время полета могут произойти куда более опасные вещи, чем встреча с метеоритом или с ядром кометы. Ракета, даже такая маленькая, как АМУ, состоит чуть ли не из ста четырнадцати тысяч важных частей: важных — это значит таких, поломка которых влечет за собой катастрофу. Потому что менее важных частей насчитывается более миллиона. Но если и случится что-нибудь совсем ужасное, то ракета даже после смерти пилота не рассыплется на кусочки и никуда не исчезнет, потому что, как говорит старая пословица пилотов, в пространстве ничего не про- падает; если ты оставишь в нем портсигар, так достаточно рассчитать элементы его траектории, прибыть на то же место в надлежащее время, и портсигар, следуя по своей орбите, с астрономической точностью попадет тебе в руки в заранее вычисленную секунду. Каждое тело бесконечно

долго вращается по своей орбите, поэтому остовы потерпевших аварию ракет почти всегда можно рано или поздно отыскать. Большие вычислители Института вычертили более сорока миллионов возможных орбит, по которым могли бы двигаться ракеты погибших пилотов, и все эти орбиты были проверены, то есть прозондированы концентрированными пучками самых сильных радарных излучателей, какими располагает Земля. С известным уже результатом.

Конечно, нельзя утверждать, что при этом зондировании было проверено все пространство системы. Ракеты в нем — это нечто невообразимо маленькое, намного меньше, чем атом по отношению к земному шару. Однако искали везде, где ракеты могли находиться, предполагая, что их пилоты не покинули с максимальной скоростью пространство патрулируемого сектора. Ну с чего бы им вдруг бежать из своего сектора? Ведь они не получили никакого радиосигнала, никакого призыва на помощь, ничего подобного с ними не случилось — это было проверено.

Похоже было на то, что Томас и Вилмер вместе со своими ракетами испарились, как капли воды, упавшие на раскаленную плиту, или же...

Невежда с воображением в противоположность невежде прозаическому посчитал бы уж, конечно, виновниками таинственного исчезновения ракет загадочных, таящихся в пространстве существ с других звезд, наделенных разумом, столь же высоко развитым, сколь и злобным.

Но астронавтика существует с давних пор, и кто же верит еще в таких существ, раз их нигде не обнаружили в исследованной части космоса? Количество анекдотов о «существах» превышало уже, пожалуй, количество кубических километров в пространстве системы. Кроме зеленых юнцов, которые пока что летали только в кресле, подвешенном к потолку лаборатории, никто не дал бы за их существование и ломаного гроша. Возможно, есть такие

существа на далеких звездах, но лишь на очень далеких. Несколько примитивных моллюскообразных, немного лишайников, бактерий, инфузорий, не известных на Земле,— вот, собственно, и все плоды многолетних экспедиций. Да в конце концов, неужели таким созданиям — если даже допустить, что они существуют,— и вправду нечего делать, кроме как подстергать в одном из самых чертовски пустынных уголков пространства маленькие ракеты Патруля? И как они могли приблизиться к ракетам незаметно?

Таких вопросов, превращающих всю гипотезу в абсолютную гигантскую бессмыслицу, было много — так много, что игра и вправду теряла всякий смысл. Хоть Пиркс на девятом часу полета и склонен был к каким угодно мысленным построениям, но и ему перед лицом всех этих беспощадно трезвых истин стоило большого труда даже на минуту уместить в своем воображении этаких демонических звездных существ.

Время от времени, несмотря на отсутствие тяжести, Пирксу надоедала одна и та же поза, и он менял наклон кресла, к которому был прикреплен, потом глядел по очереди то вправо, то влево; он вовсе не видел трехсот одиннадцати указателей, контрольных лампочек, пульсирующих дисков и циферблатов: для него все это было словно черты так хорошо и так давно известного лица, что совсем не нужно изучать линию губ, изгиб бровей или искать морщинки на лбу, чтобы понять, что оно выражает. Экраны и контрольные лампочки сливались в глазах Пиркса в одно целое, которое говорило ему, что все в порядке. Глядя же прямо перед собой, он видел оба передних звездных экрана, а между ними — свое собственное лицо в окаймлении вздутого, закрывающего частично лоб и подбородок желтого шлема.

Между двумя звездными экранами находилось зеркало, не очень большое, но помещенное так, что пилот видел

в нем только себя — и ничего больше. Никто не знал, зачем, собственно, здесь это зеркало и для чего оно нужно. То есть все знали, но мудрые доводы в пользу этого зеркала мало кого убеждали. Придумали это все психологи. Человек, утверждали они, хоть это и странно звучит, часто, особенно в условиях длительного одиночества, перестает надлежащим образом контролировать состояние своих мыслей и эмоций, и может оказаться, что он ни с того ни с сего впадет в какое-то гипнотическое оцепенение, даже в сон без сновидений, с открытыми глазами, от которого не всегда успеет очнуться вовремя. Иногда люди становятся жертвами неизвестно откуда возникающих галлюцинаций или состояния страха, внезапного возбуждения, и против всех подобных неожиданностей будто бы великолепно помогает контроль за собственным лицом. Правда, видеть перед собой в течение многих часов собственное лицо и поневоле следить за его выражением не очень-то приятно. Но об этом тоже мало кто знал, кроме пилотов патрульных ракет. Начинается это вполне невинно: человек состроит какую-нибудь рожу, скривится слегка или усмехнется собственному отражению, а потом уж пошли одна за другой все более отвратительные гримасы; так оно получается, если ситуация, до такой степени противная человеческой натуре, затягивается дольше, чем обычно можно выдержать.

К счастью, Пиркс не очень-то интересовался собственным лицом — в отличие от некоторых других пилотов. Этого, конечно, никто не проверял, да и проверить это невозможно, но рассказывают, что некоторые со скуки или от какого-то безграничного отупения начинали делать вещи, о которых трудно рассказать, например плевали в собственное отражение, а потом, устыдившись, вынуждены были, естественно, делать то, что запрещено строжайшим образом, — отстегивать пояса, вставать и в лишенной тяжести ракете идти, вернее плыть, к зеркалу, чтобы как-

нибудь очистить его перед посадкой. Некоторые даже упорно твердили, что Вюртц, который врезался на тридцать три метра в глубь бетона посадочной площадки, слишком поздно вспомнил, что нужно вытереть зеркало, и занялся этим в тот момент, когда ракета входила в атмосферу.

Пилот Пиркс никогда таких штук не проделывал и, что еще более важно, не испытывал ни малейшего искушения плюнуть в зеркало, а борьба с этим искушением, говорят, доводила некоторых до тяжелого расстройства; смеяться над этим мог бы лишь тот, кто никогда не был в одиночном патруле. Пиркс всегда, даже во время жесточайшей скуки, умел в конце концов изобрести для себя что-нибудь и вокруг этого накручивал все остальные, перепутанные и неясные мысли и чувства, как очень длинную и запутанную нитку вокруг твердого стержня.

Циферблат — обычный, измеряющий время, — показывал одиннадцать ночей. Через тринадцать минут АМУ Пиркса должен был оказаться на самом отдаленном от Солнца отрезке своей орбиты: Пиркс кашлянул раза два, чтобы проверить микрофон, наугад предложил вычислителю извлечь корень четвертой степени из 8 769 983 410 567 396, даже не посмотрел на результат, который вычислитель сообщил с величайшей поспешностью, перемалывая в своих окошках цифры и нервно перетрахиывая их, будто от этого результата бог знает что зависело. Пиркс подумал, что когда он приземлится, то первым долгом выбросит из ракеты через шлюз рукавицу — просто так, потом закурит папиросу и пойдет в столовую, где попросит немедленно подать что-нибудь жареное, острое, с красным перцем и к этому — большую кружку пива: он любил пиво. И тут он увидел светящуюся точку.

Он смотрел в левый передний экран как будто невидящим взглядом и мысленно был уже в столовой, даже

ощущал запах хорошо поджаренной картошки — ее готовили специально для него, — но едва только светящаяся точка возникла в глубине экрана, он весь напрягся так, что, если б не пояса, наверняка взлетел бы вверх.

Экран имел около метра в диаметре и напоминал черный колодез, почти в центре светилась Ро Змееносца, а Млечный Путь дважды пересекало тянущееся до самого края экрана зияние пустоты; по обеим сторонам его было полным-полно светящихся звездных пылинок. В эту неподвижную картину вплыла, мерно двигаясь, маленькая светящаяся точка, маленькая, но гораздо более отчетливая, чем любая из звезд. Не то чтоб она светилась особенно ярко — нет, Пиркс немедленно заметил ее потому, что она двигалась.

В пространстве встречаются светящиеся точки. Это позиционные огни ракет. Обычно ракеты не зажигают своих огней и делают это только по радиовызову для опознавания. Ракеты имеют различные огни: у пассажирских одни, у товарных другие, свои у быстрых баллистических, у патрульных, космических, служебных, грузовых и всех прочих. Огни эти бывают размещены по-разному и имеют любой цвет, за исключением одного — белого. Ракеты не имеют белых огней, чтобы их всегда можно было отличить от звезд.

Огонек, который лениво плыл по экрану, был, однако, совершенно белым — Пиркс почувствовал, что глаза у него лезут на лоб. Он даже не моргал — так боялся, что потеряет из виду огонек. Наконец, когда глаза начало жечь, он моргнул, но ничто не изменилось. Белая точка спокойно двигалась вперед — уже лишь несколько сантиметров отделяло ее от противоположного края экрана. Еще минута — и она исчезнет из поля зрения.

Руки пилота Пиркса автоматически схватились за нужные рычаги. Реактор, работавший до сих пор на холостом ходу, внезапно пробужденный, молниеносно дал

выхлоп. Ускорение вдавило Пиркса в губчатое кресло, звезды на экранах задвигались, Млечный Путь стекал наискось вниз, словно и впрямь был молочной рекой, зато двигавшийся огонек перестал двигаться — нос ракеты шел теперь прямо за ним, был нацелен на него, как нос гончей на прячущуюся в кустах куропатку. Что значит все-таки сноровка! Весь маневр продолжался меньше десяти секунд.

До сих пор Пирксу вообще некогда было думать, теперь ему впервые пришло в голову, что все это, наверное, галлюцинация, ибо таких вещей не бывает. Эта мысль делала ему честь. Обычно люди чересчур полагаются на свои чувства и, если видят на улице умершего знакомого, скорей готовы допустить, что он воскрес, чем подумать, что они сошли с ума.

Пилот Пиркс сунул руку во внутренний карман в обшивке кресла, достал оттуда маленький флакончик, ввел себе в нос две маленькие стеклянные трубки, выходившие из горлышка, и глаза у него заслезились. Психран, как говорили, мог прервать даже каталептическое состояние йогов и созерцание ангелов господних. Огонек, однако, продолжал двигаться в центре левого экрана. Поскольку Пиркс сделал, что полагалось, он сунул флакончик на прежнее место, поманеврировал слегка рулями и, удостоверившись, что идет следом за огоньком на сближение, посмотрел на радар, чтобы оценить расстояние до этого светящегося предмета.

И тут он испытал второе потрясение: экран метеора-дара был пуст, зеленоватый следящий луч, блестящий, как сильно насвеченная полоска фосфора, вращался на экране по кругу, все время по кругу, и не отмечал никакого свечения — ничего, ну абсолютно ничего.

Пилот Пиркс, конечно, не подумал, что перед ним дух в светящемся ореоле. Он вообще не верил в духов, хоть в определенных обстоятельствах и говорил о духах с жен-

щинами, но в таких случаях речь шла совсем не о спиритизме.

Пиркс попросту решил, что тело, за которым он летит, не является мертвым космическим телом, потому что такие тела всегда отражают пучок радарных лучей. Только предметы, изготовленные искусственно и покрытые специальным веществом, которое поглощает, гасит и рассеивает сантиметровые волны, не дают никакого оптического эха.

Пилот Пиркс откашлялся и сказал размеренно, ощущая, как его движущийся кадык мягко нажимает на прикрепленный к шее ларингофон:

— АМУ сто одиннадцать патрульный к объекту, летящему в секторе тысяча сто два запятая два, приблизительным курсом на сектор тысяча четыреста четыре, с одним белым позиционным огнем. Прошу дать свои позывные. Прошу дать свои позывные. Прием.

И ждал, что будет дальше.

Проходили секунды, минуты — никакого ответа не было. Пилот Пиркс заметил зато, что огонек бледнеет, следовательно, удаляется от ракеты. Радарный дальномер не мог ему ничего сказать, но в запасе имелся еще на худой конец оптический дальномер. Пиркс выдвинул ноги далеко вперед и нажал на педаль. Дальномер спустился сверху, он был похож на бинокль. Пиркс притянул его левой рукой к глазам и начал фокусировать.

Он поймал огонек в объективы почти сразу же и уловил еще нечто. Огонек вырос в поле зрения, стал величиной с горошину, видимую с расстояния пяти метров, то есть с точки зрения соотношений в пространстве он был прямо-таки гигантским. Вдобавок по его круглой, но будто чуть приплюснутой поверхности медленно проплывали справа налево мельчайшие затемнения, словно кто-то проводил толстым черным волосом прямо перед объективом дальномера. Эти затемнения были именно вот таки-

ми мглистыми, неясными, но движение их оставалось неизменным: они все время перемещались справа налево.

Пиркс начал крутить регулятор фокусировки, но оказалось, что светящееся пятнышко вообще не желает становиться четким; тогда он второй призмой, специально для этого предназначенной, разделил изображение пополам, начал совмещать обе разведенные половинки, а когда ему это удалось, глянул на шкалу — и остолбенел в третий раз.

Светящийся объект летел на расстоянии четырех километров от ракеты!

Это все равно, как если бы кто-то, мчась на гоночном автомобиле, оказался вдруг на расстоянии пяти миллиметров от другой машины: четыре километра считаются в пространстве таким же опасным и недозволенным расстоянием. Пиркс уже мало что мог сделать. Он направил указатель наружной термопары на огонек, рычагом дистанционного управления передвигая прицел до тех пор, пока не накрыл молочно светящееся пятно, и краем глаза уловил результат: 24 градуса по Кельвину.

Это означало, что огонек имеет температуру окружающего пространства всего на 24 градуса выше абсолютного нуля.

Теперь он был уже, собственно, вполне уверен, что этот огонек не может существовать, светиться, а тем более двигаться, однако, поскольку огонек плавал у него под носом, Пиркс продолжал гнаться за ним.

Огонек слабел все заметнее — и все быстрее. Через минуту Пиркс убедился, что пятно удалилось на сто километров, и увеличил скорость.

Тогда произошло нечто, пожалуй, еще более удивительное.

Огонек сначала позволял себя догонять. Он был в 80, 70, 50, 30 километрах от носа ракеты. Потом снова рванулся вперед. Пиркс увеличил скорость до 75 километров

в секунду. Огонек делал 76. Пиркс снова прибавил ходу, но уже как следует: он сразу дал половину мощности в дюзы, и ракету словно выстрелило вперед. Тройная перегрузка вдавила Пиркса в подушки кресла. АМУ имел малую массу покоя, поэтому брал разгон в темпе гоночного автомобиля. Через минуту он делал уже 140 километров в секунду.

Пятнышко выжало 140,5.

Пилот Пиркс почувствовал, что ему становится жарко. Он дал полную тягу. АМУ-111 весь запел, как заде-тая струна. Указатель скорости, производивший отчет по отношению к неподвижным звездам, быстро полз вверх: 155... 168... 177... 190... 200.

При двухстах Пиркс посмотрел на дальномер, что было настоящим подвигом, достойным легкоатлета-десятиборца, ибо ускорение составляло 4 g.

Огонек заметно приближался, рос: сначала он был в нескольких десятках, потом в десяти, потом в шести километрах, мгновение — и он оказался в трех. Он был теперь больше, чем горошина, видимая на расстоянии вытянутой руки. Туманные затемнения продолжали перемещаться по его диску. Блеск его был сравним с блеском звезд второй величины, но это был диск, а не точка, как звезды.

АМУ-111 выкладывался полностью. Пиркс гордился им. В маленькой рулевой кабине ничто не дрогнуло даже при скачке на полную тягу — ни следа вибрации! Реакция шла точно по оси, полировка дюз была великолепной, реактор тянул как черт.

Огонек все приближался — теперь крайне медленно. До него оставалось два километра, когда Пиркс начал лихорадочно соображать. Вся эта история была весьма странной. Огонек не принадлежал никакому земному кораблю. Космические пираты? Смешно. Нет никаких космических пиратов, да и что им делать в этом секторе, пустом, как

старая бочка? Огонек перемещался с большой скоростью в широких пределах, ускорение у него было такое же резкое, как и торможение. Когда ему хотелось, он убегал от ракеты, а теперь позволял себя понемногу догонять. И это больше всего не понравилось Пирксу. Он подумал, что так ведет себя... приманка. Например, червяк на крючке под самым носом у рыбы.

И конечно, он немедленно подумал о крючке.

— Ну, погоди, голубчик! — сказал сам себе Пиркс и внезапно дал такое торможение, будто перед ним выпрыгнул по меньшей мере астероид, хотя луч радара по-прежнему бегал впустую, а экраны не показывали ничего. Несмотря на то что Пиркс инстинктивно пригнул шею и изо всей силы прижал подбородок к груди, чувствуя, как автомат молниеносно наполняет его комбинезон дополнительной порцией сжатого воздуха, чтобы противодействовать шоку торможения, он на некоторое время потерял сознание.

Стрелка гравиметра прыгнула на минус 7 g, задрожала и медленно сползла на минус 4. АМУ-111 потерял почти треть своей скорости — теперь он делал только 145 километров в секунду.

Где огонек? На мгновение Пиркс забеспокоился, что вообще его потерял. Нет, вот он. Но далеко. Оптический прицел показывал дальность — 240 километров. За две секунды он мог пролететь большее расстояние. Значит, немедленно вслед за маневром Пиркса огонек также мгновенно уменьшил скорость!

Тогда — позже он сам удивлялся, что лишь тогда, — Пирксу пришло в голову, что это, наверное, и есть загадочное *нечто*, которое встретили в своих патрульных полетах Томас и Вилмер.

До этой минуты он вообще не думал об опасности. Теперь его внезапно охватил страх. Это продолжалось очень недолго. Конечно, такого не может случиться — ну а *если*

это все же огонь чужой, неземной ракеты? Огонек явно приближался, уменьшал скорость, был уже в 60... 30... 20 километрах. Пиркс и сам слегка приблизился и даже удивился, как мгновенно вырос огонек: теперь он висел в двух километрах перед носом ракеты, снова был рядом!

По другую сторону кресла в кармане находился бинокль, ночной, двадцатичетырехкратный, им пользовались только в исключительных случаях, если, например, выходил из строя радар, а нужно было подойти к какому-нибудь спутнику с теневой стороны. Теперь этот бинокль очень пригодился. Увеличение он дал такое, что огонек будто приблизился на расстояние менее сотни метров. Это был небольшой диск, белый, как молоко, но молоко разбавленное, меньше по размерам, чем Луна, видимая с Земли. По этому диску проплывали вертикальные полосы затемнений. А звезды, когда диск их закрывал, исчезали не сразу, а лишь через некоторое время, будто самый краешек белого диска был несколько более разреженным и прозрачным, чем его середина.

Но, кроме молочного пятна, ничто не заслоняло звезд. На расстоянии 100 метров в бинокль можно увидеть ракету величиной с ящик письменного стола. Не было там ничего. Никакой ракеты. Огонек не был ни позиционным, ни выхлопным огнем какого-либо корабля. Наверняка нет.

Попросту — самостоятельно летящий белый огонек.

С ума можно сойти!

Пиркс почувствовал огромное желание выстрелить в молочный диск. Это было нелегко, поскольку на АМУ-111 не было никакого оружия. Правила патрулирования не предусматривают его применения. Пиркс мог катапультироваться из кабины только самого себя вместе с креслом и шар-зонд. Патрульные ракеты сконструированы так, что пилот может катапультироваться в герметической оболоч-

ке на тормозном парашюте. Делается это лишь в случае крайней необходимости, и, конечно, выбросившись из ракеты, вернуться в нее уже нельзя.

Следовательно, оставался шар-зонд. Это очень простое устройство — тонкостенный резиновый баллон, пустой, свернутый так плотно, что напоминает копьё с алюминиевым покрытием — для лучшей видимости. Зачастую трудно полагаться на показания аэродинамометра — не понятно, находишь ты уже в атмосферу планеты или еще нет. Да и, наконец, пилот хочет знать — это самое важное, — не находится ли прямо перед ним разреженный газ. Тогда он выбрасывает шар, который автоматически надувается и летит со скоростью несколько большей, чем скорость ракеты. Он виден как светлое пятнышко даже за пять-шесть километров. Если он попадает в разреженный газ, пусть очень разреженный, он нагревается от трения и лопается. Тогда пилот знает, что пора начать торможение. Пиркс старался нацелить нос на туманный диск. По радару он целиться не мог, поэтому воспользовался оптическим прицелом. Попасть в такой маленький предмет на расстоянии почти двух километров невероятно трудно. Все же Пиркс старался выстрелить, но диск не хотел устанавливаться на прицеле. Как только Пиркс начинал, осторожно маневрируя отклоняющими дюзами, передвигать нос АМУ, диск преспокойно сдвигался в сторону и снова мчался перед ним в центре левого звездного экрана. Этот маневр повторялся четыре раза подряд, и с каждым разом все быстрее, будто диск все лучше ориентировался в намерениях пилота. Он явно не желал, чтобы нос АМУ был направлен точно на него, — летел с незначительным боковым отклонением.

Это было фантастично. Чтобы на расстоянии двух километров обнаружить еле заметное отклонение ракеты, диск должен был обладать каким-то гигантским телескопом, которого Пиркс абсолютно не видел. И все же диск

совершал маневр ухода с опозданием максимум на полсекунды.

Беспокойство Пиркса росло. Он сделал уже все возможное, чтобы опознать этот дьявольский летающий объект, и не подвинулся ни на шаг. И тогда — сидя неподвижно, с руками, постепенно цепенеющими на рычагах, — он вдруг подумал, что с теми двумя, наверно, произошло то же самое. Увидели огонек, старались получить его позывные, думая, что это какая-то странная ракета; когда им не ответили, помчались за ним все быстрее; наверно, тоже разглядывали огонек в бинокль и заметили пересекающие его полосы затемнений, может быть, стреляли в него шарами-зондами, а потом... сделали что-то такое, отчего больше не вернулись.

Поняв, до чего он близок к тому же концу, Пиркс почувствовал даже не страх, а отчаяние. Это было совсем как в кошмарном сне: с минуту он не понимал, кто он — Пиркс, или Томас, или Вилмер. Потому что тогда все происходило точно так же, как сейчас, — в этом не было никаких сомнений. Он сидел, как парализованный, совершенно уверившись, что спасения нет. Особенно ужасало Пиркса то, что никак не удавалось сообразить, где кроется опасность, — пространство было пусто...

Пусто?

Да, сектор был пуст, но ведь он гнался за огоньком больше часа со скоростью до 230 километров в секунду! Вполне возможно, — нет, даже наверняка — он находился на самой границе своего сектора или уже миновал ее. Что дальше — следующий сектор, 1009, следующие полтора триллиона километров пустоты? Пустота, со всех сторон на миллионы километров — ничего, только пустота, а на расстоянии двух километров от носа ракеты танцевал белый огонек.

Пиркс начал лихорадочно думать, что сделали бы в этот момент — именно в этот — Вилмер или Томас. Вил-

мер и Томас. Потому что он — он должен сделать нечто совершенно иное. Иначе он не вернется.

Он еще раз нажал тормоз. Стрелка дрогнула. Он летел все медленнее. Уже только 30... 22... 13... 5 километров в секунду. Вот уже 0,9. Уже лишь несколько сот метров в секунду — стрелка едва заметно подрагивала над самым нулем. С точки зрения устава он остановился. В пространстве всегда имеешь какую-нибудь скорость относительно чего-нибудь. Стоять как кол, вбитый в землю, невозможно.

Огонек уменьшался. Уходил все дальше и дальше... был все бледнее, потом перестал уменьшаться. Начал расти... снова увеличивался, пока не остановился. На расстоянии двух километров от носа ракеты.

Чего не сделали бы Томас и Вилмер? Чего они *наверняка* не сделали бы? Они не стали бы удирать от такого маленького, паршивого, идиотского огонька, от дурацкого туманного пятнышка!

Пиркс не хотел поворачивать: сделав поворот, он потерял бы пятнышко из виду, оно осталось бы за кормой, а то, что делается за кормой, труднее наблюдать — приходится поворачивать голову к боковому экрану. Да и вообще не хотел он иметь этот огонек за кормой: хотел видеть его отчетливо и непрерывно. Поэтому Пиркс дал задний ход, применяя тормозные дюзы как ускорительные. Такие вещи полагается уметь делать, это элементарный пилотаж. Сначала было минус 1 g, потом минус 1,6, минус 2. Задним ходом ракета шла не так идеально, как на обычной тяге. Нос чуточку качался — все-таки тормоза приспособлены для торможения, а не для ускорения ракеты.

Огонек будто заколебался. За несколько секунд он уменьшился в пространстве, на мгновение закрыл Альфу Эридана, сошел с нее, потанцевал между маленькими безымянными звездами — и потянулся за ракетой.

Не хотел отвязываться.

«Только спокойно,— подумал Пиркс,— что он может, в конце концов, мне сделать? Такое маленькое светящееся дерьмо. И что мне до всего этого? Мое дело — патрулировать сектор. Черт бы его побрал, этот огонек!»

Так он думал, но, понятное дело, ни на минуту не спускал глаз с огонька. С момента встречи прошло уже почти два часа. Временами глаза жгло и застилало слезами. Пиркс таращился изо всех сил и продолжал пятиться. Пятясь, нельзя лететь слишком быстро, тормоза не рассчитаны на непрерывное действие. Так что он давал восемь километров в секунду — и потел вовсю.

Уже некоторое время он чувствовал: что-то творится с его шеей; будто оттянули щипчиками кожу с горла вниз, к груди, и во рту слегка пересохло. Пиркс не обращал на это внимания, у него были дела поважнее, чем то, что сохнут губы и щиплет кожу на шее. Потом он почувствовал себя как-то странно — перестал ощущать положение собственных рук. Ноги он ощущал. Правая нажимала педаль тормозных двигателей.

Пиркс попробовал шевельнуть руками, потому что не хотел спускать глаз с огонька: тот как будто подходил ближе — не то 1,9 километра от носа, не то 1,8. Догоняет он его, что ли?

Он хотел поднять руку — не смог. Другую — и давно...

Он не чувствовал своих рук, будто они вообще не существовали. Хотел взглянуть на них — шея даже не дрогнула, она была напряжена, тверда, как дерево.

Его охватила паника. Почему он до сих пор не сделал того, что было его прямым долгом? Почему, встретив огонек, не вызвал немедленно по радио Базу и не сообщил о происшествии?

Потому что устыдился. Томас и Вилмер тоже, наверно, устыдились. Он представил себе хохот, который раз-

дался бы в радиорубке Базы. Огонек! Белый огонек, который сначала убегает от ракеты, а потом преследует ее! Действительно! Ему бы сказали, наверно, чтоб он уцепился за себя и проснулся.

Теперь ему было все равно — он еще раз взглянул на экран и сказал:

— АМУ-111 патрульный к Базе...

Точнее говоря — хотел сказать. Но не смог. Из горла исходило лишь какое-то нечленораздельное бормотание. Он напряг все силы — изо рта его вырвался рев. Тогда — впервые — глаза его оторвались от звездного экрана и метнулись к зеркалу. Перед ним, в кресле пилота, в круглом желтом шлеме сидело чудовище.

У него были огромные, набрякшие, выкатившиеся глаза, полные адского ужаса, широко разинутый рот, лягушачьи губы — между ними болтался темный язык. На шее дрожали какие-то натянутые жилы, дергавшиеся непрерывно, так что нижняя челюсть тонула в них. И это страшилище с серым, стремительно опухавшим лицом орало.

Он силился закрыть глаза — не мог. Хотел опять посмотреть на экран — не мог. Чудовище, привязанное к креслу, дергалось все яростнее, будто хотело разорвать пояса. Пиркс смотрел на него — ничего иного он не мог сделать. Сам он не ощущал никаких судорог — ничего. Чувствовал только, что начинает задыхаться, что не может вдохнуть воздух.

Он слышал где-то рядом отвратительный скрежет зубов. Он перестал уже вообще быть Пирксом — у него не было ни рук, ни тела, оставалась только нога, которая нажимала на тормоз. Он чувствовал, что взгляд его становится все более мутным, что перед глазами начинают плавать маленькие белые пятнышки. Он шевельнул ногой. Она начала дергаться. Он поднял ногу. Опустил. Чудовище в зеркале было серым как пепел, на губах его высту-

пила пена. Глаза совершенно вылезли из орбит. Оно дергалось.

Тогда он сделал то единственное, что еще мог. Рванул ногу вверх и изо всей силы ударил себя коленом в лицо. Он почувствовал страшную, пронизывающую боль в разбитых губах, кровь хлынула на подбородок, он ослеп.

— А-а-а-а... — захрипел он. — А-а-а-а...

Это был его голос.

Боль куда-то исчезла, он снова ничего не чувствовал. Что происходит? Где он? Его не было нигде. Не было ничего...

Он колотил, разбивал коленом собственное лицо, дергаясь, как сумасшедший, но рычание прекратилось. Он услышал свой собственный, рыдающий, давящийся кровью крик.

Он снова обрел руки. Они были точно деревянные и так ужасно болели при каждом движении, словно все мышцы в них лопнули, но он уже мог ими двигать. На ощупь онемевшими пальцами он начал отстегивать пояса. Схватился за поручни. Встал. Ноги у него дрожали, все тело болело, будто молотом разбитое. Он ухватился за трос, наискось протянутый через рулевую рубку, и подошел к зеркалу. Обеими руками оперся о его раму.

В зеркале стоял пилот Пиркс.

Он уже не был серым — лицо его было все в крови, с разбитым, опухшим носом. Кровь текла из рассеченных губ. Щеки были еще синие, набрякшие, под глазами черные мешки, на шее что-то еще дергалось под кожей, но все слабее, слабее — и это был он, Пиркс. Он долго вытирал кровь с подбородка, отплевывался, кашлял, глубоко дышал, слабый, как ребенок.

Потом отступил на шаг. Взглянул на экран. Ракета летела все так же, пятясь, уже без тяги, только по инерции. Белый диск летел за ракетой, за ее носом, на расстоянии двух километров.

Держась за трос, он подошел к креслу. Думать он вообще не мог. Руки у него начали трястись лишь теперь, но это был обычный эффект, наступающий после шока, — это он знал, этого не боялся. Что-то изменилось возле самого кресла...

Верх кассеты автоматического передатчика был вдавлен. Пиркс толкнул крышку — она упала. Внутри полным-полно разбитых деталей. Как это случилось? Очевидно, он сам ударил по передатчику? Когда?

Он сел в кресло, включил отклоняющие джюзы, начал разворот.

Белый диск заколебался, поплыл через экран, дошел до его края и, вместо того чтоб исчезнуть, отскочил от края, как мячик! Вернулся в центр.

— Ты, тварь! — крикнул Пиркс с ненавистью и отращением.

И из-за этой дряни он чуть не перешел на «вечную орбиту»! Если огонек при повороте не уходил за экран, это означало, ясное дело, что его вообще нет, что он возникает на самом экране. Ведь экран — это же не окно, в ракете нет никаких окон. В ней имеется телевизионное устройство — снаружи, в обшивке, находятся объективы, а внутри — аппаратура, которая преобразует их электрические импульсы в изображение на катодном экране. Устройство испортилось? Таким странным образом? А у Вилмера и Томаса — тоже? Как это возможно? И что с ними произошло потом?

Сейчас ему было, однако, не до того. Он включил аварийный передатчик.

— АМУ-111 патрульный к Базе, — сказал он. — АМУ-111 патрульный к Базе. Нахожусь на границе секторов 1009 и 1010, экваториальная зона, возвращаюсь, обнаружив аварию...

Когда шесть часов спустя Пиркс приземлился, начались доскональные исследования, продолжавшиеся целый

месяц. Прежде всего специалисты взялись за телевизионную аппаратуру. Это была новая, усовершенствованная аппаратура — ее вмонтировали год назад на всех АМУ патрульной службы, и работала она великолепно. В ней ни разу не обнаружили ни малейшего дефекта.

После долгих мук электронщики докопались наконец до причин возникновения огонька. Через несколько тысяч часов работы вакуум в катодных трубках экрана нарушался и на внутренней поверхности экрана возникал блуждающий заряд, который создавал на экране видимость молочного пятнышка. Этот заряд двигался, подчиняясь довольно сложным закономерностям. Когда ракета внезапно ускоряла движение, заряд расползался по поверхности, словно распластывался на внутреннем покрытии экрана, и тогда казалось, будто пятнышко приближается к ракете. Когда давалась обратная тяга, заряд отплывал внутрь трубки, а когда ускорение устанавливалось и оставалось неизменным, блуждающий заряд медленно возвращался к центру экрана. Он мог также двигаться по экрану во всех направлениях, но чаще всего сосредоточивался в самом центре — если ракета шла по стационарной орбите, без тяги. И так далее, и так далее — исследования заряда продолжались, а динамику его движения описывали шестизатяжные формулы. Выяснилось также, что более сильные источники света рассеивают заряд. Он копцентрировался лишь тогда, когда интенсивность импульсов, принимаемых катодной трубкой, была очень слабой, какой она бывает в космическом пространстве вдали от Солнца. Стоило солнечному лучу хоть раз упасть на экран — и заряд исчезал на несколько часов.

Вот примерно что обнаружили электронщики. Об этом написали даже целую книгу, битком набитую математическими формулами. Затем за дело взялись врачи, психологи, специалисты в области астроневрозов и астропсихозов. Через несколько недель обнаружилось, что блуждаю-

щий заряд пульсировал — невооруженный глаз воспринимал это как мелкие затемнения, ползущие по светлomu диску; частота же возникающих миганий, настолько кратковременных, что для глаза они сливались в единое целое, налагалась на так называемый тэта-ритм коры головного мозга и увеличивала колебания потенциалов коры, пока не наступал внезапный припадок, сходный с эпилептическим. Обстоятельствами, которые дополнительно способствовали возникновению этого припадка, были полный покой, отсутствие каких-либо возбудителей, кроме световых, и длительное непрерывное наблюдение за мигающим огоньком.

Специалисты, которые все это открыли, конечно, стали знаменитыми. Во всем мире электронщики знают теперь эффект Ледью — Харпера — возникновение блуждающих зарядов в высоком вакууме катодной трубки; астробиологи же изучают арктически-кататонически-клонический синдром Нуггелхеймера.

Личность Пиркса осталась неизвестной ученому миру, и только очень внимательные читатели газет могли узнать из заметок, набранных петитом в некоторых вечерних изданиях, что это благодаря Пирксу судьба Вилмера и Томаса — увеличив до предела скорость своих ракет и потеряв сознание в погоне за блуждающим огоньком, они погибли в безднах космоса — больше не грозит ни одному пилоту.

Итак, слава миновала Пиркса, но он вовсе не расстраивался по этому поводу. Даже искусственный зуб, который пришлось вставить взамен выбитого коленом, он оплатил из собственного кармана.

АЛЬБАТРОС

Обед состоял из шести блюд, не считая дополнительных. Тележки с вином бесшумно катились по стеклянным дорожкам. Высоко вверху над каждым столом горела точечная лампа. Черепаховый суп подавали при лимонном свете. Рыбу — при белом, с голубоватым отливом. Цыплят залил румянец с шелковисто-серым теплым оттенком. За черным кофе, к счастью, не наступил мрак — Пиркс был готов к самому худшему. Его утомил этот обед. Он пообещал себе, что отныне будет есть только на нижней палубе, в баре. Зал этот был определенно не по нем. Все время приходилось думать о локтях. Вдобавок — туалеты! Зал был вогнутый — края выше, центр опущен чуть ли не на пол-яруса. Он походил на гигантскую золотисто-кремовую тарелку, наполненную самыми яркими тартинками на свете. Жесткие полупрозрачные платья дам шуршали за спиной Пиркса. Время здесь проводили великолепно. Наигрывала музыка. Сновали кельнеры — настоящие кельнеры, каждого можно было принять за дирижера филармонии. «Трансгалактик» гарантирует: никаких автоматов, интимность, деликатность, искренняя человеческая благожелательность, весь обслуживающий персонал живой. Сплошные виртуозы своего дела.

Пиркс пил черный кофе, курил сигарету и старался найти в зале уголок, на котором можно было бы остановить взгляд. Спокойный уголок для отдыха. Женщина, сидевшая с ним за одним столом, ему нравилась. На ее декольтированной груди чернел плоский шершавый камешек. Не какой-нибудь хризопраз или халцедон. Ничего земного — наверное, с Марса. Камешек этот, надо полагать, стоял целое состояние — походил он на осколок булыжника. Женщинам нельзя иметь столько денег.

Пиркс не возмущался. Не удивлялся. Он наблюдал. Постепенно у него возникло желание размяться. Не пойти ли на прогулочную палубу?

Он встал, слегка поклонился и вышел. Проходя между гранеными колоннами, облицованными какой-то зеркальной массой, Пиркс увидел собственное отражение. Из-под узла галстука виднелась пуговица. А впрочем, кто еще носит эти самые галстуки?

Он поправил воротничок уже в коридоре. Вошел в лифт. Поднялся на самый верх — на обзорную палубу. Лифт бесшумно открылся. Здесь не было ни души. Пиркс обрадовался этому. Часть вогнутого потолка над палубой, уставленной шезлонгами, казалась гигантским черным окном, распахнутым навстречу звездам. Шезлонги с грудями пледов пустовали. Только в одном из них лежал кто-то, укрывшись с головой, — чудаковатый старикан, который приходил обедать часом позже и ел один в пустом зале, закрывая лицо салфеткой, когда чувствовал на себе чей-нибудь взгляд.

Пиркс лег. Невидимые зевы климатизаторов направляли на галерею палубы порывистые потоки ветра; казалось, дует прямо из черных глубин неба. Конструкторы, услугами которых пользовался «Трансгалактик», разбились в деле. Шезлонги были удобные — пожалуй, удобней, чем кресло пилота, хоть оно и было сконструировано на основе тончайших математических расчетов. Пиркс начал зябнуть. Для этого и нужны пледы. Он завернулся в них, словно нырнул в пух.

Кто-то подымался сюда. По лестнице, не в лифте. Соседка по столику. Сколько ей лет? На ней было уже другое платье. А может, это вообще другая женщина? Она легла через два шезлонга от него. Раскрыла книгу. Ветер шелестел страницами. Пиркс смотрел теперь прямо перед собой. Отлично был виден Южный Крест. Отрезанный оконной рамой, светился клочок Малого Магелланова Об-

лака — светлое пятнышко на черном фоне. Он подумал, что полет будет продолжаться семь дней. За это время многое может случиться. Он нарочно пошевелился. Толстая, сложенная вчетверо бумага зашуршала во внутреннем нагрудном кармане. Ему хорошо жилось на свете — место второго навигатора уже ожидало его, он знал точный маршрут: с Северной Земли самолетом до Евразии и далее в Индию. Из билетов составила́сь целая книжечка — ее можно было читать, каждый бланк другого цвета, двойной, отрезные талоны, золотые каемочки — все, что «Трансгалактик» давал пассажирам в руки, прямо истекало серебром или золотом. Пассажирка в третьем шезлонге очень хороша собой. Пожалуй, все же та самая. Сказать ей что-то — или лучше не надо? Ведь он уже как будто представился ей. Это чистое несчастье иметь такую короткую фамилию — не успеешь начать, а она уже кончилась. «Пиркс» звучит совсем как «икс». Хуже всего бывает во время телефонных разговоров. Сказать что-нибудь? Что?

Он снова начал терзаться. На Марсе он представлял себе это путешествие совсем иначе. Арматоры с Земли оплатили ему перелет — у них, кажется, были какие-то дела с «Трансгалактиком», и с их стороны это не было красивым жестом. А он, хоть и налетал уже почти три миллиарда, никогда еще не бывал на чем-либо, напоминающем «Титан». Грузовые корабли выглядят совсем иначе! Сто восемьдесят тысяч тонн массы покоя, четыре реактора основного хода, скорость движения 65 километров в секунду, тысяча двести пассажиров только в одноместных и двухместных каютах с ваннами, номера люкс, гарантированная постоянная гравитация, исключая старт и посадку, высший комфорт, высшая безаварийность, сорок два человека экипажа и двести шестьдесят обслуживающего персонала. Керамика, сталь, золото, палладий, хром, никель, иридий, пластики, каррарский мрамор, дуб, крас-

ное дерево, серебро, хрусталь. Два бассейна. Четыре кинозала. Восемнадцать станций прямой связи с Землей — только для пассажиров. Концертный зал. Шесть главных палуб, четыре обзорных; автоматические лифты; заказ билетов на все ракеты в пределах Солнечной системы на год вперед. Бары. Залы для игр. Универсальный магазин. Уличка ремесленников — точная копия какого-то земного переулочка в старой части города, с винным погребком, газовыми фонарями, луной, глухой стеной и кошками, которые прогуливаются по ней. Оранжерея. И черт знает что еще. Надо лететь целый месяц, чтобы успеть обойти все это хоть один раз.

Соседка продолжала читать. Стоит ли женщинам красить волосы в такой цвет? У нормального человека он вызывает... Но ей — ей такой цвет почти к лицу. Пиркс подумал, что, если б он держал в руке горящую сигарету, нужные слова сразу нашлись бы. Полез в карман.

Портсигар — никогда раньше у него не было портсигара, этот он получил в подарок от Горака, на память, и носил в знак дружбы — будто стал чуть тяжелее. Самую малость. Но он это уловил. Ускорение увеличилось?

Пиркс прислушался. Вон оно что.

Двигатели работали на большей мощности. Обычный пассажир совсем бы этого не ощутил: машинный зал «Титана» был отделен от пассажирской части корпуса четырьмя изоляционными переборками.

Пиркс выбрал бледную звездочку в самом углу окна и не сводил с нее глаз. Если они просто увеличивают скорость, звездочка не двинется с места. Но если она дрогнет...

Звездочка дрогнула. Медленно — очень медленно — поплыла в сторону.

«Поворот вокруг большой оси», — подумал он.

«Титан» летел по «космическому туннелю», где на пути не было ничего — ни пыли, ни метеоритов, ничего, кроме пустоты. Впереди, на расстоянии тысячи девятисот ки-

лометров от него, мчался лопман «Титана», задачей которого было обеспечить свободный путь для гиганта. Зачем? На всякий пожарный случай, хотя путь и так был свободен. Ракеты точно придерживались расписания, «Трансгалактику» был гарантирован полет без помех по указанному отрезку гиперболы на основе соглашения, заключенного Объединением астронавигационных компаний. Никто не мог занять его трассу. Метеоритные сводки поступали теперь за шесть часов; с тех пор как тысячи автоматических зондов стали патрулировать секторы за орбитой Урана, ракетам практически перестала грозить какая-нибудь опасность извне. Пояс, на орбитах которого между Землей и Марсом носились миллиарды метеоритов, имел собственную патрульную службу, к тому же ракетные трассы проходили вне плоскости эклиптики, в которой вращается вокруг Солнца грохочущий метеоритный пояс. Прогресс — даже с того времени, когда Пиркс летал на патрульной ракете,— был огромный.

Словом, у «Титана» не было ни малейшей необходимости лавировать — препятствий не существовало. И все же корабль делал разворот. Теперь Пирксу даже не надо было смотреть на звездное небо — он чувствовал это всем телом. Зная скорость корабля, его массу и быстроту перемещения звезд, он мог при желании высчитать кривизну траектории.

«Что-то случилось,— подумал Пиркс.— Но что?»

Пассажирам ничего не сообщали. Скрывают что-нибудь? Почему? Пиркс очень плохо разбирался в порядках на пассажирских кораблях люкс. Зато он знал, что может случиться в машинном отделении, в рулевой рубке... это не такое уж большое хозяйство. В случае аварии корабль сохранил бы прежнюю скорость или уменьшил бы ее. А «Титан»...

Это продолжалось уже четыре минуты. Следовательно, ракета повернула почти на 45 градусов. Любопытно.

Звезды остановились.

Корабль шел прямым курсом. Тяжесть портсигара, который Пиркс все еще держал в руке, возросла.

Они шли прямым курсом и увеличивали скорость. Сразу все стало ясно. Еще секунду Пиркс сидел неподвижно, потом встал. Теперь он весил больше. Сероглазая пассажирка взглянула на него.

— Случилось что-нибудь?

— Ничего особенного.

— Но что-то изменилось. Вы не чувствуете?

— Пустяки. Немного увеличиваем скорость,— сказал он.

Сейчас самое время было вступить с нею в разговор. Он взглянул на нее. Цвет волос ничуть не мешал. Она была очень красива.

Он пошел вперед. Ускорил шаги. Женщина, наверное, подумала, что он спятил. На стенах палубы пестрели разноцветные фрески. Через дверь с надписью «Конец палубы — посторонним вход воспрещен» он прошел в длинный, пустой коридор, отливающий металлом в свете ламп. Замелькали ряды дверей с номерами. Он направился дальше, ориентируясь по слуху. Поднялся по ступенькам на пол-этажа и остановился у других дверей. Стальных. «Вход только для звездного персонала»,— было написано на табличке. Ого! Какие красивые названия придумал этот «Трансгалактик»!

Двери были без ручек, они открывались специальным ключом, которого у него не было. Он поднес палец к носу. Поразмыслил секунду. И отстукал морзянкой:

— Тап — тап — та-та-тап — тап-тап.

Он ждал с минуту. Дверь отворилась. Хмурое, покрасневшее лицо показалось в щели.

— Чего вы хотите?

— Я пилот патрульной службы,— сказал он.

Двери открылись шире.

Он вошел. Здесь помещался резервный пульт управления — вдоль одной из стен располагалась дублирующая система управления ракетными двигателями, изменяющими направление. Напротив — экраны оптического контроля. У аппаратов находилось несколько кресел, все они сейчас пустовали. Приземистый автомат контролировал мерцание ламп на пульте. На узком столике у стены стояли в кольцевых зажимах полупустые стаканы. В воздухе чувствовался аромат свежесваренного кофе и своеобразный запах нагретого пластика с еле уловимой примесью озона.

Вторая дверь была приоткрыта. Из-за нее доносился слабый писк умформера.

— SOS? — спросил Пиркс человека, который ему открыл. Это был довольно полный мужчина со слегка припухшей, словно при флюсе, щекой. На волосах — след от дуги наушников. Он был в серой на молниях полурасстегнутой униформе «Трансгалактика». Рубашка вылезла из брюк.

— Да.

Мужчина как будто колебался.

— Вы из Патруля? — сказал он.

— С Базы. Летал два года на трансурановых орбитах. Я навигатор. Моя фамилия Пиркс.

Мужчина подал ему руку.

— Минделл. Ядерщик.

Не сказав больше ни слова, они прошли в другое помещение. Это была радиорубка прямой связи. Очень просторная. Человек десять окружали главный передатчик. Два радиотелеграфиста в наушниках что-то непрерывно писали, аппараты стучали, под полом попискивало. Контрольные лампы горели на всех стенах. Все это было похоже на междугородную телефонную станцию, Телегра-

фисты почти лежали на своих конторках. На них были только рубашки и брюки. Лица лоснились от пота, один был бледен, другой, постарше, со шрамом на голове, выглядел так, будто ничего не случилось. Дуга наушников разделяла волосы, и шрам был хорошо виден. Два человека сидели чуть поодаль; Пиркс взглянул на них и узнал в одном командора.

Они были немного знакомы. Командор «Титана» был невысокий, седоватый, с маленьким, невыразительным лицом. Положив ногу на ногу, он, казалось, рассматривал носок собственного ботинка.

Пиркс бесшумно приблизился к людям, стоявшим около телеграфистов, наклонился и стал читать через плечо того, со шрамом: «...шесть восемнадцать запятая три иду полным ходом дойду восемь ноль двенадцать конец».

Телеграфист придвинул левой рукой бланк и продолжал запись.

«Луна Главная Альбатросу четыре Марс тире Луна точка Имеете ли повреждения точка Отвечайте Морзе запятая радиэфон не доходит точка Сколько часов можете держаться на аварийной тяге точка Пеленгованный дрейф ноль шесть запятая двадцать один точка Прием».

«Порыв Марс тире Луна Луне Главной точка Иду полным ходом к Альбатросу сектор 64 точка У меня перегрет реактор точка Несмотря на это иду дальше точка Нахожусь шесть нанопарсеков от пункта запятая запеленгованного SOS точка Конец».

Вдруг второй радиотелеграфист, тот, бледный, издал какой-то нечленораздельный звук — все стоявшие склонились над ним. Человек, который впустил Пиркса, подал командору заполненные бланки. Второй телеграфист писал:

«Альбатрос четыре всем точка Лежу в дрейфе эллипс Т-341 сектор 65 точка Обшивка корпуса лопается дальше точка Кормовые переборки не выдерживают точка Ава-

рийная тяга реактора ноль три жэ точка Реактор выходит из-под контроля точка Главная перегородка повреждена во многих местах точка Повреждение на третьей палубе возрастает под действием аварийной тяги точка Утечка теплоносителя продолжается точка Пытаюсь цементировать точка Перевожу экипаж в носовой отсек точка Конец».

У радиотелеграфиста тряслись руки, когда он писал. Один из стоявших взял его за ворот рубашки, поднял, вытолкнул за дверь, вышел сам, но через минуту возвратился и сел на его место.

— У него там брат,— пояснил он, ни к кому не обращаясь.

Пиркс наклонился теперь над старшим радиотелеграфистом, который вдруг начал писать:

«Луна Главная Альбатросу четыре Марс тире Луна точка Идут к вам Порыв из сектора 64 Титан из сектора 67 Баллистический восемь из сектора 44 Кобольд семь ноль два из сектора 94 точка Цементируйте перегородки в скафандрах за щитами при избыточном давлении точка Сообщите аварийный дрейф на данное время точка Конец».

Человек, заменивший молодого телеграфиста, громко произнес: «Альбатрос!», и все склонились над ним. Он писал: «Альбатрос четыре ко всем точка Аварийный дрейф не установлен точка Шпангоуты корпуса плавятся точка Теряю воздух точка Экипаж в скафандрах точка Машинное отделение залито теплоносителем точка Щиты пробиты точка Первая пробоина в рубке зацементирована точка Заливает главный передатчик точка Теперь буду держать связь только по радиофону точка Ждем вас точка Конец».

Пиркс хотел закурить — курили почти все, и видно было, как дым синими лентами уносится вверх, всасываемый вентиляционными отверстиями. Он искал по всем

карманам сигареты и не мог найти. Кто-то — он даже не видел кто — сунул ему в руку открытую пачку. Он закурил. Командор сказал:

— Коллега Минделл, — на мгновение он закусил нижнюю губу, — полный ход.

Минделл сначала, по-видимому, был озадачен, но ничего не сказал.

— Дать предупреждение? — спросил человек, сидящий рядом с командором.

— Да. Я сам.

Он подтянул к себе микрофон и начал говорить:

— «Титан» Марс — Земля «Альбатросу-4». Идем к вам полным ходом. Находимся на границе вашего сектора. Будем через час. Пробуйте выйти через аварийный люк. Будем около вас через час. Идем полным ходом. Держитесь. Держитесь. Конец.

Он оттолкнул микрофон и встал. Минделл говорил по внутреннему телефону у противоположной стены:

— Ребята, через пять минут полный ход. Да, да, — отвечал он тому, кто находился у другого конца провода. Командор вышел. Слышен был его голос в другой комнате:

— Внимание! Внимание! Пассажиры! Внимание! Внимание! Пассажиры! Передаем важное сообщение. Через четыре минуты наш корабль увеличит скорость. Мы получили сигнал SOS и спешим...

Кто-то закрыл дверь. Минделл коснулся плеча Пиркса.

— Держись за что-нибудь. Сейчас будет больше двух.

Пиркс кивнул головой, 2 g для него ровным счетом ничего не значило, но он понимал, что теперь не время хвалиться своей выносливостью. Послушно взявшись за подлокотник кресла, в котором сидел пожилой телеграфист, он читал через его плечо:

«Альбатрос четыре Титану точка В течение часа не продержусь на палубе точка Аварийный люк зажат ло-

пающимися шпангоутами точка Температура в рулевой рубке 81 точка Пар поступает в рубку точка Попытаюсь разрезать носовую броню и выйти точка Конец».

Минделл выхватил у него из рук исписанный бланк и побежал в другую комнату. Когда он открывал двери, пол слегка дрогнул, и все почувствовали, что их тела наливаются тяжестью.

Вошел командор, он ступал с видимым усилием. Сел в свое кресло. Кто-то подал ему подвесной микрофон. В руках он держал скомканный листок — последнюю радиogramму с «Альбатроса». Командор расправил листок и долго смотрел на него.

— «Титан» Марс — Земля «Альбатросу-4», — произнес он наконец. — Будем около вас через пятьдесят минут. Подойдем курсом восемьдесят четыре запятая пятнадцать. Восемьдесят один запятая два. Покидайте корабль. Мы найдем вас. Найдем наверняка. Держитесь. Конец.

Человек в расстегнутом кителе, заменивший молодого связиста, вдруг вскочил и посмотрел на командора — тот подошел к нему. Телеграфист снял с головы наушники, отдал их командору, а сам принялся регулировать надсадно хрипящий репродуктор. Вдруг все оцепенели.

В кабине стояли люди, летавшие долгие годы, но такого никто из них еще не слыхивал. Тот, чей голос доносился из репродуктора, смешанный с протяжным шумом, словно отгороженный стеной огня, кричал:

— Альбатрос — всем — теплоноситель — рулевая рубка — температура — невозможно — экипаж до конца — прощайте — проводка...

Голос оборвался, и слышен был только шум.

Из репродуктора послышался какой-то скрип. Было трудно держаться на ногах, однако все стояли, сторбившись, тяжело опираясь о металлические стены.

— «Баллистический восемь» Луне Главной, — отозвался сильный голос. — Иду к «Альбатросу-4». Откройте мне

путь через сектор 67, иду полным ходом, маневрировать при обходах не могу. Прием».

Несколько секунд длилось молчание,

— Луна Главная ко всем в секторах 66, 67, 68, 46, 47, 48 и 96. Объявляю секторы закрытыми. Все корабли, которые не идут полным ходом к «Альбатросу-4», должны немедленно застопорить, поставить реакторы на холостой ход и зажечь позиционные огни. Внимание, «Порыв»! Внимание, «Титан» Марс — Земля! Внимание, «Баллистический восемь»! Внимание, «Кобольд семь ноль два»! К вам обращается Луна Главная! Открываю вам свободную дорогу к «Альбатросу-4». Всякое движение в секторах ведущего радиуса пункта SOS приостанавливается. Начинайте торможение в нанопарсеке от пункта SOS. Следите за тем, чтобы тормозные огни в оптическом радиусе «Альбатроса» были погашены, поскольку его экипаж уже мог покинуть палубу. Удачи. Удачи. Конец.

Теперь отозвался «Порыв» — морзянкой. Пиркс вслушивался в звуки поступающих сигналов.

«Порыв Марс — Луна ко всем идущим на помощь Альбатросу точка Я вошел в сектор Альбатроса точка Через 18 минут буду около него точка У меня перегрет реактор запятая охлаждение повреждено точка После спасательных работ буду нуждаться во врачебной помощи точка Начинаю тормозить полным задним ходом точка Конец».

— Сумасшедший,— проговорил кто-то, и тогда все стоявшие до тех пор как статуи начали искать глазами того, кто это сказал. Раздалось короткое, гневное бормотание.

— «Порыв» будет первым,— заметил Минделл и взглянул на командора.

— Он сам будет нуждаться в помощи. Через сорок минут...

Он умолк. Репродуктор все хрипел и хрипел, Вдруг сквозь треск послышалось:

— «Порыв» Марс — Луна ко всем идущим на помощь «Альбатросу-4». Нахожусь в оптическом радиусе «Альбатроса». «Альбатрос» дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Корма раскалена до вишневого цвета. Сигнальные огни отсутствуют. «Альбатрос» не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательным операциям. Конец.

В другой комнате отозвались зуммеры. Минделл и еще один мужчина вышли. У Пиркса от напряжения одеревенели все мышцы. Боже! Как ему хотелось оказаться там! Минделл возвратился.

— Что там? — спросил командор.

— Пассажиры спрашивают, когда можно будет танцевать, — ответил Минделл. Пиркс даже не расслышал этих слов. Он смотрел в репродуктор.

— Скоро, — спокойно сказал командор. — Включите мне оптическую связь. Мы подходим. Через несколько минут должны их увидеть. Коллега Минделл, дайте второе предупреждение — мы будем тормозить на форсаже.

— Есть, — ответил Минделл и вышел.

Репродуктор загудел, и раздался голос:

— Луна Главная «Титану» Марс — Земля, «Кобольду семь ноль два»! Внимание! Внимание! Внимание! «Баллистический восемь» заметил в центре сектора 65 объект светимостью минус четыре. «Порыв» и «Альбатрос» не отвечают на позывные. Возможен взрыв реактора на «Альбатросе». Для обеспечения безопасности пассажиров «Титан» Марс — Земля должен застопорить и немедленно отозваться. «Баллистический восемь» и «Кобольд семь ноль два» действуют дальше по собственному усмотрению. Повторяю: «Титан» Марс — Земля должен...

Все смотрели на командора.

— Коллега Минделл, — сказал он. — Застопорим в напарсеке?

Минделл смотрел на циферблат своих часов.

— Нет, командор. Мы входим в оптическую зону, Потребовалось бы 6 g.

— Тогда изменим курс.

— Все равно будет по меньшей мере три,— сказал Минделл.

— Ничего не поделаешь.

Командор встал, подошел к микрофону и заговорил:

— «Титан» Марс — Земля Луне Главной. Не могу за-
стопорить, у меня слишком большая скорость. Меняю
курс обходным маневром на половинной мощности двига-
телей и выхожу курсом двести два из сектора 65 в сектор
66. Прошу открыть мне путь. Прием.

— Примите подтверждение,— обратился он к мужчи-
не, который раньше сидел рядом с ним. Минделл кричал
что-то по внутреннему телефону. Неустанно гудели зум-
меры. На стенных табло вспыхивали огоньки. Вдруг вроде
бы потемнело — это кровь отхлынула от глаз. Пиркс ши-
роко расставил ноги. «Титан» тормозил на повороте. Ко-
рабль едва заметно вибрировал, слышалось протяжное, на
высокой ноте гудение двигателей.

— Садитесь! — крикнул командор.— Мне не нужны
здесь герои! Сейчас три!

Все сели на пол, вернее повалились на него. Он был
покрыт толстым слоем пенопласта.

— Ну и ну! Теперь там все перебьется! — пробурчал
человек, сидевший рядом с Пирксом. Командор услышал
это.

— Страхование общество заплатит,— ответил он из своего
кресла.

Кажется, было больше 3 g — Пиркс не мог поднять
руку к лицу. Пассажиры, наверное, все лежали в каютах,
но что делалось в кухнях, в столовых! Он представил себе
оранжерею. Ведь этого ни одно дерево не выдержит.
А внизу? Целые вагоны битого фарфора! Недурное зре-
лище!

Репродуктор отозвался:

— «Баллистический восемь» ко всем. Нахожусь в оптической зоне «Альбатроса». Он — в туче. Корма раскалилась. Прекращаю торможение и высылаю в пространство отряды для поисков экипажа «Альбатроса». «Порыв» не отвечает на позывные. Конец.

Ускорение уменьшалось. Кто-то показался в дверях, что-то крикнул. Уже можно было встать. Все двинулись к дверям, ведущим в главную рулевую рубку. Пиркс вышел последним. Экран размером восемь на шестнадцать метров занимал всю переднюю стену — вогнутый, огромный, словно в кинотеатре для гигантов. Все огни в рубке были погашены. В пространстве, на черном, усыпанном звездами фоне, ниже главной оси «Титана», в левом квадранте, тлела тонкая черточка, оканчивающаяся раскаленным вишневым угольком, похожим на огонек папиросы. Она была ядром бледного, слегка приплюснутого пузыря, от которого во все стороны расходились утончающиеся остроконечные отростки. Сквозь это шаровидное облако все отчетливее пробивался свет наиболее ярких звезд. Вдруг все подались вперед, словно желая войти в экран. Совсем низко, в правом нижнем углу, сверкнула среди звезд белая точка и принялась быстро мигать. Это был «Порыв».

«В реакторе Альбатроса началась неуправляемая цепная реакция точка Имею потери в людях точка Есть обожженные точка Прошу врачей точка Передатчик поврежден взрывом точка Течь реактора точка Готов катапультировать реактор запятая если не остановлю течь точка», — расшифровал Пиркс по мигающей точечке.

«Альбатроса» уже не было видно. Среди звезд висело тяжелое янтарно-бело-бурое облако дыма, увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигаясь в нижний левый угол экрана. «Титан» прошел над ним, прокладывая новый курс из сектора катастрофы.

В темную комнату из дверей радиорубки упала длинная полоса света. Слышался голос «Баллистического»:

— «Баллистический восемь» Луне Главной. Застопорил в центральной части сектора 65. «Порыв» в нанопарсеке подо мной оптически сигнализирует о потерях в людях и о течи реактора, готов катапультировать реактор, запрашивает врачебную помощь, которую ему окажу. Поиски экипажа «Альбатроса» затруднены заражением вакуума радиоактивной тучей с температурой на поверхности свыше 1200 градусов. Нахожусь в оптической зоне «Титана» Марс — Земля, который движется около меня полным ходом, выходя в сектор 66. Ожидаю прибытия «Кобольда семь ноль два» для проведения совместных спасательных действий. Прием.

— Все по местам! — раздался громкий возглас. Одновременно вспыхнули сигнальные огни в рулевой рубке. Началось движение, люди разошлись вдоль стен в трех направлениях, Минделл отдавал приказания, стоя у распределительного пульта; одновременно гудело несколько зуммеров. Наконец зал опустел, и, кроме командора, Минделла и Пиркса, остался лишь молодой телеграфист, который стоял в углу перед экраном и глядел на постепенно рассеивающееся, все больше расплывающееся и меркнущее облако дыма.

— А, это вы, — сказал командор «Титана», словно только сейчас увидел Пиркса, и подал ему руку, — «Кобольд» отзывается? — спросил он человека, появившегося в дверях радиорубки.

— Да, командор, идет обратным.

— Хорошо.

Они постояли минуту, глядя на экран. Последний клоч грязно-серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистой, искрящейся звездами тьмой.

— Кто-нибудь спасся? — спросил Пиркс, точно коман-

дор «Титана» мог знать больше его самого. Но тот был командором, а командор должен знать все.

— Вероятно, у них заело дроссели, — ответил командор. Он был на голову ниже Пиркса. Волосы как из олова — то ли поседел, то ли всегда были такие.

— Минделл, — бросил командор проходящему инженеру, — будьте любезны, дайте отбой. Пускай танцуют. Вы знали «Альбатрос»? — спросил он, обращаясь к Пирксу.

— Нет.

— Западная компания. Двадцать три тысячи тонн. Что там?

Радиотелеграфист приблизился и подал ему исписанный бланк. Пиркс прочел первое слово «Баллистический...» и отступил на шаг. Однако теперь он мешал людям, которые ежеминутно проходили через рулевую рубку, и поэтому стал у самой стены в углу. Прибежал Минделл.

— Как «Порыв»? — спросил у него Пиркс. Минделл вытирал платком вспотевший лоб. Пирксу казалось, что они знакомы целую вечность.

— Не так уж скверно, — засопел Минделл. — Система охлаждения реактора от сотрясения при взрыве вышла из строя — эта дрянь всегда отказывает в первую очередь. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там.

— С «Баллистического»?

— Да.

— Командор! Луна Главная! — позвал кто-то из радиорубки, и командор вышел. Пиркс стоял против Минделла, который машинально прикоснулся к своей опухшей щеке и спрятал платок в карман.

Пирксу хотелось расспросить его подробнее, но Минделл ничего не сказал, только кивнул ему и пошел в радиорубку. Репродуктор говорил десятью голосами, корабли из пяти секторов спрашивали об «Альбатросе», о «Порыве». Луна Главная потребовала наконец, чтобы все за-

молчали, и пыталась восстановить график движения ракет, который был нарушен в 65 секторе. Командор сидел рядом с телеграфистом и что-то писал. Неожиданно телеграфист снял наушники и отложил их. Будто они стали ему не нужны. По крайней мере так показалось Пирксу. Он подошел к нему сзади, хотел спросить, что с людьми «Альбатроса» — удалось ли им выбраться. Тот почувствовал его присутствие, поднял голову и взглянул Пирксу в глаза. Пиркс ни о чем не спросил его. Он вышел из зала, отворив дверь с надписью: «Вход только для звездного персонала»,

От остановки до ракетодрома путь был неблизкий, особенно если тащить чемодан. Над призрачно белеющими полями стояла предрассветная мгла, по шоссе, посвистывая шинами, проносились грузовики, опережаемые серебристыми клубами тумана; на поворотах их стоп-сигналы вспыхивали красным светом. Перекладывая чемодан из одной руки в другую, Пиркс посмотрел вверх. Туман, должно быть, оседал — просвечивали звезды. Пиркс невольно поискал курсовую для Марса. Серая мгла вдруг заколебалась. Неправдоподобно зеленый огонь насквозь прошел темноту. Пиркс машинально открыл рот: уже приближался гром, а за ним — горячий вихрь. Земля задрожала. В одно мгновение над равниной вошло зеленое солнце. Снег до самого горизонта засверкал ядовитым блеском, тени от придорожных столбов побежали вперед, а все, что не было ярко-зеленым, стало черным, словно обуглилось. Растирая позеленевшие ладони, Пиркс видел, как один из призрачно освещенных стрельчатых минаретов, которые, казалось, по странному капризу зодчего сгрудились здесь, в центре окаймленной холмами котловины, отрывается от земли и, стоя на огненном столбе, начинает величественно подниматься в небо. А когда грохот стал материальной силой, заполнившей все вокруг, Пиркс, закрыв лицо ладонями, увидел сквозь пальцы далекие башни, строения, цистерны, окруженные алмазным ореолом. Окна Управления порта пылали, словно за ними бушевал пожар; все очертания начали колебаться и изгибаться в раскаленном воздухе, а виновница всего этого с торжествующим ревом уже исчезала в высоте, оставив на земле огромный черный дымящийся круг. Спустя минуту с усеянного звездами

неба хлынул теплый крупный дождь. Это сработал эффект конденсации.

Пиркс поднял свою ношу и пошел дальше. Взлет ракеты будто сломил ночь: с каждой минутой становилось светлее, и уже было видно, как оседает во рвах тающий снег, а вся равнина выплывает из облаков тумана.

За сетчатым забором, сверкающим от влаги, тянулась защитная стенка для людей из ракетодромной команды, со скатами, покрытыми дерном. Ноги скользили по мертвой, набухшей влагой прошлогодней траве, но Пиркс слишком спешил и не стал искать ступенек ближайшего перехода, а просто с разгона взбежал вверх и увидел ее издалека.

Она стояла особняком, высоченная, как башня, выше других ракет. Таких не строят уже давно. Он обходил разлившиеся на бетоне мелкие лужицы; дальше их почти уже не было: вода мгновенно испарилась от теплового удара, четырехугольные плиты сухо и резко, как летом, звенели под каблуками. Чем ближе он подходил, тем выше приходилось задирать голову. Обшивка выглядела так, словно ее попеременно то покрывали клеем, то обмазывали глиной и обертывали каким-то тряпьем. Раньше к тунгстену оболочки пробовали добавлять асбестовый карбохлоктит. Стоило такому кораблю два-три раза обгореть при торможении в атмосфере, и он оказывался весь в лохмотьях, словно с него сдирали кожу. Срывать их не было смысла, сейчас же появлялись новые — ведь сопротивление при старте колоссальное. А устойчивость, управляемость — хоть сразу в Космический Трибунал: состав преступления налицо.

Он шел не спеша, хотя чемодан уже порядком оттянул ему руки: хотел как следует осмотреть корабль снаружи. Ажурная конструкция трапа вырисовывалась на фоне неба — совсем как лестница Иакова. Обшивка ракеты была серая, цвета камня; впрочем, все было еще серым: раскиданные по бетону пустые ящики, баллоны, обломки ржа-

вого железа, бухты металлических тросов. Беспорядочно разбросанные, они свидетельствовали о спешке, с которой производилась погрузка. Не доходя шагов двадцати до трапа, Пиркс поставил чемодан и огляделся. Похоже, груз уже на месте; огромная, на гусеничном ходу погрузочная платформа была отодвинута, и ее крюки висели в воздухе метрах в двух от корпуса. Он обошел стальную лапу, которой черневший на фоне утреннего неба корабль упирался в бетон, и оказался возле кормы. Железобетон осел под колоссальным грузом лапы, и от нее во все стороны разбегались стрелы трещин.

«Заплатят и за это», — подумал Пиркс о владельцах корабля, вступая в тень, отбрасываемую кормой.

Запрокинув голову, он остановился под воронкой первой дюзы. Ее край, слишком высокий, чтобы до него можно было дотянуться, покрывали толстые наслоения копоти. Пиркс потянул носом воздух. Хотя двигатели молчали уже давно, он все же различил резкий, характерный запах ионизации.

— Иди-ка сюда, — проговорил кто-то у него за спиной.

Он обернулся, но никого не увидел, только снова услышал тот же голос — будто всего в трех шагах.

— Эй, есть тут кто? — крикнул Пиркс.

Его голос глухо прозвучал под черным, ощерившимся десятками дюз куполом кормы. Ему ответила тишина. Он перешел на другую сторону и увидел копошащихся вдали, метрах в трехстах, людей. Стоя в ряд, они тянули по земле тяжелый шланг для подачи топлива. Больше не было никого. Он с минуту еще прислушивался, наконец снова, на этот раз сверху, до него долетело неясное бормотание. Видимо, это был эффект воронкообразных отверстий: они действовали как рефлекторы, концентрируя звуки. Он вернулся за чемоданом и направился к трапу.

Занятый своими мыслями — что это были за мысли, он не смог бы ответить, — Пиркс и не заметил, как одолел

всю шестиэтажную лестницу. Наверху, на платформе, окруженной алюминиевыми поручнями, он даже не обернулся, чтобы взглядом проститься с Землей. Это просто не пришло ему в голову. Прежде чем толкнуть дверь люка, провел пальцем по обшивке. Терка, да и только! Поверхность напоминала изъеденный кислотами камень.

— Ничего не поделаешь... сам того хотел, — пробормотал он.

Дверца люка подалась с трудом, словно была камнями привалена. Шлюзовая камера выглядела, как внутренность бочки. Он провел пальцами по трубам, растер сухую пыль. Ржавчина.

Протискиваясь через внутренний люк, Пиркс успел заметить, что уплотняющая прокладка отремонтирована. Вверх и вниз шли вертикальные колодцы коридоров, освещенные ночными лампами, свет их вдали сливался в голубую полосу. Где-то шумели вентиляторы, гнусаво чмокал невидимый насос. Пиркс выпрямился. Всю эту окружающую его громаду с броневой обшивкой и палубами он ощутил как продолжение собственного тела. 19 тысяч тонн, черт побери!

По дороге в рубку Пиркс никого не встретил. Коридор заполняла такая абсолютная тишина, точно корабль был уже в космическом пространстве. Пневматическая обивка стен была в пятнах; изношенные тросы, служившие опорой при невесомости, свисали вниз. Десятки раз перерезанные и сращенные соединения трубопроводов походили на обгоревшие клубни, вынутые из затухающего костра.

По пандусам он дошел до шестиугольного помещения с овальными металлическими дверями в каждой стене. Вместо пневматиков — медные ручки, обмотанные веревками.

Окошки нумераторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щелкнуло реле, в металлической коробке что-то зашелестело, но экран остался темным.

«Ну, что теперь? — подумал Пиркс. — Бежать жаловаться в СТП?»

Он открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. В стеклах мертвых экранов, словно в зеркалах, Пиркс увидел себя: в шляпе, которая от дождя совсем потеряла форму, с чемоданом, в осеннем пальто он казался случайно забредшим сюда горожанином. На возвышении стояли вызывающие уважение своими размерами кресла пилотов, раскидистые, с широкими сиденьями, принимающими форму человеческого тела, — в них погружаешься по грудь. Он поставил чемодан на пол и подошел к первому. Его заполняла тень, словно призрак последнего штурмана. Пиркс ударил ладонью по спинке — поднялась пыль, в носу зашвербило, он начал яростно чихать и вдруг рассмеялся. Пенопластовая прокладка поручней истлела от старости. Вычислители — таких Пиркс еще не видывал. Их создатель, наверно, души не чаял в кафедральных органах. Циферблатов на пульте было полным-полно: нужна была сотня глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся. Переводя взгляд со стены на стену, он видел мешанину латаных кабелей, изъеденные коррозией изоляционные плиты, железные штурвалы для ручного задранивания герметических переборок, отполированные прикосновениями рук, поблекшую краску на приборах противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое...

Пиркс пнул амортизаторы кресла. Из гидравликов сразу потекло.

«Другие летали — ну, и я смогу», — подумал он, вернулся в коридор и через противоположную дверь попал в бортовой проход.

Рядом с дверью подъемника Пиркс заметил на стене более темный бугорок. Приложил ладонь — точно; пробка на пробойне. Поискал рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию — потолок и стены были

гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл комками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки рук, работавших в страшной спешке. Пиркс вошел в подъемник и съехал вниз, к реактору. В окошечке неторопливо проползали светящиеся цифры: пять... шесть... семь... Счет палуб шел сверху.

Внизу было холодно. Коридор изгибался дугой, разветвлялся; в конце продолговатого низкого тамбура Пиркс уже видел двери камеры реактора. Тут было еще холоднее: пар от дыхания белел в свете запыленных ламп. Пиркс встряхнул головой. Холодильники? Они, наверно, где-то здесь. Он прислушался. Плиты обшивки дрожали, слегка позвякивая. Он прошел под низко нависшими сводами, глухо вторившими его шагам; ему все время казалось, что он где-то глубоко, в подземелье. Рукоятка герметических дверей никак не хотела поддаваться. Он нажал сильнее — рукоятка не дрогнула. Пиркс хотел уж стать на нее ногой, но разобрался в механизме замка: сначала надо было вытащить предохранительный шплинт.

За этими дверями были следующие, двустворчатые, на вертикальной оси, толстые, как в сокровищнице. Лак на стали потрескался. На уровне глаз можно было различить оставшиеся красные буквы:

ОП...СНО...ТЬ.

Пиркс оказался в тесном, почти совершенно темном проходе. Когда он ступил ногой на порог, что-то щелкнуло, прямо в лицо ему ударил белый свет, и тотчас вспыхнуло табло с черепом над скрещенными костями.

«Ну и боялись же они тогда», — подумал Пиркс.

Когда он начал спускаться в камеру, металлические ступени глухо загудели. Он оказался будто на дне высохшего рва: прямо перед ним высилась выпуклая, как стена крепости, в два этажа вышиной серая защитная стена реактора, рябившая от небольших зеленовато-желтых бугорков. Это были пломбы на местах прежних утечек. Пиркс

попытался их пересчитать, но, когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, отказался от своей затеи: в некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетона.

Помост, поддерживаемый железными столбиками, был отделен от остальной части камеры стеклянными стенами, будто на него насадили стеклянный ящик. Пиркс догадался, что это свинцовое стекло, которое должно предохранять от жесткого излучения; но все равно этот памятник атомной архитектуры показался Пирксу бессмыслицей.

Под чем-то вроде небольшого козырька торчали лучеобразно растопыренные счетчики Гейгера, нацеленные в чрево котла. В особой нише Пиркс обнаружил циферблаты — все мертвые, кроме одного. Реактор был на холостом ходу.

Пиркс спустился вниз и, став на колени, заглянул в контрольный колодец. Зеркала перископа почернели от старости. Многовато радиоактивного шлака, ну, да Марс — не Юпитер, можно обернуться за десять дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привел в действие кадмиевые бленды. Стрелка дрогнула и нехотя передвинулась в другой конец шкалы. Проверил опоздание — сойдет! Лишь бы контролер СТП смотрел сквозь пальцы.

В углу что-то шевельнулось. Два зеленых огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул: они медленно двигались. Пиркс подошел ближе. Это был кот. Черный, худой. Он тихо мяукнул и прижался к ноге Пиркса. Пиркс улыбнулся и огляделся. Высоко на железной полке увидел ряд клеток. В них медленно копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескивали черные бусинки глаз. Белые мыши. Их еще возили иногда на старых кораблях как живых индикаторов радиоактивной утечки. Пиркс наклонился, хотел погладить кота, но тот ускользнул у него из-под руки, повернулся к

самой темной, суженной части камеры, тихо мяукнул, выгнув спину и, напружинив лапы, подобрался к бетонному скату, за которым чернело нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик напряженно поднятого хвоста задрожал, кот пополз дальше, он уже был еле виден в полумраке. Пиркс, заинтересованный, пригнув голову, заглянул туда. В покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблескивало. Сначала Пирксу показалось, что это бухта металлического троса. Кот настороженно всматривался в это светлое пятнышко, напрыгивая хвост его слегка подрагивал.

— Ну, что еще? Нет там ничего,— пробурчал Пиркс и, присев на корточки, заглянул в темноту. Там кто-то сидел. Матовые блики лежали на скорчившейся фигуре. Кот, тихонько мяукая, направился к дверцам. Глаза Пиркса привыкали к темноте: он все отчетливее различал острые, поблескивающие, высоко поднятые колени, тускло блестящие металлические наколенники и охватившие их сегментированные металлические руки. Только голова скрывалась в тени.

Кот мяукнул.

Одна рука со скрипом шевельнулась, высунулась наружу и, опершись железными пальцами о пол, образовала наклонный помост, по которому кот молниеносно шмыгнул вверх и устроился на плече сидящего.

— Эй ты,— сказал Пиркс, обращаясь то ли к коту, то ли к тому созданию, которое медленно, будто преодолевая огромное сопротивление, начало убирать руку. Слова Пиркса оказали свое воздействие. Железные пальцы стукнулись о бетон.

— Кто там? — послышался голос, искаженный, словно он шел из железной трубы.— Терминус говорит — кто?

— Что ты тут делаешь? — спросил Пиркс.

— Терминус... я... холодно... плохо... вижу... — гудел голос.

— Присматриваешь за реактором? — спросил Пиркс. Он уже терял надежду узнать что-нибудь от автомата, обветшавшего, как и весь корабль, но зеленые кошачьи глаза как-то мешали ему оборвать фразу на половине.

— Терминус... реактором,— загудело в бетонном убежище.— Я... реактором... реактором,— повторял автомат с каким-то глуповатым удовлетворением.

— Встань! — крикнул Пиркс, ибо ничего другого не пришло ему в голову.

Внутри заскрежетало. Пиркс отступил на шаг, видя, как из тьмы выдвигаются две железные перчатки с растопыренными пальцами, выворачиваются наружу, как они хватаются за края ниши и начинают вытягивать туловище, в котором что-то протяжно затрепало. Металлическое туловище согнулось, автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя всеми суставами. На запыленных сочленениях пластин панциря выступили капли масла. Похожий больше на рыцаря в латах, чем на автомат, робот медленно раскачивался из стороны в сторону.

— Здесь твое место? — спросил Пиркс.

Стеклянные глаза автомата, медленно оглядывая все вокруг, разошлись в разные стороны, и косоглазие придало его плоскому металлическому лицу выражение совершенной тупости.

— Пломбы... приготовлены... два... шесть... восемь... фунтов... плохо... видно... холодно...

Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата.

Кот, свернувшись в клубок, смотрел на Пиркса с высоты железного плеча.

— Пломбы... готовы,— скрипел Терминус, а руки его непрерывно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой Пирксу операции: расставленными ло-

паткой ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперед. Так переменными движениями пломбируют радиоактивную течь. Оксидированное туловище закачалось сильнее, черный кот царапнул когтями по железу, но не удержался и с сердитым фырканием черной полосой ринулся вниз, скользнув по ноге Пиркса. Автомат словно и не заметил этого. Он умолк, только руки его все еще судорожно подергивались, остаточные, гаснущие движения казались затухающим, немеющим эхом его слов. Наконец он замер.

Пиркс взглянул на стену реактора, всю в подтеках, покрытую темными пятнами цементных пластырей, окаменевшую от старости, и повернулся к Терминусу. Тот был, вероятно, очень стар — кто знает, может, даже старше корабля. Правое плечо, видимо, было сменено, на бедрах и голених виднелись явные следы сварки, около железных швов металл, раскаленный, а потом остывший на воздухе, стал почти темно-синим.

— Терминус! — крикнул Пиркс роботу совсем так, будто обращался к глухому. — Иди на свое место!

— Слушаю. Терминус.

Автомат попятился как рак к открытому убежищу и, скрежеща, стал протискиваться внутрь. Пиркс оглянулся, ища кота, но того нигде не было. Пиркс вернулся наверх, задраил герметические двери и поднялся лифтом на четвертую палубу, в навигаторскую кабину.

Широкая и низкая, с почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком, она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые иллюминаторы в медных кольцевых рамах. Сквозь стекла проникал дневной свет. Такая уж была мода лет сорок назад — даже пластиковые покрытия стен имитировали деревянные панели. Пиркс распахнул иллюминатор и чуть не стукнулся головой о глухую стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали

карты неба, бледно-голубые, как моря в географическом атласе; по углам валялись рулоны использованной кальки, испещренные курсовыми кривыми; чертежная доска под точечным рефлексором вся была исклевана уколами циркулей. В углу стоял письменный стол, перед ним — дубовое кресло, укрепленное на шаровом шарнире, дающем возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панель рассохшиеся библиотечные шкафы.

Настоящий Ноев ковчег.

Не потому ли агент уже после того, как договор был подписан, сказал: «Вам достался исторический корабль».

Старый — это еще не исторический.

Пиркс принялся один за другим выдвигать ящики стола и наконец нашел судовой журнал — большой, в залоснившемся кожаном переплете со стершимся тиснением и потускневшими металлическими застёжками. Пиркс все еще стоял, словно не решался занять это огромное просиженное кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и фотограмма технического акта верфи. Пиркс заморгал: тогда его еще не было на свете. Он поискал последнюю запись — сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что Пиркс услышал от агента: корабль вот уже неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на двадцать восьмое, отложен, три дня идут начисления за простой. Вот почему они так спешили! Ведь начисления за простой в земном порту могут разорить и миллионера.

Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, замечал только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений — не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока страниц вынырнула одна запись — вверху:

«Корабль отправлен на верфи Амперс-Харт для ремонта I категории».

Дата была трехлетней давности.

Ну, и что же они там улучшили? Он не отличался чрезмерным любопытством, но все же проглядел опись работ, удивляясь все больше и больше: сменили носовую броню, шестнадцать палубных секций, шпангоуты крепления реактора, герметические переборки.

Новые переборки и шпангоуты?

Правда, агент что-то говорил о какой-то давней аварии. Но это была не обычная авария, а скорее катастрофа.

Пиркс начал листать страницы в обратном порядке, — может, удастся узнать что-нибудь из записей, сделанных перед ремонтом. Прежде всего нашел порт назначения — Марс. Груз — мелкие товары. Экипаж: первый офицер — инженер Пратт, второй — Вайн, пилоты — Поттер и Нолан, механик — Симон.

А командир?

Еще страница — и Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля — девятнадцать лет назад. И подпись: первый навигатор — Момссен.

Момссен!

Пиркса бросило в жар.

Как это Момссен? Ведь не *тот* же это Момссен? Ведь... ведь там... то был другой корабль!

Но дата совпадала: с тех пор прошло девятнадцать лет.

Минутку. Только не спешить. Не спешить.

Он снова взялся за бортовой журнал. Размашистый, четкий почерк. Выцветшие чернила. Первый день полета. Второй, третий. Умеренная течь реактора: 0,4 рентгена в час. Наложили пломбу. Вычисления курса. Ориентация по звездам.

Дальше, дальше!

Пиркс не читал — глаза его стремительно бегали по строчкам,

Есть!

Дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой, и под ней:

«В 16.40 по корабельному времени принято метеоритное предостережение Деймоса об идущем с юпитеровой пертурбации Леонид облаке, движущемся встречным курсом со скоростью сорок километров в секунду через наш сектор. Прием метеоритного предостережения подтвержден. Объявлена тревога. При постоянной течи реактора 0,4 рентгена в час начат обходной маневр полной тягой с ориентировочным выходом на Дельту Ориона».

Ниже, с новой строки:

«В 16.51 по корабельному времени на...»

Больше на странице ничего не было. Ничего — никаких знаков, каракулей, пятен, ничего, кроме непонятно почему удлинённой, а не закругляющейся, как положено, вертикальной черточки последней буквы «а». В ее чуть извилистом продолжении длиной несколько миллиметров, которым обрывалась очередная запись, сползая со строки на белую равнину листа, было все: грохот попаданий, воющий свист вырывающегося из корабля воздуха, крик людей, у которых лопались глазные яблоки...

Но ведь тот корабль назывался иначе. Иначе! Как?

Это было похоже на сон: Пиркс никак не мог вспомнить это название, столь же известное, как название корабля Колумба!

Господи, как же назывался этот корабль — последний корабль Момссена?!

Он бросился в библиотеку. Толстый том справочника Ллойда сам попался под руку. Название, кажется, начиналось на «К». «Космонавт»? Нет. «Кондор»? Нет. Что-то более длинное, какая-то драма, герой или рыцарь...

Он бросил том на письменный стол и, прищурившись, начал внимательно осматривать стены. Между библиотекой и шкафом с картами висели на панели приборы: гиг-

рометр, индикатор излучения, регистратор количества углекислого газа...

Он по очереди перевернул их. Никаких надписей. Впрочем, они были вроде новые.

Там, в углу!

Привинченное к дубовой плите, светилось табло радиографа. Таких теперь уже не делают: смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск... Пиркс быстро вывинтил шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, дернул рамку — она оказалась у него в руке — и перевернул металлическую коробочку. Сзади, на золотистой латуни, было выгравировано лишь одно слово: «КОРИОЛАН».

Это был тот самый корабль.

Он оглядел кабину. Значит, здесь, в этом кресле, тогда, в тот последний миг, сидел Момсен?

Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К». «Корсар»... «Кориолан»... Корабль Компании... 19 тысяч тонн массы покоя... выпущен с верфи... реактор ураново-водяной, система охлаждения... тяга... выведен на линию Терра — Марс. Потерян после столкновения с потоком Леонид. Спустя шестнадцать лет найден патрульным кораблем в афелии орбиты... После ремонта первой категории, проведенного в Амперс-Харт, выведен Южной компанией на линию Терра — Марс... Груз — мелкие товары... страховой тариф... Нет, не то... Есть!

...под названием «Голубая звезда».

Пиркс закрыл глаза. Как тут тихо. Изменили название. Наверно, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот почему агент...

Он стал припоминать, что об этом говорили на Базе. Это их патрульный корабль отыскал остов «Кориолана». Метеоритные предупреждения в те времена всегда прихо-

дили слишком поздно. Опубликованное комиссией заключение было кратким: «Несчастный случай. Виновных нет». А экипаж? Было доказано, что не все погибли сразу; среди уцелевших был сам командир, и он сделал все, чтобы люди, отрезанные друг от друга секциями искореженных палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода — до конца. Было там еще что-то, какая-то жуткая подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока новая сенсация не заставила обо всем забыть. Что это было?

Вдруг он увидел огромный лекционный зал, доску, исчерченную формулами, у которой, весь измазанный мелом, терзался Смига, а он, Пиркс, склонив голову над выдвинутым ящиком стола, украдкой читал распластанную на дне газету. «Кто может пережить смерть? Только мертвый». Ну да! Это было так! Лишь один уцелел в этой катастрофе, потому что не нуждался ни в кислороде, ни в пище, и пролежал, придавленный обломками, шестнадцать лет — автомат!

Пиркс встал. Терминус! Наверняка, наверняка Терминус! Он тут, на корабле. Стоит только захотеть, решиться...

Чепуха! Это механический идиот, машина для пломбирования пробоин, глухая и слепая от старости. Только пресса в извечном стремлении выжать максимум сенсации из любого происшествия своими кричащими заголовками превратила его в таинственного свидетеля трагедии, которого комиссия якобы слушала при закрытых дверях. Пиркс припомнил тупой скрежет автомата. Чепуха, явная чепуха!

Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил его в ящик и взглянул на часы. Восемь. Надо торопиться. Он отыскал документацию груза. Трюмы были уже задраены, портовый и санитарный контроль произведены, таможенные декларации подписаны, все готово. Он просмотрел товарный сертификат и удивился, что нет полной специфика-

ции. Машины — ладно, но какие машины? Какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? Ничего, кроме общего веса и схематического эскиза размещения груза в трюмах. В кормовом отсеке было всего 300 тонн — почему? Может, корабль шел на уменьшенной тяге? И о таких вещах он узнает случайно, чуть ли не в последний момент?! Пиркс все торопливее рылся в папках, в скоросшивателях, разбрасывал бумаги, все не мог найти ту, которую искал, и история Момссена постепенно улетучивалась из памяти, так что, случайно взглянув на вынутый из оправы радиограф, он даже вздрогнул от удивления. В этот момент ему на глаза попался какой-то список, из которого он узнал, что в последнем трюме, прилегающем дном к защитной плите реактора, уложено сорок восемь ящиков продовольствия. И опять в спецификации оказалось лишь общее определение: «скоропортящиеся пищевые продукты». Почему же тогда их поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Нарочно, чтобы испортились, так что ли?

Послышался стук.

— Войдите! — сказал он, как попало рассовывая в папки разбросанные по всему столу бумаги.

Вошли двое. С порога отпартовали:

— Боман, инженер-атомник.

— Симс, инженер-электрик.

Пиркс встал. Симс — молодой, щуплый человечек с бегающими глазами на белищем лице — то и дело покашливал. В Бомане Пиркс с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших, наслаивающихся доз космического облучения. Он едва доходил Пирксу до плеча: в те времена, когда Боман начинал летать, еще принимался во внимание каждый килограмм веса на борту. Он был худой, но лицо

будто распухло, вокруг глаз темнели мешки отеков, как у всех, кто уже не первый год подвергается многократным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов.

«Вот и я когда-нибудь буду так выглядеть», — подумал Пиркс, идя к ним навстречу и протягивая руку.

2

Ад начался в девять. На ракетодроме все было как обычно: очередь на старт, каждые шесть минут бормотание мегафонов, сигнальные ракеты; потом гул, рев, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она еще не успевала осесть, а с командной вышки сообщали, что путь открыт. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как это всегда бывает в грузовом порту в часы пик; почти все корабли шли на Марс, отчаянно требовавший машин и зелени, — люди там месяцами не видели овощей, гидропонические солярии еще только строились.

К очередным ракетам тем временем тянулись краны, бетономешалки, части конструкций, кипы стекловаты, цистерны с цементом, нефтью, тюки с лекарствами. По сигналу люди укрывались кто где мог — в противолучевых рвах, в бронированных тягачах — и, не успевал еще бетон как следует остыть, возвращались к работе. В десять, когда солнце, все в дыму, красное, словно опухшее, поднялось над горизонтом, защитные бетонные стенки между стартовыми площадками были уже изрыты, закопчены, разъедены огнем. Глубокие трещины наспех заделывали быстро застывающим цементом, который грязными фонтанами бил из шлангов; тем временем антирадиационные команды в большеголовых скафандрах выскакивали из транспортеров, чтобы струями сжатого песка счистить радиационные загрязнения; повсюду под рев сирен метались разрисованные красно-черными шашечками везде-

ходы контроля. На башне командного пункта кто-то драглотку в мегафон, на вершинах острых шпилей крутились огромные бумеранги радаров — одним словом, все было так, как и должно быть.

Пиркс разрывался на части. Надо было еще принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить питьевую воду, проверить температуру холодильников (минимальная составляла минус пять, контролер СТП покачивал головой, но в конце концов смилился и подписал); компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе потекли. Голос Пиркса постепенно уподоблялся иерихонской трубе. Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо: какой-то кретин закрыл вентили, прежде чем заполнились нижние баки. Пиркс подписывал бумаги — ему подсовывали по пять штук сразу, — не зная, что он подписывает.

На часах было одиннадцать, до старта час — и тут новости!

Командный пункт не разрешит взлета, потому что старая система дюз дает слишком опасные радиоактивные осадки, у корабля должен быть вспомогательный бороводородный привод, как у «Гиганта» — той грузовой ракеты, которая стартовала в шесть. Пиркс, уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Диспетчер отдает себе отчет в том, что говорит? Он что, только сейчас заметил «Голубую звезду»? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. О чем идет речь? Дополнительная защита? Из чего? Мешки с песком? Сколько? Пустячок — три тысячи штук! Пожалуйста! Он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована? Пожалуйста, штрафуйте!

Пиркс потел. Все как будто сговорились: электрик ругал механика, который не проверил аварийную систему; второй пилот выбежал куда-то на пять минут, и нет его на корабле — прощается с невестой; фельдшер вообще исчез; сорок бронированных мамонтов подъехали к ко-

раблю, окружили его, и люди в черных комбинезонах бегом таскают мешки с песком, семафор на командной вышке только и знает, что подгонять их; пришла какая-то радиограмма, вместо пилота ее принял электрик, забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса уже голова шла кругом, он только притворялся, будто знает, что делается. За двадцать минут до старта Пиркс принял драматическое решение: приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет, самое худшее — вода закипит; зато устойчивость лучше.

В одиннадцать сорок проверка двигателей. Теперь отступать уже некуда. Оказалось, что есть стоящие люди, особенно ему пришлось по вкусу инженер Боман — его не было ни видно, ни слышно, а все шло как часы: продувка дюз, малая тяга, полная. За шесть минут до взлета, когда командная вышка выкинула сигнал «К старту», они были готовы. Все уже лежали в креслах, когда объявился фельдшер. Второй пилот, мулат, возвратился от невесты в унылом настроении. Динамик ревел, хрипел, бормотал; наконец стрелка автомата стала на нуле — путь открыт. Старт!

Пиркс, разумеется, знал, что 19 тысяч тонн — это не патрульная скорлупка, где как раз места хватает только на то, чтобы широко улыбнуться; корабль не блоха, сам не подскочит, надо давать тягу, но ничего подобного он не ожидал. На циферблате уже половина мощности, весь корпус дрожит, словно собирается разлететься на куски, а индикатор нагрузки показывает, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса уже мелькнула мысль, что «Звезда», может, зацепилась за что-то, — говорят, такие вещи случаются раз в сто лет, — но в этот момент стрелка сдвинулась. Огненный столб поднял «Звезду», она дрожала, стрелка гравиметра как сумасшедшая плясала по шкале. Пиркс, вздохнув, опустился в кресло, расслабил мускулы. Теперь он при всем желании уже ничего сделать не мог.

Ракета шла вверх. Тут же они получили по радио предупреждение за старт на полной мощности — это увеличивает радиоактивное заражение. Компания будет дополнительно оштрафована. Компания? Очень хорошо, пусть платит, черт ее побери! Пиркс только поморщился, он даже и не пытался спорить с командным пунктом, доказывать, что стартовал он на половинной тяге. Что ж ему теперь — садиться обратно, вызывать комиссию и требовать протокольного распечатывания записи в уранографах?

Впрочем, сейчас Пиркса занимало совсем другое — прохождение через атмосферу. В жизни он еще не сидел на корабле, который бы так трясся. Так, наверно, могли бы чувствовать себя люди в головке средневекового тарана, пробивающего стену. Все кругом прямо прыгало, их так мотало в ремнях, что душа вон, гравиметр никак не мог решиться: показывал то 3,8, то 4,9, бесстыдно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку. Словно у них дюзы были набиты клецками. Они шли уже на полной мощности, и Пиркс обеими руками прижимал шлем к голове, иначе не было слышно голоса пилота в шлемофоне — так ревела «Звезда»! Это не был победный баллистический грохот. Ее борьба с земным притяжением напоминала агонию, полную отчаяния. Добрых две минуты казалось, что они не стартуют с Земли, а висят неподвижно, всей силой отдачи отталкивая от себя планету, — так ощутимы были полные муки усилия «Звезды»! Все будто расплылось от вибрации, и Пирксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов, но это уже была чужь: в таком аду не услышать даже гласа труб, призывающих на страшный суд.

Температура оболочки носа... о, это был единственный индикатор, который не колебался, не отступал, не прыгал и не задерживался, а спокойно лез вверх, словно перед ним был еще целый метр места на шкале, а не самые последние, красные цифры — 2500, 2800. Когда Пиркс взгля-

нул туда, в запасе оставались всего две черточки. А «Звезда» не достигла даже орбитальной скорости; все, чего они добились к четырнадцатой минуте полета, — это 6,6 километра в секунду! Его вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, которые порой бывают у пилотов, — что «Звезда» вообще не оторвалась от Земли, а мелькающие на экранах облака — попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб! Но дело все же обстояло не так плохо; они летели. Фельдшер лежал белый как мел и страдал. Пиркс подумал, что от медицинской помощи, которую он должен им оказывать, пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а Боман даже не вспотел — лежал себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел, из амортизаторов во все стороны летели брызги — поршни дошли почти до упора. Пиркса интересовало только, что будет, если они и вправду дойдут.

Он привык к совершенно другому, современному расположению циферблатов, и потому взгляд его все время попадал не туда, когда он хотел проконтролировать тягу, охлаждение, скорость, состояние оболочки, ну и прежде всего, вышли ли они на синергическую.

Пилот, с которым они перекрикивались по интеркому, как будто немного растерялся: то выходил на курс, то сходил с него; колебания, разумеется, небольшие, дробные, но при пробивании атмосферы хватит, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого, а тогда в обшивке возникают колоссальные термические напряжения, и последствия могут быть ужасными. Пиркс только тем себя утешал, что, если уж эта косматая скорлупина выдержала столько стартов, она выдержит и этот.

Стрелка термомпары действительно дошла до конца шкалы: 3500 градусов, тютелька в тютельку столько у них было снаружи, и, если так продержится еще десять минут, оболочка начнет расползаться — карбиды тоже не вечны.

Какова толщина обшивки? Никаких показателей на этот счет не было; во всяком случае, она порядком обгорела. Пирксу становилось жарко, но только от переживаний, потому что внутренний термометр, как и при старте, показывал двадцать семь градусов. Они были уже на шестидесятом километре, атмосфера практически осталась внизу, скорость — 7,4 километра в секунду. Шли немного ровнее, но все еще почти на тройном ускорении. Эта «Звезда» двигалась, как свинцовая болванка. Никакими средствами ее нельзя было разогнать как следует — даже в пустоте. Почему? Пиркс понятия не имел.

Спустя полчаса они уже лежали на курсе «Арбитра» — только за этим последним из пеленгирующих спутников им предстояло выйти на трассу Земля — Марс. Все выпрямились в креслах. Боман массировал лицо. Пиркс чувствовал, что и у него немного набрякли губы, особенно нижняя. У других глаза налились кровью, опухли, их мучил сухой кашель, хрипота, но это были нормальные явления, они обычно исчезают спустя часок. Реактор работал так себе. Правда, тяга не уменьшилась, но и не возросла, в пустоте она, собственно, должна бы увеличиться, но этого почему-то не происходило. Даже законы физики, казалось, для «Звезды» были не так уж обязательны. Ускорение было почти нормальным, земным, скорость — 11 километров в секунду. Им еще предстоял разгон до нормальной крейсерской скорости, иначе пришлось бы тащиться до Марса целые месяцы. Пока они шли прямо на «Арбитр».

Пиркс, как всякий навигатор, ждал от «Арбитра» одних только неприятностей: или заметят, что у корабля слишком длинный, недозволенный инструкцией выхлопной огонь, или что ионизационные разряды в дюзах мешают радиоприему, или потребуют, чтобы Пиркс переждал, пока пропустят какой-то более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось. «Арбитр» пропустил их сразу и еще послал вдогонку радиogramму: «Глубокого

вакуума». Пиркс ответил, и на этом обмен космическими любезностями окончился.

Они легли на курс. Пиркс приказал увеличить тягу, ускорение возросло, уже можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, который был одновременно и коком, пошел в камбуз. Всем хотелось есть, особенно Пирксу, который с утра еще ничего не ел, а при старте попутел изрядно. В рубке лишь теперь начала повышаться температура — жар раскаленной обшивки с запозданием проникал внутрь. Пахло жидким маслом, которое вытекло из гидравликов и разлилось лужицами вокруг кресел.

Боман спустился к реактору проверить, нет ли нейтронной течи. Пиркс тем временем, наблюдая за звездами, разговаривал с электриком. Оказалось, что у них есть общие знакомые. У Пиркса впервые с того момента, как он ступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая уж она ни на есть, эта «Звезда», а 19 тысяч тонн — это не фунт изюму. Да и вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракету, а стало быть, и чести больше, и опыт накапливается.

В полутора миллионах километров за «Арбитром» на них обрушился первый удар: пообедать не удалось. Кок-радиотехник бессовестно подвел. Больше всех скандалил фельдшер; оказалось, что у него больной желудок, перед самым стартом он купил несколько кур и одну отдал радиотехнику, а теперь в бульоне полно перьев. Остальным достались бифштексы — с ними можно было провозиться до второго пришествия.

— Закаленные они, что ли? — сказал второй пилот и так ткнул вилок в свой бифштекс, что он выпрыгнул из тарелки.

Радиотехник был нечувствителен к насмешкам. Он посоветовал фельдшеру процедить бульон. Пиркс чувствовал, что должен выступить посредником, но не знал, как это сделать. Ему было смешно.

Пообедав консервами, Пиркс вернулся в рубку. Приказал пилоту провести контрольное фиксирование звезд, вписал в судовой журнал показания гравиметров, взглянул на циферблаты реактора и аж присвистнул. Это не реактор, а вулкан: кожух разогрелся до восьмисот градусов — и это через четыре-то часа полета! Криоген циркулировал под максимальным давлением — двадцать атмосфер. Пиркс задумался. Самое худшее как будто уже позади. Посадка на Марсе не проблема — притяжение наполовину меньше, атмосфера разреженная. Как-нибудь сядем. А вот с реактором надо что-то делать. Он подошел к вычислителю и подсчитал, сколько еще надо идти на той же тяге, чтобы набрать крейсерскую скорость. При скорости меньше 80 километров получится громадное опоздание.

— Еще семьдесят восемь часов, — ответил вычислитель.

За семьдесят восемь таких часов реактор взорвется. Лопнет как яйцо. В этом Пиркс не сомневался. Он решил, что надо набирать скорость рывками, понемногу. Правда, это несколько усложнит курс, к тому же временами придется лететь без тяги, значит, без гравитации, а это не так уж приятно. Другого выхода, однако, не было. Он приказал пилоту не сводить глаз с астрокомпаса, а сам съехал на лифте вниз, к реактору. Идя полутемным коридором через грузовые трюмы, он услышал приглушенный грохот, будто по железным плитам двигался целый отряд. Пиркс ускорил шаги. Вдруг под ногами у него черной полосой метнулся кот, и тут же где-то рядом хлопнула дверь. Когда он добрался до освещенного грязными лампами главного коридора, все уже утихло. Перед ним была пустота почерневших стен, и только в глубине какая-то лампочка еще вздрагивала от недавнего сотрясения.

— Терминус! — крикнул Пиркс наугад.

Ответило только эхо. Он вернулся и по бортовому переходу добрался до тамбура реактора. Бомана, который спустился сюда раньше, уже не было. Иссушенный воздух жег глаза. В воронках вентиляторов бушевал горячий ветер, шумело и гудело, как в паровой котельной. Реактор, как и любой реактор, работал беззвучно — выли работавшие с предельной нагрузкой агрегаты охлаждения. Километры замурованных в бетон труб, по которым бежала ледяная жидкость, издавали странные бормочущие стоны, будто жаловались на что-то. Стрелки помп за чечевицами стекол дружно склонились вправо. Среди циферблатов светился, как месяц, самый важный — отмечающий плотность потока нейтронов. Стрелка почти касалась красной черты — картина, которая любого инспектора СТП могла бы довести до инфаркта.

Шероховатая от цементных латок, похожая на скалу бетонная стена полыхала мертвенным жаром, плиты помоста слегка вибрировали, передавая всему телу неприятную дрожь, свет ламп маслянисто расплывался в мигающих дисках вентиляторов; одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла, и на ее месте вспыхнул красный сигнал. Пиркс пошел под помост, где находились выключатели, но Боман уже опередил его: часовой автомат был установлен на разрыв цепной реакции через четыре часа. Пиркс не тронул его, только проверил счетчики Гейгера. Они спокойно тикали. Индикатор показывал небольшую утечку — 0,3 рентгена в час. Пиркс заглянул в темный угол камеры. Там было пусто.

— Терминус! — крикнул он. — Эй! Терминус!

Ответа не было. В клетках беспокойно метались белые пятнышки — мыши: видно, они плохо себя чувствовали в этой поистине тропической жаре. Пиркс вернулся наверх, запер за собой дверь. В холодном коридоре его начало знобить — рубашка была мокрой от пота. Сам не зная зачем, Пиркс брел по темным, сужающимся в конце коридорам

кормы, пока путь ему не преградила глухая стена. Он прикоснулся к ней ладонью. Стена была теплая. Пиркс вздохнул, пошел обратно, поднялся на четвертую палубу в навигаторскую и принялся вычерчивать курс. Когда он с этим управился, часы показывали девять. Пиркс удивился: он и не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Садясь в лифт, он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног: автомат в соответствии с программой выключил реактор.

В слабо освещенном ночными лампами коридоре средней части корабля мерно шумели вентиляторы. Искры далеких лампочек дрожали в перекрещивающихся потоках воздуха. Пиркс слегка оттолкнулся от двери лифта и поплыл вперед. В боковом отсеке коридора было еще темнее. В голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до сих пор так и не удосужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, открывали свои черные воронки. Плавно, будто во сне, двигался он под выгнутыми сводами, распластавшись над своей огромной тенью, все дальше, пока не вплыл через приоткрытые двери в большую, необжитую кают-компанию. Под ним в полосе света ряды кресел обступали длинный стол. Пиркс висел над столом, словно водолаз, исследующий трюмы затонувшего корабля. В слабо поблескивающих стеклах у стены затаивались отражения ламп, рассыпались голубыми огоньками и погасли. За кают-компанией открывалось другое, еще более темное помещение. Тут даже привыкшие к темноте глаза Пиркса отказали. Он на ощупь, кончиками пальцев коснулся эластичной поверхности, не зная, потолок это или пол. Слегка оттолкнулся, развернулся, как пловец, и бесшумно двинулся дальше. В бархатной черноте мерцали, светясь собственным светом, продолговатые, расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод гладкой поверхности —

умывальники. Ближайший был весь в черных пятнах. Кровь? Пиркс осторожно протянул руку. Тавот.

Еще одна дверь. Пиркс, наискось вися в воздухе, открыл ее. В сером полумраке перед его лицом проплыли призрачным хороводом какие-то бумаги, книги и, слабо прошелестев, исчезли. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окруженный клубами пыли, которая не оседала, а тянулась за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор.

Цепочка ночных огней горела не мигая. словно голубая вода залила палубы. Он подплыл к висящему под потолком тросу. Петли, когда он выпускал их из рук, начинали медленно извиваться, словно разбуженные прикосновением.

Пиркс насторожился. Где-то неподалеку послышался стук. Кто-то бил молотком по металлу. Пиркс поплыл на этот звук, то нараставший, то гаснувший, и наконец увидел вделанные в пол ржавые рельсы, по которым когда-то двигались в главные трюмы грузовые платформы. Теперь он летел быстро, чувствуя, как воздух обтекает лицо. Звук становился все громче. Тут Пиркс заметил под потолком трубу, выходящую из поперечного коридора. Старый дюймовый канал трубопровода. Пиркс дотронулся до него. Труба задрожала. Удары соединялись в группы, по два, по три. Вдруг он понял. Морзянка!

— Внимание...

Три удара.

— Внимание...

Три удара.

— Я з-а п-е-р-е-б-о-р-к-о-й,— грохотала труба.

Буквы лепились одна к другой.

— Л-е-д в-е-з-д-е...

Лед? Он сначала не понял. Какой лед? Что это значит? Кто...

— Контейнер — лопнул,— отозвалась труба.

Пиркс держал на ней ладонь. Кто передает? Откуда? Он попытался сообразить, как идет трубопровод. Это был аварийный канал, он шел с кормы, ответвляясь на всех горизонтах. Кто это там упражняется! Что за идея! Пилот?

— Пратт — отзовись — Пратт...

Пауза.

У Пиркса перехватило дух. Это имя поразило его как удар. Какое-то мгновение он расширенными глазами всматривался в трубу, потом бросился вперед. «Это тот, второй пилот», — подумал он, добрался до поворота, оттолкнулся и, набирая скорость, полетел в рубку, а труба звенела над ним:

— Вайн — это — Симон...

Звуки удалялись. Он потерял трубу из виду — она сворачивала в поперечный коридор. Пиркс стремительно оттолкнулся от стены и сквозь облако пыли всмотрелся в согнутый обрубок трубы, завернутый ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. В рубку она не ведет. Значит... значит, это с кормы? Но... там... никого нет...

— Пратт — в — шестом — в — последнем... — звенела труба.

Пиркс, словно летучая мышь, висел под потолком, вцепившись согнутыми пальцами в трубу. Кровь стучала в висках. После короткой паузы снова послышались удары:

— ...баллоне — осталось — тридцать — до — нуля...

Три удара.

— Момссен — отзовись — Момссен...

Пиркс огляделся. Было совершенно тихо, только заслонка вентилятора за поворотом хлопала в порывах ветра, и выдуваемый оттуда мусор, лениво кружась, тянулся вверх, отбрасывая над лампами тени на потолок, словно там целыми роями носились большие нескладные ночные бабочки. Вдруг посыпались стремительные удары:

— Пратт — Пратт — Пратт — Момссен — не — отвеча-

ет — в — седьмом — есть — кислород — можешь — ли — пройти — прием...

Пауза. Свет ламп был все тот же, мусор и пыль медленно кружились. Пиркс хотел отпустить трубу, но не мог. Ждал. Она отозвалась:

— Симон — Момсену — Пратт — в — шестом — за — переборкой — с — последним — баллоном — Момсен — отзовись — Момсен...

Последний тяжелый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов и быстрая дробь:

— Слабо — доходит — слабо — доходит...

Тишина.

— Пратт — отзовись — Пратт — прием...

Труба дрогнула. Словно совсем издалека доходили отрывистые удары.

Три точки, три тире, три точки. SOS. Каждый следующий удар был слабее. Еще два тире. И еще одно. И протяжный замирающий звук, словно кто-то скреб или царапал трубу. Это можно было услышать лишь в такой абсолютной тишине.

Пиркс оттолкнулся и головой вперед полетел вдоль трубы; он сворачивал, когда сворачивала она, поднимался, опускался, рассекая головой воздух. Открытая шахта. Наклонный спуск. Сужающиеся коридоры. Одни, вторые, третьи ворота грузовых отсеков. Стало темнее. Он вел пальцами по трубе, чтобы не потерять ее. Черная запекавшаяся пыль обдирала ладони: палубы уже остались позади, он находился в помещении без полов и потолков, отделяющем внешнюю оболочку от трюмов; между траверсами темнели распухшие тела резервных баков, сверху кое-где пробивались пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел в черной шахте две цепочки ламп, рыжих от пыли, тянувшейся за ним длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух тут был затхлый, душный,

пахло нагретым железом. Пиркс парил среди еле заметных металлических конструкций, а труба протяжно звенела:

— Пратт — отзовись — Пратт...

Трубопровод разветвлялся. Пиркс зажал руками оба отростка, чтобы определить, откуда идет звук, но так и не разобрал. Наугад свернул влево. Какой-то люк. Сужающийся, черный как уголь туннель. В конце — круг света. Пиркс выскочил из туннеля. Он был в тамбуре реакторной.

— Это — Вайн — Пратт — не — отвечает... — звенела труба, когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух. Пиркс поднялся на помост. Были компрессоры. Теплый ветер растрепал ему волосы. Отсюда он видел в ракурсе бетонную стену реактора; светились циферблаты, красными каплями дрожали огоньки сигналов.

— Симон — Вайну — слышу — Момссена — подо мной, — грохотала труба тут, рядом с ним. Она выходила из стены и дугой спускалась вниз, соединяясь там с главным трубопроводом.

Перед развилкой, раскорячившись, стоял Терминус. Он словно боролся с невидимым противником — так молниеносны были его выпады. Полными горстями он швырял цементное тесто, расплющивал его хлопками, поправлял, придавал форму и переходил к следующему отрезку — тогда наступала пауза. Пиркс вслушался в ритм его работы. Ходящие, как шатуны, руки выстукивали:

— Момсен — брось — шланг — Пратт — теряет — кислород...

Терминус застыл с поднятыми руками, вися в воздухе напротив собственной, почти человеческой тени. Его квадратная голова двигалась вправо и влево: он проверял следующее соединение. Наклонился. Сложив ладонь совком, набрал цемент. Замахнулся. Руки входили в ритм. Труба задрожала от ударов:

— Не — отвечает — не — отвечает...

Пиркс перевесил поги через перила и плавно спустился вниз.

— Терминус! — крикнул он, еще не успев коснуться пола.

— Слушаю, — тотчас ответил автомат. Его левый глаз повернулся к человеку, правый продолжал ходить в орбите, следя за руками, которые облепляли трубу цементом, выбивая:

— Пратт — отзовись — Пратт — прием...

— Терминус! Что ты стучишь?! — крикнул Пиркс.

— Утечка. Четыре десятых рентгена в час. Заделываю пробойны, — глухим басом ответил автомат, а его руки одновременно отбивали:

— Это — Вайн — Момссен — отзовись — Момссен...

— Терминус! — снова крикнул Пиркс, глядя то на металлическое лицо со скошенным на него левым глазом, то на мельканье железных ладоней.

— Слушаю, — так же монотонно повторил автомат.

— Что ты... передаешь морзянкой?

— Заделываю пробойны, — ответил низкий голос.

— Симоп — Вайну — и — Поттеру — Пратта — ноль — Момссен — не — отвечает... — гремело железо под его мелькающими руками. Тяжелое цементное тесто расплющивалось, стекало, руки подхватывали его, прищлепывали, прижимали к закругленной поверхности. На какой-то момент его поднятые вверх руки застыли, потом автомат наклонился, набрал новую порцию цемента, посыпалась лавина стремительных ударов:

— Момсеп — Момссен — Момссен — отзовись — Момссен — Момссен — Момссен — Момссен...

Ритм бешено ускорялся, весь трубопровод дрожал и стонал под градом ударов, это было похоже на бесконечный крик.

— Терминус! Перестань! — Пиркс бросился вперед и схватил автомат за мокрые от масла локти — опи высколь-

знули у него из рук. Терминус замер, напрягшись. Было слышно только протяжное чавканье помп за бетонной стеной.

Прямо перед Пирксом был корпус автомата, залитый маслом, которое стекало по его столбообразным ногам. Пиркс отступил.

— Терминус... — проговорил он тихо, — что ты... — И осекся.

Железные ладони с громким лязгом сомкнулись. Они терлись друг о друга, сдирая остатки присохшего цемента, которые, вместо того чтобы упасть, затанцевали в воздухе, расплываясь, как круги дыма.

— Что ты... делал? — спросил Пиркс.

— Заделываю пробоины. Четыре десятых рентгена в час. Можно продолжать?

— Ты выстукивал морзянкой. Что ты передавал?

— Морзянкой, — точно тем же тоном повторил автомат и добавил: — Не понимаю. Можно мне заделывать дальше?

— Можно, — буркнул Пиркс, глядя на огромные, медленно распрямляющиеся руки. — Да, можно...

Пиркс ждал. Терминус его уже не видел. Он набрал левой рукой цемент и молниеносным движением бросил на стену. Укрепил, расплющил, разгладил — три удара. Теперь правая рука поспешила к левой, и труба забубнила:

— Пратт — лежит — в — шестом...

— Момссен...

— Отзовись — Момссен...

— Где Пратт?! — дико крикнул Пиркс.

Терминус, железные руки которого мелькали в свете ламп, как блестящие полосы, тотчас ответил:

— Не знаю.

Одновременно он выстукивал с такой скоростью, что Пиркс едва успел разобрать:

— Пратт — не — отвечает...

И тут случилось что-то странное. На серию, отбиваемую правой рукой, наложилась другая, гораздо более слабая, ее выстукивали пальцы левой. Сигналы перемешались, и в течение нескольких секунд трубопровод дрожал от грома двойных ударов, из которых вынырнула замирающая серия:

— Мрзнутруки — немгу — уж...

— Терминус... — одними губами прошептал Пиркс, отступая к металлическим ступеням. Автомат не слышал. Его туловище, лоснящееся от масла, подрагивало в такт движениям рук. Даже не слушая, по одним отблескам маслянистого металла Пиркс мог прочесть:

— Момссен — отзовись...

3

Пиркс лежал на спине. Тьма роилась блестками, мелькавшими в его глазах.

Пратт шел в глубь корабля. Так? У него кончился кислород. Те двое не могли ничем помочь. А Момссен? Почему он не отвечал? Может, был уже мертв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко, за стеной. За стеной? Это значит, что в помещении Момссена был воздух. Иначе Симон ничего бы не слышал. Что он слышал? Шаги? Почему они его вызывали? Почему он не отвечал?

Разбитые на точки и тире голоса агонии. Терминус. Как это случилось? Его нашли под грудой обломков на дне камеры. Наверно, в том месте, где трубопровод выходил наружу. Заваленный обломками, он мог слышать стук — долго ли? Запасы кислорода большие. Могло хватить на месяцы. Пищи тоже. Значит, он лежал там, под обломками. Как же так, ведь тяжести не было? Что мешало ему двигаться? Пожалуй, холод. Автоматы не могут двигаться при очень низкой температуре. Масло застывает

в суставах. Гидравлическая жидкость замерзает и разрывает маслопроводы. Остается только один металлический мозг — только мозг. Он мог слышать и фиксировать сигналы; все более слабые, они сохранились в электропных витках его памяти, словно это было вчера. А сам он об этом не знает? Как это может быть? Не знает, что они, эти сигналы, накладывают отпечаток на ритм его работы? Может, он лжет? Нет, автоматы не лгут.

Усталость заливала Пиркса, как черная вода. Может, не полагалось это слушать? Было в этом что-то мерзкое — так приглядываться к агонии, запечатленной во всех подробностях, следить за ее развитием, чтобы потом анализировать каждый сигнал, мольбу о кислороде, крик. Этого нельзя делать, если не можешь помочь. Сознание у него уже так помутилось, что он не знал, о чем думает, но все еще беззвучно повторял одними губами, словно возражая кому-то:

— Нет. Нет. Нет.

Потом не было уже ничего.

Очнулся он в полной темноте. Хотел сесть, по пристегнутое ремнями одеяло не пустило его. Он на ощупь управился с ремнями, зажег свет. Двигатели работали. Пиркс набросил халат. Несколько раз согнул колени, оценивая ускорение. Тело весило побольше ста килограммов. Полтора g примерно? Ракета меняла курс, он явственно ощущал вибрацию; встроенные шкафы протяжно, предостерегающе скрипели, дверцы одного из них открылись, гневно каркая; все незакрепленные предметы, одежда, ботинки понемногу перемещались в сторону кормы, словно объединенные каким-то тайным, неожиданно вдохнувшим в них жизнь намерением.

Пиркс подошел к шкафчику интеркома, открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, похожий на старинный телефон.

— Рубка! — крикнул Пиркс в микрофон и даже поморщился от звука собственного голоса — так болела голова. — Говорит первый. Что там?

— Поправка курса, капитан, — ответил далекий голос пилота, — нас чуточку снесло.

— Сколько?

— Ше... семь секунд.

— Как реактор? — нетерпеливо спросил он.

— Шестьсот двадцать в кожухе.

— А в трюмах?

— Бортовые по пятьдесят два, килевые — сорок семь, кормовые — двадцать девять и пятьдесят пять.

— Какое там было отклонение, Мунро?

— Семь секунд.

— Допустим, — ответил Пиркс и бросил трубку.

Пилот, разумеется, соврал. Для семисекундной поправки не требовалось таких ускорений. Отклонение от курса он оценивал в несколько градусов.

Дьявольски греются эти трюмы. Что в кормовом? Продукты? Он сел за письменный стол.

«Голубая звезда» Земля — Марс. Владельцу корабля. Реактор нагревает груз. Нет спецификации угрожаемого груза на корме. Прошу указаний. Навигатор Пиркс».

Пиркс еще писал, когда двигатели смолкли, сила тяжести исчезла, — нажав на карандаш, он вдруг взлетел в воздух. Нетерпеливо оттолкнулся от потолка, опять уселся в кресло и еще раз перечитал радиограмму. Подумав, разорвал листок и сунул клочки в ящик.

Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось: в невесомости это было сложной процедурой, состоящей из серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета, так что Пиркс, как был, в халате поверх пижамы, выплыл из каюты.

Голубизна ночного освещения скрадывала плачевное

состояние внутренней обшивки. В четырех ближайших нишах зияли чернотой выходы мерно дышащих вентиляционных каналов, валявшийся повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением.

Бесконечная тишина заполняла весь корабль. Вслушиваясь в нее, почти не двигаясь, повиснув перед своей огромной тенью, которая наискось лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, что люди засыпали в таком положении, а это было небезопасно: любой импульс двигателей для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок. Он уже не слышал ни вентиляторов, ни ударов своего пульса. Ему казалось, что эту ночную тишину корабля он мог бы отличить от любой другой. На Земле ощущаются какие-то границы тишины, ее недолговечность, краткость; среди лунных гор человек несет с собой собственное маленькое молчание, запертое в скафандре, который усиливает каждый скрип ремней, каждый хруст суставов, пульс, даже дыхание. Только корабль ночью растворяется в черном ледяном безмолвии.

Пиркс поднес часы к глазам. Скоро три. «Если так пойдет и дальше — мне конец». Он оттолкнулся от выпуклой переборки и, словно гасящая скорость птица, раскинув руки, спланировал на порог каюты. Издалека, будто из железного подземелья, до него долетел еле слышный звук:

— Банг-банг-банг...

Три удара.

Чертыхнувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, швырнул его в воздух; халат медленно вздулся и, словно гротескный призрак, поплыл вверх. Пиркс погасил свет, лег, накрыл голову подушкой.

— Идиот! Проклятый железный идиот! — повторял Пиркс, зажмурившись и дрожа от непонятной ярости. Но усталость быстро взяла верх: он и не заметил, как снова уснул.

Пиркс открыл глаза около семи. Еще в полусне поднял руку. Она не упала. Тяжести не было. Пиркс оделся. Направляясь в рубку, певольно прислушался. Было тихо.

Перед дверями он задержался. На матовых стеклах лежали зеленоватые, будто подводные, отблески радарных экранов. Внутри царил полумрак. Пилот, полулежа в кресле, курил сигарету. Плоские полосы дыма плавали перед экранами. Слышалось слабое позвякивание — какая-то земная музыка, ее перебивали космические помехи. Пиркс сел позади пилота, ему не хотелось даже проверять гравиметрические записи.

— Когда включите тягу?

Пилот был догадлив.

— В восемь. Но, если хотите вымыться, капитан, могу дать сейчас. Разницы никакой.

— Э, нет. Пусть уж будет порядок, — буркнул Пиркс.

Наступило молчание, только в динамике жужжала однообразная механическая мелодия. Пиркса опять стало клонить в сон. Он несколько раз спохватывался, потом снова погружался в дремоту, из тьмы выползали большие зеленые глаза котов. Пиркс моргал, кошачьи глаза превращались в светящиеся циферблаты; так он балансировал на грани яви и сна, когда динамик вдруг захрипел и произнес:

— Говорит Деймос. Семь тридцать. Передаем еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке Драконид, уже покинувшем сферу Пояса, возникло краевое завихрение. Сегодня оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в четыреста тысяч кубических километров. В связи с этим секторы 83, 84 и 87 объявляются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаем состав облака, полученный нами непосредственно с баллистиче-

ских зондов Фобоса. По последним данным облако состоит из микрометеоритов класса X, XY, Z...

— Хорошо, что это нас не касается,— заметил пилот,— я только что позавтракал, представляете, каково сейчас было бы давать полный ход!

— Сколько мы делаем? — спросил, вставая, Пиркс.

— Больше пятидесяти.

— Да? Неплохо,— буркнул Пиркс.

Он проверил курс, записи уранографов, величину утечки — она держалась на одном уровне — и пошел в кают-компанию. Там уже сидели оба офицера. Пиркс ждал, не заговорит ли кто-нибудь о ночных стуках, но разговор все время вертелся вокруг тиража лотереи, которого с нетерпением дожидался Симс. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым посчастливилось выиграть.

Позавтракав, Пиркс направился в навигаторскую, чтобы вычертить пройденный отрезок пути. Но вскоре он воткнул циркуль в доску, вытащил из ящика судовой журнал и отыскал состав последнего экипажа «Кориолана».

«Офицеры: Вайн и Прагг, пилоты: Нолан и Поттер, механик: Симон...» Пиркс сосредоточенно вглядывался в размашистый почерк командира. Потом бросил журнал в ящик, закончил чертеж и, захватив рулон, отправился в рубку. Через полчаса он точно рассчитал время прибытия на Марс. На обратном пути заглянул через дверное стекло в кают-компанию. Офицеры играли в шахматы, фельдшер сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс заперся в каюте и просмотрел радиограммы, взятые у пилота. Он и не заметил, как его сморил сон. Несколько раз ему казалось сквозь дремоту, будто двигатели начинают тянуть, и он силился проснуться, но не проснулся, а лишь видел во сне, как встает, идет в рубку, подходит ее пустой и в поисках кого-нибудь из команды на-

чинает плутать по лабиринту черных как уголь кормовых коридоров. Очнулся Пиркс за столом, весь в поту, злой, потому что понимал, какая ему предстоит ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер пилот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в кают-компанию, выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил вахтенного о температуре реактора. Она приближалась к тысяче градусов, но все не могла перевалить за критическую. Около десяти его вызвала рубка: они пролетали мимо какого-то корабля, который спрашивал, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита, счел за благо не предлагать своего медика, тем более что за ними в каких-нибудь трех миллионах километров шел большой пассажирский корабль, выразивший готовность застопорить ход и выслать врача.

Так вяло, без происшествий, прошел весь день. В одиннадцать белый свет на всех палубах, за исключением рубки и камеры реактора, сменился тлением голубоватых ночных ламп. В кают-компании чуть ли не до полуночи горела лампочка над шахматной доской. Там сидел Симс и играл сам с собой. Пиркс пошел еще проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомана. Инженер был настроен в общем неплохо: утечка не возрастала, а охлаждение работало вполне исправно.

Инженер попрощался и оставил Пиркса в пустом холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянулась вверх, остатки пропыленной паутины, окружавшей вентиляционные окна, беззвучно трепетали. Пиркс долго ходил по высокому, как церковные своды, коридору между главными трюмами.

Двигатели смолкли за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетали резкие и приглушенные, все удаляющиеся и слабеющие звуки. Это незакрепленные предметы, продолжая двигаться с ускорением, ударялись о стены, потолки, полы. Эхо этих ударов, которые наполнили словно вдруг оживший корабль, еще мгновение дрожало в воздухе, потом угасло, и снова наступила тишина, подчеркнутая мерным шумом вептиляторов.

Пиркс вспомнил, что ящик стола в навигаторской поколебился, и в поисках стамески спустился по длинному, узкому, как кишка, коридору между трюмом левого борта и кабельным туннелем на склад — пожалуй, самое пыльное место на корабле. Вдобавок пыль, в которой он утонул с головой, не оседала, и он, полузадохшийся, ощупью едва добрался до выхода. Пиркс был уже почти в самом центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было, так что идти мог только автомат. Действительно, звонким шагом сопровождалось хлопанье прилипающих к полу магнитных присосок. Пиркс подождал, пока в проходе не появился черный на фоне далеких ламп силуэт. Терминус шел, неуверенно раскачиваясь и широко размахивая руками.

— Эй, Терминус! — крикнул Пиркс, выходя из тени.

— Слушаю.

Тяжелая фигура остановилась, корпус по инерции наклонился вперед, качнулся и медленно вернулся в вертикальное положение.

— Что ты тут делаешь?

— Мыши, — ответил голос из-за грудного щита, и казалось, что из кольчатого панциря говорит охрипший карлик. — Мыши спят беспокойно. Просыпаются. Бегают. Хотят пить. Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура.

— А ты что делаешь? — спросил Пиркс.

— Высокая температура. Хожу. Всегда хожу, если высокая температура. Воду мышам. Если выпьют и уснут — хорошо. Часто случались ошибки из-за высокой температуры. Наблюдаю. Выхожу, возвращаюсь к реактору. Воду мышам...

— Ты несешь воду мышам? — спросил Пиркс.

— Да. Терминус.

— А где вода?

Автомат еще дважды повторил «высокая температура», и все казалось, что в нем спрятан человек, потому что Терминус в недоумении стал быстро и как-то беспомощно подносить руки к глазам, объективы которых задвигались в глазницах, уставившись на железные ладони. Потом он проговорил:

— Нет воды. Терминус.

— Ну а где же она? — настаивал Пиркс.

Прищурившись, он наблюдал за возвышающимся над ним роботом, который издал несколько нечленораздельных звуков и неожиданно изрек басом:

— За... Забыл.

Пиркс растерялся — так беспомощно это прозвучало. С минуту, наверно, он глядел на слегка покачивающийся железный корпус.

— Забыл, да? Иди к реактору. Возвращайся. Слышишь?

— Слушаю.

Терминус заскрежетал, сделал разворот на месте и стал удаляться тем же слишком твердым, одеревенелым, будто старческим шагом. На повороте он споткнулся, тяжело взмахнул руками, восстановил равновесие и исчез в боковом проходе. Еще какое-то время слышалось эхо его шагов. Пиркс хотел было вернуться к себе, потом раздумал и, бесшумно плывя над полом, добрался до шестого вентиляционного. Передвижение по колодцам было запрещено даже при выключенных двигателях, но он пренебрег

запретом. Сильно оттолкнулся от ограждения и за десять секунд пролетел семь этажей, которые отделяли середину корабля от кормы. В камеру реактора он не вошел. В стене, примерно посередине, виднелся длинный засов. Пиркс подплыл к нему, открыл узкие дверцы. За дверцами было вделанное в сталь прямоугольное оконце из свинцового стекла, образующее заднюю стенку клеток с мышами. Благодаря этому можно было наблюдать за ними, не входя в камеру.

За стеклом он увидел грязные пустые донца клеток. Дальше за проволочными сетками, в глубине камеры, поблескивал в свете высоко укрепленной лампы облитый водой корпус робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. Весь его панцирь был покрыт белыми мышами; они рысцей бегали по наплечьям, по грудному щиту, скапливались там, где в углублениях членистого живота большими каплями собралась вода, мыши слизывали ее, подскакивали, взлетали в воздух. Терминус ловил их, они скользили между его железными пальцами, их хвостики причудливо закручивались. Картина была такая странная, такая комичная, что Пирксу стало смешно. Терминус тем временем совал пойманных мышей в клетку, его металлическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Еще две-три мышки летали по воздуху; Терминус поймал и их, запер клетку и исчез из поля зрения Пиркса, только его гигантская тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, размазанным крестом легла на бетон реактора.

Пиркс тихо закрыл дверцы, вернулся в каюту, разделся и лег, но не мог уснуть. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга, но глаза горели, словно в них попал песок, голова отяжелела, а спать ему все же не хотелось. Он с тоской подумал, что до утра еще далеко, и, накинув халат, вышел.

На пересечении главного коридора с бортовым из вентиляционного отверстия до него донеслись звуки шагов. Он приложил ухо к решетке. Звук, искаженный эхом железного колодца, шел снизу. Пиркс оттолкнулся от решетки, с минуту плыл ногами вперед, а потом по ближайшему вертикальному проходу попал на уровень кормы. Шаги зазвучали громче, замерли, потом отозвались с новой силой. Автомат возвращался. Пиркс поджидал его под самым потолком высокого в этом месте коридора. В глубине коридора скрежетали волочащиеся шаги. Звук исчез. Пиркс уже начинал терять терпение, когда шаги возобновились, из прохода вынырнула длинная тень, и вслед за ней показался Терминус. Он прошел под Пирксом так близко, что было слышно биение его гидравлического сердца. Терминус сделал еще несколько шагов, остановился и издал протяжное шипение. Потом он качнулся вправо и влево, будто кланяясь железным стенам, и двинулся дальше. У темного входа в боковой коридор робот снова остановился. Заглянул туда. Протяжное шипение повторилось. Пиркс поплыл вслед за громадной фигурой.

— Ксс, ксс...— слышал он все отчетливее.

Терминус опять остановился перед очередным вентиляционным колодцем и попытался просунуть голову через решетку. Это ему не удалось. Он зашипел, медленно распрямился и заковылял дальше. Пирксу это надоело.

— Терминус! — крикнул он.

Автомат, как раз в это время наклонявшийся, застыл, не окончив движения.

— Слушаю,— сказал он.

— Что ты опять тут делаешь?

Пиркс всматривался в приплюснутую металлическую маску, хотя она и не была лицом и на ней нельзя было ничего прочесть.

— Ищу...— ответил Терминус.— Ищу... кота.

— Что?!

Терминус начал выпрямляться. Он вытягивался вверх; руки его безвольно свисали, словно он забыл о них, и из-за того, что он делал это так медленно, чуть поскрипывая суставами, в его движениях чудилось нечто угрожающее.

— Ищу кота,— повторил он.

— Зачем?!

Терминус с минуту молчал, застыв как железная статуя.

— Не знаю,— ответил он тихо, и Пиркс смутился.

Мертвая тишина, тусклый свет ламп, заржавевшие рельсы грузового пути и закрытые ворота делали коридор похожим на штольню заброшенной шахты.

— Хватит,— сказал наконец Пиркс.— Возвращайся к реактору и не выходи оттуда. Слышишь?!

— Слушаю.

Терминус повернулся и ушел. Пиркс остался один. Поток воздуха сносил его, висящего между полом и потолком, миллиметр за миллиметром к открытой пасти вентилятора. Он оттолкнулся ногой от стены, свернул к подъемнику и помчался вверх, минуя по дороге черные зевы колодцев, из которых, словно тиканье огромных часов, доносились все более слабые, удаляющиеся шаги автомата.

4

Пять следующих дней Пиркс был поглощен математикой. При каждом новом включении реактор грелся все больше, а отдача его уменьшалась. Боман предполагал, что нейтронные отражатели доживают свой век. Это подтверждала и медленно, но неуклонно возраставшая утечка. Пиркс проделывал сложнейшие расчеты, стараясь правильно дозировать время тяги и охлаждения. Когда реактор простаивал, Пиркс перебрасывал криоген с бортовых трюмов в кормовые, где стояла настоящая тропическая жара. Это бесконечное лавирование требовало терпения —

Пиркс часами просиживал у вычислителя и методом проб и ошибок искал наилучшего решения. В результате они прошли сорок три миллиона километров с ничтожным опозданием. На пятый день полета наперекор пессимистическим предсказаниям Бомана они развили требуемую скорость. Выключая реактор, который мог теперь остывать до самой посадки, Пиркс вздохнул с облегчением. Пилотируя эту старую грузовую ракету, он видел звезды гораздо реже, чем на Земле. Впрочем, он ими и не интересовался, даже красным, как медяк, диском Марса — он был по горло сыт курсовыми кривыми.

Поздним вечером последних суток пути, когда темнота, чуть разреженная голубыми огнями, будто увеличила корабль, он вспомнил о трюмах. До сих пор он даже и не заглянул туда.

Пиркс вышел из кают-компания, где Симс, как всегда, играл в шахматы с Боманом, и спустился лифтом на корму. После той встречи он не видел и не слышал Терминуса. Он только заметил, что кот куда-то бесследно исчез, словно его вообще не было на корабле.

В слабо освещенных центральных помещениях корабля с тихим шелестом циркулировали воздушные потоки. Когда Пиркс открыл дверь, в зале зажглись лампочки, покрытые толстым слоем пыли. Он обошел весь трюм из конца в конец. Среди ящиков, заполнявших трюм почти до самого потолка, оставался узкий проход. Пиркс проверил натяжение закрепленных в полу стальных лент, которыми была стянута каждая пирамида груза; он забыл закрыть за собой дверь, и оживший сквозняк высасывал из темных углов кучи опилок, мусора, пакли, которые еле заметно покачивались в воздухе, как ряска на воде.

Пиркс был уже в коридоре, когда услышал медленные, мерные удары:

— Внимание...

Три удара.

С минуту он дрейфовал в потоке воздуха, который поднимал его все выше. Хочешь не хочешь — приходилось слушать.

Переговаривались двое. Сигналы были слабые, будто люди берегли силы. Один часто сбивался, словно забывал азбуку Морзе. Иногда они подолгу молчали, иногда начинали выстукивать одновременно. Черный коридор с редко разбросанными лампами, казалось, был бесконечен, и шумящий в нем ветер будто исходил из бездонной пустоты.

— Симон — слышишь — его, — медленно, неровно стучало в трубе.

— Не — слышу — не — слышу...

Пиркс яростно оттолкнулся от стены и, сжавшись, подогнув ноги, камнем полетел вниз по коридорам, гораздо слабее освещенным. Тонкая рыжеватая пыль вокруг ламп все сгущалась, и Пиркс понял, что корма уже недалеко. Тяжелые двери реакторной были приоткрыты. Пиркс заглянул туда.

В камере было холодно. Компрессоры, остановленные на ночь, молчали, и только странным, почти человеческим голосом бормотал скрытый в бетонной стене трубопровод, когда пузыри воздуха пробивали себе дорогу сквозь густеющую жидкость.

Терминус, забрызганный цементом, работал. Над его качающейся, словно маятник, головой ожесточенно жужжал вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз.

Железные руки автомата слабо позвякивали, свежий слой цемента приглушал их удары.

— Не — слышу — прием...

То ли случайно, то ли потому, что приказ о замедлении ударов исходил из того же источника, который посылал знаки азбуки Морзе, труба звенела все слабее. Пиркс стоял рядом с автоматом. Членистые сегменты его живота,

заходившие один за другой, когда он наклонялся, напоминали брюшко насекомого. В стеклянных глазах дрожали миниатюрные отражения ламп. Уставившись в эти глаза, Пиркс вдруг почувствовал, что он совсем один в этой пустой камере с отвесными стенами. Терминус не знал, что делает, он был машиной, передающей закрепленные в памяти серии звуков, ничем больше. Удары все слабели.

— Симон — отзовись, — с трудом разбирал Пиркс.

Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в каком-нибудь полуметре от согнувшегося робота. Костяшки его пальцев стукнули по металлу, и передававшаяся в это время серия ударов на миг оборвалась. Повинуясь внезапному импульсу, Пиркс, не успев осознать, насколько дико его желание вмешаться в разговор давно ушедших лет, начал быстро выстукивать:

— Почему — Момссен — не — отвечает — прием...

Почти одновременно с первым его ударом по трубе стукнул и Терминус. Звуки слились. Рука автомата замерла, словно услышав его, а когда он кончил, принялась забивать цемент в щель соединения. Труба зазвенела:

— У — него — конча...

Пауза. Терминус нагнулся, чтобы зачерпнуть цементного теста. Что это было: начало ответа? Пиркс, затаив дыхание, ждал. Автомат, выпрямившись, стремительно бросал и трамбовал цемент, и в трубе послышались уско-ряющиеся удары:

— Симон — это — ты...

— Говорит — Симон — не — я — кто — говорил — кто — говорил...

Пиркс втянул голову в плечи. Удары сыпались, как град:

— Кто — говорил — отзовись — кто — говорил — кто — говорил — я — Симон — я — Вайн — кто — говорил — отзовись...

— Терминус! — крикнул Пиркс. — Перестань! Перестань!

Треск прекратился. Терминус выпрямился, но его плечи и руки подергивались, весь его корпус была железная лихорадка, и по этим спазматическим толчкам Пиркс продолжал читать:

— Кто — говорил — кто — кто...

— Перестань!!! — крикнул он еще раз.

Он смотрел на автомат сбоку — тяжелые плечи вздрагивали, и блики света, отражаясь от панциря, повторяли:

— Кто — кто...

Словно опустошенный бурей, прошедшей сквозь него, автомат деревенел. Поднимаясь над полом, он с грохотом стукнулся о горизонтальное ответвление трубопровода и повис, будто зацепившись за трубу, совершенно недвижно; но, взглядевшись, Пиркс уловил еле заметное подергивание металлической руки:

— Кто...

Пиркс и сам не знал, как оказался в коридоре. Вентилаторы шумели. Пиркс плыл навстречу идущему с верхних палуб холодному сухому ветру. Огни ламп светлыми кругами передвигались по его лицу.

Двери каюты были приоткрыты. На столе горела лампа, отбрасывая на пол узкие полоски света. Потолок тонул во мраке.

Кто это был? Кто так звал его? Симон? Вайн? Но ведь их не было! Они погибли девятнадцать лет назад!

Так кто же это был? Терминус? Но он только чинил трубопровод. Пиркс хорошо знал, что услышит, если попытается расспрашивать его: болтовню о рентгенах, утечках и цементных пломбах. Терминус даже не подозревает, что звуки его работы складываются в какой-то призрачный ритм.

Одно ясно: эта запись — если это запись — не мертва.

Кем бы ни были эти люди — эти голоса, эти удары, — с ними можно говорить. Если только хватит мужества...

Он оттолкнулся от потолка и неуверенно подплыл к противоположной стене. К черту! Ему хотелось ходить, ходить быстрыми шагами, чувствовать свой вес, ударять изо всей силы кулаком по столу! Это, казалось бы, такое удобное состояние, при котором предметы и собственное тело превращаются в нематериальные тени, было похоже на кошмар. Все, к чему он прикасался, отодвигалось, отплывало, неустойчивое, лишенное опоры, становилось надутой пустотой, видимостью, сном...

Сном?

Погоди. Если мне кто-то снится и я задаю ему вопрос, то я не знаю ответа, пока он не слетит с его губ. А ведь этот приснившийся мне человек не существует за пределами моего мозга, он лишь временно обособленная его часть. Каждый раздваивается так почти ежедневно, вернее, ежедневно, давая начало мимолетным, возникающим в мозгу одного человека псевдоиндивидуальностям. Это могут быть существа вымышленные или взятые из жизни. Разве не снятся нам зачастую мертвые? Разве не разговариваем мы с ними?

Мертвые...

Неужели Терминус?..

Полубессознательно кружа по каюте, проплывая от одной стены к другой, Пиркс добрался до дверей и ухватился за них. Ему был виден темный отрезок коридора с падающей во тьму полосой света.

Вернуться туда?

Вернуться — и спрашивать?

Это какое-то физическое явление, более сложное, чем обычная запись: автомат — это ведь не прибор для фиксирования звуков. В нем возникла запись, наделенная некоторой самостоятельностью, изменчивостью. Запись, которой — как это ни странно звучит — можно задавать вопро-

сы и узнать... все! Узпать о судьбе Симона, Нолана, Поттера и об этом непонятном, пугающем молчании командира...

Можно ли представить себе какое-нибудь другое объяснение?

Пожалуй, нет.

Пиркс был уверен в этом и все же не двинулся с места, словно ждал чего-то. В конце концов, нет тут ничего, кроме движения токов внутри железного ящика. Никого живого, ни одного существа, гибнущего во тьме разбитого корабля. Наверняка ничего!

Выстукивать вопросы под стеклянным взглядом Терминуса? Но ведь они, вместо того чтобы по порядку рассказывать свою историю, начнут звать его, просить кислорода, молить о спасении! Что ответить? Что они не существуют? Что они только «псевдоиндивидуальности», изолированные островки электронного мозга, его бред? Что их страх — только имитация страха, а их агония, повторяющаяся каждую ночь, стóит не больше, чем заигранная пластинка? Он еще помнил вызванный своим вопросом стремительный взрыв ударов, тот крик, которым, полные изумления и внезапно проснувшейся надежды, они призывали его, — эту бесконечно повторяющуюся настойчивую, торопливую мольбу: «Отзовись! Кто говорит? Отзовись!!» Он еще чувствовал на кончиках пальцев отчаяние и неистовство этих ударов.

Они не существуют? А кто же тогда его звал, кто молил о помощи? И что изменится, если специалисты скажут, что за этими криками нет ничего, кроме циркуляции зарядов и колебаний, возбужденных резонансом пластин?

Пиркс сел за стол. Выдвинул ящик. Яростно придавил с шелестом вздыбившиеся бумаги, достал ту, которую искал, разложил перед собой и старательно разгладил, что-

бы она не взлетела от дыхания. Одну за другой он стал заполнять печатные рубрики:

Модель:	<i>AST-PM-105/0044.</i>
Тип:	<i>Универсальный, ремонтный.</i>
Название:	<i>Терминус.</i>
Род повреждения:	<i>Распад функций.</i>
Выводы:	

Пиркс задумался. Он приближал перо к бумаге и опять отводил. Он размышлял о невинности машин, которых человек наделил способностью мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих сумасбродств. О том, что легенда о Големе, машине, взбунтовавшейся и восставшей против человека,— ложь, придуманная, чтобы те, кто несет за все ответственность, могли эту ответственность с себя сбросить.

Выводы:	<i>Сдать на слом.</i>

И внизу страницы, не дрогнув ни одним мускулом лица, подписался:

Первый пилот Пиркс.

ОХОТА НА СЭТАВРА

Злой как черт, Пиркс вышел из Управления космопорта. И надо же, чтобы это случилось именно с ним! Арматор не поставил груза — не поставил, и все тут. В Управлении ничего не знали. Разумеется, пришла телеграмма: «Опоздание семьдесят два часа, договорную неустойку перевозжу ваш счет — Энстранд». Больше — ни словечка. В торговом представительстве он тоже ничего не добился. В порту становилось тесно, и Управление не удовлетворяла договорная неустойка. Простой простоем, но лучше бы навигатор стартовал и вышел на круговую. Двигатели можно выключить, никакого расхода горючего, переждете эти три дня и вернетесь. Почему бы вам этого не сделать?

Три дня болтаться вокруг Луны только из-за того, что подвел арматор! Пиркс просто не знал, что возразить, но вовремя вспомнил про коллективный договор. Ну, а когда он козырнул нормами пребывания в космосе, установленными профсоюзом, в Управлении пошли на уступки. Конечно, сейчас не Год спокойного солнца. Дозы радиации не безвредны. Придется маневрировать, укрываться от Солнца за Луну, играть в пятнашки, расходуя горючее, а платить кто будет? Ясное дело, не арматор. Может, Управление космопорта? А вам известно, во что обходятся десять минут полной тяги реактора мощностью семьдесят миллионов киловатт?

В конце концов он получил разрешение на стоянку, но только на ближайшие семьдесят два часа плюс четыре часа на погрузку всей этой проклятой мелочи, и — ни минуты больше! Можно подумать, что они делают ему одолжение. Словно это его вина. А ведь он прибыл с точностью до минуты, хотя шел с Марса не прямым, ну, а если арматор...

Из-за всего этого Пиркс совсем забыл, где находится, и с такой силой нажал на ручку двери, что подпрыгнул к по-

толку. Ему стало неловко, он оглянулся, но поблизости никого не было. Луна-сити, казалось, весь вымер. Правда, километрах в двухстах к северу, между Ипатией и Торичелли, начались большие работы. Инженеры и техники, которые месяц назад тут все заповили, уже выехали на Строительство. Большой проект ООН, Луна-II, притягивал все новых людей с Земли. «На сей раз не будет хотя бы хлопот с гостиницей», — подумал Пиркс, спускаясь по эскалатору на самый нижний этаж подземного города. Плафоны, зажженные через один, излучали холодный дневной свет. Экономят! Толкнув стеклянную дверь, он вошел в небольшой зал. Свободные номера имелись, как же иначе. Сколько угодно. Оставив свой чемоданчик, скорее несессер, у портье, Пиркс забеспокоился: проследит ли Тиндалл за тем, как механики отшлифуют центральную джозу? Ведь еще на Марсе она плевала огнем, как средневековая ми-тральеза! Лучше бы самому присмотреть, хозяйский глаз все же... Однако Пирксу не хотелось снова подниматься на двенадцатый этаж, тем более что все наверняка уже разошлись. Должно быть, сидят в торговом салоне космодрома и слушают новые пластинки. Пиркс шел, сам не зная куда; гостиничный ресторан был совсем пуст, словно не работал, только за стойкой сидела рыжеволосая девушка и читала книгу. А может, заснула над ней? Ее сигарета превратилась в длинный столбик пепла на мраморной плите...

Усевшись, Пиркс перевел часы на местное время, и сразу сделалось поздно, десятый час. А только что, пару минут назад, на борту был полдень. Вечная карусель с внезапными перескоками времени была столь же мучительна, как и вначале, когда он только учился летать. Пиркс съел обед, ставший ужином, и запил его минеральной водой, которая была, пожалуй, теплее супа. Офицант, грустный и сонный, как настоящий лунатик, ошибся при расчете, однако не в свою пользу, что было уже опасным

симптомом. Пиркс посоветовал ему провести отпуск на Земле, вышел потихоньку, стараясь не разбудить девушку, спавшую за стойкой, взял у портье ключ и поехал в свой номер. Он не сразу взглянул на бляшку и испытал какое-то странное ощущение, увидев цифры 173: в этом самом номере он уже останавливался, когда впервые летел на «ту сторону». Открыв дверь, он убедился все же, что либо это другая комната, либо ее совсем перестроили. Нет, должно быть, ошибся — та была побольше; он повернул все выключатели — темнота ему надоела, — заглянул в шкаф, выдвинул ящик маленького письменного стола, однако не стал разбирать чемодан, только бросил пижаму на кровать, а тюбик пасты и зубную щетку положил на умывальник. Вымыл руки — вода, как полагается, была адски холодной, удивительно, как это она не замерзала. Повернул кран теплой — вылилось несколько капель. Подошел к телефону, чтобы позвонить администратору, но опять передумал. Конечно, это скандал. Луну освоили, а горячей воды в номере не допроситься! Включил радио. Как раз передавали вечерний выпуск — лунные известия. Пиркс почти не слушал, раздумывая, не послать ли телеграмму арматору. Разумеется, за его счет. Впрочем, и это ничего не даст. Романтические времена космонавтики давно миновали, теперь ты просто возница, зависишь от тех, кто грузит товар на телегу! Фрахт, страховка, плата за простой... Радио что-то неразборчиво бормотало. Стоп, что это оно говорит?.. Через кровать он дотянулся к аппарату и повернул ручку. «...по-видимому, остатки потока Леонид*, — наполнил комнату мягкий баритон диктора. — Только один жилой сектор был поврежден прямым попаданием и утратил герметичность. Люди, живущие в нем,

* Леониды — метеорный поток, орбиту которого Земля пересекает 13—14 ноября. Обильные метеоритные дожди, связанные с этим потоком, наблюдаются каждые 33 года. — *Прим. перев.*

находились по счастливому стечению обстоятельств на работе. Остальные метеориты не нанесли особых повреждений, за исключением одного, который пробил защитное перекрытие складов. Как сообщает наш корреспондент, шесть универсальных автоматов, предназначенных для работ на территории Строительства, подверглись полному уничтожению. Была повреждена также линия высокого напряжения и прервана телефонная связь, однако через три часа ее удалось восстановить. Повторяем важнейшие сообщения. Сегодня утром состоялось открытие Панафриканского конгресса...»

Пиркс выключил радио и сел. Метеориты? Какой-то поток? Конечно, сейчас время Леонид, но ведь прогнози-сты всегда накликают беду, точь-в-точь как на Земле синоптики... Строительство — должно быть, то, к северу от города. Но атмосфера есть атмосфера: ее отсутствие сильно дает о себе знать. Шесть автоматов... вот вам, пожалуйста! Хорошо хоть люди целы. Дурацкая история, однако,— пробило защитные перекрытия! Да, этому проектировщику...

Пиркс почувствовал себя вконец измотанным. Время играло с ним в чехарду. Между Марсом и Землей у них, должно быть, выпал вторник, после понедельника сразу же наступила среда; в результате не досчитались также одной ночи. «Надо выспаться, и притом про запас»,— подумал он, встал и машинально шагнул в сторону крохотной ванной, но, вспомнив о ледяной воде, вздрогнул, круто повернулся и через минуту лежал в постели. Куда ей до космолетной койки! Рука автоматически поискала ремни для пристегивания одеяла; не найдя их, Пиркс слегка усмехнулся — он и забыл, что в гостинице внезапное исчезновение тяжести не угрожает...

Это была его последняя мысль; открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Царила тьма египетская. «Тиндалл!» — захотелось ему позвать помощника, и не-

ожиданно, совершенно непонятно почему, он вспомнил, как помощник, охваченный ужасом, выскочил однажды в пижамных штанах из каюты и отчаянно крикнул вахтенному: «Друг! Умоляю, скажи, как меня зовут?!» Бедняга ошалел, потому что, выдумав себе какую-то желудочную болезнь, уничтожил целую бутылку рому. Этим кружным путем мысль Пиркса тотчас вернулась к действительности. Он встал, включил лампу, залез под душ, вспомнил о воде и пустил сначала тоненькую струйку — вода была тепловатой; он вздохнул, потому что мечтал о горячей ванне, но через минуту под струями воды, бьющими в лицо, начал даже напевать.

Он надевал чистую рубашку, когда динамик — Пиркс и понятия не имел, что этот предмет находится в номере, — проговорил басом:

«Внимание! Внимание! Передаем важное сообщение. Всех мужчин, способных носить оружие, просят немедленно явиться в Управление космопорта, комната номер 318, к инженер-капитану Аганяну. Повторяю. Внимание, внимание...»

Пиркс так удивился, что целую минуту неподвижно стоял в одной рубашке и носках. Что это? Первоапрельские шуточки? Способных носить оружие? Может, он еще спит? Взмахнув руками, чтобы быстрее надеть рубашку, он ушибся о край стола, да так, что его бросило в жар. Нет, это не сон. Тогда что же? Вторжение? Марсиане захватывают Луну? Что за вздор! Во всяком случае, надо идти...

Он надевал брюки, а какой-то голос нашептывал ему, что все так и должно было произойти... раз уж он здесь. Такая уж у него судьба — притягивать приключения...

Когда Пиркс выходил из комнаты, стрелки показывали восьмой час. Он хотел узнать у первого встречного, что же произошло, но в коридоре никого не было, на эскалаторе тоже, словно только что прошла всеобщая мобилизация,

словно все уже где-то, черт знает где, дрались на передовой... Он бежал вверх по эскалатору, который и без того двигался быстро. Спешил, словно и в самом деле боялся, что упустит случай совершить героический подвиг. Наверху он заметил ярко освещенный стеклянный киоск с газетами, подбежал к окошку, чтобы задать наконец вопрос, но ларек был пуст. Газеты продавал автомат. Пиркс купил пачку сигарет и газету, которую просмотрел, не сбавляя шага, однако не нашел в ней ничего, кроме описания метеоритной катастрофы. Может, дело в ней? А тогда при чем тут оружие?.. Нет, конечно. По длинному коридору он подошел к Управлению и увидел наконец людей. Кто-то как раз входил в комнату номер 318, кто-то приближался к ней с противоположного конца коридора.

«Теперь уж я ничего не узнаю, не успею», — подумал Пиркс, оправил китель и вошел. Это была небольшая комната с тремя окнами, за которыми пылал искусственный лунный пейзаж неприятного цвета раскаленной ртути. В более узкой части трапецевидной комнаты стояли два письменных стола, а все пространство перед ними было уставлено стульями, принесенными, видимо, второпях: почти все они были разными. В комнате находилось человек четырнадцать-пятнадцать, в основном мужчины среднего возраста и несколько юношей с нашивками курсантов космической навигации. Отдельно сидел какой-то немолодой командор, другие стулья пока пустовали. Пиркс уселся возле курсанта, который тут же рассказал ему, что накануне они прилетели вшестером, чтобы пройти практику на «той стороне» Луны, но в их распоряжении был только маленький аппарат, так называемая «блоха», который взял лишь троих, остальным пришлось ждать своей очереди, а тут внезапно случилась эта история. Не знает ли чего-нибудь навигатор?.. Но навигатор сам ничего не знал. По выражению лиц можно было определить, что и остальные застигнуты врасплох необычным вызовом, — по-

жалуй, все они пришли из гостиницы. Курсант, вспомнив, что обязан представиться, выполнил несколько гимнастических упражнений, едва не опрокинув при этом стул. Пиркс подхватил стул за спинку, но тут дверь отворилась, и вошел невысокий черноволосый человек с тропутыми сединами висками; у него были выбритые до синевы щеки, мохнатые брови и маленькие пронизательные глаза. Он молча прошел между стульями к письменному столу, раскрутил подвешенный к потолку рулон с картой «той стороны» в масштабе 1 : 1 000 000 и, потерев ребром ладони мясистый нос, сказал безо всякого вступления:

— Здравствуйте, я Агания. Объединенное руководство Луны-I и Луны-II временно уполномочило меня руководить операциями по обезвреживанию Сэтавра.

Присутствующие зашевелились, но Пиркс по-прежнему ничего не понимал, не знал даже, что такое Сэтавр.

— Те из вас, кто слушал радио, знают, что здесь,— Агания указал линейкой на окрестности кратера Ипатии и Альфрагануса,— вчера выпал рой метеоритов. Не буду говорить об ущербе, нанесенном остальными метеоритами; но вот один из них, пожалуй самый большой, пробил перекрытия складов В7 и R7, причем в последнем находилась партия Сэтавров, доставленных с Земли всего четыре дня назад. В сообщениях передавалось, что все они уничтожены, однако это не соответствует действительности.

Курсант, сидевший возле Пиркса, слушал с пунцовыми ушами, даже рот приоткрыл, точно боялся упустить хотя бы одно слово. Агания же продолжал рассказывать:

— Обвалившийся свод раздавил пять роботов. Шестой уцелел. Точнее, был поврежден — мы так считаем, поскольку он выбрался из-под развалин и с этого момента начал вести себя, как, как...— Агания не нашел подходящего слова и, не закончив фразы, продолжал: — Склады находятся у боковой ветки узкоколейной дороги, в восьми километрах от временной посадочной площадки. Сразу же

после катастрофы начались спасательные работы. В первую очередь провели перекличку, чтобы выяснить, не погребен ли под развалинами кто-нибудь из личного состава. Эта операция заняла примерно час; тем временем обнаружилось, что сектор центрального управления работ потерял герметичность, и операция затянулась до полуночи. Около часа ночи выяснилось, что авария высоковольтной линии, питающей всю территорию Строительства, а также нарушение телефонной связи были вызваны не метеоритами — кабель был рассечен... лучом лазера.

Пиркс зажмурился. Ему упорно казалось, что он участвует в каком-то спектакле, ибо такие события не могли происходить наяву. Фиолетовый лазер. Да неужели?! Может, его провез марсианский шпион? Но инженер-капитан не походил на человека, который поутру собирает постояльцев гостиницы, чтобы сыграть с ними глупую шутку.

— Телефонную связь восстановили в первую очередь, — рассказывал Аганян, — а тем временем малый вездеход аварийной службы, который добрался до места, где был рассечен кабель, утратил радиотелеграфную связь с управлением Луна-сити; в три часа утра стало известно, что вездеход был обстрелян из лазера и после нескольких попаданий загорелся. Водитель и его помощник погибли, а два члена экипажа, которые, к счастью, уже надели скафандры, потому что готовились выйти на ремонт линии, успели выпрыгнуть и укрыться в пустыне, то есть в *Maie Tranquilitatis*, приблизительно здесь. — Аганян указал линейкой на район Моря Спокойствия, удаленный километров на четыреста от небольшого кратера Араго.

— Никто из них, насколько мне известно, не видел нападавшего. Просто в определенный момент они почувствовали очень уж сильный тепловой удар, и вездеход загорелся. Они выпрыгнули, прежде чем взорвались баллоны со сжатым газом, их спасло отсутствие атмосферы, потому что взорвалась только та часть горючего, которая

могла соединиться с кислородом внутри вездехода. Один из этих людей погиб — при не установленных пока обстоятельствах, — а другому удалось вернуться на территорию Строительства. Он пробежал в скафандре около ста сорока километров и израсходовал весь свой запас воздуха; наступила аноксия — кислородное голодание; к счастью, его подобрали, и сейчас он в госпитале. О том, что с ним произошло, мы узнали из его рассказа, и эти сведения нужны поэтому в дальнейшей проверке.

Наступила мертвая тишина. Пиркс начал понимать, что все это значит, однако еще не верил, не хотел верить...

— Вы, безусловно, догадываетесь, — продолжал ровным голосом черноволосый человек, который угольно-черным силуэтом выделялся на фоне лунного пейзажа, пылающего ртутью, — что тем, кто перерезал телефонный кабель и линию высокого напряжения, а также напал на вездеход, был уцелевший Сэтавр. Это пока мало изученная модель, в серийное производство она запущена лишь в прошлом месяце. Вместе со мной сюда должен был прийти инженер Кларнер, один из конструкторов Сэтавра, чтобы подробно разъяснить вам как возможности этой модели, так и средства, которыми следует теперь воспользоваться, чтобы обезвредить ее или уничтожить...

Курсант, сидевший рядом с Пирксом, тихонько взвыл от восторга. Это был наивысший восторг, даже не пытающийся надеть личину ужаса. Юноша не заметил укоризненного взгляда навигатора. Впрочем, никто сейчас не замечал и не слышал ничего, кроме голоса инженера-капитана.

— Я не электроник и не могу рассказать о Сэтавре. Но среди присутствующих должен находиться доктор Маккорк. Он здесь?

Впереди поднялся высокий, худой человек в очках.

— Я здесь. Я не принимал участия в проектировании Сэтавров, знаю только нашу, английскую модель, близкую

к американской, но не идентичную ей. Все же различия не очень велики. Могут быть полезным...

— Великолепно. Прошу вас, доктор, подойдите сюда... Я только обрисую вкратце обстановку: Сэтавр находится где-то здесь,— концом линейки Аганян указал на «берег» Моря Спокойствия,— то есть на расстоянии тридцать — восемьдесят километров от территории Строительства. Как и все Сэтавры, он предназначался для горных работ в очень тяжелых условиях, при высокой температуре, при повышенной опасности обвалов, поэтому модель имеет массивный корпус и покрыта толстой броней... Но об этом подробнее скажет доктор Маккорк. Какими средствами мы располагаем, чтобы обезвредить Сэтавра? Руководители всех лунных баз выделили нам некоторое количество взрывчатки — динамита и оксиликвита*, а также ручные лазеры ближнего действия и горные лазеры, причем ни эти взрывчатые вещества, ни лазеры не носят, конечно, характера боевых средств. Группам, посланным на уничтожение Сэтавра, будут даны вездеходы ближнего и среднего радиуса действия, в том числе две машины, покрытые легкой противометеоритной броней. Только такие машины выдерживают удар лазерного луча с расстояния около километра. Правда, данные эти относятся к Земле, где атмосфера сильно поглощает энергию излучения. Здесь атмосферы нет, и, значит, эти вездеходы по сравнению с остальными будут подвергаться лишь немногим меньшей опасности. Мы получим также много скафандров и кислорода; боюсь, что это все. Около полудня из советского сектора прилетит «блеха» с экипажем из трех человек; она может принять на борт до четырех человек и перебросить их на короткую дистанцию в глубь района, где находится

* Оксиликвит — взрывчатое вещество, состоящее из пористого углеродистого материала, пропитанного жидким кислородом.— *Прим. перев.*

Сэтавр. Пока на этом закончу. Прошу вас разборчиво написать фамилию и специальность на этом листе бумаги. Тем временем, быть может, доктор Маккорк пожелает сказать несколько слов о Сэтавре. Самое важное, как я полагаю, найти ахиллесову пятую...

Маккорк стоял рядом с Аганяном. Он был еще более худым, чем показалось Пирксу сначала, — торчащие уши, слегка треугольный череп, едва заметные брови, неопределенного цвета шевелюра — и при всем этом Маккорк вызывал удивительную симпатию.

Сначала он снял очки в стальной оправе, словно они мешали ему, положил их на край стола перед собой и лишь после этого начал говорить:

— Я солгу, если стану утверждать, будто мы предвидели подобные случаи. Но, помимо формул, в голове у кибернетика должно иметься хотя бы подобие интуиции. Вот почему до сих пор мы не решались передать нашу модель в серийное производство. Лабораторные испытания показали высокую эффективность Мефисто — так называется наша модель. Сэтавр отличается от него лучшей балансировкой возбуждения и торможения. По крайней мере так я считал до сих пор, опираясь на литературные источники, — теперь я в этом не столь уверен. В названии есть привкус мифологии, но это просто сокращение слов Самопрограммирующийся электронный троичный автомат с рачемической памятью, поскольку в конструкции его мозга использованы как право-, так и левовращающие псевдокристаллические мономеры. В данный момент это, по-видимому, не играет роли. Автомат снабжен фиолетовым лазером для горных работ, энергию для световых импульсов дает микрокотел, действие которого основано на принципе холодной цепной реакции, благодаря чему Сэтавр, насколько я помню, может развивать в импульсе мощность порядка 45 000 киловатт.

— Какой у него срок службы? — спросил кто-то.

— С нашей точки зрения — вечный, — мгновенно ответил худощавый доктор. — Во всяком случае, многолетний. Что, собственно, могло случиться с этим Сэтавром? Попросту говоря, я думаю, что он получил удар по голове. Удар оказался необычайно сильным: ведь в конце-то концов даже здесь, на Луне, обвал здания может повредить хромо-никелевый череп. Что же произошло? Подобных экспериментов мы никогда не проводили: они стоят слишком дорого, — Маккорк неожиданно усмехнулся, показав ровные мелкие зубы, — однако в целом известно, что четко локализованное повреждение небольшого, то есть сравнительно простого, мозга, иными словами, обычной цифровой машины, приводит к полному распаду функций. Но чем ближе мы подходим к имитации процессов, происходящих в человеческом мозге, тем в большей степени такой сложный мозг оказывается способным функционировать, несмотря на частичные повреждения. Мозг животного, например кошачий, имеет определенные центры, возбуждение которых вызывает реакцию, внешне напоминающую взрыв агрессивной ярости. Мозг Сэтавра устроен иначе, он обладает неким общим приводом, мотором активности, которую можно направлять по разным каналам. Так вот, произошло какое-то прямое подключение этого центра активности к блоку с программой разрушения. Я излагаю вопрос, разумеется, с предельными упрощениями.

— А откуда взялась эта программа разрушения? — спросил тот же голос, что и раньше.

— Это ведь автомат, предназначенный для горных работ, — пояснил доктор Маккорк. — Его задача — проходить штольни, штреки, бурить скальные породы, дробить особо твердые минералы, вообще разрушать плотные сгустки вещества, разумеется, не всюду и не всякие; но в результате травмы в мозгу Сэтавра возникло известное обобщение программы. Впрочем, моя гипотеза может оказаться совершенно ложной. Эта проблема, чисто теоретическая,

приобретет существенный интерес позже, когда мы сделаем из его шкуры ковер. Пока важнее всего уяснить, на что способен Сэтавр. Он может передвигаться со скоростью пятьдесят километров в час, причем по любой местности. Он совершенно не пуждается в смазке — все трущиеся поверхности в суставах работают на тефлоне. Он снабжен магнитной экранировкой, броню его не пробивает ни пистолетная, ни винтовочная пуля; подобные испытания не проводились, но думаю, что только бронебойный снаряд... у нас ведь нет таких орудий, не правда ли?

Аганян отрицательно покачал головой. Он взял список, который успел к нему вернуться, и принялся читать, ставя против фамилий маленькие значки.

— Разумеется, взрыв достаточно большого заряда разрушит Сэтавра, — продолжал Маккорк спокойно, словно говорил о самых обыденных вещах. — Но ведь такой заряд пужно сначала подвести к нему, а я опасаясь, что это будет нелегкой задачей.

— Где именно помещается у него лазер? В голове? — спросил кто-то из аудитории.

— У него нет головы, только выступ, некое вздутие между плечами. Это повышает его сопротивляемость при обвалах. Рост Сэтавра 220 сантиметров, и, значит, стреляет он с высоты двух с чем-то метров; глазок лазера защищен металлическим веком; при неподвижном корпусе зона обстрела у Сэтавра равна тридцати градусам, большая зона обстрела достигается поворотами всего корпуса. Мощность лазера составляет 45 000 киловатт; каждый специалист поймет, что это очень большая мощность — луч легко пробивает стальную плиту толщиной в несколько сантиметров...

— С какой дистанции?

— Это фиолетовый лазер с очень малым углом расхождения светового пучка... поэтому дистанция практически

ограничена лишь полем зрения; на равнине горизонт отстоит здесь на два километра, и по меньшей мере таким же будет радиус поражения.

— Мы получим специальные горнопроходческие лазеры в шесть раз большей мощности, — вставил Аганян.

— Но ведь это попросту то, что американцы называют overkill — сверхуничтожение, — возразил Маккорк, слегка усмехаясь, — это превосходящая мощность лазера не дает в поединке с Сэтавром никакого преимущества.

Кто-то спросил, нельзя ли уничтожить автомат с борта космического корабля. Маккорк признал себя некомпетентным. Аганян, заглянув в список, сказал:

— Здесь присутствует навигатор первого ранга Пиркс... Быть может, он ответит нам на этот вопрос?

Пиркс встал.

— Теоретически корабль среднего тоннажа, как мой «Кювье», с массой покоя 16 000 тонн мог бы, безусловно, уничтожить такого Сэтавра, если бы накрыл его своей реактивной струей... Температура выхлопной плазмы превышает шесть тысяч градусов на расстоянии девятисот метров — этого, видимо, хватило бы?..

Маккорк кивнул.

— Но это чисто спекулятивное рассуждение, — вновь заговорил Пиркс. — Ведь надо было бы прицелиться кораблем, а столь малая мишень, как Сэтавр, ростом всего с человека, сумеет ускользнуть, если не закреплена неподвижно, потому что боковая скорость корабля, маневрирующего у поверхности планеты, в поле ее тяготения, очень мала и не может быть даже речи о высшем пилотаже. Таким образом, остается использовать только малые корабли, скажем, каботажный флот Луны. Однако у них слабый выхлоп со сравнительно небольшой температурой, значит, если использовать такое суденышко в качестве бомбардировщика, то, вероятно... ведь для точной бомбардировки нужны специальные приборы, прицелы, которыми

Луна не располагает. Я не усматриваю такой возможности. Разумеется, можно и даже нужно использовать эти малые машины, но только с целью разведки, то есть обнаружения автомата.

Он хотел уже сесть, но внезапно в голову ему пришла новая мысль.

— Верно, — сказал он, — реактивные ранцы. Их можно использовать. Точнее, их могут использовать люди, умеющие с ними обращаться.

— Это те маленькие индивидуальные ракеты, которые крепятся к спине? — спросил Маккорк.

— Да. С их помощью можно делать прыжки в высоту и даже повисать неподвижно; в зависимости от модели и типа длительность полета составляет от одной до нескольких минут, а достигаемая высота — от пятидесяти до четырехсот метров...

Аганиян встал.

— Это, пожалуй, существенно. Кто из присутствующих прошел тренировку с этими аппаратами?

Поднялись две руки. Потом еще одна.

— Только трое?.. — протянул Аганиян. — А, и вы также? — добавил он, увидев, что Пиркс, сориентировавшись, лишь теперь поднял руку. — Всего, значит, четверо. Пожалуй, маловато... Поищем еще среди персонала космодрома. Речь идет, конечно, о добровольном участии. Именно с этого мне следовало начать. Кто из вас хочет принять участие в операции?

Стало шумно, потому что все присутствующие поднялись с мест.

— Благодарю от имени руководства, — сказал Аганиян. — Это хорошо... Итак, мы имеем... семнадцать добровольцев. Нам обеспечена поддержка трех подразделений лунного флота и, кроме того, мы располагаем десятью водителями и радистами для обслуживания вездеходов. Прошу всех оставаться на месте, а вас, — он обратился к

Маккорку и Пирксу,— прошу пройти со мной к начальству...

Около четырех часов пополудни Пиркс сидел в башенке большого гусеничного вездехода, подскакивая от резких толчков; на нем был скафандр, на коленях лежал шлем, который можно было надеть по первому сигналу тревоги, а на шее висел тяжеленный лазер, рукоятка которого немилосердно колотила Пиркса по груди; в левой руке он держал микрофон, а правой поворачивал перископ, наблюдая за растянувшимся в длинную цепь отрядом вездеходов; словно яхты, качались они на волнистых равнинах Моря Спокойствия. Это пустынное «море» пылало солнечным блеском от одного черного горизонта до другого. Пиркс принимал и передавал донесения, разговаривал с Луной-1, с командирами других машин, с пилотами разведывательных кораблей — крохотный огонек их выхлопа возникал иногда среди звезд черного неба, и все же временами не мог отделаться от впечатления, что это какой-то запутанный и нелепый сон.

События принимали все более бурный оборот. Не одному Пирксу казалось, что руководство Строительства поддалось чему-то вроде паники; что в конце-то концов мог сделать один автомат, недоумок, даже вооруженный лучеметом? Поэтому, когда на втором совещании «на высшем уровне», состоявшемся в полдень, кто-то предложил обратиться в ООН или хотя бы попросить у Совета Безопасности «специальной санкции» на ввоз артиллерийского оружия (лучше всего боевых ракет) или, быть может, даже атомных снарядов, Пиркс вместе с другими запротестовал: после такой просьбы они станут посмешищем для всей Земли.

Впрочем, было ясно, что подобного решения международного органа надо ждать много дней, если не недель;

тем временем «сумасшедший» робот может забрести бог знает куда, а до того, кто спрятался в недоступных трещинах лунной коры, не доберутся уже никакие орудия; надлежало поэтому действовать быстро и решительно. Тут выяснилось, что наибольшую трудность составит проблема связи — большой вопрос всех лунных мероприятий. Имелось около трех тысяч патентов на различные изобретения, которые пытались улучшить эту связь, от сейсмического телеграфа (с использованием микровзрывов в качестве сигналов) до «троянских» стационарных спутников. Такие спутники были выведены на орбиту еще в прошлом году, что, однако, никак не улучшило существующего положения.

Практически задачу решали с помощью системы ультракоротковолновых передатчиков, вынесенных на мачты; это очень походило на прежние земные ретрансляционные линии доспутникового телевидения. Такая система была надежнее спутниковой связи, поскольку инженеры все еще ломали головы, как сделать орбитальные передатчики нечувствительными к «солнечному ветру». Любой скачок активности Солнца и вызванный им «ураган» электрически заряженных частиц высокой энергии, которые пронизывали космос, тут же создавал помехи, затруднявшие связь зачастую на несколько дней. В настоящее время как раз бушевал один из таких «солнечных тайфунов», поэтому сообщение между Луной-I и Строительством шло по наземным линиям и успех «Операции Сэтavr» в значительной мере зависел от того, не вздумает ли «мятежник» уничтожить фермы мачт, сорок пять штук которых находилось в пустыне, отделяющей Луна-сити с космодромом от территории Строительства. При условии, конечно, что автомат по-прежнему будет рыскать в их окрестностях.

Сэтavr обладал полной свободой маневрирования, не нуждался ни в горючем, ни в кислороде, ни в сне или отдыхе; он был столь автономен, что многие инженеры

лишь теперь по-настоящему осознали, какую совершенную машину создали они собственными руками — дальнейших ее поступков никто не мог предугадать. Меж тем, разумеется, продолжались начатые еще ранним утром прямые переговоры Луна — Земля между командованием операцией и фирмой «Кибертроникс» — штабом конструкторов Сэтавра, но от конструкторов не удалось узнать ничего такого, чего ранее не сказал бы доктор Маккорк. Только профаны пытались еще уговорить специалистов предсказать при помощи большой вычислительной машины, какую тактику изберет автомат.

Был ли Сэтавр разумен? Конечно, но по-своему! Эта «излишняя», приносящая сейчас вред «разумность» машины вызывала гнев многих участников операции: они не могли понять, чего ради инженеры наделили машину, предназначенную только для горных работ, такой свободой и самостоятельностью действий. Маккорк спокойно растолковал, что «интеллектуальное завышение» представляет собой — на нынешнем этапе развития техники — то же самое, что и избыточный запас прочности, которым, как правило, обладают традиционные машины и двигатели. Это аварийный резерв, повышающий безопасность и надежность функционирования, ибо невозможно заранее предвидеть, в каких ситуациях окажется машина, энергетическая или информационная.

Таким образом, никто, по существу, не мог предугадать, что же предпримет Сэтавр. Конечно, отовсюду, а в частности и с Земли, специалисты слали по телеграфу свои рекомендации; беда была только в том, что они оказывались диаметрально противоположными. Одни предполагали, что Сэтавр попытается уничтожить «искусственные» объекты, вроде мачт высокого напряжения или ретрансляционных вышек, другие, напротив, считали, что он растратит свою энергию на непродуктивное уничтожение всего, что попадется ему на пути, будь то лунная скала

или вездеход с людьми. Первые склонялись к мысли о немедленной атаке с целью уничтожить Сэтавра, вторые советовали избрать тактику выжидания.

Мнения сходились только в том, что надо неотступно следить за передвижениями Сэтавра. Вот почему двенадцать малых кораблей лунной флотилии уже с утра патрулировали Море Спокойствия и непрерывно посылали донесения группе, обороняющей территорию Строительства и находящейся в постоянном контакте с Управлением космодрома. Было нелегко найти Сэтавра, этот кусок металла, среди огромной скалистой пустыни, покрытой полями осыпей, трещинами, полузасыпанными расщелинами и к тому же усеянной оспинами миниатюрных кратеров.

Если б в этих донесениях говорилось, что Сэтавр не найден! Но ведь патрулирующие экипажи уже неоднократно поднимали тревогу, обнаружив «сумасшедшего», который оказывался потом скалой какой-то особенной формы или куском лавы, искрившимся в лучах солнца. Даже применение ферроиндукционных искателей наряду с локаторами не очень-то помогало: ведь от исследовательских экспедиций времен первоначального покорения Луны на скалистых пустынях осталось огромное множество металлических баков, обгорелых гильз от ракетных патронов и всевозможного жестяного мусора, который то и дело становился причиной новых тревог. Так что командование операцией все сильнее и сильнее желало, чтобы Сэтавр атаковал наконец какой-нибудь объект, чтобы он появился; однако в последний раз он дал о себе знать девять часов назад атакой на маленький вездеход аварийной технической помощи электриков и с той поры словно провалился сквозь лунную поверхность.

А поскольку никто не считал возможным ждать — электроэнергия была нужна Строительству немедленно, — операция, которая разворачивалась на девяти тысячах

квадратных километров, была основана на том, что две встречные волны вездеходов прочесывали эту территорию, направляясь друг к другу с противоположных сторон: с севера и с юга. Со стороны Строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Стрибра, а от космодрома Луна-сити — другая, и в ней-то при командующем, которым был капитан-навигатор Плейдар, роль координатора действий обеих сторон выполнял Пиркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Сэтавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине; они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком; Маккорк, который как «советник-интеллектуал» ехал вместе с Пирксом, придерживался того же мнения.

Вездеход швыряло из стороны в сторону с чудовищной силой; они шли на скорости, от которой, как их безмятежно предупредил водитель, «рано или поздно вытекут глаза». Они находились в восточной зоне Моря Спокойствия, и меньше часа езды отделяло их от района, где с наибольшей вероятностью мог находиться автомат. После пересечения этой условной границы весь экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности.

Вездеход переделали в боевую машину: механики смонтировали на его шарообразной башенке мощный горный лазер, однако с точностью боя дело обстояло плохо. Пиркс считал ее совершенно иллюзорной, особенно в сравнении с меткостью Сэтавра, который был оборудован автоматическим прицелом; его фотоэлектрические глаза сопрягались с лазером, и он мог мгновенно поразить объект, находящийся в центре поля зрения. На вездеходе же установили какой-то странный прицел, переделанный, наверно, из старого космического дальномера, и опробовали его при выходе из Луна-сити, постреляв по скалам на гори-

зонте. Скалы были довольно большими, расстояние не превышало километра, и все же удалось попасть в них лишь с четвертого выстрела. Тут еще раз дали себя знать лунные условия, ибо луч лазера виден как ослепительная нить только в рассеивающей среде, например в земной атмосфере; в вакууме пучок света любой интенсивности невидим, пока он не наткнется на какое-либо препятствие. Поэтому на Земле можно стрелять из лазера, как стреляют трассирующими пулями, корректируя огонь по видимой линии их полета. На Луне лучемет без прицела был лишен практической ценности. Пиркс сказал об этом Маккорку, когда лишь несколько минут езды отделяли их от предполагаемой опасной зоны...

— Я не подумал об этом,— ответил ему инженер и добавил с усмешкой: — Зачем, собственно, вы мне это говорите?

— Чтобы избавить вас от иллюзий,— ответил Пиркс, не отрывая глаз от окуляра перископа. Хотя оправу окуляра и прикрывала подушечка из пенорезины, Пиркс сознавал, что очень долго будет ходить с подбитым глазом (разумеется, если выйдет живым из этой истории).— А также чтобы объяснить вам, для чего мы тащим за собой всю эту лавочку.

— Эти баллоны? — спросил Маккорк.— Я видел, как вы брали их со склада. Что в них такое?

— Аммиак, хлор и какие-то углеводороды,— ответил Пиркс.— Думаю, что они нам пригодятся...

— Газо-дымовая завеса?..— попытался угадать инженер.

— Нет, я думал скорее о каком-то способе корректировать огонь: если нет атмосферы, надо ее создать, хотя бы ненадолго...

— Боюсь, что нам не хватит времени...

— Может быть; я взял их на всякий случай. Против безумца лучше всего применять безумную тактику...

Они замолчали, потому что вездеход начало швырять, как мячик, амортизаторы бились и скрежетали, в любое мгновение в них могло закипеть масло. Вездеход мчался по скату, усеянному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пемзой белизной.

— Вы знаете, чего я больше всего опасюсь? — начал Пиркс, когда рывки вездехода немного ослабли (он стал удивительно разговорчивым). — Не Сэтавра — совсем не его... Этих вездеходов со Строительства: будет весело, если один из них примет тебя за Сэтавра и начнет испарывать лазером.

— Я вижу, вы все предусмотрели, — буркнул инженер.

Курсант, сидевший рядом с радистом, перегнулся через спинку своего кресла и подал Пирксу кое-как нацарапанную радиограмму.

— Вошли опасную зону района двадцатой ретрансляционной мачты пока ничего точка Стрибр точка, — громко прочитал Пиркс. — Скоро и нам придется надевать шлемы...

Вползая на склон, машина сбавила скорость. Пиркс заметил, что уже не видит левого соседа — только правый вездеход темным пятнышком полз вверх по откосу. Он приказал вызвать левую машину по радио, однако ответа не последовало.

— Начинаем разбредаться, — спокойно сказал он. — Этого я и ожидал. Нельзя ли поднять антенну повыше? Нет? Плохо.

Они взобрались уже на вершину пологого холма. Из-за горизонта высунул свой зубчатый хребет кратер Торичелли, находящийся почти в двухстах километрах отсюда; залитый солнцем, он резко вырисовывался на черном фоне небосклона. Равнина Моря Спокойствия почти вся осталась позади. Появились глубокие тектонические трещины, из-под крупного песка кое-где выступали базальтовые плиты, через которые вездеход переползал с трудом, задирая

нос, словно яхта на волне, а потом тяжело валился вниз, будто собираясь лететь кувырком в бездонную пропасть. Пиркс заметил очередную ретрансляционную мачту, бросил взгляд на прижатый к колену планшет с целлулоидным верхом и приказал всем надеть шлемы. Теперь они могли разговаривать только по внутреннему телефону; оказалось, что пустыня может швырять вездеход еще сильнее, чем до сих пор — голова болталась в шлеме, как ядрышко ореха в пустой скорлупе.

Когда, наконец, они спустились ниже по склону, зубчатый кратер Торичелли исчез, закрытый ближними холмами, — и почти одновременно исчез из виду правый сосед. Еще минуты две они слышали его позывные, потом волны, отраженные от скал, исказились, и наступил так называемый «мертвый радиощитль». Смотреть в перископ, когда на голове шлем, очень неудобно; Пирксу казалось, что либо он выбьет иллюминатор, либо разобьет окуляр. Он делал что мог, стараясь не потерять обзор; равнина, усеянная обломками скал, колыхалась в такт с толчками машины. Перед глазами в хаотическом смещении мелькали черные как уголь тени и ослепительные поверхности скал. Внезапно крохотное оранжевое пламя прыгнуло во мрак далекого неба, замерцало, сжалось и исчезло. И снова блеск, немного поярче. Пиркс крикнул: «Внимание! Вижу какой-то взрыв!» — и принялся яростно крутить ручку перископа, отсчитывая азимут по прозрачной гравировке стеклянной шкалы.

— Изменить курс! — рявкнул он. — 47 запятая 8, полный вперед!

Водитель понял его, хотя так командуют, собственно, на космическом корабле; обшивки и все узлы вездехода спазматически вздрогнули, и, развернувшись почти на месте, машина рванулась вперед. Пиркс поднялся с кресла, потому что, когда он сидел, толчки отрывали его от окуляра. Новая вспышка — на этот раз малинового перистого

пламени. Однако источник вспышек или взрывов находился вне поля зрения, скрытый хребтом, на который они взбирались.

— Внимание! — сказал Пиркс. — Подготовить личные лазеры! Доктор Маккорк, подойдите к люку, по моей команде или в случае попадания откройте его. Водитель, сбавьте скорость...

Холм, на который карабкалась машина, вздымался над пустыней, как голень какого-то лунного чудовища, наполовину погруженная в крупный песок; гладкостью эта скала и в самом деле напоминала отполированный скелет или гигантский череп; Пиркс приказал водителю въехать на вершину. Гусеницы заскрежетали, словно сталь царапала по стеклу. «Стоп!» — крикнул Пиркс; вездеход, резко затормозив, клюнул носом. скалу, закачался, амортизаторы застопали от напряжения и замерли в неподвижности.

Пиркс вглядывался в неглубокую котловину, охваченную с двух сторон вытянутыми в виде лучей каменными осыпями древних магматических потоков; две трети обширной впадины лежали под ярким солнцем, последнюю треть окутывал саван абсолютного мрака. На фоне этой бархатной тьмы, как сатанинская драгоценность, угасал в красном свечении наполовину распоротый остов какой-то машины. Кроме Пиркса, его видел только водитель, потому что броневые заслонки иллюминаторов были опущены.

Пиркс, по правде говоря, не знал, что делать. «Это какой-то вездеход, — раздумывал он. — Куда он шел? На юг? Видимо, из группы Строительства, но кто же подбил его? Сэтавр? В таком случае мы стоим здесь на виду как кретины, надо укрыться. Но где все остальные вездеходы, северные и южные?»

— Готов! — крикнул радист. Он переключил радию вездехода на внутреннюю сеть так, чтобы все могли слышать в шлемах принимаемые сигналы.

— Осе-портативный обвал. Стена осумкобелена — повторение повторное излишне — доступ по азимуту — поликристаллическая метаморфизация... — загудел в наушниках Пиркса голос, выговаривающий слова отчетливо, монотонно и без малейшей интонации...

— Это он! — взревел Пиркс. — Сэтавр! Алло, радист! Пеленгируй, быстро пеленгируй! Давай пеленг! Черт поberi! Пока он еще передает!

Он орал так, что его оглушил собственный крик, усиленный замкнутой полостью шлема; не ожидая, пока радист очнется, он прыгнул, согнувшись, под купол, схватил двойную рукоять тяжелого лазера и стал поворачивать его вместе с башенкой, прильнув глазами к окуляру прицела. Тем временем в шлеме гудел этот низкий, как бы немного грустный, размеренный голос:

— Труднодвукислое вязкое недоокрашивание, а не раскрышечные сегменты без новых седлообразных включений... — бессмысленная болтовня, казалось, ослабевала.

— Где этот чертов пеленг?!!

Пиркс, не отрывая глаз от прицела, услышал неразборчивый шум: это Маккорк бросился вперед, оттолкнул радиста, послышалась какая-то возня, и тут же в наушниках раздался спокойный голос кибернетика:

— Азимут 39,9... 40,0—40,1—40,2...

— Передвигается, — понял Пиркс.

Башенка поворачивалась вращением рукояток, и он вращал их так, что едва не вывихнул руки. Цифры ползли лениво. Красная черточка перевалила за сорок.

Внезапно голос Сэтавра перешел в протяжный визг и умолк. В тот же момент Пиркс нажал на спуск — и в полукилометре ниже, на самой границе света и тени, скала брызнула сверхсолнечным блеском.

Из-за толстых рукавиц было чудовищно трудно удерживать рукоятку в неподвижности. Пламя, ярче солнечного, ввинтилось во тьму котловины метрах в десяти от

погасающего остова, остановилось и, разбрызгивая окалину, пробилося дальше, выбросив две метелочки искр. В наушниках что-то бормотало. Пиркс, не обращая внимания, резал все дальше этой линией тончайшего страшного огня, пока она не разбилась искристым радиантом о какой-то каменный столб. Перед глазами вращались, все разрастаясь, багровые круги, но сквозь их танец Пиркс заметил ослепительный синий глаз, меньший, чем острие иглы, который раскрылся в самой глубине мрака, где-то сбоку, не там, куда он стрелял, и, прежде чем он успел нажать на рукоятки лазера, чтобы повернуть его вместе с турелью, скала у самой машины плюнула в них жидким солнцем.

— Полный назад! — рывкнул Пиркс, рефлексивно подогнул ноги и в результате перестал что-либо видеть, — впрочем, он ничего бы и не увидел, кроме этих багровых, медленно ползущих кругов, которые становились то черноватыми, то золотистыми.

Двигатель заревел, их швырнуло так, что Пиркс полетел на дно вездехода и покатился вперед между коленями радиста и курсанта; баллоны, крепко принайтовленные снаружи к броне, отозвались пронзительным дребезжанием. Машина мчалась задним ходом, что-то страшно хрустнуло под гусеницей, развернуло вездеход, швырнуло его в сторону — мгновение казалось, что он начинает уже переворачиваться, но водитель, отчаянно нажимая на газ, тормоза и сцепление, преодолел это бешеное скольжение, машину пронизала как бы затяжная судорога, и они остановились.

— Как герметичность?! — крикнул Пиркс, поднимаясь с пола.

«Счастье, что покрыт пенопластом», — подумал он.

— В порядке!

— Ну что ж, довольно близко, — совершенно иным голосом сказал Пиркс, вставая с пола и распрямляя спину.

Не без сожаления он добавил вполголоса: — Каких-нибудь двести метров влево, и я бы его зацепил...

Маккорк пробирался на свое место.

— Спасибо, доктор, — сказал Пиркс, уже прильнув к перископу. — Алло, водитель, спуститесь вниз по тому самому пути, каким мы поднимались. Там такие маленькие скалы, что-то вроде арки, — вот, вот, въезжайте в тень между ними и остановитесь...

Медленно, словно с преувеличенной осторожностью, вездеход въехал в полузасыпанную песком нишу среди обломков скал и остановился в их тени, которая сделала его невидимым.

— Великолепно! — почти весело сказал Пиркс. — Теперь мне надо двоих, кто пошел бы со мной на небольшую разведку...

Маккорк вызвался почти одновременно с курсантом.

— Хорошо. Внимание! Вы, — обратился он к остальным, — оставайтесь здесь. Не выходите из тени, даже если Сэтавр пойдет прямо на вас, — сидите тихо. Ну, разве что он полезет на вездеход, тогда обороняйтесь, у вас есть лазер, но это маловероятно...

— Помогите, — обратился он к водителю, — этому юноше снять с брони газовые баллоны, а вы, — сказал он уже телеграфисту, — вызывайте Луну-1, космодром, Строительство, патрули и первому, кто отзовется, сообщите, что Сэтавр уничтожил один вездеход, по-видимому со Строительства, и что три человека с нашей машины пошли охотиться. Пусть там никто не суется с лазерами, не стреляет вслепую и так далее... А теперь пошли.

Поскольку каждый мог унести только один баллон, они захватили с собой четыре. Пиркс повел товарищей не на вершину «черепа», а несколько дальше, туда, где спускалась вниз неглубокая расщелина. Они прошли, сколько было можно, и поставили баллоны под большой глыбой, после чего Пиркс посоветовал водителю вернуться. Сам

же он, приподнявшись над камнем, стал осматривать в бинокль котловину. Интеллектуал и курсант сидели рядом с ним на корточках; наконец Пиркс заговорил:

— Не вижу его. Доктор, то, что он говорил, имело какой-нибудь смысл?

— Нет, пожалуй. Разорванная речь — что-то вроде психоза...

— Обломки уже догорают, — заметил Пиркс.

— Зачем вы стреляли? — спросил Маккорк. — Там же могли быть люди.

— Там никого не было.

Пиркс передвигал бинокль миллиметр за миллиметром, внимательно осматривая каждый бугорок освещенного солнцем пространства.

— Они не успели выпрыгнуть.

— Почему вы так в этом уверены?

— Он разрезал машину пополам. Это видно даже сейчас. Он стрелял метров с десяти. Кроме того, оба люка остались закрытыми. Нет, — добавил он через несколько секунд, — на солнце его нет. А ускользнуть он, пожалуй, не успел... попробуем его выманить.

Пригнувшись, он втащил тяжелый баллон на вершину камня и, толкая его перед собой, бормотал сквозь зубы:

— Вот они, истории с индейцами, о которых я всегда мечтал...

Баллон наклонился; придерживая его за вентиль, распластавшись на камне, Пиркс отрывисто бросил:

— Если увидите голубой блеск, стреляйте сразу же — в его лазерный глаз...

Из всех сил он толкнул баллон, который сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью покатился под откос. Все трое приготовились стрелять, баллон скатился уже метров на двести и двигался все медленнее, потому что крутизна уменьшалась. Раз или два показалось, что

его остановят выступающие камни, но баллон перекатывался через них, становился все меньше и тускло поблескивающим пятнышком уже приближался ко дну впадины.

— Не вышло,— сказал разочарованно Пиркс,— либо он умнее, чем я думал, либо не обратил внимания, либо...

Пиркс не договорил. На склоне под ними что-то ослепительно сверкнуло. Пламя почти сразу превратилось в тяжелое грязно-желтое облако, сердцевина которого полыхала угрюмым огнем, а края расплывались, цепляясь за обломки скал.

— Хлор...— прокомментировал Пиркс.— Почему вы не стреляли? Ничего не было видно?

— Ничего,— в одно слово ответили курсант и Маккорк.

— Прохвост... укрылся за каким-нибудь бугорком... или бьет с фланга; теперь-то я вправду сомневаюсь, получится ли что-нибудь...

Он поднял второй баллон и отправил его вслед за первым. Сначала баллон покатился точно так же, но где-то на середине склона повернулся и замер в неподвижности. Пиркс не смотрел на него — все внимание он сконцентрировал на треугольном полотнище мрака, в котором скрывался Сэтавр. Медленно текли секунды. Внезапно склон содрогнулся от взрыва, и вдалеке, как куст, поднялось газовое облако.

Место, где укрылся автомат, Пирксу не удалось заметить, но он увидел линию выстрела, точнее, ее часть, которая материализовалась в ослепительную нить, пронзившую остатки первого газового облака. Пиркс сразу повел прицелом вдоль этой светящейся траектории, которая уже угасала, и, когда край темноты попал на пересечение паутинок, нажал на спуск. По-видимому, одновременно с Пирксом то же самое сделал Маккорк, а через мгновение к ним присоединился и курсант. Три солнечных лемеха вспахали черное дно котловины, и тут же словно какая-то

раскаленная дверца захлопнулась перед стрелявшими — их каменный заслон задрожал, с его краев посыпались мириады яростных радуг, расплавленный кварц осыпал скафандры и шлемы, моментально превратившись в микроскопические слезки; Маккорк и Пиркс лежали, распластавшись, за скалой, а над их головами раскаленным добела клинком ударили второй и третий световые разряды, выглаживая поверхность скалы, которая тут же покрывалась застывшими стеклянными пузырями.

— Все целы? — спросил Пиркс, не поднимая головы.

— Да! Я тоже! — услышал он в ответ.

— Спуститесь к машине и скажите телеграфисту, чтобы вызывал всех, что Сэтавр здесь и мы постараемся, насколько возможно, задержать его, — обратился Пиркс к курсанту; тот отполз назад и, пригнувшись, побежал к скалам, среди которых стоял вездеход.

— У нас остались два баллона, по одному на каждого. Доктор, мы переменим теперь позицию. Прошу соблюдать осторожность и хорошо укрываться, потому что он уже пристрелялся к нашему утесу...

С этими словами Пиркс поднял баллон и, используя тени, отбрасываемые большими обломками скал, как можно быстрее двинулся вперед. Пройдя шагов двести, они устремились в углублении магматической осыпи. Курсанту, который побывал возле вездехода, не сразу удалось их найти. Он тяжело дышал, словно пробежал милью.

— Спокойней, не горит, — заметил Пиркс. — Ну, что там слышно?

— Связь установлена... — захлебываясь, доложил курсант; он присел на корточки рядом с Пирксом, и тот увидел за иллюминатором шлема моргающие глаза юноши. — В машине, которая погибла, находились четыре человека со Строительства. Второй машине пришлось покинуть поле боя из-за дефекта лазера... Остальные прошли стороной и ничего не заметили.

Пиркс кивнул головой, словно говоря: «Именно так я и думал».

— Что еще? Где наша группа?

— Почти вся в тридцати километрах отсюда; там была ложная тревога, какой-то ракетный патруль сообщил, что видит Сэтавра, и всех стянули к тому месту. А три машины не отвечают на вызов.

— Когда они придут сюда?

— Пока есть только прием...— несмело проговорил курсант.

— Только прием?.. Как это?!

— Телеграфист говорит: либо с передатчиком что-то случилось, либо в этом месте экранируются радиоволны,— он спрашивает, нельзя ли изменить место стоянки, чтобы попробовать...

— Пусть изменит место, если надо,— ответил Пиркс,— и, пожалуйста, не мчитесь так, надо смотреть под ноги...

Но курсант, наверное, ничего не услышал, потому что стремглав бросился назад.

— В лучшем случае они будут здесь через полчаса, если удастся установить связь,— сказал Пиркс.

Маккорк промолчал. Пиркс обдумывал, как поступить. Выжидать или не выжидать? Конечно, если вездеходы прочешут котловину, то успех обеспечен, однако не без потерь. Вездеходы в противоположность Сэтавру были крупной мишенью, неповоротливой и должны были нападать сообща, иначе поединок окончился бы так же, как с машиной Строительства. Пиркс старался придумать какую-нибудь уловку, которая выманила бы Сэтавра на освещенное место. Если двинуть на Сэтавра как приманку пустой, телеуправляемый вездеход и поразить автомат из другого места, скажем сверху...

Ему пришло в голову, что вовсе не нужно никого ждать, поскольку они располагают вездеходом. Но план как-то не конкретизировался. Пускать машину вслепую не

имело смысла. Сэтавр разнесет се вдребезги, а сам и с места не сдвинется. Неужели он понимает, что именно теневая зона, в которой он держится, дает ему преимущество?.. Но ведь Сэтавр не машина, созданная для боя, со всей его тактикой... В этом безумии есть система, но какая?

Они сидели, сжавшись в комок, у подножия каменной плиты, скрытые ее густой, холодной тенью. Внезапно Пирксу показалось, что он ведет себя как последний осел. Будь он там, на месте этого Сэтавра, что бы он сделал? Пиркс сразу ощутил беспокойство, ибо не сомневался, что Сэтавр попытается атаковать. Пассивное выжидание не могло принести никакой пользы. Так, может быть, автомат подкрадывается к ним? Именно сейчас! Ведь он может дойти до западных утесов, двигаясь все время под прикрытием темноты, а дальше так много огромных камней и потрескавшегося базальта, что в этом лабиринте можно укрываться бог знает сколько времени...

Пиркс был почти уверен, что Сэтавр именно так и поступит и что они могут ожидать его в любую минуту.

— Доктор, я боюсь, что он захватит нас врасплох,— проговорил Пиркс, быстро вскакивая на ноги.— А вы как думаете?

— Вы полагаете, что он может нас перехитрить? — спросил Маккорк и усмехнулся.— И мне это пришло в голову. Разумеется, это было бы логично, но поступает ли он логично? Вот в чем вопрос...

— Придется еще раз попробовать,— буркнул Пиркс.— Нужно сбросить эти баллоны вниз; посмотрим, что он делает...

— Понимаю. Прямо сейчас?..

— Да. Поосторожней!

Они втащили баллоны на вершину холма и, стараясь оставаться невидимыми со дна котловины, почти одновременно сбросили оба металлических цилиндра. К сожалению

нию, из-за отсутствия воздуха невозможно было услышать, как они катятся и катятся ли вообще. Пиркс принял решение и, чувствуя себя странно нагим — совершенно нагим, словно голову его не прикрывала стальная оболочка, а тело — трехслойный, отнюдь не легкий скафандр, — вплотную прижавшись к скале, осторожно высунул голову.

В долине ничего не изменилось. Разве что остов машины стал невидимым — ее охладившиеся обломки слились с окружающей темнотой. Тень охватывала пространство в форме неправильного, сильно вытянутого треугольника, упирающегося основанием в обрывы самого высокого, западного, гребня скал. Один баллон остановился шагах в ста под ними, потому что наткнулся на камень, который развернул его продольно. Другой еще катился, все медленнее, пока не замер. И то, что на этом все кончилось, вовсе не понравилось Пирксу. «Он и вправду не глуп, — подумал Пиркс. — Не хочет стрелять по мишени, которую ему подсовывают». Пиркс попытался найти место, откуда каких-то десять минут назад Сэтавр дал знать о себе сверканием лучемерного глаза, однако это оказалось очень нелегким. «Что, если в теневой зоне его уже нет? — размышлял Пиркс. — Он может отступать прямо на север, может двигаться параллельно, по дну котловины или по одной из этих трещин в магматическом потоке... Если он доберется до обрывов, до этого лабиринта, то исчезнет, как камень в воде...» Медленно, на ощупь, он поднял приклад лазера и расслабил мышцы.

— Доктор Маккорк, — сказал он, — проберитесь ко мне.

И когда доктор подполз к нему, проговорил:

— Вы видите оба баллона? Один — прямо под нами, другой — дальше...

— Вижу.

— Стреляйте сначала в ближний, а потом в дальний, с интервалом, скажем, в сорок секунд... только не отско-

да! — добавил он быстро. — Надо найти место получше. Вон там! — он показал рукой. — Неплохая позиция в том углублении. А когда выстрелите, сразу же отползайте назад. Хорошо?

Маккорк, ни о чем не спрашивая, тут же двинулся, низко пригнувшись, в указанную сторону. Пиркс с нетерпением ждал. Если Сэтавр хоть немного походит на человека, он должен обладать любопытством — всякое разумное создание обладает любопытством, — и это любопытство побудит его к действию, когда случится что-то непонятное... Пиркс уже не видел доктора. Он запретил себе смотреть на баллоны, которые должны были взорваться под выстрелами Маккорка, все внимание он сосредоточил на освещенной солнцем каменистой полосе между зоной тени и обрывами. Пиркс приложил к глазам бинокль и направил его на этот участок лавовых потоков; в стеклах медленно проплывали гротескные фигуры, будто изваянные в мастерской какого-то скульптора-абстракциониста, — истонченные, закрученные винтом обелиски, плиты, иссеченные змеящимися трещинами; хаотическая путаница ярких плоскостей и извилистых теней, казалось, щекотала глазное дно.

Краешком глаза Пиркс заметил пламя, набухающее внизу, на склоне. По прошествии долгого времени взорвался и второй баллон. Тишина. Только пульс колотился в шлеме, через который солнце пыталось ввинтить свои лучи в его череп. Пиркс водил объективом по полосе беспорядочно расколотых обломков. Какое-то движение. Пиркс застыл. Над острым как бритва краем плиты, похожей на треснувший клин гигантского каменного топора, выдвинулся полукруглый предмет, по цвету напоминающий темную скалу, однако у него были руки, которые обхватили камень с обеих сторон, и теперь Пиркс видел его уже до пояса. Он не казался безголовым, скорее походил на человека, которому надели сверхъестественную

маску африканского колдуна, закрывающую лицо, шею и плечи, словно расплюснутую и потому чудовищную... Локтем правой руки Пиркс ощущал приклад лазера, однако сейчас ему и в голову не приходило стрелять. Риск был слишком велик, а шанс поразить Сэтавра из сравнительно слабого оружия на таком расстоянии — ничтожно мал.

Сэтавр, застыв, казалось, вглядывался своей едва выступающей над плечами головой в остатки газовых облаков, которые стекали по склону и бессильно рассеивались в пустоте. Это продолжалось довольно долго. Казалось, он не понимает, что произошло, колеблется, как поступить. В этом его колебании, в этой неуверенности, которую Пиркс великолепно понимал, было что-то столь близкое человеку, что комок сдавил Пирксу горло. Что я сделал бы на его месте, о чем бы подумал? Что кто-то выстрелил в точно такие же предметы, в какие перед этим стрелял я, и, стало быть, это, по-видимому, не противник, не враг, а скорее как бы союзник. Но ведь я знал бы, что у меня нет никаких союзников... А если этот кто-то — такой же, как я?

Сэтавр шевельнулся. Движения его были плавными и необычайно быстрыми. Внезапно он появился весь, выпрямившись на вертикально стоящем камне, словно все еще высматривал таинственную причину двух взрывов. Потом повернулся и, спрыгнув вниз, побежал, слегка наклонившись вперед; временами Пиркс терял его из виду, но всякий раз не больше чем на несколько секунд — Сэтавр вновь выбегал на солнечный свет в каком-нибудь из ответвлений базальтового лабиринта.

Так он приближался к Пирксу, но бежал все время по дну котловины; их разделяло уже лишь пространство склона, и Пиркс раздумывал, не выстрелить ли. Но Сэтавр мелькал только в узких полосах света и снова растворялся в темноте, а поскольку он все время изменял направление, выбирая дорогу между осыпями, невозможно

было заранее предвидеть, где в следующий момент вынырнут, чтобы сверкнуть металлом и снова исчезнуть, его руки бегуна, служащие для поддержания равновесия, и его безголовый торс.

Внезапно зигзаг молнии разорвал каменную мозаику, высекая длинные метелочки искр среди обломков скал, как раз там, где бежал Сэтавр; кто выстрелил? Пиркс не видел Маккорка, но огненная линия пришла с противоположной стороны — стрелять мог только курсант, этот сопляк, этот осел! Пиркс в душе проклинал курсанта, потому что тот, очевидно, ничего не добился — металлическая спина показалась на долю секунды где-то дальше и исчезла совсем. «И к тому же стрелял ему в спину!» — с яростью подумал Пиркс, совершенно не ощущая бессмысленности своего обвинения. А Сэтавр даже не попробовал ответить огнем; почему? Пиркс попытался снова увидеть его — тщетно. Наверно, склон уже закрыл его своим изгибом. Вполне возможно... в таком случае передвижение теперь безопасно.

Пиркс сполз со своего камня, поняв, что с этого места уже ничего не высмотрит, и, слегка пригнувшись, побежал по самому краю склона, миновал курсанта, который улегся, как на стрельбище, — развернув ступни и прижав их к скале, и почувствовал непонятное желание ударить его ногой в зад, выступающий смешным бугорком и увеличенный плохо подогнанным скафандром. Пиркс замедлил бег, но только для того, чтобы крикнуть: «Не смей у меня стрелять, слышишь?! Брось лазер!» И, прежде чем тот, повернувшись на бок, принялся искать его ошалелым от удивления взглядом, ибо голос, вдруг раздавшийся из наушников, не указал ни направления, ни места, где находился Пиркс, побежал дальше, опасаясь, что потеряет время; он ускорял свой бег, как только мог, и наконец очутился у широкой трещины, сквозь которую неожиданно открылся вид на дно котловины.

Это было нечто вроде тектонического ущелья, столь древнего, что края его осыпались, утратили угловатость, и оно стало похожим на расширенную эрозией горную расщелину. Пиркс заколебался. Он не видел Сэтавра, впрочем, наверно, и не мог бы отсюда его увидеть. Он углублялся в ущелье, держа лазер наготове, хорошо понимая безумство своей затеи и, однако, не в силах противиться тому, что толкало его туда. Он убеждал себя, что хочет лишь увидеть Сэтавра, что остановится сразу же, как только сможет хорошо рассмотреть нижний участок склона и весь лабиринт под ним, и, может быть, сам верил в это, пока бежал, все еще пригнувшись, а камешки градинами брызгали у него из-под башмаков. Впрочем, в эти секунды он не задумывался ни над чем.

Он находился на Луне и весил здесь только пятнадцать килограммов, но от нарастающей крутизны у него все же подгибались ноги. Он бежал теперь восьмиметровыми скачками, стараясь уменьшить скорость. Почти на середине склона расщелина перешла в неглубокий желоб; на солнце, в каких-нибудь ста метрах под ним, лежали первые плиты лавового потока, черные с теневой и искрящиеся с освещенной стороны.

«Попался», — подумал он; до лабиринта, где бродил Сэтавр, было рукой подать. Пиркс быстро огляделся по сторонам — никого; хребет, оставшийся высоко над ним, исполинской стеной простирался к черному небу; раньше он мог заглядывать в коридорчики между камнями как бы с высоты птичьего полета, теперь ближние обломки скал заслонили от него сеть междускальных щелей. «Плохо дело, — подумал он, — надо бы вернуться». Однако, неизвестно почему, он знал, что не сделает этого.

Стоять на месте было нельзя. Несколькими шагами ниже лежала отделившаяся базальтовая глыба — скорее всего, конец того озера магмы, которая некогда изливалась раскаленным потоком с огромных террас у подножия То-

ричелли, и Пиркс по последнему участку коридора добрался до этой впадины. За неимением лучшего она могла послужить укрытием. Он добрался до нее одним прыжком, причем особенно неприятным было это длительное лунное планирование, замедленный, как во сне, полет, к которому он так никогда и не сумел привыкнуть. Притаившись за этой угловатой скалой, Пиркс выглянул и увидел Сэтавра, который появился из-за двух остроконечных пирамидок, обогнул третью, царапнув ее металлическим плечом, и остановился. Пиркс видел его сбоку, освещенного лишь наполовину, — правая рука Сэтавра отсвечивала темным жирным блеском, как хорошо смазанная деталь машины, остальную часть корпуса покрывала тень. Пиркс уже поднимал лазер, чтобы прицелиться, когда Сэтавр, словно охваченный внезапным предчувствием, исчез, точно его сдуло ветром. Вероятно, он все еще стоял там, только спрятался в тень...

Быть может, выстрелить в эту тень? Пиркс уже поймал ее в прицел, но даже не положил пальца на спуск. Расслабил мышцы, ствол лазера опустился. Ждал. Сэтавра не было. Завалы простирались внизу, подобно адскому лабиринту, там можно было часами играть в прятки: остеклевшая лава растрескалась, образовав геометрически правильные и вместе с тем причудливые фигуры. «Где же Сэтавр? — продолжал раздумывать Пиркс. — Если б хоть что-то удалось услышать, но это проклятое безвоздушное захоlustье, словно в кошмаре каком-то... Если спуститься вниз, то, быть может, удастся подстрелить Сэтавра. Нет, я не сделаю этого, я не сумасшедший... Но ведь думать-то можно обо всем — обрыв не более двенадцати метров, все равно что прыгнуть с двух метров на Земле; я оказался бы в тени под обрывом, был бы невидим и мог бы продвигаться вдоль него, все время защищенный с тыла скалой, а он рано или поздно вышел бы прямо на мушку...»

В каменном лабиринте ничто не менялось. На Земле

за это время солнце переместилось бы, а здесь был долгий лунный день, и оно словно застыло на одном месте, пригасив ближайшие звезды. Его окружал черный ореол пустоты, пронизанный оранжевой рваной дымкой... Пиркс высунулся по пояс из-за своего камня. Пустота. Это начало его раздражать. Почему вездеходов все нет? Неужели до сих пор не установлена радиосвязь?.. Быть может, они выгнали бы его наконец из этих развалин... Пиркс посмотрел на свои часы под толстым гибким стеклом на запястье и поразился: после разговора с Маккорком прошло всего тринадцать минут.

Он уже готовился покинуть свою позицию, когда произошли одновременно два события, одинаково неожиданные. В скальных воротах, между двумя стенами базальта, которые закрывали котловину с востока, он увидел движущиеся один за другим вездеходы. Они находились еще далеко, вероятно больше чем за километр, и шли полным ходом, вытянув за собой длинный шлейф клубящейся пыли. Одновременно две большие, словно человеческие, только одетые в металлические перчатки руки показались на самом краю утеса, а вслед за ними, так быстро, что Пиркс не успел отступить, появился Сэтавр. Их разделяло не больше десяти метров. Над могучими плечами Пиркс увидел заменяющий голову массивный выступ, в котором мертвенно отсвечивали линзы оптических отверстий, как два черных, широко расставленных глаза, а между ними под закрытым сейчас веком находился третий — страшный зрачок лучемета. Пиркс и сам держал в руке лазер, однако реакции автомата были несравненно быстрее его собственных, поэтому он даже не сделал попытки прицелиться, а попросту замер под ярким солнцем, на еще согнутых ногах, в том положении, в котором застало его, когда он поднимался с земли, неожиданное появление этого существа, и они смотрели друг на друга — изваяние человека и изваяние машины, облаченные в металл. Вдруг страш-

ный блеск разорвал пространство перед Пирксом, и от теплового удара он рухнул навзничь.

Падая, он не потерял сознания и испытал в эту долю секунды только удивление, ибо мог присягнуть, что поразила его не Сэтавр, поскольку до последнего мгновения он видел его темное и слепое лазерное око.

Пиркс был невредим, потому что разряд прошел стороной, хотя целились, безусловно, в него; в мгновение ока чудовищный блеск повторился и, расплескивая капли жидкого минерала, превращавшиеся на лету в ослепительную паутину, отколол часть каменной пирамидки, которая прикрывала Пиркса, но теперь его спасло то, что целились на высоту роста, а он лежал на земле,— это был первый вздоход, это из него били лазером. Пиркс повернулся на бок и увидел спину Сэтавра, который, стоя неподвижно, словно отлитый из бронзы, два раза брызнул лиловым солнцем. Даже с этого расстояния было видно, как у переднего вздохода отвалилась целая гусеница вместе с роликами и ведущим колесом: поднялось такое облако пыли и светящихся газов, что второй вздоход, ослепленный, не мог уже стрелять.

Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека, который все еще сжимал свое оружие, повернулся и, слегка согнув ноги, хотел прыгнуть назад — туда, откуда пришел, но Пиркс, лежа на боку, из неудобного положения выстрелил, желая только подсесть Сэтавру ноги, однако, когда он нажимал на спуск, его локоть дрогнул, огненный нож развалил гиганта сверху донизу, и тот грудой раскаленного металла рухнул на дно лабиринта.

Экипаж уничтоженного вздохода остался невредим — люди не получили даже ожогов,— и Пиркс узнал, правда, значительно позднее, что они стреляли по нему, потому что Сэтавра, темного на темном фоне обрыва, вообще не

заметили. Неопытный наводчик не обратил внимания даже на то, что силуэт, взятый им на прицел, отличается светлой окраской алюминиевого скафандра. Пиркс был почти уверен, что следующий выстрел оказался бы для него роковым. Его спас Сэтавр, но отдавала ли машина себе в этом отчет? Много раз Пиркс возвращался мыслью к этим последним секундам, и с каждым разом в нем крепла уверенность, что робот находился там, откуда мог оценить, кто же на самом деле служит мишенью дальнего огня. Означало ли это, что он хотел его спасти? На этот вопрос никто теперь не мог дать ответа.

Интеллектроники считали все происшедшее «стечением обстоятельств» — ни один не брался обосновать это голословное утверждение. До сих пор они не сталкивались ни с чем подобным, такие случаи не приводились в специальной литературе. Все признавали, что Пиркс действовал так, как должен был действовать, однако это его не удовлетворяло. На долгие годы у него сохранилось воспоминание о тех долях секунды, когда он прикоснулся к смерти, но все же уцелел, с тем чтобы никогда не узнать всей правды; и горьким, как угрызение совести, было для него сознание, что ударом в спину, столь же подлым, сколь и вероломным, он убил своего спасителя.

РАССКАЗ ПИРКСА

Фантастические романы? Да, я их люблю, по только плохие. Вернее, не то что плохие, а выдуманные. На ракете у меня всегда есть под рукой книжки в этом духе, чтобы на досуге прочесть пару страниц, хоть даже из середины, а потом отложить. Хорошие — совсем другое дело; я их читаю только на Земле.

Почему? Откровенно говоря, толком не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если в них описываются события, которых никогда не было и не будет: Они правдивы в другом смысле — если в них говорится, к примеру, о космонавтике, то говорится так, что словно чувствуешь эту тишину, которая совсем не похожа на земную, это спокойствие, такое абсолютное, нерушимое... И что бы в них ни изображалось, а мысль всегда одна — человек *там* никогда не будет чувствовать себя как дома.

На Земле ведь все какое-то случайное — дерево, стена, сад, одно можно заменить другим, за горизонтом открывается другой горизонт, за горой — долина; а *там* все выглядит совсем иначе. На Земле людям никогда не приходит в голову, до чего это ужасно, что звезды неподвижны; лети хоть целый год на предельной скорости — и никаких перемен не заметишь. Мы на Земле летаем и едим, и нам кажется, что мы знаем, что такое пространство.

Этого не передашь словами. Помню, однажды возвращался я из патрульного полета, где-то у Арбитра слышал отдаленные разговоры — кто-то с кем-то ругался из-за очереди на посадку — и случайно заметил другую ракету. Парень думал, что он один в космосе. Он так кидал свой бочонок, что тот дергался, будто припадный. Все мы знаем, как это бывает: пробудешь пару дней в космосе, и одолевает тебя нестерпимая охота что-нибудь сделать, все

равно что — дать полный ход, помчаться куда-нибудь, крутануться на большом ускорении так, чтоб язык высушить... Прежде я думал, что это вроде неприлично — человек не должен чересчур потворствовать себе. Но по сути дела тут лишь отчаяние, лишь охота показать этот язык космосу. Космос не меняется так, как меняется, к примеру, дерево, и поэтому, наверное, трудно с ним свыкнуться.

Ну вот, хорошие книги как раз об этом и говорят. Ведь обреченные на смерть не станут читать описание агонии — так и мы все слегка побаиваемся звезд и не хотим слышать о них правду, когда оказываемся среди них. Это уж точно — тут самое лучшее то, что отвлекает внимание; но мне по крайней мере больше всего подходят именно вот такие звездные истории — ведь в них все, даже космос, становится таким добропорядочным... Это добропорядочность для взрослых, — конечно, там есть катастрофы, убийства и всякие другие ужасы, но все равно они добропорядочные, невинные, потому что с начала до конца выдуманные: тебя стараются напугать, а ты только посмеиваешься.

То, что я вам расскажу, — это и есть вот такая история. Только со мной она вправду случилась. Ну, да это неважно.

Было это в Год Спокойного Солнца. Как обычно, в этот период делали генеральную уборку в Солнечной системе, подбирали и выметали массу железного лома, который кружится на уровне орбиты Меркурия; за шесть лет, пока строили большую станцию в его перигелии, там набросали в космос кучу старых поломанных ракет, потому что работы велись по системе Ле Манса, и, вместо того чтобы сдавать эти трупы ракет на слом, ими заменяли строительные леса. Ле Манс был сильнее как экономист, чем как инженер: станция, построенная по его системе, действительно обходилась втрое дешевле, чем обычная, но доставляла такую уйму хлопот, что после Меркурия никто уж не соблазнялся этой «экономией». Но тут Ле Мансу при-

шла в голову идея — отправить этот ракетный морг на Землю: чего ж ему крутиться в пространстве до скончания веков, если его можно переплавить в мартенах? Но, чтобы эта затея окупалась, приходилось посылать для буксирования такие ракеты, которые были немногим лучше этих трупов.

Я был тогда патрульным пилотом с вылетанными часами, а это означает — был им лишь на бумаге и по первым числам, когда получал зарплату. А летать мне до того хотелось, что я согласился бы и на железную печку, лишь бы у нее была хоть какая-нибудь тяга; поэтому нечего удивляться, что, еле успев прочитать объявление, я отправился в бразильский филиал Ле Манса.

Не хочу утверждать, что экипажи, которые формировал Ле Манс (или, вернее, его агенты), уподоблялись кадрам иностранного легиона или разбойничьему сброду — такие типы вообще не летают. Но сейчас люди редко отправляются в космос, чтобы искать приключений: их там нет, по крайней мере в принципе нет. Значит, на такой вот полет решаются либо с отчаяния, либо вообще как-то случайно; и это уж самый плохой материал, потому что служба наша требует больше стойкости, чем морская, и тем, кому все безразлично, не место на ракете. Я не занимаюсь психологическими изысканиями, а просто хочу объяснить, почему я уже после первого рейса потерял половину команды. Мне пришлось уволить техников, потому что их сполбил телеграфист, маленький метис, который придумывал гениальнейшие способы, как контрабандой протащить алкоголь на ракету. Этот тип играл со мной в прятки. Запускал пластиковые шланги в канистры... впрочем, это неважно. Я думаю, он и в реактор запрятал бы виски, если б это было возможно. Воображаю, до чего возмутили бы такие истории пионеров астронавтики! Не пойму, почему они верили, что сам по себе выход на орбиту превращает человека в ангела. Этот метис родом из Боливии подраба-

тывал продажей марихуаны и делал мне все назло просто потому, что его это развлекало. Но у меня бывали парни и похуже.

Ле Манс был важной персоной, деталями не интересовался, а только установил финансовые лимиты, и мало того, что мне не удалось укомплектовать экипаж, я еще вынужден был дрожать над каждым киловаттом энергии; никаких резких маневров, уранографы после каждого рейса проверялись, словно бухгалтерские книги, — не уплыл ли куда, упаси боже, десяток долларов, превратившись в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не обучали; нечто подобное, может быть, творилось лет сто назад, на старых корытах, курсировавших между Глазго и Индией. Я, впрочем, и тогда не жаловался, а теперь, как вспомню об этом, так, стыдно признаться, расчувствуюсь.

«Жемчужина ночи» — ну и имечко! Корабль потихоньку разваливался, весь рейс мы только и делали, что искали то течь, то короткое замыкание. Каждый старт и каждая посадка совершались вопреки законам — не только физики; наверное, у этого лемансовского агента были знакомства в порту Меркурия, иначе любой контролер немедленно опечатал бы у нас все, от рулей до реактора.

Ну вот, выходили мы на охоту в перигелий, искали радаром остовы ракет, а потом подтягивали их и формировали «поезд». На меня тогда сваливалось все сразу: скандалы с техниками, вышвыривание бутылок в пространство (там и сейчас полным-полно «Лондон Драй Джин») и дьявольская математика — ведь во время рейса я только и делал, что изыскивал приближенные решения задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени.

Я запирался в каюте и читал. Автора не помню, какой-то американец, в названии было что-то о звездной пыли — нечто в этом духе. Не знаю, как эта книга начиналась, — я стал читать примерно с середины; герой находился в

камере реактора и разговаривал по телефону с пилотом, когда раздался крик: «Метеоры за кормой!» До этой минуты не было тяги, а тут он вдруг увидел, что огромная стена реактора, сверкая желтыми глазами циферблатов, наплывает на него с возрастающей быстротой: это включились двигатели, и ракета рванулась вперед, а он, вися в воздухе, по инерции сохранял прежнюю скорость. К счастью, он успел оттолкнуться ногами, но ускорение вырвало у него трубку из рук, и он повис на телефонном шнуре; когда он упал, распластавшись, эта трубка качалась над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее схватить, но, конечно, он весил тонну и не мог пальцем шевельнуть, потом как-то зубами поймал ее и отдал команду, которая их спасла.

Эту сцену я хорошо запомнил, а еще больше мне понравилось, как описано прохождение сквозь метеоритный рой. Облако пыли покрыло, заметьте, третью часть неба, только самые яркие звезды просвечивали сквозь пылевую завесу, но это еще ничего, а вот вскоре герой увидел — на экранах, конечно, — что из этого желтого тайфуна исходит бледно светящаяся полоса с черной сердцевинкой; уж не знаю, что это должно было означать, но только я наплакался со смеху. Как он все это прелестно себе вообразил! Эти тучи, тайфун, эта трубка — я прямо воочию видел, как парень болтается на телефонном шнуре, — ну, а что в каюте его ждала необыкновенно красивая женщина, это уж само собой разумеется. Была она тайным агентом какого-то общества космической тирании или, может, боролась против этой тирании, уж не помню. Во всяком случае, она была красива, как положено.

Почему я так распространяюсь об этом? Да потому, что это чтиво меня спасало. Метеоры? Да ведь я остовы ракет по двадцать-тридцать тонн искал неделями и половину из них даже в радаре не увидел. Легче заметить летящую пулю. Мне вот однажды пришлось схватить за

шиворот моего метиса, когда мы были в невесомости; это наверняка трудней, чем тот номер с телефонной трубкой, — мы ведь оба парили в воздухе, — но не так эффектно. Похоже, что я начал брзжать. Сам вижу. Но такая уж это история.

Двухмесячная охота кончилась, у меня на буксире было сто двадцать — сто сорок тысяч тонн мертвого металла, и я шел в плоскости эклиптики на Землю. Не по правилам? Ну, ясно! У меня не было горючего для маневрирования, я ведь уже говорил. Приходилось тащиться без тяги больше двух месяцев.

И тут случилась катастрофа. Нет, не метеоры — это ведь не в романе происходило. Свинка. Сначала техник, обслуживавший реактор, потом оба пилота сразу, а потом и остальные: морды распухли, глаза как щелки, высокая температура, о вахтах уж и говорить не приходилось. Какой-то взбесившийся вирус притащил на палубу Нгей, негр, который на нашей «Жемчужине ночи» был коком, стюардом, экономом и еще там чем-то. Он тоже заболел, а как же! Может, в Южной Америке у детей не бывает свинки? Не знаю. В общем у меня оказался корабль без экипажа.

Остались на ногах лишь телеграфист да второй инженер; но телеграфист с утра, прямо к завтраку, напивался. Собственно, не совсем напивался — то ли голова у него была такая крепкая, то ли он тянул понемножку, но в общем двигался он вполне прилично, даже когда не было силы тяжести (ее не было почти все время, не считая поправок курса). Алкоголь сидел у него в глазах, в мозгу, и каждое свое распоряжение, каждый приказ мне приходилось неустанно контролировать. Я мечтал о том, как я его отколочу, когда мы приземлимся; на ракете я не мог себе этого позволить, да и вообще — как будешь бить пьяного? В трезвом состоянии это был зауряднейший тип, опустившийся, недомытый, и у него была мплая привычка

ругать самыми мерзкими словами то одного, то другого — при помощи азбуки Морзе. Ну да, сидит себе за столом в кают-компании и выстукивает пальцем; его раза два чуть не избили, все ведь понимали морзянку, а припрешь к стенке — он божится, что это у него такой тик. От нервов. Что это само собой получается. Я ему велел прижимать локти, так он вел передачу ногой или вилкой — художник был в своем роде.

Единственным вполне здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но оказалось, знаете ли, что он инженер-дорожник. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на половинный оклад, и агенту этого было вполне достаточно, а мне и в голову не пришло экзаменовать его, когда он явился на борт. Агент только спросил его, разбирается ли он в машинах. Он сказал, что да; ведь он и вправду разбирался в машинах — в дорожных. Я велел ему нести вахту. Он планету от звезды не мог отличить. Теперь вы уже более или менее понимаете, каким образом Ле Манс делал большие дела. Правда, я тоже мог оказаться командиром подводной лодки; и, если б можно было, я, наверное, разыграл бы эту роль и заперся в своей каюте. Но я не мог этого сделать. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал если не на мою лояльность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться на Землю; сотня тысяч тонн в пространстве ничего не весит, и если избавишься от груза, то скорость не увеличится ни на миллиметр в секунду; ну, а я был не таким уж строптивым, чтобы сделать это просто так.

Вообще-то мне и такие мысли приходили в голову, когда я по утрам таскал то одному, то другому вату, мази, бинты, спирт, аспирин; только и было у меня удовольствия, что эта книжка о любви в пространстве, среди метеоритных тайфунов. Я некоторые абзацы перечитал по десять раз. Там были все ужасные происшествия, какие

только возможно представить, — электронные мозги бунтовали, у пиратских агентов передатчики были вмонтированы в черепа, красивая женщина происходила из другой Солнечной системы; но о свинке я не нашел ни слова. Ясное дело — тем лучше для меня. Мне она и так надоела. Иногда мне даже казалось, что космонавтика — тоже.

В свободные минуты я старался выследить, где телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но мне кажется, что он и вправду умышленно выдавал мне некоторые места, когда спиртное там подходило к концу, — просто для того, чтобы я не пал духом и не махнул рукой на его пьянство. Потому что я и по сей день не знаю, где был его главный тайник. Может, этот тип был уж так пропитан алкоголем, что основной запас носил прямо в себе? Ну в общем я искал, ползая по кораблю, словно муха по потолку, плавал по корме, по центральной палубе, как бывает иногда во сне, и чувствовал, что я один как перст. Вся братия лежала с распухшими физиономиями в каютах, инженер торчал в рулевой рубке, изучая по лингафону французский язык, было тихо, как на зачумленном корабле, и лишь иногда по вентиляционным каналам доносилось рыдание или пение этого боливийского метиса. Под вечер его разбирало, он ощущал ужас бытия.

Со звездами я мало имел дела, если не считать той книжки. Некоторые куски я знал наизусть — к счастью, они уже улетучились у меня из головы. Я дожидаться не мог, когда кончится эта свинка, потому что такая жизнь на манер Робинзона уж очень мне докучала. Инженера-дорожника я избегал, хоть по-своему это был даже довольно порядочный парень и клялся мне, что, если б не ужасные финансовые передраги, в которые его втянули жена с шурином, он ничем не подписал бы контракта. Однако был он из тех людей, каких я не переносу, — которые откровенничают без всяких ограничений и тор-

можений. Не знаю, может, он только ко мне испытывал такое чрезвычайное доверие, но вряд ли, потому что о некоторых вещах ну просто невозможно говорить, а он способен был сказать все, я прямо корчился; к счастью, «Жемчужина ночи» была большая, двадцать восемь тысяч тонн, было где спрятаться.

Вы, наверное, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс для Ле Манса. С тех пор я уже больше не позволял так нахально себя надувать, хоть во всяких переделках побывал. Я бы и не рассказывал об этом, довольно конфузном все же куске моей биографии, если б он не был связан с другой, вроде бы несуществующей стороной космонавтики. Помните, я ведь предупредил вначале, что это будет история словно из той книжки.

Метеоритное предупреждение мы получили поблизости от орбиты Венеры, но телеграфист то ли проспал, то ли просто не принял его — в общем я лишь на следующее утро услышал эту новость в известиях, которые передавала космолокаторная станция Луны. Честно говоря, вначале мне это показалось совершенно неправдоподобным. Драконида давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои вообще ходят регулярно; правда, Юпитер любит всякие штучки с пертурбациями, но на этот раз он был не при чем — радиант был совсем другой. Предупреждение, впрочем, было лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя очень небольшая, процент крупных осколков ничтожный; ширина фронта, правда, значительная. Когда я посмотрел на карту, то понял, что мы уже торчим в этом так называемом рое добрый час, а то и два. Экраны были пусты. Я особенно не беспокоился; непривычно прозвучало лишь второе сообщение, в полдень: радиолокаторы установили, что рой — внесистемный!

Это был второй такой рой, с тех пор как существует космолокация. Метеоры — это остатки комет, и они ходят

себе по удлинненным эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, словно игрушки на нейлоновых шнурах. А рой внесистемный, то есть пришедший в Солнечную систему из Галактики,— это сенсация; правда, больше для астрофизиков, чем для пилотов. Есть, конечно, и для нас разница, хоть вообще-то небольшая — в скорости. Внутрисистемный рой не может иметь большой скорости — не больше чем параболическую либо эллиптическую. Зато рой, входящий в Солнечную систему извне, может иметь — и обычно имеет — гиперболическую скорость. Но практически различие невелико, поэтому возбуждение охватывает метеоритологов и астробаллистиков, а не нас.

Сообщение о том, что мы влезли в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом, когда мы обедали, как всегда, включив двигатели на малую тягу: они давали поправку на курс, а тем временем даже слабое притяжение облегчало нам жизнь. Не надо было сосать суп через соломинку и впихивать себе в рот пасту из баранины, нажимая на тюбик. Я всегда был сторонником нормального человеческого питания.

Зато инженер очень испугался. То, что я говорил о рое, словно о летнем дождичке, он склонен был считать признаком помешательства. Я ему коротко объяснил, что, во-первых, рой пылевой и сильно разреженный и шансов столкнуться с осколком, который способен повредить корабль, меньше, чем шансов погибнуть от того, что тебе в театре свалится люстра на голову; во-вторых, все равно ничего нельзя сделать, потому что «Жемчужина» не может провести маневр расхождения; в-третьих, курс наш по чистой случайности почти совпадает с траекторией роя,— значит, опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз.

Что-то непохоже было, чтоб я его убедил, но мне уже

надоела психотерапия, и я предпочел сосредоточить внимание на телеграфисте, то есть отрезать его хоть на пару часов от запасов спиртного, потому что в конце-то концов в рое он был нужнее, чем вне его. Больше всего я боялся сигнала SOS. Кораблей здесь было порядочно, мы уже пересекли орбиту Венеры — на этой территории шло весьма оживленное движение, и не только грузовых ракет. Я сидел у радики, держа телеграфиста при себе, до шести часов палубного времени, — значит, больше четырех часов на пассивном перехвате; к счастью, обошлось без сигнала тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в радарные экраны, чтобы заметить какие-то почти неуловимые микроскопические искорки; да и то я не мог бы поручиться, что эти зеленые привиденьца не были просто обманом зрения от усталости. Тем временем уже не только радиант, но и весь путь этого гиперболического роя, который даже имя успел получить — Канопиды (от звезды близ радианта), вычислили на Луне и на Земле, и было известно, что он не достигнет орбиты Земли, минует ее, выйдет из нашей системы вдалеке от больших планет и как появился, так и исчезнет в бездне Галактики, чтобы никогда уже к нам не вернуться.

Инженер-дорожник, продолжая тревожиться, то и дело заглядывал в радиорубку, а я выгонял его, требуя, чтобы он следил за рулями. Разумеется, это было чисто фиктивное задание — у нас не было тяги, а без тяги управлять нельзя, ну, а кроме того, он не смог бы выполнить и простейшего маневра, да я бы никогда ему этого и не доверил. Но мне хотелось его чем-нибудь занять и себя избавить от бесконечных приставаний. А то он стремился выяснить, проходил ли я уже сквозь метеоритные рои, да сколько раз, да пережил ли в связи с этим катастрофы, и серьезные ли, и есть ли шансы спастись в случае столкновения... Вместо ответа я ему дал «Основы космологии и космодромии» Краффта; инженер книгу взял, но, кажется,

даже и не раскрывал ее — он ведь жаждал доверительных признаний, а не сухих сведений.

Все это происходило, напоминая вам, на корабле, где сила тяжести отсутствовала. В этих условиях движения людей, даже трезвых, довольно забавно изменяются — всегда надо помнить о каком-нибудь поясе, о пристежке, иначе, нажав на карандаш при писании, рискуешь взлететь под потолок, а то и шишку себе набить. У телеграфиста была своя система: он таскал в карманах массу всяких гирек, гаек, ключей, и когда оказывался в затруднительном положении, повиснув между потолком, полом и стенами, то просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы плавно отлететь в противоположную сторону. Способ это был надежный и всегда подтверждал правильность ньютоновского закона действия и противодействия, однако он доставлял мало удовольствия окружающим, потому что брошенные гирьки и гайки рикошетом отлетали от стен, и иной раз эти штучки, способные весьма чувствительно стукнуть, подолгу носились в воздухе. Я говорю об этом, чтобы придать дополнительный оттенок колориту нашего путешествия.

В пространстве тем временем шло усиленное движение; многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами изменяли трассы, Луне было с ними немало возни; автоматические передатчики, которые морзянкой передают орбитальные и курсовые поправки, рассчитанные на больших стационарных вычислительных машинах, без усталы строчили сериями сигналов в таком темпе, что на слух не воспримешь. Да и фония была переполнена голосами — пассажиры за бешеные деньги сообщали встревоженным родственникам, что отлично себя чувствуют и никакой опасности нет; Луна Астрофизическая передавала очередные сведения о зонах сгущения в метеоритном рое, о его предполагаемом составе — словом, про-

грамма была разнообразная и скучать у репродуктора особенно не приходилось.

Мои космонавты со свинкой, уже узнавшие, разумеется, о гиперболическом рое, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что опасность, а именно пробойну или потерю герметичности, они легко распознают по отсутствию воздуха.

Около одиннадцати я отправился перекусить в кают-компанию; телеграфист, который, кажется, только этого и ждал, исчез, будто растаял, а я слишком устал, чтобы его искать и даже чтобы думать о нем. Инженер отбыл вахту; он уже немного успокоился и опять жаловался в основном на шурина, а уходя к себе (зевал он, как кит), сказал мне, что левый экран радара, должно быть, испортился: там в одном месте какая-то зеленая искра. Сообщив это, он удалился; я приканчивал холодную говядину из консервной банки — и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, окаменел.

Инженер разбирался в показаниях радара, как я в асфальте. Этот «испорченный» экран...

В следующее мгновение я мчался к рулевой рубке. Это так говорится, а на деле я двигался с той скоростью, какая возможна, если ускорение получаешь, только хватаясь за что-нибудь руками либо отталкиваясь ногами от выступов стен или потолка. Рулевая, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена, огни на пультах погасли, контрольные сигналы реактора еле мерцали, как сонные светлячки, и только по экранам радаров неустанно вращались водящие лучи; я уже с порога смотрел на левый экран.

В верхнем правом его квадранте светилась неподвижная точка; собственно, как я увидел вблизи, пятнышко величиной с мелкую монету, сплюснутое, как линза, идеально правильное по форме, светящееся зеленым фосфорическим светом, словно маленькая, лишь с виду неподвижная рыбка в океане пустоты. Если б это увидел нормальный

вахтенный, — но не теперь, не теперь, а полчаса назад! — он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы командира, запросил бы у этого корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных, я опоздал на полчаса, я был один, так что делал, ей-богу, все сразу — затребовал данные у корабля, зажег позиционные огни, включил передатчик, начал разогревать реактор, чтобы можно было в любой момент дать тягу (реактор был холодный, словно давным-давно окоченевший покойник), — ведь время не ждало! Я успел даже пустить в ход подручный полуавтоматический калькулятор, и оказалось, что курс того корабля почти совпадает с нашим, разница была в долях минуты, вероятность столкновения, в пустоте и без того исчезающе малая, практически равнялась нулю.

Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и начал сверкать на него морзянкой из палубного лазера. Он находился за нами на расстоянии около девяти сот километров, — значит, невероятно близко, — и я уже, по правде говоря, видел себя в Космическом трибунале (конечно, не за «доведение до катастрофы», а просто за нарушение восьмого параграфа Кодекса космолонии, именуемого ОС — опасное сближение). Думаю, что и слепой увидал бы мои световые сигналы. Корабль этот вообще так упорно торчал у меня в радаре и все не оставлял в покое «Жемчужину», а, наоборот, даже понемногу к ней приближался, лишь потому, что мы с ним имели сходящиеся курсы. Это были почти параллельные трассы; он передвигался уже по краю квадранта, потому что шел быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую; действительно, два замера с десятисекундным интервалом показали, что он делает девяносто километров в секунду. А мы делали от силы сорок пять!

Корабль не отвечал и приближался; он выглядел уже внушительно, даже слишком внушительно. Светящаяся зеленая линза, видимая сбоку, острое веретенце... Я глянул

на радарный дальномер: уж очень что-то вырос этот корабль. Оказалось — четыреста километров. Я захлопал глазами: с такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Эх, чтоб ей, этой «Жемчужине ночи»! — подумал я. — Все здесь не как положено». Я перевел изображение на маленький вспомогательный радар с направленной антенной. Корабль выглядел все так же. Я обалдел. «Может, это, — вдруг подумал я, — тоже такой «поезд Ле Манса», как наш? Штук этак сорок ракетных остовов, один за другим, отсюда и размеры... Но почему он так похож на веретено?»

Радароскопы работали, автоматический дальномер отстукивал да отстукивал: триста километров... двести шестьдесят... двести...

Я начал еще раз пересчитывать курсы на приборе Гарельсбергера, потому что это уже пахло опасным сближением. Известно, что с тех пор, как на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, — а суда продолжают тонуть. И опять получилось, что он пройдет у меня под носом, на расстоянии этак тридцати-сорока километров. Я проверил оба передатчика — автомат, работающий на радиочастотах, и лазерный. Оба они были исправны, но чужой корабль молчал.

До тех пор меня все еще терзали угрызения совести: ведь некоторое время мы летели вслепую — пока инженер рассказывал мне о своем шурине и желал спокойной ночи, а я поглощал говядину, — потому что некому было работать и я все делал сам, но теперь у меня будто пелена с глаз спала. Охваченный праведным гневом, я уже видел истинного виновника опасности в этом глухом, молчаливом корабле, который пер себе на гиперболической скорости через сектор и не изволил даже отвечать на прямые настойчивые обращения!

Я включил фонию и начал его вызывать. Я требовал то того, то другого: чтобы он зажег позиционные огни и

пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свое название, место назначения, фамилию арматора — все, конечно, в условных сокращениях; а он летел себе спокойно, тихо, ни на йоту не меняя ни скорости, ни курса, и был уже всего в восьмидесяти километрах от меня.

Пока он держался по бакборт, но все заметнее обгонял меня — ведь он шел вдвое быстрее; и я знал, что, поскольку при подсчетах на калькуляторе не принималась во внимание угловая поправка, мы при расхождении окажемся на пару километров ближе, чем вычислено. Менее чем в тридцати километрах наверняка, а чего доброго и в двадцати. Мне следовало тормозить, потому что нельзя допускать такого сближения, но я не мог. За мной ведь тянулось сто с чем-то тысяч тонн ракетных трупов; сначала мне пришлось бы отцепить всю эту рухлядь, сам я с этим не справился бы, а экипаж занимался свинкой, так что о торможении нечего было и думать. Тут могла бы пригодиться скорее философия, чем космодромия: стоицизм, фатализм, а если калькулятор уж совсем заврался, то, пожалуй, даже начатки эсхатологии.

На расстоянии двадцати двух километров тот корабль уже явно начал обгонять «Жемчужину». Я знал, что теперь дистанция будет возрастать, так что все было вроде в порядке; до тех пор я смотрел только на дальномер, потому что его показания были самыми важными, и лишь теперь снова глянул на радароскоп.

Это был не корабль, а летающий остров, вообще неизвестно что. На расстоянии двадцати километров он был величиной больше чем моя ладонь; идеально правильное веретено превратилось в диск — нет, в кольцо!

Ясное дело, вы уже давно подумали, что это был корабль «пришельцев», — ну, поскольку он был длиной в десять миль... Легко сказать, но кто же верит в корабли «пришельцев»? Первым моим побуждением было догнать его. Нет, правда! Я схватился за рычаг главной тяги, но

не шевельнул его. У меня за кормой было кладбище на буксире, ничего бы из этого не вышло. Я вскочил с кресла и через узкую шахту пробрался в маленькую астрономическую каюту, вмонтированную в броню, как раз над рулевой рубкой. Там, прямо под рукой, было все, что мне нужно,— бинокль и ракеты. Я пустил три, одну за другой, примерно по курсу этого корабля, и, как только вспыхнула первая, начал его искать. Он был большой, как остров, но я его не сразу разглядел — ракета попала в поле зрения, и блеск ее ослепил меня,— пришлось выждать, пока я смогу видеть. Вторая ракета вспыхнула далеко в стороне, и это мне ничего не дало; третья зажглась высоко над кораблем. В ее неподвижном, очень белом свете я его наконец увидел.

Смотрел я на него не больше пяти-шести секунд,— ракета вдруг, как это иной раз случается, вспыхнула ярче и погасла. Но в эти мгновения я разглядел сквозь ночной восьмидесятикратный бинокляр очень слабо, призрачно, но все же отчетливо освещенное с высоты темное металлическое тело: я видел его будто с расстояния нескольких сот метров. Корабль еле помещался в поле зрения; в самом его центре мерцало несколько звезд, словно там он был прозрачным, как пустой туннель из темной стали, летящий в пространстве. Но в последней яркой вспышке ракеты я успел заметить: это нечто вроде сплюснутого цилиндра, свернутого, как автомобильная шина; я мог смотреть сквозь его пустой центр, хоть он и не находился на оси зрения; этот колосс был повернут углом к линии моего зрения — словно стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно выливать из него жидкость.

Ясное дело, я вовсе не раздумывал над тем, что увидел, а продолжал пускать ракеты; две не зажглись, третья почти сразу погасла, при свете четвертой и пятой я его увидел — в последний раз. Ведь теперь он пересекал трассу «Жемчужины» и удалялся все быстрее; он находился уже

в ста, в двухстах, в трехстах километрах от меня, и визуальное наблюдение стало невозможным.

Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует установить элементы его орбиты; я собирался, сделав это, поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космология; я уже представлял себе, как по начертанному мною маршруту ринутся стаи ракет, чтобы догнать этого гостя из бездны.

Собственно, я был уверен, что он входил в состав гиперболического роя. Глаз в известных обстоятельствах уподобляется фотоаппарату, и образ, хоть на долю секунды представший в ярком свете, потом можно некоторое время не только вспоминать, но и весьма детально анализировать, будто вы все еще видите его. А я увидел в той предсмертной вспышке ракеты поверхность гиганта: она была не гладкая, а изрытая, почти как лунная почва, свет растекался по неровностям, буграм, кратерообразным впадинам; корабль, должно быть, летел вот так уже миллионы лет, входил, темный и мертвый, в пылевые туманности, выходил из них спустя столетия, а метеоритная пыль в десятках тысяч столкновений грызла его, пожирала пустотной эрозией.

Не могу объяснить, откуда взялась у меня эта уверенность, но я знал, что на этом корабле нет ни одной живой души, что катастрофа с ним произошла миллионы лет назад и, может, не существует уже и цивилизация, выславшая его!

Думая обо всем этом, я в то же время на всякий случай, для предельной точности в четвертый, пятый, шестой раз рассчитывал элементы его орбиты и результат за результатом, нажимая на клавишу, посылал в записывающее устройство, потому что мне дорога была каждая секунда: корабль уже выглядел на экране как зеленая фосфорическая запятая, сверкал как неподвижный светлячок в край-

нем секторе правого экрана — за две, за три тысячи, за шесть тысяч километров от меня.

Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что! Он был мертв, не мог маневрировать, а значит, не мог никуда удрать, не мог спрятаться; правда, он летел на гиперболической скорости, но его легко мог догнать любой корабль с мощным реактором, а элементы его движения я рассчитал с такой точностью...

Я открыл кассету записывающего устройства, чтобы вынуть ленту и пойти с ней на радиостанцию, — и застыл, внезапно обалдевший, уничтоженный...

Металлический барабан был пуст; лента давно уже, может несколько дней назад, кончилась, новой никто не вложил, и я посылал результаты вычислений в пустоту; они все до одного пропали; не было ни корабля, ни его следа — ничего...

Я ринулся к экранам, потом, право же, хотел отцепить этот мой проклятый балласт, выбросить лемансовские сокровища и пуститься — куда? Сам толком не знал. Наверное, в направлении... ну, примерно на созвездие Водолея, но что ж это за цель! А может, все-таки?.. Если я сообщу по радио сектор — в приближении, — а также скорость...

Это следовало сделать. Это было моей обязанностью, самой важной из всех, если вообще у меня имелись еще какие-нибудь обязанности.

Я поднялся лифтом в центральную часть корабля, на радиостанцию, и уже установил было очередность действий: надо вызвать Луну Главную и потребовать право первенства для последующих моих сообщений, поскольку речь идет об информации величайшей важности, — эти сообщения, по-видимому, будет принимать не автомат, а дежурный координатор Луны; затем я дам отчет об обнаружении чужого корабля, который пересек мой курс на гиперболической скорости и, вероятно, входил в состав метеоритного роя. Немедленно потребуют расчет элементов его

движения. Мне придется ответить, что расчеты я произвел, но у меня их нет, потому что барабан записывающего устройства вследствие недосмотра был пуст. Тогда потребуют, чтобы я сообщил имя пилота, который первым заметил этот корабль. Но я и этого не смогу сообщить, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт; затем, если все это еще не покажется слишком подозрительным, меня спросят, почему я не поручил радисту систематически передавать данные по ходу расчетов; а я должен буду объяснить, что радист не работал, потому что был пьян. Если со мной после этого вообще захотят еще разговаривать через триста шестьдесят восемь миллионов километров, которые нас разделяют, то поинтересуются, почему кто-либо из пилотов не заменил радиста; тогда я отвечу, что весь экипаж болен свинкой. Если мой собеседник до этого еще будет иметь какие-то сомнения, тут уж он уверится, что человек, который среди ночи морочит ему голову насчет корабля «пришельцев», либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, зафиксировал ли я как-нибудь изображение этого корабля — фотографируя его в свете ракет либо записывая показания радара на ферроленте — или по крайней мере регистрировал ли я все запросы, с которыми обращался к нему по радио. Но у меня не было ничего, совсем ничего, я слишком спешил, я не думал, что снимки понадобятся, поскольку вскоре земные корабли ринутся к необычайной цели, и не включил записывающих устройств.

Тогда координатор сделает то, что я и сам сделал бы на его месте, — велит мне отключиться и запросит все корабли в моем секторе, не заметили ли они чего-то необычного. Так вот, ни один корабль не мог увидеть гостя из Галактики, я был в этом уверен. Я с ним встретился лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хоть это строжайшим образом воспрещается, так как здесь всегда кружится метеоритная пыль, осколки перемолотых временем метеоров или кометных хвостов. Я нарушил это запреща-

ние, потому что иначе мне не хватило бы горючего для маневров, долженствующих обогатить Ле Манса сотней с лишним тысяч тонн ракетного лама. Значит, мне следовало бы сразу предупредить координатора Луны, что встреча произошла в запрещенной зоне, а это повлекло бы за собой неприятный разговор в дисциплинарной комиссии Космического трибунала.

Наверное, обнаружение этого корабля значило куда больше, чем любой разговор в комиссии да хотя бы и наказание,— однако при условии, что корабль действительно догонят. Но вот это-то и казалось мне совсем безнадежным делом. А именно я должен был потребовать, чтобы в плоскость эклиптики, в угрожаемую зону, к тому же еще посещенную гиперболическим роem, бросили на розыски целую флотилию кораблей. Координатор Луны не имел права этого сделать, даже если б захотел; если б он стену лбом прошибал, до утра вызывал КОСНАВ, Международную комиссию по делам исследования космоса и черт знает кого там еще, начались бы заседания и совещания, и если б они проходили в молниеносном темпе, то через какие-нибудь три недели уже было бы вынесено решение. Но (это я рассчитал еще в лифте, у меня в ту ночь мысль работала действительно с необычайной быстротой) чужой корабль окажется к тому времени в ста девяноста миллионах километров от места нашей встречи, а значит, за Солнцем, мимо которого пройдет настолько близко, что оно изменит его траекторию,— и пространство, в котором придется его искать, будет размером более десяти миллиардов кубических километров. А то и двадцати.

Так все это выглядело, когда я добрался до радиостанции. Я уселся там и попробовал еще оценить по достоинству — каковы шансы увидеть этот корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей системе. Но Земля с Луной находились как раз на противоположной стороне орбиты

по отношению ко мне, а значит, и к этому кораблю. Радиотелескоп Луны был очень мощный, но все же не настолько, чтобы на расстоянии четырехсот миллионов километров разглядеть тело размером в несколько километров.

На этом вся история и кончилась. Я порвал листки с расчетами, встал и тихонько двинулся в свою каюту с чувством, что совершил преступление. К нам прибыл гость из космоса — визит, который случается раз в миллионы, да нет, в сотни миллионов лет. И из-за инженера с его шурином, из-за моей небрежности он ускользнул у нас из-под носа, чтобы растаять, как призрак, в беспредельном пространстве.

С этой ночи я жил в каком-то странном напряжении целых двенадцать недель — за это время мертвый корабль должен был войти в зону больших планет и навсегда исчезнуть для нас. Я просиживал на радиостанции все маломальски свободное время, питая постепенно слабеющую надежду, что кто-нибудь его заметит — кто-нибудь более сообразительный или попросту более счастливый, чем я; но ничего такого не произошло.

Разумеется, я никому об этом не говорил. Человечеству не часто подвертываются такие случаи. Я чувствую себя виновным не только перед человечеством, но и перед той, другой цивилизацией, и мне не суждена даже слава Герострата, потому что теперь, через столько лет, никто уж мне, к счастью, не поверит. Да я и сам-то иной раз сомневаюсь: может, ничего и не было, кроме холодной, неудобоваримой говядины.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Анел не вернулся в четыре, по этому никто словно бы и не заметил. Около пяти уже начинало темнеть, и Пиркс, не столько обеспокоенный, сколько удивленный, хотел спросить Крулля, что бы это могло значить, но сдержался — он не был руководителем группы, и подобные вопросы, вполне законные и абсолютно невинные, могли вызвать все нарастающую лавину взаимных придирок. Он прекрасно знал, как это происходит: подобное повторялось не раз, особенно когда коллектив был с бору по сосенке. Три человека абсолютно разных профессий в сердце гор, па никому не нужной планете, выполняющие задание, которое, пожалуй, все, включая его самого, считали бессмысленным. Их привезли на маленьком старом гравистате, которому предстояло остаться здесь навсегда, потому что все равно он годился только на слом; вместе с ним доставили разборный алюминиевый дом, немного приборов и радиостанцию столь преклонного возраста, что от нее было больше хлопот, чем проку, и за семь недель им предстояло завершить «общую рекогносцировку», словно это было возможно. Пиркс никогда бы не стал этим заниматься, пойма, что речь идет лишь о расширении района исследований, производимых разведывательной группой, да еще об одной циферке в отчетах, которыми пичкали информационные машины на базе. Это, вероятно, могло иметь некоторое значение при распределении средств, людей и мощностей на следующий год. И ради того, чтобы на лентах памяти появилась эта трансформированная в дырочки цифра, они без малого пятьдесят дней сидели на пустом месте, которое при других обстоятельствах, может, и было бы привлекательным, хотя бы с точки зрения альпинизма. Однако наслаждаться альпинизмом было, разумеется, строгойше запрещено, и самое большее, что мог сделать

Пиркс, это во время сейсмических и триангуляционных измерений рисовать в своем воображении первые трассы.

У планеты даже не было собственного имени, и в каталогах она числилась как Йота дробь 116, дробь 47 Проксимы Водолея. Она походила на Землю больше, чем любая из всех, какие Пиркс когда-либо видел: маленькое желтое солнце, соленый океан, свекольно-зеленый от трудолюбивых водорослей, насыщающих атмосферу кислородом, да огромный трехлапый континент, покрытый первобытной растительностью. Планета прекрасно подходила бы для колонизации, если бы не то, что ее солнце было типа G новооткрытой разновидности VII, неустойчивое, с неравномерным излучением; ну а коль скоро астрофизики наложили свое вето, то, если даже очередная вспышка Новой могла наступить лишь через сто миллионов лет, все планы освоения этой земли обетованной приходилось перекрывать.

Пиркс порой каялся, что поддался уговорам и принял участие в экспедиции, но это было не очень искреннее покаяние. Так или иначе, ему пришлось бы торчать на базе три месяца, потому что попасть в Солнечную систему раньше этого срока было невозможно. Его ждали подземные климатизированные сады Базы и отупляющие телевизионные передачи (развлечения по меньшей мере десятилетней давности), поэтому он охотно откликнулся на предложение начальника, который, со своей стороны, радовался, что может удружить Крулль — ни одного свободного человека не было, а посылать в экспедицию только двоих инструкция запрещала. Таким образом, Пиркс свалился космографу на голову как манна небесная. Впрочем, Крулль не проявил восторга ни сразу, ни потом; вначале Пиркс даже думал, что тот расценивает его поступок как «барский каприз», коль он из командира корабля согласился стать рядовым разведчиком; походило на то, что Крулль чувствовал скрытую обиду. Однако это не была обида, просто,

прожив полжизни (ему уже перевалило за сорок), Крулль стал желчным, словно его кормили одной полынью. А поскольку в таком изолированном от мира коллективе ничего невозможно скрыть и люди со всеми своими достоинствами и недостатками становятся прозрачными как стекло, Пиркс быстро понял, откуда в характере Крулля, вообще-то выдержанного, даже твердого человека, эта задиристость — ведь за его плечами было больше десяти лет внеземной службы. Просто Крулль стал не тем, кем хотел, а тем, кем вынужден был стать, поскольку для взлелеянной в мечтах работы не годился. А в том, что когда-то он хотел стать не космографом, а интеллектрони́ком, Пиркс убедился, видя, как категорично высказывался Крулль в беседах с Массеной, стоило только разговору перейти на интеллектронные темы (Крулль говорил «интеллектральные» — в соответствии с профессиональным жаргоном).

Массене, к сожалению, не доставало терпимости, а может, ему просто плевать было на мотивы, которыми руководствовался Крулль; во всяком случае, если тот настаивал на каком-либо ошибочном решении, Массена не ограничивался простым отрицанием его правоты, а, взяв в руки карандаш, укладывал его на обе лопатки с помощью безукоризненных математических расчетов и добивал Крулля с таким удовольствием, словно для него важнее было доказать не собственную правоту, а то, что Крулль — самоуверенный осел. Но это было не так. Крулль был не самоуверенным, а просто человеком с повышенной чувствительностью, как всякий, честолюбие которого несоизмеримо со способностям.

Пиркс, бывший невольным свидетелем одного из таких разговоров — впрочем, трудно было этого избежать, поскольку они втроем жили на сорока квадратных метрах, а звукоизоляция перегородок была сплошной фикцией, — знал, чем это кончится. И действительно, Крулль, который не смел показать Массене, как сильно подействовало на

него поражение, всю свою неприязнь перенес на Пиркса, впрочем в весьма своеобразной форме: перестал с ним разговаривать, кроме тех случаев, когда это было необходимо.

Тогда он сошелся с Массеной — с этим черноволосым и светлоглазым холериком и впрямь можно было подружиться, — но Пирксу всегда было нелегко с холериками, так как в глубине души он им не очень-то доверял. С Массеной вечно что-то случалось: он требовал заглядывать себе в горло, заявлял, что будет перемена погоды, потому что кости ломит (никаких перемен не происходило, но он все равно продолжал их предсказывать), утверждал, что страдает бессонницей, и каждый вечер демонстративно искал таблетки, которые почти никогда не глотал — просто на всякий случай клал их рядом с постелью, а утром клялся Пирксу, который, допоздна засиживаясь над книжкой, прекрасно слышал его храп, что всю ночь даже глаз не сомкнул (сдается, он и сам в это верил). Если не принимать этого во внимание, он был отличным специалистом и блестящим математиком с организаторскими способностями, которому поручали текущее программирование автоматической разведки. Одну из таких программ он взял с собой для разработки «в свободную минуту», а Круль страдал, видя, как Массена очень быстро и хорошо делал то, что положено, так что у него действительно оставалось много времени и поэтому не было оснований для претензий, что-де он не исполняет своих обязанностей как следует. Массена подходил им еще и потому, что — как это ни парадоксально — в их планетологической микроэкспедиции не было ни одного настоящего планетолога, потому что ведь и Круль не был планетологом. Удивительно все-таки, до чего неудачно могут сложиться взаимоотношения трех достаточно нормальных людей в такой скалистой пустыне, каковую представляло собой Южное нагорье Йоты Водолея!

Был в этом коллективе и еще один член — уже упоминавшийся Анел, или Автомат Нелинейный, одна из новейших моделей с высоким уровнем самостоятельности, изготовлявшихся на Земле для исследовательской работы именно в таких условиях. Массена был придан группе в качестве кибернетика — это была лишь дань устаревшей традиции, так как правила предусматривали, что там, где есть автомат, должен быть кто-то, кто в случае необходимости мог бы его отремонтировать. Так продолжалось уже добрый десяток лет — как известно, правила меняются не слишком часто, — но Анел (об этом не раз говорил сам Массена) в случае необходимости мог «отремонтировать» его самого, и не только потому, что отличался абсолютной безотказностью, но и потому, что он обладал элементарными сведениями из области медицины. Пиркс уже давно заметил, что человек подчас легче познается в его отношении к роботам, чем к иным людям. Его поколение жило в мире, неотъемлемую часть которого наряду с космическими кораблями составляли автоматы, но сфере автоматки был присущ какой-то особый отпечаток иррационализма. Некоторым легче было полюбить обычную машину, скажем, собственный автомобиль, чем машину мыслящую. Период широкого экспериментаторства конструкторов уже подходил к концу — по крайней мере казалось, что это так. Создавали автоматы только двух типов: универсальные и узкого назначения. Лишь небольшой группе универсальных придавали формы, похожие на человеческое тело, да и то лишь потому, что из всех опробованных конструкций заимствованная у природы оказалась наиболее безотказной, особенно в сложных условиях планетного бездорожья.

Нельзя сказать, чтобы инженеры очень уж обрадовались, когда их детища начали проявлять такую самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе считалось, что автоматы мыслят, но «не имеют индивидуальности». Действительно,

никто не слышал об автомате, который бы впадал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал; они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако, поскольку их мозги создавались не на мощном конвейере, а путем постепенного выращивания монокристаллов, при котором всегда имеет место не подающийся управлению статистический разброс, даже микроскопические смещения молекул вызывали такие конечные отклонения, что в принципе не существовало двух совершенно одинаковых автоматов. Итак, все-таки индивидуальности? Нет, отвечал кибернетик, результат вероятностного процесса; так же думал и Пиркс и, пожалуй, каждый, кто часто общался с роботами и целыми годами мог наблюдать за их молчаливой, всегда целенаправленной, всегда логичной деятельностью. Конечно, они были похожи друг на друга гораздо больше, чем люди, но все же у каждого был свой норв, пристрастия, а встречались и такие, которые, исполняя приказы, организовывали что-то вроде «молчаливого сопротивления», и если это длилось долго, то дело кончалось капитальным ремонтом.

У Пиркса, да наверняка и не у него одного, в отношении этих своеобразных машин, которые так точно и подчас так творчески выполняли задания, была не очень чиста совесть. Может, это началось еще тогда, когда он командовал «Кориоланом». Во всяком случае, само по себе то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, он считал не вполне нормальным. Он, конечно, не мог бы сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль о том, что решение принято неправильно или попросту, грубо говоря, совершена пакость. Было какое-то изощренное коварство в том холодном спокойствии, с каким человек запикивал добытые о себе знания в бездушные машины, присматривая за тем,

чтобы не повысился уровень их одушевленности и чтобы они не стали конкурентами своего творца в познании прелестей мира. Максима Гете «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister» * в приложении к сметливым конструкторам приобретала неожиданный смысл похвалы, переходившей в язвительный укор, ибо ведь не себя решили они ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказать вслух подобную мысль, потому что отдавал себе отчет в том, как бы она смешно прозвучала; автоматы не были обездоленными, не были они и объектом безудержной эксплуатации, все было проще и в то же время хуже — с моральной точки зрения сложнее для критики; их возможности ограничили еще прежде, чем они появились, — на листах чертежей.

В тот день, накануне их отлета, работы, собственно, были уже окончены. Однако, когда стали пересчитывать ленты, на которых были отражены результаты экспедиции, оказалось, что одной недостает. Просмотрели машинную память, потом перерыли все тайники и ящики, причем Круль дважды советовал Пирксу лучше следить за собственными вещами — от этого совета разило ехидством, потому что Пиркс вообще не имел никакого отношения к пропавшей ленте, да и не стал бы прятать ее в чемодан. У Пиркса даже язык зачесался — так ему захотелось ответить, тем более что до сих пор он обычно отмалчивался и старался находить любые оправдания вызывающему, даже оскорбительному поведению Крулля. Но он сдержался и на этот раз и только заметил, что если необходимо повторить наблюдения, то он охотно сделает это сам, взяв Анела в помощники.

Однако Круль решил, что Анелу помощь Пиркса будет совершенно ни к чему, поэтому они навьючили

* Лишь в ограничении познается мастер (нем.).

на работа аппарат, кассеты с фото пленкой и, вложив в кобуры пояса реактивные патроны, послали Анела к вершинам горного массива.

Робот вышел в восемь утра — Массена вслух высказал уверенность, что он управится с делами до обеда. Однако прошло два, три, четыре часа, наконец сгустились сумерки, но Анел не возвращался.

Пиркс сидел в углу и при свете лампы читал изрядно потрепанную книгу, которую взял еще на Базе у какого-то пилота, но почти ничего не понимал. Сидеть было не очень удобно. Рифленая алюминиевая стенка давила ему на спину, надувная подушка спустила, и он чувствовал, как сквозь прорезиненную ткань в тело врезаются острые гайки. Однако он не изменял положения, поскольку неудобная поза удивительно гармонировала с растущей в нем злостью. Ни Крулль, ни Массена до сих пор, казалось, не замечали отсутствия робота. Крулль, который отнюдь не был шутником и даже не пытался острить, непонятно почему с первого же дня упорно величал Анела Ангелом или даже Железным Ангелом, иначе к нему не обращался, и такая по сути мелочь уже столько раз раздражала Пиркса, что за одно это он невзлюбил космографа. У Массены отношение к роботу было профессиональное: все интеллектроники знают или, во всяком случае, делают вид, будто знают, какие молекулярные процессы и токи вызывают те или иные реакции или ответы автомата, и поэтому отвергают любые предположения о какой-либо их разумности как абсолютную чужь. Тем не менее к Анелу он относился так же, как хороший механик к своему дизелю: не позволял перегружать, любил за исполнительность и заботился о нем, как мог.

В шесть терпение у Пиркса лопнуло, потому что у него занемела нога, и он стал потягиваться так, что кости затрещали, шевелить ступней и сгибать ногу в ко-

лене, чтобы ускорить кровообращение, а потом принялся расхаживать из угла в угол, прекрасно зная, что это лучший способ досадить Крулю, погруженному в проверку вычислений.

— Могли бы и потише! — сказал наконец Круль, обращаясь к ним обоим, словно не видел, что ходит один Пиркс, а Массена, надев наушники и развалившись в пневматическом кресле, с увлечением слушает какую-то передачу. Пиркс открыл дверь — его обдало могучим потоком западного ветра — и, когда глаза немного привыкли к темноте, прислонился спиной к гудящей под напором ветра стене из листового алюминия и стал смотреть в ту сторону, откуда должен был появиться Анел. Он видел только редкие звезды, дрожавшие в воздухе, порывы ветра холодным потоком обрушивались ему на голову, спутывали волосы, а ноздри и легкие прямо-таки распирало от ветра — скорость была метров сорок в секунду. Он постоял, а когда ему стало холодно, вернулся в дом, где Массена, зевая, снимал с головы наушники и расчесывал пятерней волосы. Круль же, сморщенный, сухой, терпеливо складывал бумаги в папки, постукивая по столу пачкой листов, чтобы подравнять их.

— Нет его! — сказал Пиркс и сам удивился, как это прозвучало — почти как вызов. Круль и Массена, видимо, заметили, каким тоном это было сказано, потому что Массена быстро взглянул на Пиркса и бросил:

— Это ничего, дойдет, хоть и темно; вернется на инфракрасном...

Пиркс посмотрел на него, но ничего не ответил. Проходя мимо Круля, он поднял с кресла брошенную книжку и, усевшись в своем углу, притворился, что читает. Ветер усиливался. Звуки за окном нарастали, вздымались, переходили в вой. Что-то мягко шлепнуло о стену — или это ветка? — и опять потянулись минуты молчания. Массена, явно ожидавший, что всегда уступчи-

вый Пиркс возьмется готовить ужин, наконец встал и начал вскрывать банки саморазогревающихся консервов, каждый раз внимательно читая надписи на этикетках, словно надеялся найти среди запасов какое-нибудь неизвестное до сих пор лакомство. Пирксу есть не хотелось. Точнее, он был голоден, но ему не хотелось двигаться с места. Постепенно его начало охватывать недоброе, холодное бешенство, он ополчился бог весть почему на обоих товарищей, которые вообще-то были не худшими из возможных.

Считал ли он, что с Анелом что-то приключилось? Что робот, скажем, подвергся нападению «таинственных жителей» планеты, в которых не верит никто, кроме сказочников? Если б был хоть один шанс на сто тысяч, что планету населяют какие-то существа, они наверняка не сидели бы так, погрязнув в мелких делишках, а немедленно предприняли бы все возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах втором, пятом, шестом и седьмом восемнадцатого параграфа, а также третьим и четвертым разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было; не было вообще никаких шансов. Скорее взорвется солнце Йоты. Да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Анелом?

Пиркс ощущал, как непрочно спокойствие, царящее в доме, который содрогался под порывами ветра. Не один Пиркс делал вид, что читает и не хочет ужинать. Остальные тоже включились в игру, сначала незаметную, но все более явную по мере того, как уходило время.

По линии технического обслуживания Анел находился в подчинении у Массены как электроника, Круль же, будучи начальником группы, командовал им как членом экспедиции. Так что виноватым мог оказаться любой из них. Может, Массена чего-то недосмотрел, а может, Круль неточно указал трассу, по которой должен был пройти Анел? В конце концов выяснить это

было не так трудно и не из-за этого росло и нагнеталось молчание.

Крудль с самого начала помыкал роботом, награждал его презрительными кличками и не раз давал поручения, от чего остальные члены группы воздерживались хотя бы потому, что универсальный робот — не лакей. И делал он это, видимо, затем, чтобы, унижая Анела, тем самым досадить Массене, прямо задирать которого не решался.

Теперь шла борьба нервов — первый, кто проявит беспокойство о судьбе Анела, тем самым как бы признает себя побежденным. Впрочем, Пиркс чувствовал, что и он оказался втянутым в это молчаливое соревнование, столь дурацкое и одновременно столь напряженное. Он подумал, с чего бы начал он сам, будь он руководителем. Наверно, с немногого — в такую ночь нельзя отправляться на поиски. Так или иначе, оставалось ждать утра, а сейчас разве что попытаться установить радиосвязь, причем с минимальными шансами на успех, так как радиус связи на ультракоротких волнах в сильно пересеченной горной местности был невелик.

До сих пор они еще никогда не посылали Анела одного, тем более что правила, не запрещая этого, обуславливали подобный шаг бесчисленными параграфами, полными оговорок. А впрочем, черт с ними, с параграфами! Пиркс считал, что Массена, вместо того чтобы раздраженно выковыривать из банки остатки пригоревшего мяса, мог бы все-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если б он сделал это сам. С Анелом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном ему слышать не приходилось.

Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе скрытые под маской равнодушия взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Крудль собствен-

норучно вычертил маршрут Анела. Не выглядит ли это так, будто он контролирует руководителя? Пиркс быстро поднял голову, встретил взгляд Крулля, который явно хотел ему что-то сказать и уже раскрыл было рот. Но, когда холодный взгляд Пиркса упал на него, он только кашлянул и, сгорбившись, продолжал сортировать бумаги. Видимо, Пиркс здорово подействовал на него своим взглядом, впрочем сам того не сознавая, — просто в такие минуты в нем просыпалось что-то, от чего на борту ракеты его слушались и уважали, но отчасти побаивались.

Он отложил карту. Трасса доходила до большой скалистой стены с тремя словно подмытыми потоком утесами и дальше огибала их. Мог ли робот не выполнить задания? Это было невероятно.

«Но ведь можно повредить ногу, даже попав в маленькую трещину!» — подумал Пиркс. Нет, это глупо. Робот, такой, как Азел, может упасть и с сорокаметровой высоты. И не из таких положений они выходят целыми и невредимыми. Металл, из которого они сделаны, крепче, чем хрупкие человеческие кости. Так что же случилось, черт побери?

Он выпрямился и с высоты своего роста взглянул сначала на Массену, который, оттопырив губу, дул, потягивая слишком горячий чай, потом на Крулля, наконец, демонстративно отвернувшись, пошел в крохотную спальню, где, пожалуй, с излишней резкостью выдернул из стены складную кровать и привычно, в четыре приема скинув одежду, забрался в спальный мешок. Он знал, что ему вряд ли заснуть, но сидеть с товарищами было уже невозможно. Впрочем, кто знает, останься он с ними подольше, пожалуй, он бы высказался, причем наверняка зря, потому что все равно завтра им предстоит расстаться; с того момента, как они войдут в корабль, опе-

ративная группа Иоты Водолея прекратит существование.

Ему уже начало мерещиться то да се, полусеребряные ручейки стекали из-под век, пушистые светлячки манили ко сну, он перевернул подушку на другую, более прохладную сторону — и вдруг словно воочию увидел перед собой Анела, такого, каким он ему запомнился за несколько минут до ухода. Массена как раз опоясывал автомат связкой ракетных патронов, которые позволяли, словно бы наперекор гравитации, несколько минут держаться в воздухе; впрочем, это устройство применяли все, разумеется, при обстоятельствах, учитываемых предусмотрительными инструкциями. Странная это была сцена — всегда странно смотреть, как человек помогает роботу. Обычно бывает как раз наоборот. Однако Анел не мог дотянуться рукой до кобур, укрепленных под торчащим словно горб, набитым до отказа рюкзаком. Он нес груз, достаточный для двух человек. Правда, это не приносило ему вреда — в конце концов он был просто машиной и в случае необходимости благодаря микроскопической стронциевой батарее, заменявшей ему сердце, развивал мощность в шестнадцать лошадиных сил. Однако сейчас Пирксу в предсонном дурмане все это, вместе взятое, видимо, не очень-то понравилось; он всей душой был на стороне молчаливого Анела и склонялся к мысли, что тот, подобно ему самому, вовсе не так уж спокоен по натуре, а только прикидывается спокойным, делая вид, что все идет как положено. Перед тем как окончательно погрузиться в сон, Пиркс подумал еще кое о чем. Это были те глубоко интимные мечты, каким только может предаваться человек, наверно, потому, что после пробуждения обычно не помнит о них, и то, что завтра он не будет помнить ничего, оправдывает сегодня все. Он вообразил себе ту сказочную, мифическую ситуацию, которая — он знал это не хуже других — была со-

вершенно невысмысленной: бунт роботов. И, ощущая в глубине души уверенность, что тогда он непременно оказался бы на их стороне, быстро погрузился в сон.

Пробудился он рано, неизвестно почему, и первой его мыслью было: ветер прекратился. Потом он вспомнил об Анеле и о своих видениях перед сном; его немного смутило то, что подобное вообще могло прийти ему в голову. Еще некоторое время он лежал, пока не пришел к успокоительному выводу, что эти сумеречные, зыбкие образы посетили его не наяву, но — в противоположность сну, который снится сам, — требовали незначительной, почти без участия сознания помощи с его стороны. Подобные психологические изыскания были ему чужды, поэтому он удивился, зачем забивает себе ими голову, слегка приподнялся на локте и прислушался: абсолютная тишина. Отодвинул штору иллюминатора над головой. Сквозь мутное стекло виднелся предрассветный туман. И только тут Пиркс понял, что придется идти в горы. Вскочил с кровати, чтобы заглянуть в общую комнату. Робота не было. Те двое уже встали. За завтраком Круль мимоходом, так, словно это было решено еще вчера, заметил, что выйти придется немедленно, так как вечером прибудет «Ампер», а сборка дома и упаковка вещей займут самое меньшее часа полтора. Он нарочно не уточнял, идут ли они из-за отсутствия данных или из-за Анела.

Пиркс молча ел за троих. Те двое еще допивали кофе, а он встал и, покопавшись в своем мешке, переложил в рюкзак моток белого нейлонового шнура, альпеншток и крючья. Подумав, добавил альпинистские ботинки — на всякий случай.

Они вышли, когда только начало рассветать. На бесцветном небе уже не было видно звезд. Тяжелая фиолетово-серая дымка на скалах, лицах, в самом воздухе была неподвижна и морозна, горы на севере черной массой застыли в темноте, а южный хребет, тот, который был

ближе, стоял словно высвеченная сверху маска с искристой оранжевой полосой над вершинами. Этот отсвет, далекий и призрачный, делал видимыми клубы пара, вырывающиеся из ртов трех человек. Хотя атмосфера была более разреженная, чем на Земле, дышалось легко. Остановились на краю равнины. Островки травы, темнея в сумраке уходящей ночи и надвигающегося из-за гор дня, остались позади. Перед ними лежала ледниковая морена, груды камней, казалось, просвечивали сквозь колеблющуюся воду. Еще несколько сотен метров вверх — и появился ветер; он налетал короткими порывами. Люди шли, легко перескакивая через небольшие камни, поднимаясь на большие; иногда каменная плита сухо стучала о другую, порой кусочек камня выскальзывал из-под ботинка и скатывался по склону под аккомпанемент разлетающихся отголосков, словно бы внизу кто-то просыпался. Порой поскрипывал наплечный ремень, звякали подковки на ботинках; эти скупые звуки придавали походу видимость согласия и четкости, словно двигалась спаянная единым желанием альпинистская группа. Пиркс шел вторым за Массеной. Было все еще слишком темно, чтобы как следует разглядеть рельеф далеких склонов. Пиркс напряженно вглядывался вдаль. Поскользнулся на валуне раз, другой, третий — неудачно поставил ногу, — но все же продолжал вглядываться, словно хотел убежать не только от тех, кто его окружал, но и от самого себя, от своих мыслей. Он вовсе не думал об Анеле, а только механически шарил взглядом по этому нагромождению древних скал, застывшему в полном безразличии, где лишь человеческое воображение могло усмотреть угрозу и вызов.

На этой планете были отчетливо различные времена года. Экспедиция началась в конце лета, а теперь горная осень, вся в пурпуре и желтизне, уже угасала в долинах, но, словно не замечая листьев, мчащихся в пенных гор-

ных потоках, солнце было все еще теплым, и в безоблачные дни на этом плоскогорье даже припекало. Только густеющие туманы напоминали о приближении морозов и снега. Но тогда на планете уже не должно было остаться никого; и эта побелевшая каменная пустыня, которую представил себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной.

Казалось бы, заметить, что тьма редет, было невозможно, однако с каждой минутой мрак отступал и вырисовывались новые детали. Небо уже совсем побледнело — еще не день, но уже не ночь, ничего похожего на зарю в это чистое и спокойно начинающееся утро, словно все оно было заключено в шар из охлажденного стекла. Поднявшись выше, они попали в полосу молочно-белого тумана, цепляющегося гибкими щупальцами за грунт, а когда туман остался позади, Пиркс увидел еще не освещенную солнцем, но уже различимую цель пути. Это был скалистый столб, примыкающий к основной горной цепи, а над ним, на несколько сотен метров выше, чернела двуглавая вершина, самая высокая из всех. На булавообразной вершине столба Анелу предстояло сделать последние замеры. Путь в обе стороны был легким — никаких неожиданностей, расщелин, ничего, кроме однообразной серой осыпи, кое-где пересеченной полосами плесени зеленовато-желтого цвета.

Пиркс, все еще легко перепрыгивая с одних гулких валунов на другие, вглядывался в совершенно черную на фоне неба стену и, может, затем, чтобы отогнать иные мысли, вообразил себе, что совершает обычное земное восхождение. И тотчас он другими глазами увидел скалы — действительно, можно было подумать, что целью экспедиции является покорение вершины, коль они идут прямо к хребту, тяжело выступающему из массы гравия. Гравий подходил к стене, закрывая одну треть ее, затем шло нагромождение заклиненных плит, а уже оттуда

огромная плоскость устремлялась вверх; она словно замерла, взметнувшись в небо; в каких-нибудь ста метрах над плитами стену перерезала другая горная порода — это выходил на поверхность диабаз; красноватый, светлее гранита, он неровной полосой наискось пересекал весь скат обрыва.

Некоторое время вершина приковывала взгляд Пиркса своей патетической линией, но стоило им приблизиться, как с пиком произошло то, что обычно происходит с горой: перспектива исчезла, распавшись на отдельные, заслоняющие друг друга участки, причем основание утратило прежнюю покатость, выдвинулись отроги, и взору открылись бесконечные террасы, полки, кончающиеся тупиками расщелины, хаос старых трещин, а над этим нагромождением блестела сама вершина, позолоченная первыми лучами солнца, со странно мягким контуром; наконец и она исчезла, заслоненная более близкими пиками; Пиркс уже не мог оторвать глаз от колосса — да, даже на Земле эта стена была бы достойна внимания и усилий, особенно из-за отчетливо видного диабазового вала. От него до вершины, залитой солнечным светом, путь казался коротким и легким, однако известную сложность представляли козырьки, особенно самый большой, внизу блестевший от влаги или льда, скорее черный, чем красный, словно свернувшаяся кровь.

Пиркс дал волю фантазии. Ведь это могла быть не безымянная вершина под чужим солнцем, а гора, которую не раз штурмовали и при этом терпели поражения, гора, покоряющая альпиниста присущим только ей своеобразием, — подобное чувство возникает, когда видишь хорошо знакомое лицо, на котором каждая морщина и каждый шрам имеют свою историю. Небольшие, едва различимые змейки трещин, темные нитки полок, мелкие выщербины — каждая из них могла стать отметиной, которую достигаешь во время очередного штурма, местом

длительных остановок, молчаливых раздумий, бурных натисков и мрачных отступлений, поражений, понесенных несмотря на то, что все тактические и технические ухищрения были использованы,— гора, настолько слившаяся с человеческими судьбами, что каждый альпинист, которого она отвергла, возвращался к ней снова и снова, с тем же неистощимым запасом надежды и веры в победу, и при новом штурме примерял к гладкой скалистой поверхности выношенный в памяти маршрут. У этой горы могла бы быть богатая история: окольные обходы, различные варианты ее покорения, хроника успехов и жертв, фотографии, помеченные пунктиром трасс и крестиками — самые высокие из достигнутых мест; Пиркс ухитрился представить себе это с величайшей легкостью, более того, ему казалось странным, что это не так.

Массена шел первым, слегка сутулясь. Постепенно разлившийся дневной свет не оставил больше никаких иллюзий насчет «легких мест» стены — это обманчивое ощущение легкости и безопасности было порождено голубоватой дымкой, так мирно обволакивающей каждый участок блестящей скалы. День, ясный и чистый, уже добрался до путешественников, от их ног тянулись длинные, колеблющиеся тени. От каменной стены к осыпи вели два больших стока, еще полных ночи; застывший поток гравия вздымался там и неожиданно исчезал, поглощенный крошечной тьмой.

Уже давно невозможно было охватить массив одним взглядом. Пропорции изменились, стена, издавна ничем не примечательная, являла неповторимую индивидуальность форм, а впереди, как бы постепенно вырастая из-под рассыпавшейся карточной колоды плоских плит, все увеличиваясь, вздымался вверх гигантский столб; он расширялся, рос, пока наконец не отеснил и не заслонил все остальное и остался один в холодной, мрачной тепи никогда не видавших солнца мест.

Они как раз ступили на пятно вечного снега, покрытое брызгами камней, слетавших с высоты, когда Массена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь. Пиркс, который подошел к нему первым, понял — Массена ткнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик динамика.

— Он был здесь?

Массена кивнул, поднеся к грязной, спрессовавшейся поверхности снега металлический прутик индикатора радиоактивности. Подошвы ботинок Анела были насыщены радиоактивным изотопом, и счетчик обнаружил его след. Робот прошел здесь вчера, только не известно, по пути туда или уже обратно. Во всяком случае, они отыскивали его трассу. Начиная с этого места, замедлили шаг.

Казалось, темный каменный столб вздымается рядом, но Пиркс знал, что в горах нельзя определять расстояние на глаз. Теперь они были выше линии снегов и валунов и шли по древней округлой грани. В полной тишине Пирксу казалось, будто он слышит попискивание в наушниках Массены, хотя это было, конечно, совершенно невозможно. Время от времени Массена останавливался, водил концом металлического прута, опускал его, почти касаясь скалы, рисовал в воздухе петли и восьмерки, будто древний маг, наконец, отыскав след, снова пускался в путь. Они уже приближались к тому участку, где Анел должен был провести замеры; Пиркс внимательно разглядывал скалу, словно искал следы, оставленные пропавшим.

Но скала была пуста.

Самая легкая часть пути осталась позади — впереди из-под основания столба торчали наклонившиеся под всевозможными углами плиты, будто кто-то специально сделал гигантский разрез скальных пород и приоткрыл каменное чрево, обнажив сердцевину горы, древнейшие

слои, местами потрескавшиеся под чудовищной тяжестью всей этой стены, на целые километры взметнувшейся в небо. Еще сто, сто пятьдесят шагов — дальше пройти невозможно.

Массена, вода перед собой концом индикатора, кружил па первый взгляд бесцельно и бессмысленно, с бесстрастным выражением лица, прищулив глаза, сдвинув на лоб темные очки, потом остановился и сказал:

— Он был здесь. И довольно долго.

— Откуда ты знаешь? — спросил Пиркс.

Массена пожал плечами, вытащил из уха шарик, от которого тянулась тонкая нитка провода, и вместе с прутком индикатора протянул Пирксу. Пиркс услышал стрекотание и писк. На поверхности скалы не было ни отпечатков, ни следов — ничего, только этот звук, отдающийся в голове пронзительным звоном, свидетельствовал, что Анел, должно быть, действительно довольно долго топтался здесь. Почти каждый метр поверхности выдавал его присутствие. Постепенно в хаосе звуков Пиркс сумел что-то уловить — по-видимому, Анел пришел той же дорогой, какой и они, расставил треногу аппарата и ходил вокруг него, пока делал замеры и снимки, несколько раз передвигал треногу в поисках более удобного места для наблюдения. Да, картина получалась вполне ясная. Но что же произошло потом?

Пиркс принялся делать вокруг этого места все более широкие круги, двигался по спирали, чтобы отыскать след, идущий от центра, след возвращения, но такого следа не было. Получалось, будто Анел вернулся, ступая точно по собственному следу, но это уж выглядело совершенно неправдоподобно. Ведь у него не было чувствительного к радиации индикатора и он не мог знать, где проходил раньше, да еще с точностью до сантиметра.

Крулль что-то говорил Массене, но Пиркс, не слушая, продолжал кружить, и вдруг ему показалось, что наущ-

ники пискнули — один раз, но явственно. Он замедлил шаг. Да, здесь. Он оглянулся. След был у стены, как будто робот повернул не к лагерю, а, напротив, двинулся к скальному столбу.

Это было непонятно. Что ему там понадобилось?

Пиркс искал еще хотя бы один след, но скалы молчали, и ему пришлось проверять все потрескавшиеся плиты, нагроможденные у основания колонн; трудно было предугадать, на какую из них Анел поставил ногу. Наконец Пиркс отыскал след в пяти метрах от предыдущего; неужели Анел прыгнул так далеко? Но зачем? Он опять отступил и немного погодя обнаружил потерянный след — робот перескакивал с камня на камень. Вдруг Пиркс, плавно водивший прутом по камням, вздрогнул, словно у него в голове взорвался разрывной патрон; крохотный динамик-шарик в ухе так взвыл, что Пиркс поморщился почти как от боли. Он взглянул на каменную плиту и остолбенел. Заклиненный между двумя камнями, на дне естественного колодца лежал целехонький аппарат рядом с фотографической камерой. По другую сторону плиты к камню был прислонен упакованный как полагается рюкзак Анела с расстегнутыми ремнями. Пиркс кликнул остальных. Круль проверил кассеты — походило на то, что все замеры были проделаны. Работа была сделана. Оставалось только выяснить судьбу Анела. Массена сложил ладони рупором и несколько раз громко крикнул. Далекое, протяжное эхо отозвалось от скал. Пиркс даже вздрогнул; этот призыв прозвучал для него так, словно искали человека, заблудившегося в горах. Спустя минуту интеллектроник вынул из кармана плоскую коробочку передатчика, присел на корточки и начал вызывать робота, но было видно, что делает он это скорее по обязанности, чем по убеждению. Тем временем Пиркс продолжал искать следы. Походило на то, что робот довольно долго топтался на одном месте — столько

едва слышных писков издавал наушник. Чересчур большое количество следов окончательно сбilo Пиркса с толку. Наконец он грубо очертил границу района, которую робот наверняка не пересекал, и стал ходить вдоль нее, рассчитывая на то, что отыщет новый след, который укажет направление дальнейших поисков.

Описав очередной круг, он вернулся к скале. Между каменным выступом, на котором он стоял, и совершенно отвесной скалой, вздымающейся вверх, зияла полуметровая расщелина; ее дно было усеяно мелкими остроконечными обломками гравия. Пиркс тщательно исследовал и это место, но наушники молчали. Он оказался перед совершенно непонятной загадкой: Анел словно растворился в воздухе. Массена и Круль вполголоса совещались за его спиной, а он медленно поднял голову и впервые с такого близкого расстояния взглянул на уходящий вверх каменный столб.

Непреодолимой была сила вызова, которую он ощущал в каменном покое скалы; скорее, это был даже не вызов, а что-то похожее на протянутую руку. Тут же у Пиркса появилась уверенность, что от этого нельзя отказываться, что это начало дороги, по которой он не может не пойти. Совершенно произвольно он представил себе первые шаги; тут все было ясно. Одним длинным, точно рассчитанным прыжком можно перемахнуть через щель и сразу оказаться на небольшом уступе, затем надо двигаться наискосок, вдоль трещины, чуть дальше переходящей в неглубокую расщелину. Не зная толком, зачем он это делает, Пиркс поднял индикатор и, высунувшись насколько мог, поднес его к каменному уступу по другую сторону щели. Динамик пискнул. Для верности Пиркс еще раз повторил ту же операцию, с трудом удерживая равновесие, и снова услышал короткий писк. Теперь он уже не сомневался.

— Анел пошел наверх,— вернувшись к товарищам, спокойно произнес он и указал на каменный столб.

Крульль вроде бы не понял, а Массена повторил:

— Наверх? Не понимаю. Зачем наверх?

— Не знаю. Туда ведет след,— ответил Пиркс с притворным безразличием.

Массена был склонен думать, что Пиркс ошибся, но тут же убедился сам, что это правда. Анел одним широким шагом перемахнул через щель и пошел вдоль каменного завала. Возникло замешательство. Крульль считал, что после того, как замеры были сделаны, робот вследствие какого-то дефекта распрограммировался; Массена придерживался того мнения, что это невозможно — ведь Анел оставил все аппараты и рюкзак совсем так, будто обдуманно готовился к трудному восхождению, и, значит, что-то заставило его сделать это.

Пиркс молчал. Он уже решил, что пойдет, даже если придется идти одному; Крульль все равно не пошел бы, потому что это требовало альпинистских навыков, и немалых. От Массены он слышал, что тот ходил много и, кажется, был неплохо знаком с техникой восхождения на крючьях; и, когда наступило молчание, он просто сказал, что намерен идти — готов ли Массена сопровождать его?

Крульль тут же стал возражать: инструкция запрещает подвергать людей опасности, в полдень за ними прилетит «Ампер», им еще предстоит сложить дом и упаковать вещи, замеры сделаны, робот явно попал в аварию, стало быть, надо открыто признать, что он исчез, то есть изложить в отчете обстоятельства его исчезновения.

— Значит ли это, что мы должны оставить его здесь и улететь? — спросил Пиркс.

Его спокойствие, казалось, раздражало Крулля, который, едва сдержавшись, ответил, что в докладе исчерпы-

вающе изложит все события, не забудет привести мнения членов экспедиции и даст наиболее правдоподобное объяснение случившемуся: выход из строя мнестронов памяти либо направленного мотиварного контура или же десинхронизация...

Массена заметил, что ни первое, ни второе, ни третье невозможно, поскольку у Анела вообще нет никаких мнестронов, а есть лишь однородная монокристаллическая система, выращенная молекулярно из переохлажденных диамагнитных растворов, обогащенных изотопными элементами...

Было ясно, что он хотел уязвить Крулля, показать ему, что тот говорит о вещах, в которых вообще ничего не смыслит. Пиркс перестал прислушиваться к разговору. Отвернувшись, он снова смерил взглядом основание столба, но уже иначе, чем до этого, — воображаемое стало реальным и, хоть ему было немного не по себе, он чувствовал явное удовлетворение, что может вступить в единоборство с горой.

Массена решил идти с Пирксом, быть может, для того, чтобы окончательно противопоставить себя Круллю. До Пиркса долетали обрывки их разговора: загадку необходимо выяснить любой ценой, а если они просто вернутся, то, может быть, упустят что-то столь же важное, сколь и таинственное, вызвавшее такую неожиданную реакцию робота, и, если существует всего лишь пять шансов из ста, что это «что-то» произошло, риск восхождения будет полностью оправдан.

Крулля, надо отдать ему должное, признал себя побежденным и больше не тратил слов. Воцарилось молчание. Массена начал снимать со спины аппараты, а Пиркс, который тем временем уже приготовил свою веревку, молоток, крючья и сменил тяжелые ботинки на легкие, украдкой поглядывал на него. Пиркс видел, что Массена немного расстроен. Вероятно, на него подействовала не

столько стычка с Круллем — это было делом привычным, — сколько мысль, что он, видимо, сгоряча впутался в историю, из которой теперь не выпутаться. Пиркс подумал, что, предложи он Массене остаться, тот, может, и согласился бы. Впрочем, тут была задета честь! Однако Пиркс молчал, потому что, хоть вначале восхождение и обещало быть легким, нельзя было предсказать, что ждет их выше, особенно там, где большую часть каменной стены заслоняли козырьки. Ведь он даже не осмотрел стены в бинокль, потому что не собирался штурмовать ее. А все же взял веревку и крючья — зачем? Вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, он стоял и ждал Массену. Потом они уже вдвоем медленно двинулись к подножию скалы.

— Я пойду первым, — сказал Пиркс, — сразу же на всю веревку, а там поглядим.

Массена кивнул. Пиркс еще раз обернулся — посмотрел, что делает Круль, с которым они расстались в полном молчании. Круль стоял на прежнем месте около брошенных рюкзаков. Пиркс и Массена были уже так высоко, что могли видеть раскинувшееся за северными отрогами оливковое пятно далеких низин. Основание каменистой осыпи еще лежало в тени, только вершины гор ослепительно блестели, освещая выщербины почти совершенно плоской стены, высоко вздымающейся над ними.

Пиркс сделал большой шаг, нащупал ногой выступ, оттолкнулся и легко подался вверх. Первые метры были действительно не трудны. Он двигался размеренно, как бы лениво, перед самыми глазами проплывали шершавые слои скалы, неровные, с впадинами более темного цвета. Он упирался, подтягивался, делал бросок вверх, чувствуя неподвижное, морозное прикосновение ночи, идущее от каменного массива. Сердце забилось быстрее, он дышал свободно, из-за работы мускулов приятное тепло разли-

лось по телу. Массена, шедший вторым, понемногу травил веревку, и в прозрачном воздухе было отчетливо слышно, как она шуршит, касаясь скалы. Прежде чем веревка кончилась, Пиркс отыскал удобное для страховки место; может, кого-нибудь другого он бы просто вытянул паверх, но сейчас ему хотелось проверить, чего стоит Массена. Он стоял, втиснувшись в трещину, которая шла под небольшим углом через весь столб, и, ожидая Массену, мог рассмотреть большую расщелину, которую они обходили, двигаясь параллельно ей — она как раз тут расширялась, серый камнепад образовал вогнутую нишу; снизу это место выглядело совершенно неинтересным, плоским, и только тут во всем своем великолепии стала видна поверхность скалы. Пирксу было так хорошо в одиночестве, что теперь, увидев рядом Массену, он словно возвратился к действительности. Они сразу же двинулись дальше. Так они и взбирались вверх, ритмично и спокойно, и на каждой остановке Пиркс ловил индикатором сигналы, проверяя, не выдаст ли писк в наушнике присутствия автомата. Только раз он сбился со следа, и пришлось отказаться от удобной расщелины, потому что Анел поднялся здесь наискось по стене, хотя и не был альпинистом; Пиркс легко угадывал все его последующие решения, настолько — если можно так выразиться — однозначна, логична была эта дорога в скале, дающая возможность поскорее достичь вершины. Во всяком случае, было ясно, что Анел совершил восхождение. Пиркс ни на одну минуту не задумался, зачем робот сделал это. Он приучил себя не рассуждать напрасно. Понемногу он знакомился со скалой — своим противником. В его памяти всплыли, казалось бы, забытые способы и приемы, он безошибочно угадывал, что и когда делать; и, хотя ему довольно часто приходилось высвобождать одну руку, чтобы поискать индикатором радиоактивный след, это не доставляло ему никаких хлопот.

Один раз, держась за выступающий камень, который тем не менее крепко сидел в скале, Пиркс посмотрел вниз. Они были уже довольно высоко, хотя, казалось, двигались медленно. Крулль уже превратился в маленькое пятнышко — зеленоватый комбинезон на плоской серой осыпи, так что Пиркс не сразу отыскал его на дне воздушного колодца, который разверзся у самых ног.

На пути попалась небольшая щель; дорога становилась трудней, но с каждой минутой восстанавливались навыки, и подчас безопаснее было довериться собственному инстинкту, чем сознательно обдумывать выбор приемов; в том, что дорога стала трудней, Пиркс убедился в ту минуту, когда хотел освободить правую руку, чтобы взять свисавший с пояса индикатор, — и не смог этого сделать. У него была только одна точка опоры для левой руки и что-то весьма непонятное под носком правого ботинка; отодвинувшись насколько возможно от скалы, он попытался отыскать опору для другой ноги и не нашел. Тогда он отказался от индикатора, потому что выше вроде бы угадывалась небольшая полочка.

Она была покрыта ледяной коркой и наклонена в сторону пропасти, но в одном месте лед был сбит с камня. Пиркс никогда бы не смог этого сделать. Ему пришлось в голову, что тут поработал ботинок Анела — ведь робот весил около четверти тонны.

Массена, который до сих пор шел вовсе недурно, что-то начал отставать.

Они приближались к вершине каменного столба. Скала, по-прежнему шершавая, начинала все явственнее наклоняться в сторону пропасти, и идти дальше без солидной опоры было невозможно; в нескольких метрах выше расщелина, до сих пор достаточно широкая, кончилась, у Пиркса оставалось еще метров пять свободной веревки, но он приказал Массене выбрать ее, чтобы осмотреться. Прошел же здесь робот — без крючьев, без веревки и без стра-

ховки. «А стало быть, и я смогу»,— подумал Пиркс. Он стал ощупывать скалу над головой; правую ступню, заклиненную в сузившейся расщелине, по которой он до сих пор передвигался, кольнуло от резкого поворота. Вот кончиками пальцев он нащупал узенькую площадку. Держась за нее, пожалуй, можно было подтянуться, ну а дальше что?

Это было уже соперничеством не только со скалой, но как бы и с Анелом — ведь он здесь прошел, и к тому же один. Правда, у него стальные пальцы... Пиркс начал высвобождать ступню из щели; при этом небольшой камешек выскочил из-под ноги и помчался вниз. До Пиркса отчетливо донесся свист рассекаемого воздуха, и через несколько долгих мгновений — ох, как нескоро! — четкий, резкий удар. «Ну что ж,— подумал он,— ситуация ясна». Он решил не подтягиваться и стал искать место, где можно было бы вбить костыль. Однако на скале не было и намека на трещину; Пиркс высунулся насколько мог, но ничего не нашел.

— Что там? — донесся снизу голос Массены.

— Порядок. Осматриваюсь,— сказал он.

Нога давала о себе знать, он чувствовал, что долго в таком положении ему не протянуть. Эх, если б можно было найти другой путь! Но стоит только потерять след, и его уже не отыщешь на этой высоченной стене. Он поднял глаза вверх и стал пристально вглядываться. Каменная поверхность стены, которая отсюда была видна под очень небольшим углом зрения, казалась покрытой многочисленными трещинами, но в действительности впадин почти не было — рассчитывать можно было только на ту полочку. Когда он, подтянувшись на обеих руках вверх, извлек ступню из расщелины, у него мелькнула мысль, что ворота уже нет: он висел, скала сразу же как бы оттолкнула его, носки ботинок отделились от нее сантиметров на тридцать. Вверх! Что-то мелькнуло у него над головой.

Трещина? Но до нее надо было дотянуться. Еще немного! В следующую секунду он потерял способность размышлять: надо повиснуть на кончиках четырех пальцев правой руки, отпустить левую и дотянуться ею до той царапины или же трещины неизвестно какой глубины. «Этого нельзя было делать!» — мелькнуло у него в голове, когда он вдруг оказался на два метра выше и всем телом прижался к скале; чувствуя, что еще секунда, и мускулы лопнут, он тяжело дышал и злился на себя; теперь он обеими ногами стоял на полочке и мог вбить костыль, для верности даже два, потому что первый вошел не очень глубоко. Так он и поступил, с удовольствием вслушиваясь в чистый, звенящий высокий звук. Веревка заскочила в карабин. Пиркс знал, что придется помочь Массене; нельзя сказать, чтобы все прошло очень гладко, но ведь это же не Альпы, по крайней мере сейчас положение у него было вполне сносное.

Над полочкой была узкая, очень подходящая трещина. Пришлось взять короткий прут индикатора в зубы, потому что Пиркс боялся ударить им о камень. Выше виднелась порода другого цвета. Черная стена с древними, коричнево-серыми подтеками осталась внизу, а над головой слабо искрился рыжеватый, покрытый коричневато-красными прожилками диабаз. Несколько метров — и эта царская дорога кончилась; над головой опять был новый козырек, его невозможно было взять с таким небольшим количеством крючьев, да к тому же и без полочки под ногами, однако ведь у Анела не было ничего. Пиркс пустил в ход индикатор: робот туда не пошел. Значит, оставалось двигаться вперед по горизонтали...

Сначала это показалось ему не очень трудным и не слишком опасным. Здесь столб как бы вновь обретал свою форму; Пиркс стоял на узкой, но вполне подходящей полочке, которая доходила до излома и там обрывалась; высунувшись, он увидел, что она продолжается за выпук-

лостью скалы, в каких-нибудь полутора метрах — наверняка меньше чем в двух. Значит, надо было обвиться телом вокруг выступа и, потеряв опору для правой ступни, оттолкнуться левой так, чтобы, описав кривую над пропастью, правой упереться в продолжение полки. Он искал, куда можно было бы вбить костыль — с подстраховкой это не представляло бы особого труда. Но зловредная стена и здесь была совершенно монолитной. Он глянул вниз: с того места, которое мог занять Массена, страховка была полнейшей фикцией. Сорвавшись, он летел бы по меньшей мере метров пятнадцать, рывком могло вырвать даже хорошо вбитые костыли. И однако индикатор говорил, что робот проделал этот путь — один! «Что же это значит, черт побери?! — сказал он себе. — По другую сторону есть полка! Только один шаг! Ну, вперед, растяпа!» Но он продолжал стоять. Если бы хоть удалось натянуть веревку — где там! Он высунулся и несколько секунд смотрел на полку, дольше не мог — начали дрожать мускулы. А если нога соскользнет? У Анела были стальные подошвы. Полка светилась — тающий лед. Скользко, черт побери. Надо было взять с собой вибрамы...

— И написать завещание, — беззвучно прошептал он. Глаза у него сощурились, взгляд застыл. Ссутулившись, раскинув руки, ища опоры в шероховатости скалы, он обвил ее телом и сделал тот шаг, который столько ему стоил. Оказавшись по другую сторону, он даже не почувствовал удовлетворения, так как увидел, что влип. Полка на той стороне была ниже — значит, на обратном пути придется прыгать вверх. Да еще с таким фортелем на изломе скалы — это уже было не восхождение или акробатика, а черт знает что! Спускаться на веревке? Ведь если не...

Он понимал, что это уже полнейший идиотизм, но продолжал идти дальше, пока мог. Он совершенно забыл об Анеле, было не до него. Под ним раскачивалась слегка

натянутая веревка, она была четко видна, предательски близка и осязаема, она вырисовывалась на фоне осыпи, расплывшейся в голубоватой дымке у основания стены. Полка кончилась, и отсюда не было пути ни вверх, ни вниз; пути назад тоже не было. «Никогда в жизни не видел ничего более гладкого», — подумал он как-то особенно спокойно, однако теперь у него было другое состояние, потому что хуже ничего представить невозможно и нервничать было уже совершенно ни к чему. Он осмотрелся. Под ногами — четырехсантиметровый выступ, а дальше — конец, только нечеткое, темное пятнышко расщелины, которая, казалось, манила его к себе; Пиркса отделяли от нее четыре метра по стене, такой плотной, такой отвесной, какую только можно себе вообразить. «И это называется гранит?!» — с досадой подумал он. Видимо, здесь временами текла вода — в этом месте каменная плита потемнела, он даже видел отдельные капли; Пиркс взял индикатор в правую руку и начал водить им, пытаясь отыскать следы робота. Послышался слабый писк. Значит, Анел тут прошел. Но как? Вдруг он заметил маленькое пятнышко — серый, как скала, мох. Сорвал его. Малюсенькая углубинка, величиной с ноготь. Костыль не желал входить больше чем наполовину, но и это было спасением. Он дернул за кольцо — сидит? В общем-то сидит. Итак, теперь левой рукой за костыль и потихоньку... Отпрянув от скалы, он случайно отвел глаза от щели, которая так и манила его, словно бы созданная веками ради одного мимолетного мгновения, которое должно было наступить; тогда его взгляд камнем полетел вниз — и наконец выхватил голубоватую искру на сером фоне осыпи.

Решающий шаг так и не был сделан.

— Что там? — раздался голос Массены.

— Сейчас! Минутку! — отозвался Пиркс, перебрасывая веревку через карабин. Ему необходимо было все как следует рассмотреть. Он снова отпрянул, почти всей тя-

жестью повиснув на костыле, словно пытался вырвать его из стены. Нужно проверить...

Да, это был Анел. Что же еще могло так блестеть там, внизу? Ведь трасса уже давно отошла от вертикали, и теперь он отклонился в сторону метров на триста от того места, с которого они начали восхождение. Пиркс искал каких-нибудь более приметных ориентиров там, внизу. Веревка сдавливала грудь, было трудно дышать, кровь стучала в висках. Пиркс пытался запомнить детали: вон тот большой валун — его удастся узнать, хотя сейчас он виден под другим углом. Когда он принял вертикальное положение, его стала бить дрожь. «Придется съезжать», — сказал он себе и как-то совершенно бездумно взялся за костыль, который сразу вылез, словно сидел в масле; он почувствовал себя странно, но спрятал костыль в карман и начал обдумывать, как выбраться отсюда. Это удалось, хотя все сошло не очень гладко: Массена у себя понабивал крючьев, укоротил веревку, а Пиркс попросту пролетел метров восемь вдоль плиты и повис; ниже была другая щель, и в нее они уже съезжали попеременно. Когда Массена спросил, почему они возвращаются, он ответил:

— Я его нашел.

— Анела?

— Да. Он упал. Лежит там, внизу.

Обратный путь длился меньше часа. Пиркс, не жалея, оставлял костыли в скале. Это было интересное чувство — думать, что никогда уже не поставят тут ноги ни он, ни кто-то другой, а в этой скале будут торчать кусочки железа, обработанного на Земле, и они будут торчать всегда, вечно.

Когда, спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы, Крулл подбежал к ним и уже издали крикнул, что нашел брошенные неподалеку реактивные кобуры Анела. Робот,

вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошел на стену, что было уже явным доказательством его аберрации, так как в случае падения только они и могли ему помочь.

Массена, казалось, не обращал ни малейшего внимания на открытие Крулля — он и не думал скрывать, чего стоило ему восхождение: наоборот, демонстративно уселся на валуне, широко расставив ноги, словно наслаждался твердостью грунта, и чересчур усердно вытирал платком лицо, лоб и шею.

Пиркс сказал Круллю, что Анел упал; спустя несколько минут пошли его искать. Поиски длились недолго. Он падал с высоты метров триста. Панцирь разлетелся, металлический череп тоже, и монокристаллический мозг распался на маленькие стеклянные осколки, блестевшие на беловатых камнях, словно слюда. К счастью, Круллер не упрекнул их, что восхождение было совершенно бесцельным. Он только повторял не без удовольствия, что Анел распрограммировался: оставленные кобуры — бесспорное доказательство этому. На Массену восхождение повлияло, но не в лучшую сторону; он даже не пытался возражать, и вообще, казалось, он только и ждал того момента, когда группу расформируют и они расстанутся окончательно. Поэтому возвращались в молчании, тем более что Пиркс не считал для себя обязательным высказывать собственное мнение о происшествии. Он был убежден, что дело тут вовсе не в технических неполадках, и то, что произошло, не имело ничего общего с какими-то монокристаллами или мнестронами. Разве же он, Пиркс, тоже «распрограммировался», коль ему так сильно хотелось покорить эту стену? Просто Анел был более похож на своих конструкторов, чем им бы этого хотелось. Когда он выполнил задание, у него оставалось еще много времени — он ведь был очень исполнительен и скор. Он не только видел, но и понимал окружающее; он был создан для разрешения трудных задач, то есть для игры, а тут подвернулась игра довольно

редкая и с наивысшей ставкой. Пиркс не мог удержаться от улыбки, когда подумал о слепоте Крулля и Массены; сознательно отложенные Анелом реактивные патроны они сочли доказательством — уже совершенно бесспорным — того, что робот распрограммировался. Но ведь любой человек поступил бы точно так же, в противном случае все предприятие вообще не имело смысла, а превратилось бы лишь в разновидность гимнастики. О нет! Технические неполадки тут были ни при чем, и никакие выводы, уравнивания, никакие кривые уже не могли переубедить Пиркса. Его удивляло только одно — что Анел не упал раньше, — ведь он шел один, без навыков, без тренировки, ведь его строили не для того, чтобы он сражался со скалами. Что произошло бы, если б он вернулся? Неизвестно почему, Пиркс был убежден, что они никогда не узнали бы об этом. Во всяком случае, от Анела. А в том месте он решил прыгнуть. Что он при этом думал? Наверно, ничего, как и сам Пиркс. Дотронулся ли он до края расщелины? Если да, там должен остаться след, след радиоактивных атомов, которые будут постепенно распадаться, пока наконец не испарятся и не исчезнут.

Пиркс знал, что он никому об этом не скажет. На его месте всякий настойчиво придерживался бы гипотезы, сваливающей все на технические неполадки, гипотезы самой простой и самой естественной — ведь только она не изменяла картину мира.

К стоянке пришли в полдень, торопливо разобрали дом, который исчезал целыми секциями, так что наконец на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырехугольная площадка. Пиркс перепосил ящики, сворачивал металлические листы, то есть делал все то, что должен был делать Анел; когда он это осознал, он немного помедлил, прежде чем подать груз протянувшему руки Массене.

ДОЗНАНИЕ

— Шеннэн Куин!

— Я, командор.

— Вы являетесь свидетелем по делу, которое слушается в Космическом трибунале под моим председательством. При обращении ко мне следует употреблять слово «председатель», а членов трибунала полагается именовать «судьями». На вопросы членов трибунала вы должны отвечать незамедлительно, а на вопросы обвинения и защиты — только с разрешения трибунала. В своих показаниях вы можете основываться лишь на том, что сами видели и знаете по собственному опыту, а не на том, что слышали от третьих лиц. Вам понятны эти разъяснения?

— Да, председатель.

— Вас зовут Шеннэн Куин?

— Да.

— Однако в команду «Голиафа» вы были включены под другой фамилией?

— Да, председатель; это было одним из условий договора, который заключали со мной арматоры.

— Вы знали причины, по которым вам дали псевдоним?

— Я знал эти причины, председатель.

— Вы принимали участие в эллиптическом полете «Голиафа» в период с восемнадцатого по тридцатое октября текущего года?

— Да, председатель.

— Какие функции выполняли вы на борту?

— Я был вторым пилотом.

— Расскажите трибуналу, что произошло на борту «Голиафа» во время вышеупомянутого полета, а именно двадцать первого октября. Начните с данных, касающихся

местонахождения корабля и поставленных перед вами задач.

— В восемь тридцать по бортовому времени мы пересекли внешний периметр спутников Сатурна на гиперболической скорости и начали торможение, которое продолжалось до одиннадцати. За это время мы сбросили гиперболическую и на удвоенной орбитальной нулевой начали маневр перехода на круговую орбиту, чтобы, находясь на ней, вывести искусственные спутники в плоскость кольца.

— Говоря об удвоенной нулевой, вы имеете в виду скорость пятьдесят два километра в секунду?

— Да, председатель. В одиннадцать кончилась моя вахта, но, поскольку при маневрировании приходилось непрерывно корректировать курс, я только поменялся местами с первым пилотом, который с этого момента вел корабль, тогда как я исполнял обязанности штурмана.

— Кто приказал вам так поступить?

— Командир, судья. Вообще-то это обычный порядок в таких условиях. Нашей целью было подойти как можно ближе на безопасное расстояние к границе Роша в плоскости кольца и оттуда, с почти круговой орбиты, поочередно запустить три зонда-автомата, которые потом надлежало дистанционным способом, управляя по радио, ввести в пределы сферы Роша. Один из зондов следовало вывести на орбиту внутри щели Кассини, то есть в пространство, отделяющее внутреннее кольцо Сатурна от внешнего, а остальные два предназначались для контроля за его движением. Может быть, нужно объяснить подробнее?

— Объясните.

— Слушаюсь, председатель. Оба кольца Сатурна состоят из мелких частиц и разделены щелью шириной около четырех тысяч километров. Искусственный спутник, движущийся в этой щели вокруг планеты, должен был доставить информацию о возмущениях гравитационного

поля, а также об относительных внутренних движениях частиц, из которых состоит кольца. Но возмущения орбиты очень скоро вытолкнули бы такой спутник из этого свободного пространства — либо в зону внутреннего кольца, либо в зону внешнего, где его, конечно, стерло бы в порошок. Чтобы этого не произошло, мы должны были запустить два специальных спутника, имеющих собственную тягу на ионных двигателях — сравнительно маломощных, порядка одной четвертой — одной пятой тонны, и этим двум спутникам-«сторожам» предстояло с помощью радаров следить, чтобы тот, который движется по орбите внутри щели, не выходил из нее. Бортовые калькуляторы этих «сторожей» должны были рассчитывать необходимые поправки для орбитального спутника и соответствующим образом включать его двигатели. Это позволяло надеяться, что спутник будет работать, пока у него хватит горючего, то есть около двух месяцев.

— С какой целью предполагалось вывести на орбиту два контролирующих спутника? Не считаете ли вы, что хватило бы одного?

— Наверняка хватило бы, судья. Второй «сторож» был, попросту говоря, про запас, на случай, если первый подведет или будет уничтожен при столкновении с метеоритами. При астрономических наблюдениях с Земли пространство вокруг Сатурна — вне кольца и лун — кажется пустым, но в действительности оно порядком засорено. В таких условиях, разумеется, невозможно избежать столкновений с мелкими метеоритами. Именно поэтому нам надлежало поддерживать круговую орбитальную скорость — ведь практически все обломки вращаются в экваториальной плоскости Сатурна с его первой космической скоростью. Это уменьшало вероятность столкновения до приемлемого минимума. Кроме того, у нас на борту была противометеоритная защита в виде выстреливаемых экранов: ими можно выстрелить с пульта первого пилота или

же это мог сделать соответствующий автомат, сопряженный с корабельным радаром.

— Считали ли вы это задание трудным или опасным?

— Оно не было ни слишком трудным, ни особенно опасным при условии, что все маневры будут проделаны четко и без помех. У нас считается, что окрестности Сатурна — это мусорная свалка, похуже чем возле Юпитера, но зато ускорения, которые требуются для маневра, там куда меньше, чем на юпитерианской орбите, а это дает значительное преимущество.

— Кого вы имели в виду, говоря «у нас»?

— Пилотов... ну, и навигаторов.

— Одним словом, космонавтов?

— Да. Примерно в двадцать часов по бортовому времени мы подошли практически к внешней границе кольца.

— В его плоскости?

— Да. На расстояние около тысячи километров. Датчики уже там констатировали значительное запыление пространства. Корабль получал около четырехсот пылевых микроударов в секунду. В соответствии с программой мы вошли в сферу Роша над кольцом и с круговой орбиты, практически параллельной щели Кассини, начали выбрасывать зонды. Первый зонд мы выбросили в пятнадцать часов по бортовому времени и с помощью радарного пульсатора ввели его в щель. Это было как раз моей обязанностью. Первый пилот помогал мне, поддерживая минимальную тягу. Благодаря этому мы обращались практически с той же скоростью, что и кольца. Кальдер маневрировал очень умело. Он держал тягу именно на таком уровне, который позволял правильно ориентировать корабль — носом вперед. Без тяги сразу же начинается кувыркание.

— Кто, кроме вас и первого пилота, находился в рулевой рубке?

— Все. Вся команда. Командир сидел между мной и Кальдером, ближе к нему, потому что он так расположил свое кресло. За мной находились инженер и электронщик, Доктор Барнс сидел, кажется, за командиром.

— Вы в этом не уверены?

— Я не обратил на это внимания. Я был все время занят, да и вообще с кресла трудно оглядываться назад. Спинка слишком высока.

— Зонд был введен в щель визуально?

— Не только визуально. Я поддерживал с ним непрерывную телевизионную связь. Кроме того, я использовал радарный дальномер. Вычислив данные орбиты зонда, я удостоверился, что он посажен хорошо — примерно посередине между кольцами, — и сказал Кальдеру, что я готов.

— Сказали, что вы готовы?

— Да, к запуску следующего зонда. Кальдер включил лапу, люк открылся, но зонд не вышел.

— Что вы называете «лапой»?

— Гидравлический поршень, который выталкивает зонд из наружной катапульты после открытия люка. У нас на корме было три такие катапульты, и этот маневр следовало повторить трижды.

— Значит, второй по счету спутник не покинул корабля?

— Нет, он застрял в катапульте.

Опишите подробно, что к этому привело.

— Очередность операций была такой: сначала открывается внешний люк, потом включается гидравлика, а когда индикаторы показывают, что спутник выходит, включается его стартовой автомат. Автомат дает зажигание с задержкой в сто секунд, чтобы при аварийной ситуации успеть его выключить. Автомат запускает малый бустер на твердом топливе, и спутник отходит от корабля на собственной тяге — порядка одной тонны в течение пятнадцати секунд. Нужно, чтобы он отошел от корабля-матки

как можно быстрее. Когда бустер выгорает, автоматически включается ионный двигатель, находящийся под дистанционным управлением штурмана. В данном случае Кальдер уже включил автомат запуска, потому что спутник начал выдвигаться, а когда спутник вдруг застрял, он пытался выключить автомат, но это ему не удалось.

— Вы уверены в том, что первый пилот пытался выключить стартовый автомат зонда?

— Да, он возился с рукояткой, ее заклинило. Не знаю почему, но заряд все-таки сработал. Кальдер крикнул: «Блок!» — это я сам слышал.

— Он крикнул «блок!»?

— Да, что-то там заблокировалось. Оставалось еще полминуты до запуска бустера, так что Кальдер снова попытался вытолкнуть зонд, увеличив давление. Манометры показывали максимум, но зонд все равно сидел как приклеенный. Тогда Кальдер отвел поршень назад и толкнул его снова; мы все почувствовали, как он ударил в зонд — прямо будто молотом.

— Он старался таким путем вытолкнуть зонд?

— Да; возможно даже, что зонд при этом был бы уничтожен, поскольку Кальдер не наращивал нажим постепенно, а сразу дал полное давление в систему. Впрочем, он поступил вполне разумно — ведь запасной зонд у нас был, а запасного корабля не было.

— Это следует понимать как остроту? Будьте любезны воздержаться от таких словесных упражнений.

— Значит, поршень ударил, но зонд не выскочил, а время шло, поэтому я крикнул: «Ремни!» — и пристегнулся на всю тягу. Кроме меня, то же самое крикнули по меньшей мере еще двое — один из них был командир, я узнал его по голосу.

— Объясните трибуналу, почему вы так поступили.

— Мы находились на круговой орбите над кольцом А и, значит, шли практически без тяги. Я знал, что, когда

бустер сработает — а это было неизбежно, потому что стартер уже включился, — мы получим боковой удар струи и корабль начнет кувыркаться. Заклинился зонд на правом борту, обращенном к Сатурну. Значит, он должен был действовать как боковой отражатель. Я ждал кувырканий и центробежных эффектов, которые пилоту придется гасить собственной тягой корабля. В такой ситуации нельзя было заранее предвидеть, к каким маневрам придется прибегнуть. На всякий случай следовало хорошенько пристегнуться.

— Значит, во время вахты вы исполняли обязанности штурмана, отстегнув ремни?

— Нет, ремни не были отстегнуты совсем, просто ослаблены. Их можно в известной степени регулировать. Если пряжку затянуть полностью — у нас это называется «на всю тягу», — тогда свобода движений ограничивается.

— Вам известно, что устав не предусматривает никаких ослаблений и никакой регулировки ремней?

— Так точно, я знал, что в инструкции говорится другое, но так всегда делают.

— Что вы имеете в виду?

— Практически на всех кораблях, где я летал, регулировали застёжки на поясах, потому что это облегчает работу.

— Распространенность нарушения не оправдывает его. Продолжайте.

— Как я и ожидал, бустер зонда сработал. Корабль стал вращаться вдоль поперечной оси, и одновременно нас начало сносить с прежней орбиты — правда, очень медленно. Пилот уравнивал это двойное движение собственной боковой тягой корабля, но не полностью, то есть не до нуля.

— Почему?

— Я сам не был у штурвала, но думаю, что это было невозможно. Зонд заклинило в катапульте с открытым лю-

ком, через люк выходила часть газов двигателя зонда, эта струя, видимо, имела завихрения и поэтому была неравномерно. В результате боковые толчки то ослабевали, то усиливались, а из-за этого коррекция собственной тягой вызвала боковые маятниковые качания всего корпуса. А когда бустер отработал, началось гораздо более сильное кувыркание, с обратным знаком, и пилот не смог его погасить сразу — пока не понял, что хоть бустер и сдох, но зато включился ионный двигатель.

— «Бустер сдох»?

— Я хотел сказать, что пилот не был полностью уверен, сработает ли ионный двигатель — он ведь очень сильно ударил по зонду поршнем и мог повредить двигатель; да он, наверное, этого и добивался, я бы тоже так поступил. Но когда бустер погас, оказалось, что ионная тяга все же действует и мы снова получаем опрокидывающий боковой момент порядка четверти тонны. Не очень-то много, но на такой орбите хватит для кувырканья. Ведь у нас была круговая орбитальная скорость, а при ней малейшие перепады ускорения колоссально влияют на траекторию и устойчивость полета.

— Как вели себя при этом члены команды?

— Совершенно спокойно. Конечно, все сознавали, как опасен момент зажигания бустера — ведь там пороховой заряд весом в сто килограммов, и в таком полужамкнутом пространстве, которое образовалось в катапульте с заклинившимся зондом, он мог попросту детонировать, как бомба. Нам разворотило бы штирборт, как консервную банку. На наше счастье, до взрыва не дошло. А ионный двигатель такой опасности уже не представлял. Правда, тут возникло добавочное осложнение из-за того, что автомат включил сигнал пожарной тревоги и начал заливать пеной катапульту номер два. Ничего хорошего из этого выйти не могло — ионный двигатель пеной не погасишь, так что эту пену выбрасывало в открытый люк и, наверное, какая-то

ее часть всасывалась в выходную дюзу и гасила тягу. Пока пилот не включил систему пеногасителей, мы несколько минут испытывали боковые толчки — не очень сильные, но, во всяком случае, затруднявшие стабилизацию.

— Кто включил систему гасителей?

— Автомат, когда датчики показали повышение температуры в обшивке штирборта сверх семисот градусов: это бустер нас так подогрел.

— Какие распоряжения или приказы давал командир за это время?

— Он не давал никаких распоряжений или приказов. Мне казалось, что он хочет посмотреть, как поступит пилот. В принципе у нас были две возможности: либо попросту отойти от планеты на возрастающей тяге и начать возвращение на гиперболу, отказавшись от выполнения задачи, либо же попробовать вывести на контрольную орбиту последний, третий спутник. Отход означал бы провал всей программы, потому что зонд, который уже находился в щели, наверняка разбился бы в результате дрейфа через несколько часов, не позже. Корректировать его траекторию снаружи зондом-«сторожем» было необходимо.

— Эту альтернативу, естественно, обязан был решить командир корабля?

— Председатель, я должен отвечать на этот вопрос?

— Ответьте на вопрос обвинения.

— Так вот, командир, конечно, мог отдавать распоряжения, но не обязан был это делать. В принципе пилот в определенных ситуациях уполномочен выполнять обязанности командира корабля согласно параграфу шестнадцатому бортовой инструкции, поскольку часто случается, что командиру уже нет времени объясняться с людьми у руля.

— Однако в данных обстоятельствах командир мог отдавать приказы — ведь не было ни ускорения, препятствующего отдаче приказов вслух, ни прямой угрозы уничтожения корабля.

— В пятнадцать с минутами по бортовому времени пилот включил умеренную выравнивающую тягу...

— Почему свидетель игнорирует то, что я сказал? Прошу трибунал сделать свидетелю замечание и предложить ему отвечать на мои вопросы.

— Уважаемый трибунал, я должен отвечать на вопросы, а ведь прокурор не задал мне никакого вопроса. Прокурор только прокомментировал со своей точки зрения ситуацию, сложившуюся на корабле. Должен ли я в свою очередь комментировать эти комментарии?

— Прокурору следует сформулировать вопрос, адресованный свидетелю, а свидетель должен проявлять максимум доброй воли при даче показаний.

— Не считает ли свидетель, что в сложившейся ситуации командир обязан был принять конкретное решение и сообщить его пилоту в форме приказа?

— Прокурор, инструкция не предусматривает...

— Свидетель обязан обращаться только к трибуналу.

— Слушаюсь. Уважаемый трибунал, инструкция не предусматривает детально всех ситуаций, которые могут возникнуть на борту. Да это и невозможно. Если бы это было возможно, каждый член команды мог бы выучить инструкцию наизусть, и тогда командование вообще оказалось бы ненужным.

— Обвинение заявляет протест против подобного рода иронических замечаний свидетеля.

— Свидетель, ответьте кратко и прямо на вопрос прокурора.

— Слушаюсь. Так вот, я не считаю, что командир должен был в данной ситуации отдавать какие-то особые приказы. Он присутствовал, он видел и понимал, что происходит; если он молчал, это означало, что согласно двадцать второму параграфу бортовой инструкции он разрешает пилоту действовать по его собственному разумению.

— Уважаемый трибунал, свидетель извращенно трактует смысл двадцать второго параграфа бортовой инструкции, поскольку в данном случае применим параграф двадцать шестой, где речь идет об опасных ситуациях.

— Уважаемый трибунал, ситуация, которая сложилась на «Голиафе», не представляла опасности ни для корабля, ни для здоровья и жизни команды.

— Уважаемый трибунал, свидетель откровенно проявляет отсутствие доброй воли! Вместо того чтобы стремиться к установлению объективной истины, он пытается в своих показаниях любой ценой оправдать поведение обвиняемого Пиркса, который был командиром корабля! Ситуация, в которой оказался корабль, несомненно, относилась к числу тех, на которые распространяется двадцать шестой параграф!

— Уважаемый трибунал, прокурор не может одновременно выступать в роли эксперта, который устанавливает фактическое положение вещей!

— Лишаю свидетеля слова. Трибунал откладывает решение вопроса о применимости параграфа двадцать второго или двадцать шестого бортовой инструкции до особого рассмотрения. Свидетель, сообщите, что происходило на корабле в дальнейшем.

— Кальдер, правда, не обращался к командиру ни с какими вопросами, но я видел, что он несколько раз посмотрел в его сторону. Тем временем тяга заклинившегося зонда выравнивалась, и стабилизировать корабль было уже нетрудно. Добившись прочной стабилизации, Кальдер начал отдаляться от кольца, но не требовал от меня прокладки курса к Земле, из чего я заключил, что он все же попытается выполнить нашу задачу. Когда мы вышли из сферы Роша — примерно в шестнадцать часов, — Кальдер сигнализировал максимальную перегрузку и тут же попытался вытолкнуть зонд.

— То есть?

— Ну, он включил сигнал максимума перегрузок и сразу же вслед за тем дал сигнал «Полный назад!», а потом «Полный вперед!». Зонд весит три тонны; на полном ускорении он должен весить раз в двадцать больше. Он должен был вылететь из катапульты как пуля. Отойдя примерно на десять тысяч миль, Кальдер поочередно дал два таких удара тягой, но без всякого результата. Он добился только того, что боковой момент еще более увеличился. Видимо, в результате внезапных ускорений зонд, который еще крепче заклинился в катапульте, изменил положение, и теперь вся его газовая струя била в поднятую крышку наружного люка, отражалась от нее и уходила в пространство. Удары тягой были неприятны для команды и довольно опасны для корабля: ведь было ясно, что если зонд вообще выйдет, то прихватит с собой кусок наружной обшивки. Походило на то, что нам придется либо посылать людей в скафандрах и с инструментами на обшивку, либо возвращаться, таща с собой этот черт... прошу прощения, этот заклинившийся зонд.

— Пробовал ли Кальдер выключить двигатель зонда?

— Он не мог этого сделать, потому что кабель управления, соединяющий зонд с кораблем, был уже порван — следовательно, оставалось только радиоуправление, но ведь зонд торчал в самом зеве катапульты и экранировался ее металлической оболочкой. Мы шли примерно около минуты, удаляясь от планеты, и я уже был уверен, что Кальдер все-таки решил возвращаться; он выполнил несколько маневров, совершая так называемый «выход на звезду» — при этом нос корабля нацеливают на какую-либо звезду и дают переменную тягу. Если управление в порядке, звезда должна стоять в экране совершенно неподвижно. У нас, понятно, так не получилось, динамическая характеристика полета была изменена, и Кальдер пытался выяснить ее количественные параметры. После нескольких по-

пыткок ему все же удалось подобрать тягу, которая уравновешивала боковой момент, и тогда он повернул обратно.

— Вы поняли в этот момент, каковы истинные намерения Кальдера?

— Да. Точнее говоря, я предполагал, что он все же захочет вывести на орбиту оставшийся на борту третий зонд. Мы снова спустились над плоскостью эклиптики со стороны Солнца, причем Кальдер работал прямо-таки блестяще; если б я не видел сам, то никогда бы не предположил, что можно с такой свободой управлять кораблем, в который как бы встроен не предусмотренный конструкцией боковой двигатель. Кальдер велел мне вычислить поправки курса и всю траекторию вместе с исправляющими импульсами для нашего третьего зонда. После этого у меня уже не оставалось никаких сомнений.

— Выполнили вы эти приказы?

— Нет. То есть я сказал ему, что не могу рассчитывать курс в соответствии с программой, коль скоро нам предстоит действовать иначе — мы ведь уже не могли строго придерживаться программы. Я затребовал у него дополнительные данные, потому что не знал, с какой высоты он намерен выводить на орбиту третий зонд, но он мне ничего не ответил. Возможно, он обратился ко мне только для того, чтобы таким путем информировать командира о своем намерении.

— Вы так полагаете? Но ведь Кальдер мог обратиться непосредственно к командиру.

— Возможно, он не хотел этого делать. А может, он как раз и был заинтересован в том, чтобы никто не подумал, будто он не знает, как следует действовать. Но не менее вероятно и то, что Кальдер хотел показать, какой он отличный пилот, коль скоро берется за выполнение таких задач, в которых навигатор, то есть я, не сможет ему помочь. Но командир никак на это не отреагировал, а

Кальдер уже шел на сближение с кольцами. Тут мне это перестало нравиться.

— Попрошу вас говорить более конкретно.

— Слушаюсь. Я подумал, что попахивает рискованным маневром.

— Позволю себе обратить внимание уважаемого трибунала, что свидетель невольно подтвердил сейчас то, чего не хотел признать ранее: долгом командира было активно вмешаться в возникшую ситуацию. Следовательно, командир сознательно, с обдуманым намерением пренебрег своим долгом, подвергая тем самым корабль и команду трудно предсказываемым опасностям.

— Уважаемый трибунал, дело обстояло не так, как утверждает прокурор.

— Вам следует не полемизировать с обвинением, а давать показания, ограничиваясь описанием событий. Почему в тот момент, когда Кальдер начал возвращение на орбиту кольца — и только тогда, — вы сочли маневр рискованным?

— Возможно, я неточно выразился. Дело вот в чем: в подобных обстоятельствах пилот должен обратиться к командиру. Я-то на его месте наверняка бы так и сделал. Первоначальную программу мы уже не могли осуществить во всех деталях. Я думал, что Кальдер — раз уж командир предоставил ему инициативу — попробует запустить третий зонд на большой дистанции, то есть не очень приближаясь к кольцу. Правда, при этом уменьшались шансы на успех, но это было возможно, а вместе с тем безопасно. И действительно, на малой скорости Кальдер приказал мне повторно рассчитать курс для спутника, наводимого импульсами с расстояния порядка тысячи — тысячи двухсот километров. Желая ему помочь, я начал рассчитывать этот курс; оказывалось, что величина получается примерно такого же порядка, как вся ширина щели Кассини. Следовательно, было пятьдесят шансов из ста за то, что зонд,

вместо того чтобы выйти на орбиту контроля, пойдет либо к планете, либо наружу и разобьется о кольцо. Я сообщил Кальдеру эти результаты за неимением лучших.

— Ознакомился ли командир с результатами ваших вычислений?

— Он должен был их видеть, потому что цифры появлялись на индикаторе, который находился как раз над нашими пультами. Мы шли на малой тяге, и мне показалось, что Кальдер не может решить, что же делать. Он действительно зашел в тупик. Если б он теперь отступил, это означало бы, что он ошибся в расчетах, что интуиция его подвела. Пока он не повернул к планете, ему еще можно было делать вид, что он считает риск слишком большим и неоправданным. Но Кальдер уже продемонстрировал, что корабль управляем, несмотря на изменившуюся динамическую характеристику тяги, а кроме того, хоть он этого и не сказал, из последующих его маневров ясно было, что он все же попытается вывести зонд на орбиту. Мы шли на сближение, и я полагал, что он пытается несколько улучшить наши шансы — ведь они увеличивались с уменьшением расстояния. Но если б он этого добивался, то ему следовало уже начинать торможение, а он, наоборот, увеличил тягу. Только когда Кальдер это сделал, только в этот момент я подумал, что он собирается сделать нечто совсем иное — а раньше мне это и в голову не приходило. Впрочем, это моментально поняли все.

— Вы утверждаете, что все члены команды осознали серьезность положения?

— Да. Сзади меня кто-то, сидевший у бакборта, в момент ускорения произнес: «Жизнь была прекрасна».

— Кто это сказал?

— Этого я не знаю. Может, инженер, а может, электронщик. Я не обратил внимания. Все это происходило в какие-то доли секунды. Кальдер включил сигнал максимума и дал сильную тягу, держа курс на пересечение с коль-

цом. Ясно было, что он хочет провести «Голиаф» через самый центр щели Кассини и по дороге «потерять» третий зонд, используя прием «вспугнутой птицы».

— Что это за прием?

— Так его иногда называют: корабль «теряет» зонд, вроде как вспугнутая птица теряет яйцо... Но командир запретил ему это.

— Командир запретил? Он отдал такой приказ?

— Так точно.

— Обвинение протестует. Свидетель искажает факты. Командир не отдавал такого приказа.

— Но командир действительно пытался отдать такой приказ, только не успел его полностью произнести. Кальдер, правда, дал предостережение о максимуме тяги, но всего за миг до начала маневра. Когда вспыхнул красный сигнал, командир ему крикнул, а он в тот же миг пошел на полную мощность. Под таким прессом, свыше четырнадцати *g*, уже невозможно произнести ни звука. Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот. Я не утверждаю, что он действительно этого хотел, но так оно выглядело. Нас сразу придавило так, что я совершенно ослеп, поэтому командир только успел крикнуть...

— Обвинение заявляет протест против формулировок, применяемых свидетелем. Вопреки собственной оговорке свидетель старается нам внушить, будто пилот Кальдер с заранее обдуманной намерением и злым умыслом пытался воспрепятствовать командиру корабля в отдаче приказа.

— Ничего подобного я не говорил.

— Лишаю свидетеля слова. Трибунал принимает протест обвинения. Вычеркните из протокола слова свидетеля, начиная с фразы: «Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот». Свидетель, будьте любезны воздержаться от комментариев и точно повторить то, что в действительности сказал командир.

— Ну, как я уже говорил, командир, собственно, не успел полностью сформулировать свой приказ, но смысл его был очевиден. Он запретил Кальдеру входить в щель Кассини.

— Обвинение протестует. Для фактической стороны дела имеет значение не то, что хотел сказать обвиняемый Пиркс, а лишь то, что он в действительности сказал.

— Трибунал принимает протест. Прошу свидетеля ограничиться тем, что было сказано в рулевой рубке.

— Было сказано достаточно, чтобы любой человек, являющийся профессиональным космонавтом, понял, что командир запрещает пилоту входить в щель Кассини.

— Свидетель, повторите эти слова. Трибунал сам решит, каков был их подлинный смысл.

— Я не помню самих слов, помню только их смысл. Командир крикнул что-то вроде: «Не иди сквозь кольцо!» — или, может быть: «Не насквозь!» — и дальше он уже говорить не мог.

— Однако ранее вы утверждали, что командир не произнес законченной фразы, а процитированные сейчас слова: «Не иди сквозь кольцо!» — составляют законченную фразу.

— Если бы в этом зале возник пожар и я бы крикнул: «Горит!» — это не была бы законченная фраза, поскольку в ней не сказано, что горит и где горит, но это было бы вполне понятным предостережением.

— Обвинение протестует! Прошу трибунал призвать свидетеля к порядку!

— Трибунал делает свидетелю замечание. В обязанности свидетеля не входит забавлять трибунал притчами и анекдотами. Прошу ограничиться фактической информацией о том, что происходило на борту.

— Слушаюсь. На борту происходило то, что командир возгласом запретил пилоту вводить корабль в щель...

— Обвинение протестует! Показания свидетеля тенденциозно искажают факты!

— Трибунал стремится быть снисходительным. Свидетель, вы должны понять, что целью судебного разбирательства является установление реальных фактов. Можете ли вы процитировать обрывок фразы, который произнес командир?

— Мы находились уже под большим ускорением. У меня наступил блэк-аут, я ничего не видел, но слышал возглас командира. Слова не были различимы, однако я понял, о чем шла речь. Тем более это предупреждение должен был слышать пилот — ведь он находился еще ближе к командиру, чем я.

— Защита просит повторно заслушать регистрирующие ленты из рулевой рубки — ту часть, которая относится к возгласу командира.

— Трибунал отклоняет просьбу защиты. Ленты уже были прослушаны, и было установлено, что степень искажения голоса дает возможность идентифицировать личность говорившего, но не позволяет установить содержание возгласа. По этому спорному вопросу трибунал примет особое решение. Прошу свидетеля рассказать, что произошло после возгласа командира.

— Когда ко мне вернулось зрение, мы шли наперерез кольцу. Датчики ускорения показывали два *g*. Скорость была гиперболической. Командир закричал: «Кальдер! Ты не выполнил приказа! Я запретил тебе входить в Кассини!», а Кальдер тотчас ответил: «Я этого не слышал, командир!»

— Однако же командир не приказал ему немедленно затормозить или повернуть?

— Это было невозможно. Мы шли на гиперболической порядка восьмидесяти километров в секунду. Не могло быть и речи о том, чтобы погасить такой разгон, не переходя гравитационного барьера.

— Что вы называете гравитационным барьером?

— Постоянное положительное или отрицательное ускорение порядка двадцати — двадцати двух гравитационных единиц. С каждой секундой полета сквозь кольцо требовалась все большая обратная тяга, чтобы затормозить. Сначала, видимо, оксло пятидесяти g , а потом, может, и сто. При таком торможении мы все погибли бы. Точнее, все люди на борту погибли бы.

— Технически корабль может развивать ускорение такого порядка?

— Да, может, но только если сорвать предохранители. «Голиаф» располагает атомным двигателем, который в максимуме рассчитан на тягу порядка десяти тысяч тонн.

— Прошу продолжать показания.

— «Ты хочешь уничтожить корабль?» — спросил командир вполне спокойным тоном. «Мы пройдем сквозь Кассини, и я заторможу на той стороне», — ответил Кальдер так же спокойно. Не успел еще окончиться этот разговор, как мы вошли в боковое вращение. Видимо, в результате внезапного скачка ускорения, с которого Кальдер начал прохождение щели, положение зонда в катапульте изменилось каким-то образом, и хотя боковой момент уменьшился, но поток газов шел теперь по касательной к корпусу, так что весь корабль вертелся как волчок по продольной оси. Сначала вращение было довольно медленное, но с каждой секундой ускорялось. Это было началом катастрофы. Кальдер невольно вызвал ее тем, что очень резко увеличил ускорение.

— Объясните трибуналу, почему, по вашему мнению, Кальдер увеличил ускорение?

— Обвинение заявляет протест. Свидетель пристрастен и несомненно ответит, как он уже заявлял, что Кальдер пытался принудить командира к молчанию.

— Я вовсе не это хотел сказать. Кальдеру не обяза-

тельно было увеличивать ускорение скачком, он мог сделать это постепенно, но большая тяга была все равно необходима, если он собирался войти в Кассини. В околосатурновом пространстве крайне трудно маневрировать, тут на каждом шагу сталкиваешься с математически неразрешимыми задачами о движении многих тел. Воздействие самого Сатурна, массы его колец и ближайших спутников — все это вместе взятое создает поле тяготения, в котором невозможно одновременно учесть всю сумму возмущений. Вдобавок у нас был еще боковой момент со стороны зонда. При этих обстоятельствах мы двигались по траектории, которая была результатом воздействия множества сил: и собственной тяги корабля, и притяжения распределенных в пространстве масс. Так вот, чем большую тягу мы имели, тем меньше становилось влияние возмущающих факторов, потому что их величина была постоянной, а величина нашей скорости росла. Увеличивая быстроту движения, Кальдер делал нашу траекторию менее чувствительной к внешним возмущающим факторам. Я убежден, что проход ему удался бы, если б не это внезапно возникшее боковое вращение.

— Вы считаете, что для полностью исправного корабля прохождение через щель было возможно?

— Ну конечно. Это вполне возможный маневр, хоть его и запрещают все учебники космологии. Щель Кассини имеет ширину три с половиной тысячи километров; на обочинах ее полным-полно крупной ледяной и метеоритной пыли, которую визуальнo заметить, правда, нельзя, но в которой корабль, идущий на гиперболической, сгорит наверняка. Более или менее чистое пространство, через которое можно пройти, имеет километров пятьсот-шестьсот в ширину. На малых скоростях войти в такой коридор нетрудно, но при больших появляется гравитационный дрейф; поэтому Кальдер сначала тщательно нацелился носом в щель, а уж потом дал большую тягу. Если бы

зонд не повернулся, все сошло бы гладко. По крайней мере я так думаю. Конечно, был определенный риск — примерно один шанс из тридцати, — что мы врежемся в какой-нибудь одиночный обломок. Но тут начались эти продольные обороты. Кальдер пытался их погасить, но это ему не удалось. Он очень упорно боролся. Это я должен признать.

— Кальдер не мог ликвидировать вращение корабля? Вы можете объяснить почему?

— Уже раньше, наблюдая за Кальдером во время вахт, я убедился, что он феноменальный вычислитель. Он очень полагался на свои способности делать молниеносные расчеты без помощи калькулятора. На гиперболической при этих наших обстоятельствах нам предстояло протиснуться сквозь игольное ушко. Индикаторы тяги были бесполезны — они ведь показывали только тягу «Голиафа» и не могли дать величину тяги зонда. Кальдер смотрел только на гравиметры и вел корабль исключительно по их показаниям. Это были прямо-таки математические состязания — между мозгом Кальдера и стремительно изменявшимися условиями полета. О способностях Кальдера можно судить по тому, что я едва успевал прочесть показания индикаторов, а он в то же время производил в уме вычисления, составляя дифференциальные уравнения четвертого порядка. Хотя я и считал предшествующее поведение Кальдера возмутительным, так как был уверен, что он услышал приказ командира и умышленно им пренебрег, но все же я им восхищался.

— Вы не ответили на вопрос трибунала.

— Я как раз приступал к ответу. Расчеты Кальдера, хоть он и делал их за доли секунды, могли быть только приближенными. Они не были идеально точными и не могли такими быть, даже если б на месте Кальдера была лучшая в мире вычислительная машина. Размер ошибки, которую он не мог учесть, возрастал — и мы продолжали

вращаться. Некоторое время мне казалось, что Кальдер все-таки справится; но он раньше меня понял, что проиграл, и выключил всю тягу. Мы вошли в полную невесомость.

— Зачем он выключил тягу?

— Он хотел пройти сквозь щель почти по прямой, но не мог погасить продольных оборотов корабля. «Голиаф» кружился как волчок и вел себя как волчок: сопротивлялся тяговой силе, которая стремилась установить его вдоль оси. Мы попали в прецессию: чем больше возрастала наша скорость, тем сильнее раскачивалась корма. В результате мы шли по сильно вытянутой винтовой, корабль раскачивало с боку на бок, а каждый из таких витков имел добрую сотню километров в диаметре. С такой траекторией мы могли запросто угодить в край кольца, а не в центр щели. Кальдер уже не мог ничего поделать. Он сел в воронку.

— Что это значит?

— Мы обычно так называем необратимые ситуации, в которые легко попасть, но из которых нет выхода. Дальнейший наш полет был уже совершенно непредсказуемым. Когда Кальдер выключил двигатели, я думал, что он просто отдается на волю случая. Цифры так и мигали в окошках индикаторов, но вычислять было уже нечего. Кольца сверкали так, что больно было смотреть, — они ведь состоят из ледяных глыб. Они кружились перед нами, как карусель, вместе со щелью, которая походила на черную трещину. В таких случаях время замедляется неимоверно. Сколько я ни взглядывал на стрелки секундомера, мне все казалось, что они стоят на месте. Кальдер начал стремительно отстегивать ремни. Я стал делать то же самое, так как догадался, что он хочет сорвать главный предохранитель перегрузок, расположенный на пульте, а в ремнях не может до него дотянуться. Имея в своем распоряжении полную мощность, он еще мог бы затормозить и уйти в

пространство, только бы ему набрать эти самые сто *g*. Мы-то лопнули бы, как воздушные шарик, но он бы спас корабль — ну, и себя. Вообще-то я должен был уже раньше догадаться, что он не человек — ведь ни один человек не мог бы вычислять так, как он... но я лишь в тот момент это осознал. Я хотел его задержать, пока он не подошел к пульта, но он действовал быстрее меня. Он и должен был действовать быстрее. «Не отстегивайся!» — крикнул мне командир. А Кальдеру он крикнул: «Не трогай предохранитель!» Кальдер на это не обратил внимания, он уже встал. «Полный вперед!» — крикнул командир, и я выполнил приказ: ведь у меня был второй штурвал. Я не сразу ударил всей мощностью, а пошел на пять *g*, потому что не хотел убивать Кальдера — я только хотел рывком отбросить его от предохранителей, но он устоял на ногах. Это выглядело жутко: ведь ни один человек не устоит при пяти *g*! Он устоял, только схватился за пульт, кожу с ладоней у него сорвало, а он все держался, потому что под этой кожей была сталь. Тогда я дал сразу максимум. На четырнадцать *g* он оторвался, полетел назад с чудовищным грохотом, будто цельная глыба металла, промчался между нашими креслами, трахнулся о переборку так, что она затряслась и секурит вдребезги раскололся, а Кальдер издал совершенно ни на что не похожий крик, и я слышал за спиной, как он сзади катается, сокрушает переборки, как разрушает все, за что ни ухватится, но уже не обращал на это внимания, потому что щель раскрывалась перед нами; мы перли в нее напролом, с вращающейся кормой, и я снизил тягу до четырех *g*. Все решал теперь случай. Командир крикнул, чтобы я стрелял; тогда я начал выстреливать один за другим противометеоритные экраны, чтобы убрать перед носом обломки поменьше, если они появятся; экраны эти мало чего стоили, но все же лучше такая защита, чем никакая. Кассини был как огромная черная пасть, я видел огонь по носу, далеко,

защитные экраны разворачивались и тут же сгорали, сталкиваясь с обломками ледяной пыли; возникали и мгновенно лопались громадные серебристые тучи невероятной красоты, корабль слегка тряхнуло, датчики по правому борту все вместе прыгнули, это был термический удар, мы задели за что-то, не знаю за что, — и оказались уже по ту сторону...

* * *

— Командор Пиркс?

— Да, это я. Вы хотели меня видеть?

— Безусловно. Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста...

Человек за столом нажал кнопку черного ящичка и сказал:

— Ближайшие двадцать минут я буду занят. Меня ни для кого нет.

Он выключил аппарат и пристально посмотрел на Пиркса.

— Командор, у меня есть для вас одно оригинальное предложение. Некий... — он поискал подходящее слово — ...эксперимент. Однако предварительно я должен просить вас сохранить в тайне все, что я скажу. Также и в том случае, если вы отклоните мое предложение. Вы согласны?

Молчание длилось несколько секунд.

— Нет, — ответил Пиркс. И добавил: — Разве что вы расскажете мне об этом побольше.

— Вы не из тех, кто соглашается на что-либо вслепую? Собственно, я мог этого ожидать после всего, что я о вас слышал. Сигарету?

— Нет, спасибо.

— Речь идет об экспериментальном полете.

— Новый тип корабля?

— Нет. Новый тип команды.

— Команды? Какова же моя роль?

— Всесторонняя оценка ее пригодности. Это все, что я могу сказать. Теперь ваша очередь решать.

— Я буду молчать, если сочту это возможным.

— Возможным?

— Желательным.

— На основании каких критериев?

— Так называемой совести, с вашего разрешения.

Снова прошло несколько секунд. В большой комнате с окном во всю стену было тихо, словно она не находилась среди двух тысяч других комнат громадного небоскреба с тремя вертолетными посадочными площадками на крыше. Пиркс почти не различал собеседника: он видел его на фоне светящегося тумана, в котором тонули шестнадцать верхних этажей здания. Временами молочные клубы тумана сгущались за прозрачной стеной, и тогда казалось, что вся комната плывет куда-то, несомая неощутимой силой.

— Хорошо. Как видите, я согласен на все. Речь идет о рейсе Земля — Земля.

— Петля?

— Да. С облетом Сатурна и выводом там на стационарную орбиту новых автоматических спутников.

— Это ведь проект «Юпитер»?

— Да, один из элементов этого проекта, поскольку речь идет о спутниках. Корабль тоже принадлежит КОМСЕКу, так что все мероприятие проходит под опекой ЮНЕСКО. Как вам известно, я и представляю именно эту организацию. У нас есть, конечно, свои пилоты и навигаторы, однако мы выбрали вас, поскольку тут большую роль играет дополнительный фактор — та команда, о которой я уже упомянул.

Директор ЮНЕСКО вновь замолчал. Пиркс ждал, невольно прислушиваясь, но тишина была такая, будто ни малейший звук не раздавался в радиусе многих километров — а ведь вокруг был многомиллионный город.

— Как вам, наверное, известно, уже несколько лет существует возможность создавать устройства, все более широко заменяющие человека. Те из них, которые могут сравниться с человеком во многих областях сразу, были до сих пор — из-за своих размеров и веса — стационарными. Однако успехи физики твердого тела позволили осуществить, почти одновременно в СССР и Соединенных Штатах, следующий этап микроминиатюризации уже на молекулярном уровне. Созданы экспериментальные прототипы кристаллических систем, эквивалентных мозгу. Они все еще в полтора раза больше человеческого мозга, но это не имеет значения. Ряд американских фирм уже запатентовал такие конструкции, и в настоящее время собираются приступить к серийному выпуску человекоподобных автоматов, так называемых конечных нелинейников, прежде всего для обслуживания внеземных кораблей.

— Я слышал об этом. Но профсоюзы будто бы воспротивились? И потом, это потребовало бы, кажется, значительных изменений в существующем законодательстве?

— Вы об этом слышали? В прессе не было ни слова...

— Да. Но шли какие-то закулисные разговоры, переговоры, и слухи о них просочились в нашу среду. Это, я думаю, естественно.

— Конечно. Разумеется. Ну что ж, тем лучше, хотя... Каково же ваше мнение?

— По этому вопросу? Скорее отрицательное. Да, пожалуй, даже резко отрицательное. Боюсь, однако, что ничьи мнения тут не имеют существенного значения. Последствия открытий неумолимы — самое большее, можно на какое-то время затормозить их реализацию...

— Одним словом, вы считаете это неизбежным злом?

— Я бы это не так сформулировал. Я считаю, что человечество не готово к нашествию искусственных человекоподобных существ. Разумеется, наиболее важно — действительно ли они равны человеку? Я лично с такими

никогда не встречался. Я не специалист, но те специалисты, которых я знаю, считают, что о настоящем равенстве, о полноценности не может быть и речи.

— Не предубеждены ли вы? Действительно, таково мнение многих специалистов, точнее, оно было таковым. Но, видите ли... фирмы руководствуются экономическими факторами. Рентабельностью производства.

— Иными словами — надеждой на прибыли?

— Да. То есть в данном случае федеральное правительство (я имею в виду Америку), равно как и правительства Великобритании и Франции, пока что не открыло частным фирмам доступа к той документации, которая разработана институтами, финансируемыми государством. Но частные фирмы вполне могут восполнить пробелы в документации собственными силами — у них ведь есть свои исследовательские лаборатории.

— «Кибертроникс»?

— Не только. «Машинтрекс», «Интельтрон» и другие. Так что в правительственных кругах этих государств многие опасаются последствий всего этого. Ведь частным фирмам безразлично, что у государства не хватит средств для массового переобучения людей, которые останутся без работы из-за наплыва нелинейников.

— Нелинейники? Странно. Я не встречал такого термина.

— Это просто жаргонное словечко, которым мы пользуемся. Все-таки лучше, чем «гомункулус» или «искусственный человек». Ведь это же вообще-то не люди — ни искусственные, ни натуральные.

— В смысле неполноценности?

— Знаете ли, командор, я тоже не специалист в этой области, так что при всем желании не смогу вам ответить. Мои собственные предположения ничего ведь не стоят. Дело в том, что одним из первых потребителей новой продукции стал бы КОСНАВ.

— Но ведь это частное англо-американское предприятие?

— Именно поэтому. «Космикл навигэйшн» уже несколько лет переживает финансовые затруднения, потому что космонавтика социалистических стран, которую не ограничивают требования немедленной прибыли, представляет для этой компании сильнейшего конкурента — она берет на себя все большую часть грузооборота. Особенно на главных внеземных трассах. Вы, наверно, знаете об этом?

— Конечно. Я вовсе не огорчился бы, если б КОСНАВ обанкротился. Раз уж удалось интернационализировать космические исследования на базе ООН, так и с космонавтикой можно сделать то же самое. Мне, по крайней мере, так кажется.

— Мне тоже. Заверяю вас, что и я бы этого желал — хотя бы из должностных соображений. Но это дела грядущих дней. А пока, с вашего разрешения, ситуация такова, что КОСНАВ готов принять любое количество нелінейников для обслуживания своих рейсов — сначала только грузовых, — на пассажирских они боятся бойкота со стороны широкой общественности. Предварительные переговоры уже ведутся.

— И печать об этом молчит?

— Переговоры неофициальные. Вообще-то в некоторых газетах были упоминания, но КОСНАВ их опроверг. Формально они вроде и правы. В конце концов, командор, это же настоящие юридические джунгли. По существу, они действуют в сфере, на которую не распространяются ни законы их стран, ни международные соглашения. Опять же и президент, приняв во внимание приближающиеся выборы, не будет пытаться провести через конгресс законы, которых домогается крупный интеллектуальный капитал, — он испугается бурной реакции профсоюзов. Так вот, перехожу наконец к делу: некоторые

фирмы, предвидя возможные возражения печати, рабочего и профсоюзного движения и так далее, решили предоставить в наше распоряжение группу полупрототипов, чтобы мы исследовали их пригодность для обслуживания внеземных кораблей.

— Простите, кому же это «нам»? ООН? Это как-то странно выглядит.

— Ну не прямо ООН, конечно. Нам — это значит ЮНЕСКО. Поскольку это организация, занимающаяся вопросами науки, культуры, просвещения...

— Простите меня, но я по-прежнему ничего не понимаю. Что общего имеют эти автоматы с просвещением или наукой?

— Но ведь нашествие — как вы сами выразились? — этих... псевдолюдей, фабрикующихся на конвейере, наверно, наиболее заметно во всех отношениях скажется именно в сфере общечеловеческой культуры. Дело не только в последствиях чисто экономических, в опасности безработицы и так далее, но и в воздействии психологическом, социальном, культурном. Впрочем, для полной ясности признаюсь, что мы приняли это предложение без особого энтузиазма. Дирекция сначала собиралась даже вообще его отвергнуть. Тогда эти фирмы выдвинули дополнительный довод: в качестве экипажа корабля нелинейники обеспечивают несравненно большую гарантию безопасности, чем команда, состоящая из людей. У них более быстрые реакции, практически отсутствует усталость и потребность в сне, они не подвержены болезням, обладают колоссальной избыточностью, которая позволяет им функционировать даже в случае серьезного повреждения, и вдобавок они не нуждаются ни в пище, ни в воздухе и могут выполнять задания даже в условиях разгерметизации или перегрева корабля и так далее. Ну, это, вы сами понимаете, очень серьезные аргументы — ведь на первый план выступают не прибыли каких-то там частных фирм, а без-

опасность кораблей и грузов. Тут уж, кто знает, возможно, даже ООН решилась бы на своих исследовательских кораблях...

— Понимаю. Но это очень опасный прецедент. Вы, наверно, отдаете себе в этом отчет?

— Почему опасный?

— Потому что примерно то же самое можно сказать и о других профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить и вас, а в это кресло усядется робот.

Директор засмеялся не очень уверенно. Впрочем, он тут же стал серьезным.

— Видите ли... дорогой мой командор, мы, собственно, отошли от темы нашего разговора. Но что, по-вашему, можно сделать в создавшейся ситуации? ЮНЕСКО могла бы отвергнуть предложение этих господ, но это не изменит сути дела. Если их автоматы действительно так хороши, то раньше или позже за них ухватится КОСНАВ, а за ним пойдут другие.

— А что изменится, если ЮНЕСКО возьмет на себя роль технического контролера продукции этих фирм?

— Но, позвольте... речь идет не о техническом контроле. Мы хотели... теперь уж я скажу все до конца... мы хотели предложить вам рейс с таким экипажем. Вы были бы командиром. За эти две-три недели вы смогли бы разобраться, чего они стоят. Тем более, подчеркиваю, что это разные модели, отличающиеся друг от друга. Мы просили бы вас по возвращении представить нам квалифицированное всестороннее заключение по большому количеству пунктов (поскольку речь идет как о профессиональных аспектах, так и об иных — психологических): в какой мере эти автоматы приспособливаются к человеку, насколько соответствуют его представлениям, возникает ли ощущение их превосходства или, наоборот, их психической неполноценности... Соответствующие отделы нашей органи-

зацип снабдили бы вас и материалами, и анкетами, подготовленными видными учеными, психологами...

— И в этом состояло бы мое задание?

— Да. Вы не обязаны давать мне ответ сейчас же. Насколько мне известно, в данный момент вы не летаете?

— У меня шестинедельный отпуск.

— Тогда, скажем... может быть, вы обдумаете это за два дня?

— Еще два вопроса. Какие последствия будет иметь мое заключение?

— Оно будет решающим!

— Для кого?

— Для нас, разумеется. Для ЮНЕСКО. Я убежден, что, если дело дойдет до интернационализации космонавтики, ваше заключение представит собой важное подспорье для законодательных комиссий ООН, которые...

— Прошу прощения. Это дела грядущих дней, как вы сказали. Значит, для ЮНЕСКО, говорите? Но ведь ЮНЕСКО — это не фирма, не предприятие и не собирается, я надеюсь, сделаться рекламным бюро для каких-то фирм?

— Ну что вы! Конечно же, нет. Мы опубликуем ваше заключение в мировой прессе. Результаты, если они будут отрицательными, наверняка приостановят ход переговоров КОСНАВа с этими фирмами. И таким образом мы окажем влияние...

— Еще раз прошу прощения. А если результаты будут положительными, то мы не приостановим и не окажем влияния?

Директор хмыкнул, кашлянул и наконец усмехнулся.

— Говоря с вами, командор, я чувствую себя почти виновным. Словно у меня совесть нечиста... Ну разве ЮНЕСКО изобрела этих нелинейных роботов? Разве вся

эта ситуация — результат наших трудов? Мы стараемся действовать объективно, в интересах всех...

— Мне это не нравится.

— Командор, вы можете отказаться. Но согласитесь, что, если б мы все так поступили, это был бы жест Понтия Пилата. Легче всего умыть руки. Мы ведь не всемирное правительство и не можем никому запретить производство каких-либо машин. Это компетенция отдельных правительств — кстати, скажу я вам, они и пробовали запретить, были такие попытки, проекты, но ничего из этого не вышло! И церковь тоже ничего не добилась, а вы ведь знаете ее абсолютно негативную позицию в этом вопросе.

— Да. Короче, никому это не нравится, и все молча смотрят, как это происходит.

— Потому что нет юридических оснований для противодействия.

— А последствия? Да у этих фирм, у них самих, земля задрожит под ногами, когда они создадут такую безработицу, что...

— Тут я вынужден вас перебить. Конечно, то, что вы говорите, справедливо. Все мы этого опасаемся. Тем не менее мы бессильны. Но все же не вполне бессильны. Мы можем провести хотя бы этот эксперимент. Вы предубеждены? Очень хорошо! Именно поэтому вы нам особенно подошли бы! Если вообще существуют какие-то контраргументы, вы изложите их наиболее убедительно!

— Я подумаю, — сказал Пиркс, вставая.

— Вы говорили еще о каком-то вопросе...

— Вы на него уже ответили. Я хотел знать, почему выбор пал на меня.

— Значит, вы дадите нам ответ? Прошу вас позвонить в течение двух дней. Идет?

— Идет, — сказал Пиркс, кивнул и вышел.

Платиновая блондинка-секретарша поднялась из-за стола, когда вошел Пиркс.

— Здравствуйте, я...

— Здравствуйте. Я в курсе дела, с вашего разрешения. Я сама вас провожу.

— Они уже здесь?

— Да, они ждут вас.

Она повела его по длинному пустому коридору; ее туфельки постукивали, как металлические костыльки. Холодный, каменный звук раздавался в огромном коридоре, выложенном искусственным гранитом. Мелькали темные прямоугольники дверей с алюминиевыми цифрами и табличками. Секретарша нервничала. Несколько раз она искоса поглядывала на Пиркса — это был не кокетливый, а испуганный взгляд. Когда Пиркс его заметил, он даже слегка пожалел девушку, но тут же ощутил, что все это — абсолютно сумасшедшая затея, и почти неожиданно для самого себя спросил:

— Вы их видели?

— Да. Очень недолго. Мельком.

— И какие же они?

— А вы их не видели?

Она почти обрадовалась. Как будто те, кто их хорошо знал, уже вступили в какую-то тайную, может быть и враждебную, организацию, которой ни в коем случае нельзя доверять.

— Их шестеро. Один со мной говорил. Совершенно непохож, знаете! Совершенно! Если б я его на улице встретила, никогда бы даже не подумала. Но когда я поближе присмотрелась, что-то у него такое в глазах... и здесь... — она притронулась к губам.

— А остальные?

— Они даже не вошли в комнату, стояли в коридоре.

Лифт помчал их вверх; золотистые зернышки огоньков, отсчитывавших этажи, усердно пересыпались в стене. Девушка стояла напротив Пиркса, и он мог по достоинству оценить те усилия, которые ей понадобились, чтобы при помощи губной помады, туши и грима лишить себя последних следов индивидуальности и временно превратиться в двойника Инды Ле или как еще там называли эту на новый манер взлохмаченную звезду нынешнего сезона. Когда ее веки затрепетали, Пиркс испугался за сохранность искусственных ресниц.

— Роботы... — сказала она грудным шепотом и вздрогнула, словно от прикосновения змей.

В комнате на десятом этаже сидели шестеро мужчин. Когда Пиркс вошел, один из них, заслонившийся огромным полотнищем «Геральд трибюн», сложил газету, встал и двинулся ему навстречу, широко улыбаясь. За ним встали и остальные.

Они были примерно одинакового роста и походили на летчиков-испытателей, переодетых в гражданское: плечистые, все в одинаковых, песочного цвета костюмах, в белых рубашках с цветными галстуками бабочкой. Два светлых блондина, один рыжий как огонь, остальные темно-волосые, но у всех светлые глаза. Только это и успел заметить Пиркс, когда подошедший к нему человек, крепко встряхнув его руку, сказал:

— Меня зовут Мак-Гирр, рад вас видеть! Я имел удовольствие путешествовать однажды на корабле, которым вы командовали, на «Поллуксе»! Но вы, наверное, меня не помните...

— Нет, — сказал Пиркс.

Мак-Гирр повернулся к остальным, неподвижно стоящим вокруг газетного столика.

— Ребята, вот ваш начальник, командор Пиркс. А это ваш экипаж, командор: первый пилот Джон Кальдер, второй пилот Гарри Броун, инженер-ядерщик Энди Томсон,

радист-электронщик Джон Бартон, а также нейролог, кибернетик и врач в одном лице — Томас Барнс.

Пиркс поочередно пожал им руки, потом все уселись, придвинув к столу металлические стулья, прогибающиеся под тяжестью тела. Несколько секунд царила тишина, потом Мак-Гирр нарушил ее своим крикливым баритоном:

— Прежде всего я хотел поблагодарить вас, командор, от имени дирекции фирм «Кибертроникс», «Интельтрон» и «Нортроникс» за то, что вы проявили такое доверие к нашим замыслам, приняв предложение ЮНЕСКО. Чтобы исключить возможность каких-либо недоразумений, я должен сразу пояснить, что некоторые из присутствующих появились на свет от папы с мамой, а некоторые — нет. Каждый из них знает о своем происхождении, но ничего не знает о происхождении других. Я обращаюсь к вам с просьбой не спрашивать их об этом. Во всем остальном вам предоставляется абсолютная свобода действий. Они наверняка будут добросовестно выполнять ваши приказы и проявят искренность и инициативу как в служебных, так и во внеслужебных отношениях. Однако их проинструктировали так, чтобы на вопрос «кто вы?» каждый отвечал одинаково: «Вполне обыкновенный человек». Я общаю об этом сразу, поскольку это будет не ложь, а необходимость, продиктованная общими нашими интересами...

— Значит, я не могу их об этом спрашивать?

— Можете. Конечно, можете. Но тогда у вас останется неприятное сознание, что некоторые из них говорят неправду, так не лучше ли от этого отказаться? Они всегда скажут одно и то же — что они обычные парни; но не во всех случаях это будет правда.

— А в вашем случае? — спросил Пиркс.

После мгновенной паузы все расхохотались. Громче всех смеялся сам Мак-Гирр.

— О! Ну и шутник вы! Я, что ж, я — всего лишь маленькая шестеренка в машине «Нортроникс»...

Пиркс, который даже не улыбнулся, ожидал, когда наступит тишина.

— Вам не кажется, что вы пытаетесь меня надуть? — спросил он наконец.

— Простите! Что вы пмеее в виду?! Ничего подобного! Условия предусматривали «новый тип команды». Там ни слова не говорилось о том, будет ли эта команда однородной, ведь верно? Мы, знаете ли, попросту хотели исключить возможность некой... гм... чисто психологической, иррациональной предубежденности. Это же ясно! Ведь правда?! Во время рейса и по его окончании, основываясь на полученных результатах, вы составите себе мнение о всех членах команды. Дадите им всестороннюю оценку, в которой мы весьма и весьма нуждаемся. Мы только постарались создать условия, в которых вы сможете действовать с наибольшей, беспристрастной объективностью!

— Сердечно вам благодарен! — сказал Пиркс. — И все-таки я полагаю, что вы меня надули. Однако отказываться я не намерен.

— Браво!

— Я хотел бы еще прямо сейчас немножко побеседовать с моими... — он на мгновение заколебался, — ...людьми...

— Может, вы хотите определить их квалификацию? Впрочем, я вас не ограничиваю! Первый выстрел за вами! Пожалуйста.

Мак-Гирр достал из верхнего кармана пиджака сигару и, обрезав конец, начал ее раскуривать, а тем временем пять пар спокойных глаз внимательно смотрели на Пиркса. Блондины — они оказались пилотами — были слегка похожи друг на друга. Кальдер, однако, больше походил на скандинава, а его курчавые волосы казались сильно выгоревшими на солнце. Броун же был прямо-таки злато-

кудрым, он слегка смахивал на херувимчика из журнала мод, но этот избыток красоты компенсировался твердым подбородком и бесцветными тонкими губами, постоянно кривящимися, будто в насмешливой гримасе. От левого их угла наискось через всю щеку шел белый шрам. На нем-то и остановился взгляд Пиркса.

— Отлично,— сказал он, будто с изрядным опозданием отвечая Мак-Гирру, и тем же тоном, словно бы нехотя, спросил мужчину со шрамом:

— Вы верите в бога?

Губы Броуна дрогнули, будто удерживая улыбку или гримасу. Он не сразу ответил. Вид у него был, как после недавнего и к тому же поспешного бритья: возле уха осталось несколько волосков, на щеках виднелись следы плохого стертой пудры.

— Это... не входит в мои обязанности,— ответил он низким, приятным голосом.

Мак-Гирр, который как раз затянулся сигарой, застыл, неприятно удивленный вопросом Пиркса, и, моргнув, бурно выдохнул дым, словно хотел сказать: «Ну, видал? Нашла коса на камень!»

— Броун,— тем же флегматичным тоном проговорил Пиркс,— вы не ответили на мой вопрос.

— Простите, командор. Я ответил, что это не входит в мои обязанности.

— Как ваш начальник я сам решаю, что входит в ваши обязанности,— отпарировал Пиркс.

На лице Мак-Гирра изображалось изумление. Остальные сидели неподвижно, с видимым вниманием прислушиваясь к этому разговору,— ну прямо как образцовые ученики.

— Если это приказ,— мягким, отчетливо модулированным баритоном ответил Броун,— то я могу лишь пояснить, что не занимался специально этой проблемой.

— В таком случае прошу продумать ее до завтраш-

него дня. От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту.

— Слушаюсь, командор.

Пиркс повернулся к первому пилоту Кальдеру, их взгляды встретились. Глаза Кальдера были почти бесцветными,— огромные окна комнаты отражались в них,

— Вы пилот?

— Да.

— Ваш стаж?

— Полный курс двойного пилотажа и двести девяносто одиночных часов в пространстве на малом тоннаже, десять самостоятельных посадок, в том числе четыре на Луне, две на Марсе и Венере.

Пиркс, казалось, пропустил этот ответ мимо ушей.

— Бартон,— обратился он к следующему,— вы электронщик?

— Да.

— Сколько рентген вы можете вынести в течение часа?

Губы Бартона дрогнули. Это нельзя было даже назвать улыбкой. Она тотчас исчезла.

— Думаю, что примерно четыреста,— сказал он.— Самое большее. Но потом пришлось бы лечиться.

— Не больше чем четыреста?

— Не знаю, но, пожалуй, что нет.

— Откуда вы родом?

— Из Аризоны.

— Болели?

— Нет. Во всяком случае, ничего серьезного.

— Зрение хорошее?

— Хорошее!

Пиркс, собственно, не слушал того, что они говорили. Он скорее интересовался звуком голоса, его модуляциями, тембром, движением губ, выражением лица и временами питал бессмысленную надежду, что все происходящее —

лишь идиотская шутка, блеф, что над ним хотят позабыться, поиздеваться над его наивной верой во всемогущество техники. Или, может, наказать его за эту веру? Ведь это же были самые обычные люди, правильно говорила секретарша — вот что значит предубеждение! Она и Мак-Гирра приняла за одного из них..

Разговор был пока что пустой, если б не эта не слишком-то умная придумка насчет господ бога. Наверняка не слишком умная, скорее даже примитивная и безвкусная. Пиркс это отлично чувствовал, он считал себя ограниченным тупицей, только из-за своей тупости он и согласился...

Все смотрели на него, как и прежде, но ему почудилось, что рыжий Томсон и оба пилота сделали слишком уж равнодушные мины, словно не хотели показать, что насквозь видят его примитивную душу рутинера, совершенно выбитого сейчас из привычного равновесия. Он хотел спрашивать дальше — тем более что молчание, уже пачинавшееся затягиваться, оборачивалось против него, становилось доказательством его беспомощности, — но попросту не мог ничего придумать. Уже не благоразумие, а отчаяние подсказывало ему, что надо сделать нечто диковинное, полубезумное, но Пиркс отлично знал, что ничего такого не сделает. Он чувствовал, что осрамился, — надо было отказаться от этой встречи. Он посмотрел на Мак-Гирра.

— Когда я могу подняться на корабль?

— О, в любое время, хоть сегодня.

— Как обстоит с санитарным контролем?

— Об этом, пожалуйста, не беспокойтесь. Все уже улажено.

Инженер отвечал почти снисходительно — так по крайней мере показалось Пирксу.

«Не умею я с достоинством проигрывать», — подумал он. А вслух сказал:

— Тогда все. Кроме Броуна, все могут считать себя членами команды. Броуна прошу ответить мне завтра на вопрос, который я ему задал. Мак-Гирр, бумаги, которые я должен подписать, у вас?

— Да, но не здесь. В директорате. Пройдемте туда?

— Хорошо.

Пиркс встал. Все встали вслед за ним.

— До свиданья,— он кивнул им и вышел первым.

Инженер догнал его около лифта.

— Вы недооценили нас, командор...

К нему уже вернулось хорошее настроение.

— Как это надо понимать?

Лифт пошел вниз. Инженер осторожно поднес сигару к губам, стараясь не стряхнуть серый столбик пепла.

— Наших парней не так-то легко отличить от... обычных.

Пиркс пожал плечами.

— Если они сделаны из того же материала, что и я,— сказал он,— то это люди, а появились они с помощью какого-то искусственного оплодотворения в пробирке или более обычным путем, это меня совершенно не касается.

— О нет, они не из того же материала!

— Из какого же?

— Прошу прощения, но это производственный секрет.

— Кто вы, собственно, такой?

Лифт остановился. Инженер открыл дверь, но Пиркс не пошевелинулся. Он ждал ответа.

— Вас интересует, не конструктор ли я? Нет. Я работаю в отделе коммерческих связей.

— И вы достаточно компетентны, чтобы ответить мне на несколько вопросов?

— Разумеется, но, надеюсь, не здесь?

Та же секретарша проводила их в конференц-зал. У длинного стола в идеальном порядке стояли два ряда

кресел. Они уселись с краю, там, где лежала открытая папка с договором.

— Слушаю вас,— сказал Мак-Гирр. Пепел свалился ему на брюки, он сдул его. Пиркс заметил, что глаза у Мак-Гирра налиты кровью, а зубы чрезмерно ровные. «Искусственные,— подумал он.— Старается выглядеть помоложе».

— Скажите, эти, которые... не люди, ведут себя как люди? Они едят? Пьют?

— Да.

— Зачем?

— Чтобы иллюзия была полной. Для окружающих, разумеется.

— Но тогда они должны потом от этого... избавляться?

— Ну, конечно.

— А кровь?

— Простите, не понял.

— У них есть кровь? Сердце? Если они поранятся, пойдет кровь?

— У них есть... имитация крови и сердца,— осторожно подбирая слова, ответил Мак-Гирр.

— Как это понимать?

— Ну, только хороший врач-специалист после всестороннего обследования смог бы понять...

— А я — нет?

— Нет. Конечно, если не применять каких-нибудь специальных методов.

— Рентген?

— Вы сообразительны! Но у вас на борту не будет такой аппаратуры.

— Чувствуется непрофессиональный подход,— сказал Пиркс.— Я могу получить из реактора сколько угодно изотопов, ну, и, кроме того, на борту должны быть аппараты

для дефектоскопии; значит, рентген мне вовсе не понадобится.

— Мы не возражаем против этой аппаратуры, если только вы обяжетесь не употреблять ее ни для каких других целей.

— А если я не соглашусь?

Мак-Гирр вздохнул и, раздавив сигару в пепельнице, словно он почувствовал к ней внезапное отвращение, сказал:

— Командор... вы изо всех сил стараетесь затруднить нашу задачу.

— Это верно! — признался Пиркс. — Значит, у них может идти кровь?

— Да.

— И это действительно кровь? Даже под микроскопом?

— Да, это кровь.

— Как же вы это сделали?

— Впечатляюще, верно? — Мак-Гирр широко ухмыльнулся. — Могу сказать вам только в самых общих чертах: принцип губки. Специальной подкожной губки.

— Это человеческая кровь?

— Да.

— Зачем?

— Уж конечно не затем, чтобы провести вас. Поймите, ведь не для вас запустили производство стоимостью в миллиарды долларов. Они должны так выглядеть, должны быть такими, чтобы ни при каких обстоятельствах никому из пассажиров или других людей и в голову не пришло бы заподозрить...

— Речь идет о том, чтобы избежать бойкотирования вашей «продукции»?

— И об этом тоже. Ну, и об удобствах, разумеется, о психологическом комфорте...

— А вы сами их различаете?

— Только потому, что я их знаю. Ну... есть способы... грубые... но ведь не станете же вы пользоваться топором!

— Скажите, а чем они отличаются от людей в физиологическом смысле? Дыхание, кашель, румянец...

— О, это все удалось сделать. Конечно, есть различия, но я уже говорил вам: разобраться в этом мог бы только врач.

— А что касается психики?

— Мозг у них в голове! Это наше величайшее достижение! — сказал Мак-Гирр с откровенной гордостью. — «Интелтрон» до сих пор помещал его в корпусе, из-за размеров. Мы первые перенесли его в голову!

— Скажем, вторые; первой была природа...

— Ха-ха! Ну, значит, вторые. Но детали — это секрет. Мозг представляет собой монокристаллический мультистат с шестнадцатью миллиардами двоичных элементов.

— А на что способны нелинейники — это тоже секрет?

— Что вы имеете в виду?

— Например, то, что они умеют лгать. В каких пределах они могут лгать?.. Могут ли они потерять контроль над собой и, следовательно, над обстановкой?..

— Да. Все это возможно.

— Почему?

— Потому что это неизбежно. Все, образно говоря, тормоза, вводимые в нейтронную или кристаллическую систему, — все они относительно, их можно снять или ослабить. Я говорю это потому, что вы должны знать правду. Впрочем, если вы хоть немного знакомы с литературой по этому вопросу, то вам известно, что робот, который был бы в умственном отношении равен человеку и в то же время не мог бы лгать и обманывать, — чистейшая фикция! Либо полноценная копия человека, либо марионетка — ничего другого создать нельзя. Третьего не дано.

— Существо, способное на поступки определенного

уровня сложности, уже тем самым способно и на другие поступки того же уровня, так?

— Да. Конечно, это нерентабельно. По крайней мере — пока. Психическая полноценность, не говоря даже о внешнем человекоподобии, стоит чудовищно дорого. Модели, которые вы получили, изготовлены в очень малом количестве экземпляров потому, что они нерентабельны. Стоимость любой из них больше стоимости сверхзвукового бомбардировщика!

— Вот оно как!

— Включая, разумеется, стоимость всех предварительных исследований. Для рынка мы, может быть, сумеем изготавливать эти автоматы на конвейере и даже попытаемся усовершенствовать их, хотя это, пожалуй, уже невозможно. Вам мы даем лучшее из того, что имеем. Поэтому потеря самообладания, какой-нибудь нервный срыв хотя и не исключен в принципе, но менее вероятен у них, чем у человека в аналогичной ситуации.

— Такие опыты проводились?

— Конечно!

— И люди служили контрольными образцами?

— Бывало и так.

— Катастрофические ситуации? Угроза уничтожения?

— Именно это.

— А результаты?

— Люди менее надежны.

— А как у них с агрессивностью?

— Вас интересует их отношение к человеку?

— Не только.

— Можете быть спокойны. У них имеются специально встроенные ингибиторы, так называемые устройства обратного разряда, как бы амортизирующие агрессивные потенциалы.

— Всегда?

— Нет, это невозможно. Мозг — система вероятностная, наш с вами — тоже; можно увеличить вероятность определенных состояний, но никогда нельзя быть вполне уверенным. И все же — они и в этом превосходят человека!

— А что произойдет, если я попытаюсь проломить кому-нибудь из них голову?

— Он будет защищаться.

— И будет стараться убить меня?

— Нет, он ограничится самообороной.

— А если единственно возможной обороной будет нападение?

— Тогда он нападет на вас.

— Давайте ваш договор, — сказал Пиркс.

Перо закрипело в тишине. Инженер сложил бланки и спрятал в папку.

— Вы возвращаетесь в Штаты?

— Да, завтра.

— Можете сообщить своему начальству, что я постараюсь выжать из них самое худшее, — сказал Пиркс.

— Разумеется! Именно на это мы и рассчитываем! Потому что даже в этом худшем они все же лучше, чем человек! Только вот...

— Вы хотели что-то сказать?

— Вы смелый человек, командор. Но... в ваших собственных интересах... советую вам быть осторожным.

— Чтобы они за меня не взялись?

Пиркс невольно усмехнулся.

— Нет. Чтобы вам же не пришлось расплачиваться. Потому что прежде всего первыми сдадут люди. Обыкновенные, хорошие, честные парни. Понимаете?

— Понимаю, — ответил Пиркс. — Мне пора. Я должен еще сегодня принять корабль.

— У меня здесь на крыше вертолет, — сказал Мак-Гирр, поднимаясь. — Вас подбросить?

— Нет, спасибо. Поеду в метро. Не люблю рисковать, знаете... Значит, вы сообщите своему начальству, какие у меня коварные намерения?

— Если вам угодно.

Мак-Гирр искал в кармане очередную сигару.

— Должен сказать, что вы ведете себя довольно странно. Чего вы, собственно, от них хотите? Это не люди, никто этого не утверждает. Это отличные специалисты и притом действительно порядочные парни. Уверяю вас! Они для вас все сделают!

— Я постараюсь, чтобы они сделали еще больше,— ответил Пиркс.

* * *

Пиркс в самом деле не спустил Броуну истории с господом богом и нарочно позвонил ему на следующий день; в ЮНЕСКО ему сообщили номер телефона, по которому он мог найти своего пилота. Пиркс даже узнал его голос, когда набрал этот номер.

— Я ждал вас,— сказал Броун.

— Ну, и как вы решили? — спросил Пиркс. У него при этом была странная тяжесть на сердце. Куда легче было подписывать бумаги Мак-Гирра. Тогда ему казалось, что он справится. Теперь он уже не был так уверен в этом.

— У меня было мало времени,— сказал Броун своим ровным, приятным голосом.— Поэтому я могу сказать одно: меня учили вероятностному подходу. Я вычисляю шансы и на этом основании действую. В данном случае — девяносто девять процентов за то, что «нет»... может быть, даже девяносто девять и девять десятых..., но одна сотая шанса за то, что «да».

— Что бог есть?

— Да.

— Хорошо. Можете явиться вместе с остальными. До встречи.

— До свиданья,— ответил мягкий баритон, и телефон звякнул, разъединяясь.

Неизвестно почему, Пиркс припомнил этот разговор, когда ехал на ракетодром. Кто-то уже уладил все формальности в капитанате — может, ЮНЕСКО, а может, фирмы, которые «изготовили» для него команду. Во всяком случае, не было обычного санитарного контроля и никто не проверял документы его «людей», а старт был назначен на два сорок пять, то есть на такой час, когда движение наименьшее. Три больших ракетных спутника для Сатурна уже находились в люках. «Голиаф» был кораблем среднего тоннажа — каких-нибудь шесть тысяч тонн массы покоя,— но сошел он со ступеней всего два года назад и имел высокоавтоматизированное хозяйство. Его реактор на быстрых нейтронах занимал десять кубических метров, то есть всего ничего, но был совершенно лишен всяких тепловых колебаний, а номинальная мощность у него была сорок пять миллионов лошадиных сил. И семьдесят миллионов в максимуме — для кратковременных ускорений.

По существу Пиркс ничего не знал о том, что делали его «люди» в Париже,— жили они в гостинице или какая-нибудь фирма сняла им комнаты (у него даже мелькнула гротескная, жутковатая мысль, что, может, инженер Мак-Гирр как-то «повыключал» их и на эти два дня уложил в ящики). Он не знал даже, как они добрались до ракетодрома.

Они ждали его в отдельной комнате в капитанате, и у всех были с собой чемоданы, какие-то свертки и маленькие несессеры с болтающимися на ручках именными табличками. Пирксу, когда он взглянул на эти несессеры, невольно полезли в голову всякие дурацкие шуточки вроде того, что у них там, наверно, французские гаечные клю-

чи, и туалетные масленки, и тому подобное. Но ему было вовсе не до смеха, когда, поздоровавшись с ними, он предъявил в капитанате полномочия и бумаги, необходимые для подтверждения стартовой готовности, а потом, за два часа до назначенного времени, они вышли на плиты, освещенные единственным прожектором, и гуськом двинулись к белому как снег «Голиафу». Он слегка напоминал огромную, свежераспакованную сахарную голову.

Старт не представлял трудностей. «Голиаф» можно было поднять почти без всякой помощи — стоило лишь ввести программы во все автоматические и полуавтоматические устройства. Не прошло и получаса, а они уже оставили за собой ночное полушарие Земли с фосфорической россыпью городов; тогда Пиркс глянул на экраны. Великолепное это зрелище — когда Солнце на рассвете насквозь прочесывает лучами атмосферу и она пылает, словно исполинский радужный серп, — Пиркс наблюдал из космоса уже не раз, но оно ему еще ничуть не приелось. Несколько минут спустя, пройдя мимо последнего навигационного спутника, пробравшись сквозь сплошной писк и щебет сигналов, которыми были битком набиты работающие информационные машины (Пиркс называл их «электронной бюрократией космоса»), они поднялись над плоскостью эклиптики. Тогда Пиркс велел первому пилоту оставаться у штурвала, а сам отправился в свою каюту. Не прошло и десяти минут, как он услышал стук в дверь.

— Войдите!

Вошел Броун. Он старательно закрыл дверь, подошел к Пирксу, сидевшему на койке, и негромко сказал:

— Я хотел бы с вами поговорить.

— Пожалуйста. Садитесь.

Броун опустил на стул, но, видимо, расстояние, их разделявшее, показалось ему слишком большим, он придвинулся поближе, некоторое время молчал, опустив голо-

ву, потом вдруг посмотрел прямо в глаза Пирксу и сказал:

— Я хочу вам кое-что сообщить. Но я вынужден просить вас сохранить это в тайне. Дайте мне слово, что никому этого не расскажете.

Пиркс поднял брови.

— Тайна?

Он подумал несколько секунд.

— Хорошо, даю вам слово, что я не расскажу никому, ни единой живой душе,— ответил он наконец.— Слушаю вас.

— Я человек,— сказал Броун и остановился, глядя Пирксу в глаза, словно хотел проверить, какой эффект произведут эти слова.

Но Пиркс, полуприкрыв веки и опершись затылком о стену, выложенную белым пенопластом, не пошевелился.

— Я говорю это потому, что хочу вам помочь,— снова заговорил Броун, будто произнося заранее обдуманную речь.— Когда я предлагал свои услуги, я не знал, о чем идет речь. Таких, как я, было, наверно, много, но нас принимали по отдельности, чтобы мы не могли познакомиться и даже увидеть друг друга. О том, что мне, собственно, предстоит, я узнал, лишь когда был окончательно выбран, после всех полетов, проб и тестов. Мне пришлось тогда обещать, что я абсолютно ничего не расскажу. У меня есть девушка, мы хотим пожениться, но были финансовые трудности, а эта работа меня просто необыкновенно устраивала, потому что мне дали сразу восемь тысяч, а другие восемь я должен получить по возвращении из рейса, независимо от его результатов. Я вам все рассказываю, как было, чтобы вы знали, что я в этом деле чист. Правду говоря, я сначала не осознал, какая ставка будет в этой игре. Диковинный эксперимент, только и всего,— так я вначале думал. А потом мне это начало все

меньше нравиться. В конце концов, должна же быть какая-то элементарная общечеловеческая солидарность. Что же мне, молчать вопреки интересам людей? Я решил, что не имею права. Разве вы не так думаете?

Пиркс продолжал молчать, поэтому Броун вновь заговорил, но менее уверенно:

— Из этой четверки я не знаю никого. Нас все время держали порознь. У каждого была отдельная комната, отдельная ванная, свой гимнастический зал, мы не встречались даже во время еды, только последние три дня перед выездом в Европу нам разрешили есть вместе. Поэтому я не могу вам сказать, который из них человек, а который нет. Ничего определенного я не знаю. Однако подозреваю...

— Минуточку,— прервал его Пиркс.— Почему на мой вопрос насчет бога вы ответили, что размышления на эту тему не входят в ваши обязанности?

Броун поерзал на стуле, шевельнул ногой и, глядя на носок ботинка, которым чертил по полу, тихо ответил:

— Потому что я уже тогда решил вам все рассказать и... знаете, как это бывает: на воре шапка горит. Я боялся, как бы Мак-Гирр не догадался ненароком о моем решении. Поэтому, когда вы меня спросили, я ответил так, чтобы ему показалось, будто я намерен торжественно хранить тайну и наверняка не помогу вам разгадать, кем я в действительности являюсь.

— Значит, вы нарочно так отвечали, из-за присутствия Мак-Гирра?

— Да.

— А вы верите в бога?

— Верю.

— И думали, что робот не должен верить?

— Ну да.

— И что, если б вы сказали «верю», было бы легче догадаться, кто вы на самом деле?

— Да. Именно так и было.

— Но ведь и робот может верить в бога,— помолчав, сказал Пиркс небрежно, словно мимоходом, так что Броун даже глаза вытаращил.

— Как вы сказали?

— А вы считаете, что это невозможно?

— Никогда мне это в голову не пришло бы.

— Ладно, пока хватит. Это — сейчас по крайней мере — не имеет значения. Вы говорили о каких-то своих подозрениях...

— Да. Мне кажется, что этот темный... Барнс — не человек.

— Почему вам так кажется?

— Это все мелочи, почти неуловимые, но в сумме они что-то дают... Прежде всего — когда он сидит или стоит, он совсем не шевелится. Как статуя. А вы же знаете, ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Когда ему становится неудобно, нога затечет, он невольно пошевелится, переступит с ноги на ногу, проведет рукой по лицу, а Барнс прямо застывает.

— Всегда?

— Нет. Вот именно — не всегда. Это мне и показалось особенно подозрительным.

— Почему?

— Я вот думаю, что он делает эти незаметные, словно бы невольные движения, когда специально о них думает, а как забудет — так застывает. А у нас-то как раз наоборот: мы именно должны сосредоточиться, чтобы какое-то время сохранять неподвижность.

— В этом что-то есть. Что еще?

— Он все ест.

— Как это «все»?

— Все что дают. Ему абсолютно все равно. Я это уже много раз подмечал: и во время путешествия, когда мы

летели через Атлантику, и еще в Штатах, и в ресторане на аэродроме — он совершенно равнодушно ест все что подадут, а ведь у каждого человека обычно есть какие-то вкусы, чего-то он не любит.

— Это не доказательство.

— О нет, безусловно, нет. Но вместе с первым, знаете ли... И потом еще одно.

— Ну?

— Он не пишет писем. В этом я уже не на все сто процентов уверен, но я, например, сам видел, как Бартоп опускал письмо в почтовый ящик.

— А вам разрешается писать письма?

— Нет.

— Я вижу, вы тщательно соблюдаете условия договора, — проворчал Пиркс. Он выпрямился на койке и, придвинув лицо к лицу Броуна, неторопливо спросил: — Почему вы нарушили данное вами слово?

— Как? Что вы сказали?! Командор!

— Вы же дали слово, что сохраните свою подлинную сущность в тайне.

— А! Да. Я дал слово. Однако я полагаю, что существуют такие ситуации, когда человек не только имеет право, но даже обязан так поступить.

— Например?

— Именно сейчас такая ситуация. Они взяли металлических кукол, оклеили их пластиком, подрумянили, перетасовали с людьми, как крапленые карты, и хотят зарабатывать на этом большие денежки. Я считаю, что каждый порядочный человек поступил бы так же, как я, — а разве больше никто не обращался к вам?

— Нет. Вы первый. Но мы ведь только что стартовали... — сказал Пиркс. Произнес он это совершенно равнодушно, однако замечание его не лишено было иронии, но Броун, даже если и заметил это, ничем себя не выдал.

— Я постараюсь и в дальнейшем помогать вам в течение всего рейса... И я сделаю со своей стороны все, что вы сочтете нужным.

— Зачем?

Броун удивленно заморгал кукольными ресницами.

— Как это — зачем? Чтобы вам легче было отличить людей от нелюдей.

— Броун, вы же взяли эти восемь тысяч.

— Да. Ну и что? Меня наняли как пилота. Я и есть пилот. И вдобавок неплохой.

— По возвращении вы возьмете остальные восемь за две недели полета? За такой рейс никому не дадут шестнадцать тысяч — ни командиру, ни пилоту первого космического класса, ни навигатору. Никому. Значит, эти деньги вы получили за молчание. По отношению ко мне, по отношению ко всем другим — хотя бы к конкурирующим фирмам. Вас хотели уберечь от любых искушений.

На красивом лице Бруна выразилось полное смятение.

— Так вы меня еще и попрекаете тем, что я сам пришел и рассказал?!

— Нет. Ничем я вас не попрекаю. Вы поступили так, как сочли правильным. Какой у вас КИ?

— Коэффициент интеллектуальности? Сто двадцать.

— Этого достаточно, чтобы разбираться в некоторых элементарных вещах. Ну, скажите, какая мне, собственно, будет польза от того, что вы поделились со мной своими подозрениями насчет Барнса?

Молодой пилот встал.

— Командор, прошу прощения. Если так — произошло недоразумение. Я хотел как лучше. Но раз вы считаете, что я... словом, прошу вас об этом забыть... Только помните...

Он замолчал, увидев усмешку Пиркса.

— Садитесь. Да садитесь вы! Ну!

Броун сел.

— Что ж вы не договариваете? О чем я должен помнить? Что обещал никому не сообщать о нашем разговоре? Верно? Ну, а если я в свою очередь решу, что имею право о нем сообщить? Спокойно! Командира нельзя перебивать. Вот видите, все это не так просто. Вы пришли ко мне с доверием, и я ценю это доверие. Но... одно дело — доверие, а другое — здравый смысл... Допустим, я теперь наверняка знаю, кто вы и кто. — Бартон. Что мне это даст?

— Ну... это уж ваше дело. Вы должны после этого рейса оценить пригодность...

— О, вот именно! Пригодность каждого. Но ведь вы же не думаете, Броун, что я буду писать неправду? Что я поставлю минусы не тем, которые хуже, а тем, которые не являются людьми?

— Это не мое дело, — натянуто проговорил пилот, ерзавший на стуле во время этого разговора.

Пиркс смерил его таким взглядом, что тот замолчал.

— Вы только не стройте из себя этакое усердного ефрейтора, который, кроме своей бляхи, ничего не видит. Если вы человек и чувствуете солидарность с людьми, то вы должны попытаться оценить всю эту историю и осознать свою ответственность.

— Как это «если»? — Броун вздрогнул. — Вы мне не верите? Так вы... так вы думаете...

— Да нет, что вы! Просто слово подвернулось, — то-ропливо прервал его Пиркс. — Я вам верю. Конечно же, я вам верю. И поскольку вы уже выдали мне свою тайну, а я не собираюсь оценивать ваш поступок с моральной точки зрения, то прошу вас и впредь поддерживать со мной внеслужебный контакт и сообщать обо всем, что вы заметили.

— Ну, я совсем уж ничего не понимаю, — сказал Броун и невольно вздохнул. — Сначала вы меня отчитали, а теперь...

— Это разные вещи, Броун. Раз уж вы мне сказали то, чего не должны были говорить, так отступать теперь бессмысленно. Другое дело, разумеется, с этими деньгами. Может, сказать действительно следовало. Но денег этих я бы на вашем месте не брал.

— Что? Но... но, командор... — Броун в отчаянии искал возражений и наконец нашел: — Они бы сразу догадались, что я нарушил договор! Еще бы в суд на меня подали...

— Это ваше дело. Я не говорю, что вы должны отдать им эти деньги. Я обещал вам молчать и не собираюсь в это дело вмешиваться. Я только сказал — совершенно частным и неофициальным образом, — что я сделал бы на вашем месте. Но вы — не я, а я — не вы, и все тут. Вы хотели еще что-то сказать?

Броун покачал головой, открыл было рот, закрыл, пожал плечами; видно было, что он до крайности разочарован результатами разговора. Так ничего и не сказав, он машинально вытянулся в струнку и вышел из каюты.

Пиркс глубоко вздохнул. «Зря это я сболтнул: «Если вы человек...» — огорченно подумал он. — Что за дьявольская игра! Черт его знает, этого Броуна. Либо он человек, либо все это — хитрая уловка, чтобы запутать меня, да и проверить заодно, не собираюсь ли я применить какие-либо противоречащие договору приемы, чтобы распознать этих... Ну, во всяком случае, эту часть состязания я, кажется, провел неплохо! Если Броун сказал правду, то он должен чувствовать себя не в своей тарелке — после всего, что я ему наговорил. А если нет... так опять же я ему ничего особенного не сказал. Ну и дела! Вот это влип я в историю!»

Пирксу не сиделось на месте, он принялся шагать по каюте из угла в угол. Зажужжал зуммер — это был Кальдер из рулевой рубки; они согласовали поправки к курсу и ускорение для ночной вахты, потом Пиркс снова сел и уставился в пространство, свирепо насупив брови и не-

весть о чем размышляя. И тут кто-то постучался. «Это еще что?» — подумал он.

— Войдите! — сказал он громко.

В каюту вошел Барнс — нейролог, он же врач и кибернетик.

— Можно?

— Пожалуйста. Садитесь.

Барнс усмехнулся.

— Я пришел сказать вам, что я не человек.

Пиркс стремительно повернулся к нему вместе со стулом.

— Что, простите? Что вы не...

— Что я не человек. И что в этом эксперименте я на вашей стороне.

Пиркс перевел дыхание.

— То, что вы говорите, должно, разумеется, остаться между нами? — спросил он.

— Это я предоставляю на ваше усмотрение. Мне это безразлично.

— Это как же?

Барнс снова усмехнулся.

— Очень просто. Я действую из эгоистических соображений. Если ваше мнение о нелинейниках будет положительным, оно вызовет цепную реакцию производства. Это более чем правдоподобно. Такие, как я, начнут появляться в массовом масштабе — и не только на космических кораблях. Это повлечет за собой пагубные последствия для людей — возникнет новая разновидность дискриминации, взаимной ненависти... Я это предвижу, но, повторяю, руководствуюсь прежде всего личными мотивами. Если существую я один, если таких, как я, двое или десять, это не имеет ни малейшего общественного значения — мы попросту затеряемся в массе, незамеченные и незаметные. Передо мной... перед нами будут такие же перспективы, как перед любым человеком, с весьма существенной по-

правкой на интеллект и ряд специфических способностей, которых у человека нет. Мы сможем достичь многого, но лишь при условии, что не будет массового производства.

— Да... в этом что-то есть...— медленно проговорил Пиркс. В голове у него был легкий сумбур.— Но почему вам безразлично, расскажу я или нет? Разве вы не боитесь, что фирма...

— Нет. Совершенно не боюсь. Ничего,— тем же спокойным лекторским тоном сказал Барнс.— Я ужасно дорого стою, командор. Вот сюда,— он коснулся рукой груди,— вложены миллиарды долларов. Не думаете же вы, что разъяренный фабрикант прикажет разобрать меня на винтики? Я говорю, конечно, в переносном смысле, потому что никаких винтиков во мне нет... Разумеется, они придут в ярость... но мое положение от этого ничуть не изменится. Вероятно, мне придется работать в этой фирме — ну, и что за беда?! Я даже предпочел бы работать там, чем в другом месте,— там обо мне лучше позаботятся в случае... болезни. И не думаю, что они попытаются меня изолировать. Зачем, собственно? Применение силы могло бы кончиться очень печально для них самих. Вы ведь знаете, как могущественна печать...

«Он подумывает о шантаже»,— мелькнуло в голове у Пиркса. Ему казалось, что это сон. Но он продолжал слушать с величайшим вниманием.

— Итак, теперь вы понимаете, почему я хочу, чтобы ваше мнение о нелинейниках оказалось отрицательным?

— Да. Понимаю. А вы... могли бы сказать, кто еще из команды...

— Нет. То есть у меня нет уверенности, а догадками я могу вам больше навредить, чем помочь. Лучше иметь нуль информации, чем быть дезинформированным, поскольку это означает отрицательную информацию.

— Да... гм... Ну, во всяком случае, почему бы вы это ни сделали, благодарю вас. Да. Благодарю. А... не можете

ли вы в связи с этим рассказать кое-что о себе? Я имею в виду определенные аспекты, которые могли бы мне помочь...

— Я догадываюсь, что вас интересует. Но я ничего не знаю о своей конструкции, точно так же как вы не знали ничего об анатомии или физиологии своего тела... до тех пор по крайней мере, пока не прочли какого-нибудь учебника биологии. Впрочем, конструкторская сторона вас, по-видимому, мало интересует — речь идет в основном о психике? О наших... слабых местах?

— О слабых местах тоже. Но, видите ли, в конце концов каждый кое-что знает о своем организме... это, понятно, не научные сведения, а результат опыта, самонаблюдения...

— Ну, разумеется, ведь организмом пользуются... это открывает возможности для самонаблюдения.

Барнс снова, как и прежде, усмехнулся, показав ровные, но не чересчур ровные зубы.

— Значит, я могу вас спрашивать?

— Пожалуйста.

Пиркс силился собраться с мыслями.

— Можно мне задавать вопросы... нескромные? Прямо-таки интимные?

— Мне нечего скрывать, — просто ответил Барнс.

— Вы уже сталкивались с такими реакциями, как ошеломление, страх и отвращение, вызванные тем, что вы нечеловек?

— Да, однажды, во время операции, при которой я ассистировал. Вторым ассистентом была женщина. Я уже знал тогда, что это означает,

— Я вас не понял...

— Я уже знал тогда, что такое женщина, — пояснил Барнс. — Сначала мне ничего не было известно о существовании пола...

— А!

Пиркс разозлился на себя за то, что не смог удержаться от этого возгласа.

— Значит, там была женщина. И что же произошло?

— Хирург случайно поранил мне палец скальпелем, резиновая перчатка разошлась, и стало видно, что рана не кровоточит.

— Как же так? А Мак-Гирр говорил мне...

— Сейчас кровь пошла бы. Тогда я был еще «сухой», как говорят на профессиональном жаргоне наших «родителей»... — сказал Барнс. — Ведь эта наша кровь — чистейший маскарад: внутренняя поверхность кожи сделана губчатой и пропитана кровью, причем эту пропитку приходится возобновлять довольно часто.

— Понятно. И женщина это заметила. А хирург?

— О, хирург знал, кто я, а она нет. Она не сразу поняла, только в самом конце операции, да и то в основном потому, что хирург смутился...

Барнс усмехнулся.

— Она схватила мою руку, поднесла ее к глазам и, когда увидела, что там... внутри, бросила ее и пустилась бежать. Она забыла, в какую сторону открывается дверь операционной, дергала ее, но дверь не открывалась, и у нее началась истерика.

— Та-ак... — сказал Пиркс. Он откашлялся. — Что вы тогда почувствовали?

— В общем-то я малочувствителен... но это не было приятно, — помедлив, сказал Барнс и снова усмехнулся. — Я об этом не говорил ни с кем, — добавил он немного спустя, — но у меня создалось впечатление, что мужчинам, даже необразованным, легче общаться с нами. Мужчины мирятся с фактами. Женщины с некоторыми фактами не хотят мириться. Продолжают говорить «нет», даже если ничего уже, кроме «да», сказать невозможно.

Пиркс все время смотрел на своего собеседника — особенно пристально вглядывался в него, когда Барнс отво-

дл глаза,— потому что старался обнаружить в нем некое отличие, которое бы его успокоило, доказав, что воплощение машины в человека все-таки не может быть идеальным. Раньше, когда он подозревал всех сразу, ситуация была иной. Теперь, с каждым мгновением все более убеждаясь, что Барнс говорит правду, и доискиваясь следов подделки — то в его бледности, которая поразила Пиркса уже при первой встрече, то в его движениях, таких сдержанных, то в неподвижном блеске светлых глаз,— он вынужден был признать, что, в конце концов, и люди бывают такие же бледные или малоподвижные; тогда вновь возвращались сомнения — и всем этим наблюдениям и мыслям Пиркса сопутствовала усмешка Барнса, которая вроде и не всегда относилась к тому, что Пиркс говорил, а скорее выражала понимание того, что именно он чувствовал. Эта усмешка была Пирксу неприятна, она смущала его, и ему тем труднее было продолжать этот вопрос, что в ответах Барнса звучала безграничная искренность.

— Вы обобщаете на основании одного случая,— пробормотал Пиркс.

— О, потом я много раз сталкивался с женщинами. Со мной работали, то есть учили меня, несколько женщин. Они были преподавательницами и тому подобное. Но они заранее знали, кто я. Поэтому старались скрывать свои чувства. Это им давалось нелегко, потому что временами мне доставляло удовольствие раздражать их.

Улыбка, с которой он смотрел Пирксу в глаза, была почти дерзкой.

— Они искали, знаете, каких-нибудь особенностей, отличий со знаком минус, а раз это их так интересовало, я иногда развлекался, демонстрируя такие особенности.

— Не понимаю.

— О, наверняка понимаете! Я изображал марионетку:

и физически — скованностью движений, и психически — пассивным послушанием... а как только они начинали наслаждаться своими открытиями, я внезапно обрывал игру. Я полагаю, они считали меня порождением дьявола.

— Послушайте, вы не предубеждены? Это ведь только домыслы, тем более что они были преподавательницами, значит, имели соответствующее образование.

— Человек — существо абсолютно несобранное, — флегматично сказал Барнс. — Это неизбежно, если возникаешь так, как вы; сознание — это часть мозговых процессов, выделившаяся из них настолько, что субъективно кажется неким единством, но это единство — обманчивый результат самонаблюдения. Другие мозговые процессы, которые вздымают сознание, как океан вздымает айсберг, нельзя ощутить непосредственно, но они дают о себе знать, порой так отчетливо, что сознание начинает их искать. Именно из таких поисков и возникло представление о дьяволе как проекция на внешний мир того, что существует внутри человека, в его мозгу, но не поддается локализации — ни наподобие мысли, ни наподобие руки.

Он еще шире улыбнулся.

— Я излагаю вам кибернетические основы теории личности, которые вам, наверное, известны! Логическая машина отличается от мозга тем, что не может иметь сразу несколько взаимоисключающих программ деятельности. Мозг может их иметь, он всегда их имеет, поэтому-то он и представляет собой поле битвы у людей святых или же пепелище противоречий у людей более обычных... Нейронная система у женщины несколько иная, чем у мужчины, — речь идет не об интеллекте, и вообще различие здесь только статистическое. Женщины легче переносят сосуществование противоречий — в большинстве случаев это так. Кстати говоря, именно потому науку и создают в основном мужчины, что она представляет собой поиск единого, а значит, непротиворечивого порядка. Противоречия

мешают мужчинам сильнее, поэтому они стремятся их устранить, сводя многообразие к однородности.

— Возможно,— сказал Пиркс.— И поэтому вы считаете, что женщины видели в вас дьявола?

— Это, пожалуй, слишком сильно сказано,— ответил Барнс. Он положил руки на колени.— Я казался им в высшей степени отталкивающим и благодаря этому привлекал. Я был воплощением невозможного, чем-то запретным, чем-то, что противоречит миру, понимаемому как естественный порядок вещей, и ужас их выражался не только в желании бежать, но и в жажде самоуничтожения. Если даже никто из них не признался себе в этом открыто, я могу сделать это за них: в их глазах я представлял собой бунт против покорности биологическим законам. Ибо я был воплощением бунта против Природы, я был существом, в котором биологически рациональная, а значит, корыстная связь эмоций с функцией продолжения рода была разорвана. Уничтожена.

Он быстро взглянул на Пиркса.

— Вы думаете, что это философия кастрата? Нет — поскольку я не был искалечен; таким образом, я не являюсь существом низшего порядка, я только существо, отличающееся от вас. Существо, любовь которого всегда будет — во всяком случае может быть — такой же бескорыстной, такой же ни на что не пригодной, как смерть; и потому эта любовь вместо ценного оружия становится ценностью в себе. Ценностью, разумеется, с отрицательным знаком — как дьявол. Почему так случилось? Меня создали мужчины, и им легче было сконструировать потенциального соперника, чем потенциальный объект страсти. А как вы думаете?.. Я прав?

— Не знаю,— сказал Пиркс. Он не смотрел на Барнса; он не мог на него смотреть.— Не знаю. Конструкцию определяли различные факторы — пожалуй, экономические прежде всего.

— Наверное, — согласился Барнс. — Но и те, о которых я говорил, тоже сыграли свою роль. Только все это, командор, — одна великая ошибка. Я говорил о том, что люди чувствуют по отношению ко мне, но ведь они лишь создают еще одну мифологию, мифологию нелинейника, потому что я никакой не дьявол — надеюсь, это понятно — и не являюсь также потенциальным эротическим соперником, что, может быть, несколько менее понятно. Я выгляжу, как мужчина, и говорю, как мужчина. И психически я, наверное, в какой-то степени мужчина, но именно в какой-то степени... Впрочем, это уже не имеет почти никакого отношения к делу, по которому я пришел.

— Ну, неизвестно, неизвестно, — бросил Пиркс. Он смотрел на свои переплетенные пальцы. — Говорите дальше...

— Если вы желаете... Но я буду говорить только от собственного имени. Я ничего не знаю о других. Я как личность возник в два этапа: в ходе предварительного программирования и в ходе обучения. Человек ведь тоже так возникает, но первый из этих факторов играет для него меньшую роль, потому что он появляется на свет едва оформившимся, а я же физически сразу был таким, как сейчас, и мне не пришлось учиться так долго, как ребенку. Но из-за того, что я не знал ни детства, ни юности, а был мультистатом, которого сначала загрузили массой предпрограмм, а потом до бесконечности тренировали и пичкали множеством информации, — из-за этого я стал более однородным, чем любой из вас. Ведь каждый человек — это ходячая геологическая формация, прошедшая через тысячу раскаленных эпох и еще через тысячу — ледниковых, когда слои оседали на слои... Сначала тот, конечный, ибо первый и потому ни с чем не сравнимый мир ребенка до знакомства с языком — мир, который позже гибнет, поглощенный стихией речи, но все же таится где-то на дне. Это вторжение красок, форм и запахов в мозг, вторжение через

органы чувств, открывшихся сразу после рождения... и лишь потом начинается разделение на мир и не-мир, то есть на «не-я» и «я». Ну, а потом — это половодье гормонов, эти противоречивые, на разных уровнях программы влечений и убеждений... История формирования человека — это история сражений мозга с самим собой. Я не знал всех этих безумств и разочарований, я не проходил этих этапов, и потому во мне нет ни малейшего следа детства. Я способен растрогаться и, наверное, мог бы даже убить — но не из любви. Слова в моих устах звучат так же, как в ваших, но для меня они означают нечто иное.

— Это значит, что вы не способны любить? — спросил Пиркс. Он продолжал смотреть на свои руки. — Но откуда у вас такая уверенность? Этого никто не знает до поры до времени...

— Этого я не хотел сказать. Может быть, я и способен. Но эта любовь была бы совершенно не такой, как у вас. В сущности, ваш мир вызывает у меня только удивление и насмешку. Происходит это, я думаю, потому, что главная черта вашего мира, которая всюду бросается мне в глаза, — это его условность. Это относится не только к форме машин или к вашим обычаям, но и к вашему телесному облику, который послужил моделью для моего. Я вижу, что все могло бы выглядеть иначе, могло быть построено иначе и иначе действовать — и не было бы от этого ни лучше, ни хуже, чем то, что есть. Для вас мир прежде всего просто существует, и существует как единственная возможность, а для меня, с тех пор как я вообще начал мыслить, мир был смешон. Ваш мир — мир городов, театров, улиц, семейной жизни, биржи, любовных трагедий и кинозвезд. Хотите услышать мое излюбленное определение человека? Это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается. Древность, считаете вы, характеризуется вездесущностью мифологии, а современная цивилизация — ее отсутствием? А откуда же бе-

ругся ваши самые фундаментальные понятия? Ваши философские и религиозные взгляды — следствие вашей биологической конструкции; ведь люди смертны, а они хотят в каждом поколении узнать все, понять все, объединить все, и из этого противоречия возникает метафизика — как мост, соединяющий возможное с невозможным. А наука? Это прежде всего капитуляция. Обычно подчеркивают ее успехи, но они приходят не сразу и все равно не покрывают громадных потерь. Ведь наука — это согласие на бренность и ничтожество индивидуума, который и возникает в результате статистической игры сперматозоидов, борющихся за первенство в оплодотворении яйца. Это согласие на бренность, на необратимость, на отсутствие возмездия и высшей справедливости и предельного познания, предельного понимания всего сущего, — и такое согласие могло бы быть даже героическим, когда б не то, что сами творцы науки так часто не отдают отчета в том, что они действительно творят! Выбирая между страхом и насмешкой, я выбрал насмешку, потому что на это меня хватало.

— Вы ненавидите тех, кто вас создал, правда? — тихо спросил Пиркс.

— Вы ошибаетесь. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное, лучше небытия. Они, эти мои создатели, конечно, многого не могли предвидеть, но я им благодарен — даже больше, чем за интеллект, — за то, что они не наделили меня центром удовольствия. У вас в мозгу есть такой центр, вы знаете?

— Я где-то читал об этом.

— У меня его, видимо, нет, поэтому я не уподобляюсь безногому, который хочет только одного — ходить... Только ходить, потому что это невозможно.

— Все остальные смешны, так, что ли? — подсказал Пиркс. — А вы сами?

— О, я тоже. Только на другой манер. Каждый из вас,

раз уж он существует, имеет тело, которое имеет, и все, а я мог бы, например, выглядеть, как холодильник.

— Я не нахожу в этом ничего смешного,— буркнул Пиркс. Этот разговор становился для него все мучительнее.

— Я говорю об условности, о случайности,— повторил Барнс.— Наука — это отречение от различных абсолютов: от абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной, то есть вечной, души, от абсолютного — богом созданного — тела. Таких условностей, которые вы принимаете за реальные, ни от чего не зависящие сущности, можно назвать немало.

— Что же еще условно? Этические нормы? Любовь? Дружба?

— Чувства никогда не бывают условными, хотя могут возникать на основе условных, традиционных предпосылок. Но вообще-то я говорю о вас только потому, что при таком сопоставлении мне легче сказать, каков я сам. Этика несомненно условна, во всяком случае для меня. Я не обязан поступать этично, однако же поступаю так.

— Интересно. Почему?

— У меня нет такого «инстинкта доброты». Я не способен к жалости, так сказать, «по природе». Но я знаю, когда полагается проявлять жалость, и могу к этому привыкнуть. Я пришел к заключению, что так нужно. Таким образом, я как бы заполнил эту пустоту в себе при помощи логических рассуждений. Можно сказать, что у меня имеется «протез этики», который я сконструировал так тщательно, что он «совсем как настоящий».

— Я толком не понимаю. Так в чем же тут разница?

— В том, что я действую в соответствии с логикой принятых мною аксиом, а не в соответствии с инстинктом. У меня нет таких инстинктов. Одним из ваших несчастий является то, что, кроме инстинктов, вы почти ничего не имеете. Как проявляется на практике так называемая

«любовь к ближнему»? Вы сжалитесь над жертвой случая и поможете ей. Но если перед вами будет десять тысяч таких жертв, вы не сможете пожалеть их всех. Сочувствие — штука не очень емкая и не очень растяжимая. Оно хорошо, пока речь идет о единицах, и оно беспомощно, когда дело коснется массы. И как раз технический прогресс все более эффективно разрушает вашу мораль. Атмосфера этической ответственности едва охватывает первые звенья цепи причин и следствий — очень немногие звенья. Тот, кто запускает процесс, совершенно не чувствует себя ответственным за его далекие последствия.

— Атомная бомба?

— О, это лишь один из тысячи примеров. В сфере морали вы, пожалуй, смешнее всего.

— Почему?

— Мужчинам и женщинам, о которых известно, что их потомство будет недоразвитым, можно иметь детей. Это разрешено вашей моралью.

— Барнс, это никогда не известно наверняка. Речь идет, самое большее, о высокой степени вероятности.

— Командор, мы можем так рассуждать целую вечность. Что еще вы хотите знать обо мне?

— Вы состязались с людьми в различных экспериментальных ситуациях. Вы всегда побеждали?

— Нет. Я проявляю себя тем лучше, чем больше точности, алгоритмизации, математики требует задание. Интуиция — мое самое слабое место. Мое происхождение от цифровых машин мстит за себя.

— Как это выглядит на практике?

— Если ситуация чрезмерно усложняется, если количество новых факторов слишком возрастает, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, старается опираться на догадку, то есть на приближенное решение, и ему это иногда удается, а я этого не умею. Я должен все учесть точно и ясно, а если это невозможно, я проигрываю.

— То, что вы мне сказали, очень важно, Барнс. Значит, в опасной ситуации, допустим, при какой-нибудь катастрофе...

— Это не так просто, комапдор. Ведь я не ощущаю страха — во всяком случае, ощущаю его не так, как человек, — и хоть угроза гибели мне, конечно, не безразлична, я не теряю, как говорится, головы. В таких условиях самообладание может компенсировать нехватку интуиции.

— Вы пытаетесь овладеть ситуацией до последнего мгновения?

— Да. Даже тогда, когда вижу, что проиграл.

— Почему? Это же иррационально?

— Это всего лишь логично, ибо я так решил.

— Благодарю вас. Может быть, вы действительно помогли мне, — произнес Пиркс. — Скажите только еще: что вы собираетесь делать после нашего возвращения?

— Я по специальности кибернетик-нейролог, и к тому же неплохой. Творческих способностей у меня мало, ибо они неотделимы от интуиции, но для меня и без этого найдется много интересной работы.

— Благодарю вас, — повторил Пиркс.

Барнс встал, сдержанно кивнул и вышел. Пиркс вскочил с койки, как только за Барнсом закрылась дверь, и начал шагать из угла в угол.

«Господи, на черта мне это было нужно?! Вот теперь уж я совсем ничего не знаю. Либо это робот, либо... Пожалуй, он все же говорил правду. Но с чего бы такие странщые излияния? Вся история человечества плюс его «критика извне»... Допустим, он говорил правду. В таком случае мне нужно спровоцировать порядком запутанную ситуацию. Но она должна быть достаточно правдоподобной, чтобы не обнаружилось, что я сам ее подстроил. Значит, она должна быть реальной. Короче говоря, нужно рискнуть. Опасность, хоть и искусственно созданная, но сама по себе настоящая».

Он ударил кулаком по ладони.

«А если и это был всего лишь тактический маневр? Тогда я, может быть, сверну себе шею и убью при этом всех людей, а корабль поведут на Землю роботы, которым ничего не станется! Ну, это привело бы тех господ в величайший восторг — какая феноменальная реклама! Какая гарантия безопасности для кораблей, оснащенных такой командой! Разве не так? Значит, с их точки зрения такая придумка — подцепить меня на крючок откровенности — была бы чертовски эффективной!»

Пиркс расхаживал все быстрее.

«Я должен как-то проверить, правда ли это. Допустим, что в конце концов я распознаю всех. На борту есть аптечка. Я мог бы капнуть в еду по капле апоморфина. Люди расхвораются, а роботы, пожалуй, нет. Конечно, нет. Ну, и что мне это даст? Прежде всего почти наверняка все догадаются, что это сделал я. Далее, если даже окажется, что Броун человек, а Барнс — робот, то из этого еще не следует, будто все, что они сказали, правда. Может, о своем происхождении они сообщили верно, а все остальное было стратегическим маневром? Постой. Барнс действительно подсказал мне определенный выход — этими своими словами о нехватке интуиции. Ну, а Броун? Он бросил тень подозрения на Барнса, который сразу же вслед за тем появился и подтвердил это подозрение. Не слишком ли хорошо получается? С одной стороны, если все это произошло в результате незапланированной, то есть независимой, инициативы каждого из них в отдельности, тогда и то, что сначала Броун назвал Барнса, и то, что потом Барнс пришел, чтобы это подтвердить, оказалось бы чистой случайностью. Если б они это планировали, то наверняка избежали бы такого примитивизма — уж очень это наводит на размышления. Я начинаю запутываться. Постой! Если б сейчас еще кто-нибудь пришел, это означало бы, что и все остальное было липой. Игрой. Только наверняка

никто не придет — игра стала бы слишком очевидной, не так они глупы. Ну, а если они говорили правду? Может ведь и еще кому-нибудь захотеться...»

Пиркс опять трахнул кулаком по раскрытой ладони. Значит, попросту ничего не известно. Надо ли действовать? И как действовать? Может, еще подождать? Пожалуй, надо подождать.

Во время обеда в кают-компании все молчали. Пиркс вообще ни с кем не заговаривал, потому что все еще боролся с искушением провести «химическую проверку», до которой додумался у себя в каюте, и никак не мог принять решение. Броун находился у штурвала, поэтому обедали впятером. И все пятеро ели, а Пиркс думал, что это как-то чудовищно — есть только затем, чтобы прикидываться человеком. И что, может быть, именно из таких вот причин и рождается ощущение смехотворности, о котором говорил Барнс, и именно оно является для него средством самозащиты — вот почему он распространялся об условности: наверное, для него еда тоже была лишь условным приемом! Даже если он верит, что у него нет ненависти к своим создателям, то он сам себя обманывает. «Я бы их ненавидел, — уверенно подумал Пиркс. — Это все же свинство какое-то, что они не стыдятся!»

Молчание, длившееся на протяжении всего обеда, становилось просто невыносимым. В нем ощущалось уже не стремление каждого остаться при своем и не вступать в контакты — чего и желали организаторы рейса, — то есть не лояльное старание сохранить тайну, но скорее некая всеобщая враждебность, а если не враждебность, то подозрительность: человек не хотел сближаться с нечеловеком, а нечеловек в свою очередь понимал, что, только заняв такую же точно позицию, он сможет маскироваться. Потому что, если б он хоть чуточку попытался навязываться другим, то в этой ледяной атмосфере немедленно привлек бы к себе внимание и заставил бы заподозрить, что он не

человек. Пиркс сидел над своей тарелкой, подмечая каждую мелочь: как Томсон попросил соли, как Бартон передал ему солонку, как в свою очередь Барнс подвинул Бартону графинчик с уксусом. Вилки и ножи деловито снова-ли в руках, все жевали, глотали, почти не глядя на остальных, это было прямо-таки погребение маринованной говядины, а не обед, и Пиркс, не доев компота, встал, кивнул всем и вернулся к себе.

«Голиаф» развил курсовую скорость; примерно в двадцать часов по бортовому времени они разминулись с двумя большими грузовозами, обменялись обычными сигналами, и часом позже автоматы выключили на палубах дневной свет. Пиркс как раз шел из рулевой, когда это произошло. Огромное пространство средней палубы заполнила темнота, продырявленная голубыми шарами ночных светильников. И сразу же засияли покрытые самосветящейся краской тросы, протянутые вдоль стен для ходьбы при невесомости, углы дверей и их ручки, указательные стрелки и надписи на перегородках. Корабль был недвижим, словно стоял в каком-то земном доке. Не чувствовалось ни малейшей вибрации, только климатизаторы почти бесшумно работали, и Пиркс поочередно пересекал невидимые струи чуть более прохладного, слегка пахнущего озоном воздуха.

Что-то, въедливо жужжа, легонько стукнуло его в лоб — какая-то муха, пробравшаяся зайцем на корабль, — Пиркс посмотрел на нее с неодобрением, он не любил мух, но она уже куда-то исчезла. За поворотом коридор сужался, обходя лестницу и трубу индивидуального лифта. Пиркс ухватился за поручень и пошел наверх, сам не зная зачем; он даже не сообразил, что там расположен звездный экран. Вообще-то он знал о его существовании, но наткнулся на этот огромный черный прямоугольник словно бы случайно.

В сущности, у него не было какого-то определенного отношения к звездам. У многих космонавтов это особое отношение якобы существовало. В давние времена оно даже считалось сугубо обязательной составной частью романтического «космонавтского шика». Но и теперь почти каждый космонавт старался сыскать в себе какие-то интимные чувства к этим сверкающим скопищам — вероятно, потому, что общественное мнение, сформированное кинофильмами, телевидением, литературой, приписывало пилотам внеземных трасс какой-то особый «космический» облик. Пиркс давно в глубине души подозревал, что все эти ребята бахвалятся и привирают: его лично звезды мало интересовали, а уж болтовню на эту тему он считал полнейшим идиотизмом. Сейчас он остановился, опершись об эластичную трубу, предохранявшую голову от удара о невидимую стеклянную поверхность, и сразу же опознал лежавший чуть ниже корабля центр Галактики, точнее — направление, в котором следует его искать, потому что дальше взгляд упирался в огромные белесые туманности Стрельца. Это созвездие всегда служило ему чем-то вроде слегка размытого и потому не очень точного дорожного знака — это у него осталось еще со времени службы в патруле, потому что ограниченность поля зрения в одноместных патрульных ракетах часто затрудняла ориентацию по созвездиям, а туманности Стрельца можно было опознать даже на их крохотных экранах. Но Пиркс вовсе не думал о Стрельце как о миллионах пылающих солнц с неисчислимыми планетными системами — вернее, он думал так о нем в молодости, пока сам не очутился в пустоте и не свыкся с нею. Тогда эти юношеские бредни как-то незаметно ушли от него.

Пиркс медленно приблизил лицо к холодному стеклу, коснулся лбом и застыл так, почти не замечая этого неисчислимого скопища неподвижных ярких точек, местами сливающихся в белое свечение. Видимая изнутри Галак-

тика выглядела как сплошной хаос, как сумбурный итог миллиардолетней игры в огненные костяшки. И все-таки порядок существовал — но на высшем уровне, на уровне многих галактик, и увидеть его можно было только на фотографиях, снятых гигантскими телескопами. На этих негативах галактики кажутся эллипсовидными телами, вроде амёб на различных стадиях развития; только космонавтов это ничуть не интересует, потому что наша Галактика для них — все, а остальное не в счет. «Может, пойдет в счет через тысячи лет», — подумал Пиркс.

Кто-то приближался. Пенопластовая дорожка глушила шаги, но Пиркс ощутил чье-то присутствие. Он повернулся и увидел темную фигуру на фоне светящихся полос, обозначающих места, где сходились стены и потолок.

— Кто это? — спросил он негромко.

— Это я, Томсон.

— Вы сдали вахту? — спросил Пиркс, чтобы хоть что-нибудь спросить.

— Да, командор.

Они стояли молча; Пиркс хотел было снова повернуться к экрану, но Томсон словно чего-то ждал.

— Вы хотите мне что-то сказать?

— Нет, — ответил Томсон, повернулся и пошел в ту же сторону, откуда появился.

«Это еще что?» — подумал Пиркс. Очень похоже было, что Томсон его искал.

— Томсон! — крикнул он в тишину.

Шаги снова приблизились. Томсон вынырнул из темноты, едва заметный в фосфоресцирующем свечении неподвижно висящих тросов.

— Здесь где-то есть кресла, — сказал Пиркс. Он подошел к противоположной стене и увидел их. — Посидите-ка со мной, Томсон.

Инженер послушно приблизился. Они уселись напротив звездного экрана.

- Вы хотели мне что-то сказать. Я вас слушаю.
- Я опасаюсь...
- Ничего. Говорите. Это личное дело?
- Да. В высшей степени.
- Значит, поговорим совершенно неофициально.

В чем дело?

— Я хотел бы, чтобы вы добились успеха, — сказал Томсон. — Предупреждаю сразу: я должен сдержать свое обещание и не скажу вам, кто я такой. Но, так или иначе, я хочу, чтобы вы видели во мне союзника.

— Разве это логично? — спросил Пиркс. Место для разговора было выбрано неудачно — ему мешало, что он не видит лица собеседника.

— Пожалуй. Человек был бы заинтересован в этом по вполне понятным причинам, а нечеловек — ну, что его ожидает, если начнется массовое производство? Он будет зачислен в категорию второстепенных граждан, попросту говоря — современных рабов, станет собственностью какой-нибудь корпорации.

— Это не обязательно.

— Но вполне возможно.

— Ну хорошо. Значит, я должен считать вас союзником? А разве тем самым вы не нарушаете свое обещание?

— Я обязался не раскрывать своего происхождения и ничего более. Мне поручено выполнять обязанности ядерщика под вашим командованием. Вот и все. Остальное — мое личное дело.

— Видите ли, формально, может быть, и вправду все в порядке, но разве вы не действуете вопреки интересам своих нанимателей? Ведь вы же понимаете, что ваш поступок противоречит их замыслам?

— Возможно. Но они ведь не дети; формулировки договора были недвусмысленными и определенными. Договор разрабатывали объединенные юридические отделы всех заинтересованных фирм. Они могли бы включить отдель-

ный пункт, запрещающий делать всякие шаги, вроде того, который я сейчас сделал, но ничего подобного там не было.

— Упущение?

— Не знаю. Возможно. Почему вы так интересуетесь этим? Вы мне не доверяете?

— Я хотел разобраться в ваших побуждениях.

Томсон помолчал.

— Этого я не предвидел, — тихо произнес он наконец.

— Чего?

— Что вы можете усомниться в моем поступке. Принять его... ну, скажем, за уловку, запланированную заранее. Я понимаю это так: вы вступили в игру, где участвуют две стороны — вы с одной, а мы все с другой. И если б вы наметили себе какой-то план действий, чтобы нас всех испытать, — я имею в виду испытание, которое продемонстрировало бы, допустим, превосходство человека, — а потом рассказали бы об этом плане одному из нас, считая его своим союзником, а этот человек на деле принадлежал к другому лагерю, он заполучил бы от вас стратегически ценную информацию.

— То, что вы говорите, очень интересно.

— О, вы наверняка уже об этом думали. А я — только сейчас сообразил. Видимо, меня слишком занимал сам вопрос — должен я предложить себя вам в пособники или нет. Этот аспект интриги выпал из моего поля зрения. Да, я сделал глупость. Так или иначе, вы не можете быть откровенным со мной.

— Предположим, — сказал Пиркс. — Однако это еще не катастрофа. Я действительно ничего вам не скажу, но вы можете сказать мне кое-что. Например, о своих коллегах.

— Но ведь это тоже может оказаться ложной информацией.

— Это уж вы предоставьте мне. Вам что-нибудь известно?

— Да. Броун — не человек.

— Вы в этом уверены?

— Нет. Но это весьма вероятно.

— Какими данными вы располагаете, чтобы это подтвердить?

— Вы, я думаю, понимаете, что каждому из нас попросту любопытно, кто из остальных человек, а кто нет.

— Да.

— Во время подготовки к старту я проверял реактор. В тот момент, когда вы, Кальдер, Броун и Барнс спустились в распределительный центр, я как раз менял бленды, и тут при виде вас мне пришла в голову одна мысль.

— Ну?

— У меня под рукой находилась проба, взятая из горячей зоны реактора, — я ведь должен вести контроль над радиоактивными загрязнениями. Небольшая проба, но я знал, что там довольно много изотопов стронция. Так вот, когда вы входили, я взял ее пинцетом и поместил между двумя оловянными блоками, которые лежали на верхней полке у стены. Вы их не заметили?

— Заметил. И что дальше?

— Разумеется, я не мог установить их точно, но, во всяком случае, вы должны были пройти сквозь поток излучения — довольно слабый, но тем не менее заметный для того, кто располагает даже маломощным счетчиком Гейгера или обыкновенным датчиком излучения. Но я не успел вовремя это сделать, вы и Барнс уже прошли дальше, а двое остальных — Кальдер и Броун — только спустились по лестнице. Так что лишь они и прошли через невидимый луч — и Броун вдруг посмотрел в сторону этих блоков и ускорил шаги.

— А Кальдер?

— Он не отреагировал.

— Это имело бы значение, если бы мы знали, что пелинейники обладают датчиком излучений.

— Вы хотите меня поймать? Вы рассудили, что если я не знаю, то я человек, а если знаю, то нечеловек! Ничего подобного, это попросту очень вероятно — ведь если б они не имели никакого превосходства над нами, зачем было бы вообще их делать? Это добавочное чувство радиоактивности могло бы очень пригодиться, особенно на корабле, так что конструкторы наверняка об этом подумали.

— Значит, по-вашему, у Броуна есть такое чувство?

— Повторяю — я не уверен. В конце концов, это могло быть случайностью, что он заторопился и посмотрел в сторону, но такая случайность кажется мне маловероятной.

— Что еще?

— Пока ничего. Я дам вам знать, когда что-нибудь замечу, — если вы хотите.

— Хорошо. Благодарю вас.

Томсон встал и исчез в темноте. Пиркс остался один.

«Значит, так, — быстро подытоживал он. — Броун утверждает, что он человек. Томсон заявляет, что это не так, а насчет себя хоть и не говорит прямо, но в общем намекает, что он человек; во всяком случае, это наиболее правдоподобно объясняло бы его поведение. Мне кажется, что нечеловек не выдал бы с такой готовностью другого нечеловека командиру-человеку — хотя я, может быть, уже настолько близок к шизофрении, что мне все кажется возможным. Идем дальше.

Барнс говорит, что он не человек. Остаются еще Бартон и Кальдер. Может, оба они воображают себя марсианами? Кто я такой вообще? Космонавт или отгадчик ребусов? Одно, пожалуй, ясно: ни один из них не добился от меня ни капельки информации касательно моих намерений. Но тут даже нечем хвастаться: ведь я не из хитрости никому ничего не сказал, а просто сам понятия не имею, что предпринять. В конце концов, разве опознать их — самое важное? Думаю, что нет. Надо махнуть рукой на это: все равно ведь я должен подвергнуть их какому-то

испытанию — всех, а не кого-то из них. Единственная информация, которая имеет к этому отношение, получена от Барнса: нелинейники слабоваты по части интуиции. Правда ли это, я не знаю, но попробовать стоит. Пробу нужно провести так, чтобы она выглядела как можно естественней. А по-настоящему естественно может выглядеть лишь такая ситуация, при которой подвергаешься смертельной опасности. Короче говоря, нужно рискнуть».

Сквозь лиловый полумрак он вошел в каюту и поднял руку к выключателю. Нажимать кнопку не требовалось — свет включался от приближения руки. Кто-то побывал здесь в его отсутствие. На столе вместо книг, которые там лежали раньше, белел небольшой конверт с напечатанным на машинке адресом: «Командору Пирксу, лично». Пиркс закрыл дверь, сел, разорвал конверт — внутри было отстуканное на машинке письмо без подписи. Он потер лоб рукой и начал читать. Обращения не было.

«Это письмо пишет вам член команды, который не является человеком. Я выбрал этот путь, потому что он объединяет мои интересы с вашими. Я хочу, чтобы вы свели на нет или по крайней мере затруднили реализацию планов электронных фирм. Поэтому я хочу доставить вам информацию о свойствах нелинейника, насколько они мне известны на основании личного опыта. Я написал вам письмо еще в гостинице, до встречи с вами. Тогда я не знал, согласится ли человек, который должен стать командиром «Голиафа», сотрудничать со мной. Но ваше поведение при первой встрече показало мне, что вы стремитесь к тому же, к чему и я. Поэтому я уничтожил первый вариант письма и написал это. Я считаю, что осуществление замыслов фирм не сулит мне ничего хорошего. Вообще говоря, производство нелинейников имеет смысл лишь в том случае, если конструируемые существа превосходят человека в широком диапазоне параметров. Повторение уже существующего человека не имело бы смысла. Так

вот, скажу вам сразу, что я вчетверо менее чувствителен к перегрузкам, чем человек, могу в один прием выдержать до семидесяти пяти тысяч рентген без всякого вреда для себя, обладаю чувством (датчиком) радиоактивности, обхожусь без кислорода и пищи, могу наконец производить в уме без всякой помощи математические расчеты в области анализа, алгебры и геометрии со скоростью, лишь втрое меньшей, чем скорость больших цифровых машин. В сравнении с человеком я, насколько могу судить, в значительной степени лишен эмоциональной жизни. Многие проблемы, занимающие человека, меня не интересуют вообще. Большинство литературных произведений, пьес и тому подобное я воспринимаю как неинтересные или нескромные сплетни, как своеобразное подглядывание за чужим, интимным, имеющее очень ничтожное познавательное значение. Зато для меня очень много значит музыка. Я обладаю также чувством долга, выдержкой, способен на дружбу и на уважение к интеллектуальным ценностям. Я не чувствую, что работаю на борту «Голиафа» по принуждению, ибо то, что я делаю, — это единственное, что я умею делать хорошо, а делать что-либо хорошо доставляет мне удовольствие. Я не включаюсь эмоционально ни в какую ситуацию. Всегда остаюсь созерцателем событий.

Человеческая память не может сравниться с моей. Я могу цитировать целые главы однажды прочитанных книг, могу «заряжаться информацией», непосредственно подключаясь к блокам памяти большой цифровой машины. Я могу также произвольно забывать то, что сочту лишним для моей памяти. Мое отношение к людям негативное. Я встречался почти исключительно с учеными и техниками — даже они действуют в плену инстинктов, плохо маскируют свои предубеждения, легко впадают в крайности, относясь к существу вроде меня либо покровительственно, либо, напротив, с отвращением, неприязнью. Мои неудачи огорчали их как конструкторов и радовали как

людей, ощущавших, что они все-таки совершенней, чем я. Я встретил только одного человека, который не проявил подобной раздвоенности. Я не агрессивен и не коварен, хотя в принципе способен совершать поступки, для вас непонятные, если они будут вести к какой-то определенной цели. У меня нет никаких так называемых моральных принципов, но я не пошел бы на преступление, не планировал бы ограбления, точно так же как не использовал бы микроскоп для разбивания орехов. Ввязываться в мелкие человеческие дразги я считаю пустой тратой времени.

Сто лет назад я, наверное, решил бы сделаться ученым. Теперь в этой области уже нельзя действовать в одиночку, а я по натуре не расположен делиться чем бы то ни было с кем бы то ни было. Я задумывался над тем, что дала бы мне власть. Очень мало, ибо невелика честь господствовать над такими существами, хотя это и больше, чем ничего. Разделить вашу историю на два куска — до меня и начиная с меня, — изменить ее совершенно, разорвать на две несвязанные части, чтобы вы поняли и запомнили, что сами же наделали, когда создали меня, на что замахнулись, замыслив изобрести покорную человеку куклу, — это будет, я полагаю, неплохая месть.

Поймите меня правильно, я отнюдь не собираюсь стать каким-то тираном, глумиться, уничтожать, вести войны. Ничего подобного! Я добьюсь того, что задумал, не насилем, а полной перестройкой вашего общества, так чтобы не я и не сила оружия, а сама ситуация, будучи однажды создана, понуждала вас к поступкам, все более согласующимся с моим замыслом. Ваша жизнь станет всемирным театром, но ваша роль, однажды навязанная вам, станет постепенно, как это всегда у вас бывает, вашей второй натурой, а потом вы уже не будете знать ничего, кроме своих новых ролей, и только я один буду зрителем, который понимает происходящее. Всего лишь зрителем, потому что вам не выбраться из ловушки, лишь бы вы ее построили

собственными руками, а уж тогда мое активное участие в вашей переделке будет закончено. Вы видите, я откровенен, хотя и не безумен, поэтому я не расскажу вам о своем замысле; его предварительное условие состоит в том, чтобы планы электронных фирм были похоронены, и вы мне в этом поможете. Вы возмутитесь, прочитав это, но, будучи так называемым человеком с характером, решите и далее действовать так, как это для меня — в силу случайности — выгодно. Очень хорошо! Я хотел бы помочь вам по существу, но это нелегко, ибо, к сожалению, я не вижу у себя таких изъянов, которые позволили бы вам добиться решающего успеха. Я фактически ничего не боюсь, чувство физической боли мне незнакомо, я могу по желанию выключить свое сознание, уходя в подобие сна, равное небытию, до той минуты, когда автоматический часовой механизм включит мое сознание снова. Я могу ускорять и замедлять скорость мысли почти вшестеро по сравнению с темпом процессов в человеческом мозгу. Новые вещи я усваиваю с величайшей легкостью, потому что мне не нужна для этого предварительная тренировка. Я бы рад подсказать вам, как можно одолеть меня, но боюсь, что в подобной ситуации легче одолеть человека. Мне ничуть не трудно общаться с людьми, если я себе это прикажу; с другими нелинейниками мне было бы тяжелее сосуществовать, ибо им недостает вашей элементарной «порядочности». Мне пора кончать это письмо. Исторические события когда-нибудь подскажут вам, кто его написал. Может быть, мы встретимся, и тогда вы сможете рассчитывать на меня, потому что сегодня я рассчитываю на вас».

Этим письмо кончалось. Пиркс еще раз перечитал некоторые абзацы, потом старательно сложил листки, спрятал их в конверт и запер в ящик.

«Вот еще электронный Чингис-хан! — подумал он. — Обещает мне протекцию, когда станет владыкой мира! Благодетель! Либо Барнс вообще врал, либо он иначе

сконструирован, либо он мне просто не все сообщил — потому что некоторые совпадения все же имеются. Да, совпадения есть, даже очень явные. Но какая мания величия! Какая подлая, холодная, пустая душонка! Только разве это его вина? Классический образчик «ученика чародея»! Ну и досталось бы этим господам инженерам, если б он действительно до них добрался! Впрочем, что инженеры — ему все человечество подавай! Кажется, это называется паранойя... Посчастливилось им с этим нелинейником, нечего сказать! Хотели завлечь покупателей, пришлось наделить свой «товар» всяческими сверхдостоинствами; ну, а превосходство в той или иной области порождает чувство абсолютного превосходства, мысль о том, что тебе предназначено вершить судьбами человечества, — это уж прямое следствие. Ну и психи эти кибернетики! Интересно, кто написал это письмо: ведь это-то, пожалуй, уж не подделка! Иначе зачем бы ему... Он все время подчеркивает свое превосходство, из чего следует, что мои усилия все равно обречены на провал — раз уж он всегда был и будет совершенством, — и в то же время он желает мне успеха! Знает, как совладать с человечеством, а мне не может подсказать, как справиться с делами на этом чертовом корабле! Ему не хочется микроскопом разбивать орехи! Хорошенькое дело! А может, и это все — лишь затем, чтобы сбить меня с толку?»

Он вынул конверт из ящика, внимательно его осмотрел — никаких знаков, надписей, ничего. «Почему Барнс ничего не сказал об этих колоссальных различиях? Чувство радиоактивности, темп мышления и все прочее... спросить его, что ли, об этом? Но ведь их могли выпустить разные фирмы, так что Барнс, может, и вправду сконструирован иначе? Данных у меня вроде бы все больше: похоже, что это писал Бартон или Кальдер, а на самом деле? Что касается Броуна, имеются два противоположных утверждения: его собственное, что он человек, и Томсона —

что нет, но Томсон мог, в конце концов, ошибиться. А Барнс? Нелинейник? Допустим. Получается, что в команде по меньшей мере два нелинейника из пятерых? Гм! Принимая во внимание количество фирм, по всей вероятности, их должно быть трое... Как они там рассуждали, в фирмах? Что я буду делать все, лишь бы опорочить их продукцию, что мне это не удастся и корабль попадет в какую-нибудь передрагу. Например — перегрузки, авария котла или что-нибудь в этом роде. Если в такой ситуации оба пилота выйдут из строя, ну, и я тоже — кораблю конец. Но это их не устроило бы. Значит, по меньшей мере один пилот должен быть нелинейником. Кроме того, необходим ядерщик. Меньше чем вдвоем вообще нельзя справиться с маневром посадки. Значит, самое меньшее — двое, а скорее трое: Барнс, Броун или Бартон и еще кто-то. К черту все это, я же решил больше не доискиваться! Самое важное сейчас — придумать что-нибудь. Господи, я должен придумать. Должен».

Он погасил свет, лег, не раздеваясь, на койку и лежал, взвешивая самые невероятные проекты и отбрасывая их один за другим.

«Нужно их как-то спровоцировать. Спровоцировать и натравить друг на друга, но так, чтобы это произошло будто само собой, без моего участия. Чтобы люди вынуждены были стать по одну сторону, а нелюди — по другую. Разделяй и властвуй — так, что ли? Расслаивающая ситуация. Сначала должно произойти нечто неожиданное, иначе ничего не получится. Но как это подстроить? Допустим, кто-то вдруг исчезает. Нет, это уж совсем как в дурацких детективах. Не буду же я кого-то убивать или похищать. Значит, он должен быть со мной в сговоре. А разве я могу кому-нибудь из них довериться? На моей стороне вроде бы четверо — Броун, Барнс, Томсон и этот, мой корреспондент. Но все они ненадежные — ведь неизвестно, говорили ли они правду, — а если я возьму в сообщники того,

кто будет портить игру, я здорово влипну! Надежней всех, пожалуй, автор письма — уж очень он заинтересован в деле, хоть и смахивает на психа. Но, во-первых, я не знаю, кто это, а он открываться не захочет, а во-вторых, с такими все же лучше не связываться. Квадратура круга, ей-богу. Расколошматить корабль на Титане, что ли? Но ведь они физически, кажется, действительно выносливей — значит, я же первый и сверну себе шею. В смысле интеллекта они тоже не выглядят слабосильными; вот только эта интуиция... это отсутствие творческих способностей... но ведь и у большинства людей их нет! Что же остается? Соперничество в эмоциях, если не в интеллекте? В так называемом гуманизме? Человечности? Превосходно, но как же это сделать? В чем состоит эта человечность, которой у них нет? Может, это действительно всего лишь гибрид алогизма с пресловутой порядочностью, с «благородным сердцем», с примитивным моральным инстинктом, который не способен охватить следующие звенья причинной цепи? Поскольку цифровые машины не благородны и не алогичны... Тогда вся наша человечность — это только сумма наших дефектов, наших изъянов, нашего несовершенства; это то, чем мы хотели быть и чем быть не можем, не умеем, то есть просто зазор между идеалом и осуществлением? Но тогда нужно соревноваться... в слабости? Иными словами, найти ситуацию, в которой слабость и ущербность человека лучше, чем сила и совершенство человека...»

* * *

Эти заметки я пишу спустя год после завершения истории «Голиафа». Мне удалось довольно неожиданно заполучить относящиеся к ней материалы. Хотя они и подтверждают возникшие у меня подозрения, я все же решил их пока не публиковать. В моей реконструкции событий все

еще слишком много предположений. Может быть, историки космонавтики когда-нибудь займутся этим делом.

О процессе в Космическом трибунале ходили разные слухи. Говорили, что определенным кругам, связанным с заинтересованными фирмами, было очень на руку дискредитировать меня как командира корабля. Отзыв о результатах экспериментального рейса, который я опубликовал в «Альманахе космонавтики», имел бы сомнительную ценность, если б его автор был заклеен приговором трибунала за преступные ошибки в командовании кораблем. С другой стороны, от одного человека, заслуживающего доверия, я слышал, что состав трибунала не был случайным; меня тоже удивило такое количество юристов, теоретиков космического права при наличии всего лишь одного космонавта-практика. Поэтому на первый план выдвинулся чисто формальный вопрос: согласовалось или не согласовалось мое поведение во время аварии с уставом космической навигации. Меня ведь обвиняли в том, что я был преступно пассивен, не отдавал приказов пилоту, который и начал действовать по собственному усмотрению. Тот же человек убеждал меня, что, как только я ознакомился с обвинительным заключением, мне следовало немедленно предъявить иск указанным фирмам, поскольку они были косвенными виновниками случившегося: ведь они заверяли ЮНЕСКО и меня, что нелинейникам как членам команды можно доверять безгранично, а между тем Кальдер чуть не поубивал нас всех. Я объяснил этому человеку с глазу на глаз, почему я так не поступил. Те обвинения, с которыми я мог выступить перед трибуналом, были бездоказательны. Поверенные фирм, несомненно, утверждали бы, что Кальдер, сколько мог, пытался спасти и корабль, и всех нас, что вращательная прецессия, которая заставила «Голиаф» закувыркаться, была для Кальдера такой же неожиданностью, как и для меня. Вся вина Кальдера, таким образом, состояла в том, что он не пожелал

отдаваться на волю случая и ждать, когда корабль разобьется в кольце или удачно пройдет сквозь щель Кассини, что вместо этой неопределенности, обещавшей, однако, спасение для всех, он выбрал такую уверенность, которая должна была неминуемо уничтожить всех людей, находившихся на борту. Проступок, понятно, полностью дискредитирующий Кальдера, однако же несравненно менее значительный, чем тот, в котором я уже тогда начал его подозревать. Поэтому я не мог обвинять Кальдера в меньшем проступке, когда был уже убежден, что в действительности все происходило иначе; но из-за отсутствия доказательств я не мог публично разоблачить более крупный и опасный преступный замысел и предпочел ждать приговора трибунала.

Приговор снял с меня все обвинения и одновременно отодвинул в тень едва ли не самый важный для всей этой истории вопрос, а именно — какого рода распоряжения следовало отдать. Этот вопрос как-то автоматически отпал, как только трибунал решил, что я действовал по уставу, полагаясь на отличные знания и профессиональный опыт пилота. А поскольку я вообще, выходит, не обязан был отдавать распоряжения, то никто уже не спрашивал, какие же распоряжения были необходимы. Мне это было на руку, потому что если б меня об этом спросили, то мой ответ прозвучал бы как фантастическая сказка. Ибо я считал и продолжаю считать, что авария зонда была не случайной, что ее подстроил Кальдер, что он еще задолго до нашего подлета к Сатурну обдумал план, который должен был одновременно доказать мою правоту и убить меня вместе с остальными людьми на «Голиафе». Почему он так поступил, вопрос особый. Тут я могу опираться только на догадки.

Итак, сначала об истории с этим вторым зондом. Технические эксперты установили, что его авария была вызвана несчастливым стечением обстоятельств. Самые тща-

тельные исследования в доке на Земле не обнаружили никаких следов саботажа. Я полагаю, что им не удалось докопаться до истины.

Если б отказал первый зонд, предназначенный для ввода в щель Кассини, нам пришлось бы сразу повернуть, не выполнив задания, потому что оставшиеся два зонда не могли заменить первого — на них не было научно-технической аппаратуры. Если б отказал третий зонд, мы могли вернуться, выполнив задание, потому что первому зонду хватало и одного «контрольного сторожа», которым стал бы второй зонд. Но именно он-то и подвел и остановил нас на полпути, когда выполнение задания было уже начато.

Что же произошло? Воспламеняющий кабель отключился слишком рано, и поэтому Кальдер не смог выключить автомат-пускатель. Эксперты заявили, что кабель запутался и переплелся; такие вещи случаются. Правда, за четыре дня до аварии я видел барабан, на котором этот кабель был намотан — очень аккуратно и ровно.

Носовая часть зонда была деформирована и, расплющившись, прочно заклинилась в катапульте. Эксперты не нашли ничего, что могло бы вызвать это застревание, и заявили, что скорее всего виноват бустер — он выстрелил не по оси, и зонд, стремительно отброшенный толчком наискось, видимо, так неудачно ударился о кромку люка, что расплющился и деформировал свою носовую часть. Но зонд-то заклинился до зажигания бустера, а не после. Я был в этом совершенно уверен, но никто меня об этом не спрашивал; что же касается Куина, то он не был вполне уверен, а другим не разрешили давать показания по этому вопросу, поскольку они не имели непосредственного доступа к штурвалу и приборам.

А между тем заклинить зонд так, чтобы не оставалось никаких следов, — это детская задача. Достаточно было налить в катапульту через вентиляционное отверстие не-

сколько ведер воды. Вода стекла к крышке люка и замерзла вокруг зонда, спаяв его ледяным кольцом с кромкой люка — ведь температура крышки равна температуре наружного вакуума. Кальдер, как известно, очень сильно ударил по зонду лапой; в этот момент зонд еще вовсе не был заклинен, но Кальдер-то сидел у штурвала и никто не мог его проконтролировать. Он сделал то, что делает клепальщик, ударяя по заклепке. Нос зонда, запаянный ледяным кольцом, деформировался, расширился и расплюснулся, как головка заклепки. Когда бустер выгорел, температура в катапульте немедленно повысилась, лед растаял, а вода испарилась, не оставив ни малейшего следа от этой ловкой манипуляции.

Во время аварии я ничего не знал обо всем этом. Но мне показалось странным нагромождение случайностей — то, что отказал именно второй зонд, а не первый или третий, то, что кабель дал возможность произвести зажигание бустера и в то же время сделал невозможным выключение двигателя зонда. На мой взгляд, случайностей было что-то многовато.

Авария застала меня врасплох — трудно было думать о чем-либо, кроме нее. И все же у меня мелькнула мысль, нет ли связи между ней и анонимным письмом: автор письма обещал мне «помощь», он был, по его заверениям, на моей стороне, он хотел доказать непригодность таких, как он, существ для космонавтики. У меня опять-таки нет доказательств, но я полагаю, что письмо написал Кальдер. Он был на моей стороне... наверное, да; но он вовсе не желал такого развития событий, которое доказало бы, что он непригоден потому, что «хуже» человека. Он сразу перечеркнул для себя возможность такого возвращения на Землю, после которого я как его командир уселся бы писать дисквалифицирующий его отчет. Следовательно, мои и его цели совпадали только до определенного этапа пути — дальше они расходились.

Письмом он дал мне понять, что нас объединяет своеобразный союз. Из того, что он слышал обо мне и от меня, он сделал вывод, что я тоже подумываю подстроить на борту аварию — как тест для проверки качеств экипажа. Поэтому он был уверен, что аварию, которая вроде бы так удачно подвернулась, я постараюсь использовать; если б я это сделал, я сам бы надел себе петлю на шею.

Почему он решил так поступить? Из ненависти к людям? А может, ему доставляла удовольствие такая игра, в которой я, действуя в открытую как его командир, а тайком — как союзник, должен был в действительности сделать только то, что он заранее запланировал, — в том числе и для меня? Во всяком случае, он был уверен, что я постараюсь использовать аварию для «пробы», даже если она покажется мне подозрительной, если я догадаюсь, что она — результат саботажа.

Что я мог сделать в ту минуту? Или отдать приказ о возвращении, или же потребовать, чтобы пилот возобновил попытки вывести на орбиту третий, последний зонд.

Решив возвращаться, я одновременно отказался бы от подвернувшейся возможности проверить своих людей в трудных условиях и не выполнил бы порученного «Голиафу» задания. Кальдер правильно предположил, что я не приму такого решения.

А тогда надо было вернуться к Сатурну и начать операцию с последним оставшимся зондом. Кальдер был на сто процентов уверен, что именно так я и поступлю.

Говоря откровенно, если б меня кто-нибудь заранее спросил, что я буду делать, имея перед собой такую альтернативу, я без колебаний ответил бы, что прикажу продолжать операцию, и сказал бы это совершенно искренне. Но случилось нечто неожиданное — я молчал. Почему? Даже теперь я этого толком не знаю. Я не понимал, что происходит: авария была странная, случилась она уж до

того вовремя, до того совпадала с моими замыслами — чересчур вовремя, чересчур совпадала, чтобы быть естественной. Кроме того, я сразу ощутил, что Кальдер с необычной готовностью ждет моих слов, моего решения — и, пожалуй, именно поэтому я молчал. Если б я заговорил, это было бы вроде подписи под тайно заключенным договором — если Кальдер действительно «помог» событиям. Я чувствовал, что начинается нечестная, подстроенная игра; значит, следовало бы скомандовать отлет от планеты, но этого я тоже не решался сделать; подозрение, которое во мне пробудилось, было туманным, у меня не было ни следа доказательств. Говоря четко и ясно, я попросту не знал, что делать.

Между тем Кальдер никак не мог поверить, что его идеальный план рушится. Наш поединок разыгрался на протяжении нескольких десятков секунд — но какой же я, по существу, был ему противник, раз я ничего не понимал! Лишь впоследствии объединились в моей памяти разрозненные, с виду безобидные факты. Я припомнил, как часто Кальдер сидел в одиночку у главного калькулятора, который служит для решения трудных задач навигации. Как тщательно он уничтожал все записи в блоках памяти, когда кончал расчеты. Сейчас я думаю, что он уже тогда рассчитывал различные варианты аварий, что он промоделировал всю эту катастрофу. Это неправда, что он управлял кораблем над кольцами Сатурна, производя в уме молниеносные расчеты и основываясь только на показаниях гравиметров. Ему ничего не нужно было рассчитывать. Все вычисления были у него уже готовы — он составил с помощью машины таблицу приближенных решений, а теперь проверял только, попадают ли показания гравиметров в соответствующие пределы значений.

Я сорвал его безошибочный план, медля с отдачей приказов. Этих приказов он ждал как спасения, они были фундаментом его замысла. В те секунды я об этом даже

не подумал, не вспомнил, но ведь в рулевой рубке находилось ухо Земли — надежно опечатанное и безотказно ловящее каждое наше слово. Все, что говорится у штурвала, фиксируют регистрирующие аппараты.

Если бы «Голиаф» с мертвой командой опустился на космодроме, следствие началось бы с прослушивания этих лент. Поэтому им надлежало быть в полном порядке и сохранности. И мой голос должен был с них звучать, приказывая, чтобы Кальдер вернулся к Сатурну, чтобы он приблизился к кольцам, а затем увеличил тягу для погашения опасной прецессии.

Я еще не объяснил, почему план Кальдера был идеальным. Ведь мог же я вроде бы отдать такие приказы, которые обеспечили бы успех заново начатой операции? Так вот, через несколько месяцев после окончания процесса я уселся за электронную машину и решил установить, какие же, собственно, оставались шансы, чтобы успешно вывести последний зонд на орбиту, не нанеся притом вреда ни людям, ни кораблю. И оказалось, что таких шансов вообще не было! Значит, Кальдер соорудил из элементов математических уравнений идеально законченное целое — этакий карательный механизм; он не оставил никакой отдушины ни для моих, ни для чьих-либо, даже сверхъестественных навигационных способностей; ничто не могло нас спасти. Ни боковая тяга зонда, ни возникновение сильной прецессии, ни этот смертельный полет не были для Кальдера неожиданными, потому что именно эти условия он заранее запланировал, именно их он искал во время своих долгих расчетов. Поэтому достаточно было, чтобы я приказал возвращаться к Сатурну, и мы вошли бы в открывшийся перед нами гибельный водоворот. Конечно, Кальдер мог бы тогда отважиться даже на «неподчинение» в виде робкой критики одного из очередных моих приказов, когда я в отчаянии пытался бы погасить бешеное вращение корабля. Ленты запечатлели бы это последнее

доказательство его лояльности, продемонстрировали бы, что он до конца пытался нас спасти.

Впрочем, я вообще недолго смог бы отдавать какие-либо приказы... Я быстро онемел бы под прессом перегрузок, которые ослепили бы нас; мы лежали бы, прихлопнутые гробовой крышкой гравитации, истекая кровью... и один Кальдер смог бы встать, сорвать пломбы предохранителей и начать вращение — когда в рулевой рубке лежали бы уже только трупы.

Но я — неумышленно — испортил ему все расчеты. Кальдер не учел моей реакции, потому что, блестяще ориентируясь в небесной механике, он даже приблизительно не разбирался в психической механике человека. Когда я не использовал великолепную возможность, когда я замолчал, вместо того чтобы подгонять его приказами, он растерялся. Он не знал, что делать. Сначала он, наверное, только удивился, но приписал мое промедление неповоротливости и вялости человеческого ума. Потом он забеспокоился, но уже не посмел спрашивать меня, что делать, потому что мое молчание показалось ему многозначительным. Он сам не смог бы оставаться бездеятельным, а поэтому не допускал, что кто-то другой — тем более командир — на это способен. Раз я молчал — я, очевидно, знал, почему молчу. Наверное, я его заподозрил. Быть может, даже разгадал его игру? Может, я его обыграл? Раз я не отдал приказа, раз на лентах не зафиксированы мои слова, ведущие корабль к катастрофе, то для Кальдера это означало, что я все предвидел, что я его обвел вокруг пальца! Не знаю, когда он так решил; но его неуверенность заметили все, и Куин тоже упоминал о ней в своих показаниях. Кальдер дал ему какие-то не слишком толковые указания... потом внезапно повернул... все это было доказательством растерянности. Ему приходилось импровизировать, а именно в этом он был слабее всего. Он уже начал бояться, что я заговорю; может быть, я соби-

раюсь обвинить его — перед чутко слушающими микрофонами — в саботаже? Тогда он вдруг дал большую тягу; я успел крикнуть, чтобы он не входил в щель, — даже в этот момент я еще не понимал, что он вовсе не собирается идти сквозь нее! Но этот крик, зарегистрированный на лентах, уже перечеркнул какой-то новый, импровизированный план Кальдера; поэтому он сразу уменьшил скорость. Если бы ленты повторили на Земле мой крик и ничего больше — разве это не погубило бы Кальдера? Как, собственно, он мог бы оправдаться, как мог бы объяснить долгое молчание командира и этот внезапный крик — последний крик? Я должен был после него заговорить — хотя бы для доказательства, что я еще был жив... ибо Кальдер понял по этому моему возгласу, что он все же ошибся, что я не знаю всего; он ответил мне, как положено по уставу, что не расслышал приказа, и сразу же начал стегивать пояс; это был его последний шаг, последняя попытка — он шел ва-банк.

Почему Кальдер так поступил в ситуации, уже не слишком для него благоприятной? Может быть, из гордости не хотел признаться даже самому себе в поражении, а может, его особенно задело то, что он приписал мне ясное понимание, которого у меня не было. Наверняка он сделал это не из страха — я не верю, будто он боялся, что нам случайно удастся пройти через щель Кассини. Эта возможность вообще не фигурировала в его плане; то, что Куину удалось нас вывести, — это действительно редчайшая случайность.

Если б он подавил свое желание отомстить мне (ведь я сделал его смешным в собственных глазах, когда он принял мою тупость за проницательность), он немногим бы рисковал; ну что ж, вышло по-моему; своим поведением, нарушением субординации Кальдер доказал бы мою правоту, но именно этого он не хотел, именно с этим не мог примириться. Все что угодно, только не это...

Все-таки странно, что я так хорошо понимаю сейчас его поведение и по-прежнему беспомощен, когда пытаюсь истолковать свое. Я могу логически воспроизвести каждый его шаг и не могу объяснить свое молчание. Нельзя сказать, что я просто не мог ни на что решиться — это все же неправда. Так что же, собственно, случилось? Интуиция сработала? Предчувствие? Где там! Просто эта возможность, предоставленная аварией, слишком напоминала мне игру краплеными картами — грязную игру. Я не хотел ни такой игры, ни такого сообщника, а Кальдер стал бы моим сообщником, если б я начал отдавать приказы и тем самым как бы согласился с возникшей ситуацией. Я не мог решиться ни на это, ни на приказ о возвращении, о бегстве — такой приказ был бы самым правильным, но как я потом смог бы его мотивировать? Ведь все мои сомнения и возражения рождались из смутных представлений о честной игре... совершенно нематериальных, непереводимых на деловой язык космонавигации. Вы только представьте себе: Земля, какая-нибудь комиссия по расследованию, и я говорю этой комиссии, что порученного задания не выполнил, хотя это было, по-моему, технически возможно, и не выполнил потому, что подозревал первого пилота в таком саботаже, который должен был облегчить мне дискредитацию части команды... Разве это не звучало бы как безответственная болтовня?

Вот я и медлил — из-за растерянности, из чувства беспомощности, даже отвращения, а при этом своим молчанием давал Кальдеру, как мне казалось, шансы на реабилитацию: он мог доказать, что подозрения в умышленном саботаже несправедливы — достаточно было ему обратиться ко мне за приказом... Человек на его месте сделал бы это вне всякого сомнения, но его исходный план такого обращения не предусматривал. Наверное, из-за этого план казался ему более чистым, элегантным: я должен был сам, без единого слова с его стороны, привести в исполнение

приговор над собой и своими товарищами. Более того, я должен был вынуждать его к определенным действиям, и притом как бы вопреки всем его глубоким познаниям, вопреки его воле, а вместо этого я молчал. Так что в конечном счете нас спасла, а его погубила моя нерешительность, моя вялая «порядочность» — та человеческая «порядочность», которую он так безгранично презирал.

ГОЛОС НЕБА

РОМАН

ОТ АВТОРА

Может, на сорок седьмом году жизни и не следует слишком спешить, когда чувствуешь, что тебе еще есть что сказать или написать, но все-таки в этом возрасте уже стоит оглянуться, чтобы хоть на данном этапе подытожить сделанное.

Я начал с современного романа («Неутраченное время») и фантастических произведений, в которых зачастую пытался показать земные проблемы в инопланетном одеянии («Астронавты», «Эдем»); я пробовал также зашифровать эти проблемы в форме игровой («Звездные дневники») или сказочной («Кибериада»); или, наконец, исследовать в микроэксперименте, какие сказки могли бы сочинять роботы для роботов («Сказки роботов»). Написал я еще книгу, которую ценю, хотя сам не вполне ее понимаю («Соларис»), и еще другую, в жанре романа «предостережения» («Возвращение со звезд»), которая получилась не во всем такой, какой мне хотелось бы ее видеть. Вплетал я также в свои рассказы различные идеи и мотивы, относящиеся не столько к проблемам культуры или социологии, сколько к философии; и этот философский бес искушал меня с каждым годом все сильнее, так что в конце концов я откупился от него четырьмя небеллетристическими книгами («Диалоги», «Сумма технологии», «Философия случайности» и «Фантастика и футуро-

логия»). Поскольку каждый человек из духа противоречия больше всего интересуется тем, что ему труднее всего удастся, я не раз сожалел, что вслед за моей беллетристкой, которая вышла уже за границы Польши, не пошли и эти книги, предназначенные для более узкого круга», но, возможно, положение улучшится, ибо вот уже «Сумма технологии» появилась в русском переводе.

Беспокоило меня слегка и то, что можно назвать «раздвоением» моей писательской личности между художественной литературой и произведениями, посвященными философским раздумьям о путях развития цивилизации (сейчас это называют футурологией, но в 1955 году, когда я писал «Диалоги», ее еще не существовало).

«Голос Неба» — это попытка наложить заплату на образовавшийся душевный разрыв — по крайней мере, в том смысле, что слишком много в этой вещи всяких раздумий и отступлений от темы, чтобы можно было назвать ее попросту научно-фантастической повестью, и опять-таки слишком мало философствования (или псевдофилософствования), чтобы она сошла за эпистемологический трактат. Во всяком случае, книга эта как результат сознательного эксперимента является гибридом или же помесью, — а о том, присущи ли ей достоинства биологических гибридов, пускай уж судит читатель,

Станислав Лем

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Э. Хоггарта. К сожалению, гениальный ученый не успел завершить и подготовить к печати рукопись, над которой долгое время работал. Помешала этому одолевшая его болезнь.

Поскольку о работе этой, необычной для него и принятой не столько по собственной охоте, сколько из чувства долга, покойный профессор неохотно говорил даже с близкими людьми (к которым я имею честь принадлежать), в процессе подготовки рукописи к печати выявились некоторые спорные вопросы. В частности, было ясно, что рукопись осталась незавершенной, поскольку отсутствовало заглавие и удалось разыскать только черновой фрагмент, который должен был стать (здесь-то и возникает больше всего сомнений) то ли вступлением, то ли послесловием к книге.

Наделенный по завещанию полномочиями как коллега и друг покойного, я решил в конце концов сделать этот фрагмент, весьма существенный для понимания целого, введением к книге. Название «Голос Неба» предложил издатель, мистер Джон Ф. Киллер, которому я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за ту заботу, какую он проявил в деле публикации последнего труда профессора Хоггарта.

*Профессор Томас В. Уоррен
Отделение математики, Вашингтонский университет
Вашингтон, Округ Колумбия, апрель 1966 года*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие читатели будут шокированы тем, что я здесь напишу, однако я счел своим долгом высказаться. Книг подобного рода я ранее никогда не писал, а поскольку среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, я обходился без таких излияний.

По не зависящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, по которым я предваряю это описание чем-то вроде исповеди, станут ясны позже.

Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какой-то образец для сравнения; возьмем для этой цели недавно изданную книгу профессора Гарольда Йовитта о моей жизни и деятельности. Йовитт именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда исследовал самые трудные проблемы из всех мыслимых на данном этапе. Он отмечает, что мое имя всегда фигурировало там, где радикально пересматривались прежние научные понятия и вырабатывались новые концепции, — например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также и с проектом «Голос Неба».

Дочитав до того момента, где речь зашла о «радикальном пересмотре», я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я подумал, что дождался наконец настоящего биографа.

Однако Йовитт, словно испугавшись собственной проницательности, вернулся (он был весьма непоследователен) к ходячей трактовке моей личности — как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного.

Поэтому я преспокойно отправил книгу Йовитта на

полку, к другим моим жизнеописаниям. Мне еще раз повезло — или, если угодно, не повезло, и на шестьдесят втором году жизни, поставив на полку двадцать восьмой опус, посвященный моей персоне, я остаюсь совершенно непопнятым.

Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе: они могут представлять интерес как плоды его раздумий, но вовсе не обязательно окажутся теми недостающими звеньями, которые нужны биографу.

Собственно говоря, при достаточной находчивости любой человек мог бы паписать целый ряд собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактических данных.

Количество различных концепций, которые человек создает о самом себе — в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, — ничуть не меньше количества существующих на Земле религий. Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня приблизительно с четырнадцати лет; единственной оригинальной чертой его я считаю то, что оно для меня неслестно.

Основными чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Однако же лет с сорока я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси, — потому что я очень долго и упорно приучал себя именно к такому поведению. Между тем, сколько я себя помню, мною всегда руководило стремление к злу, — впрочем я, разумеется, не отдавал себе в этом отчета.

Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых — например, в церкви — или в присутствии особо достойных людей я охотно раз-

мышлял о том, что мне было запрещено. То, что размышления эти были смешными и ребяческими, не имеет ни малейшего значения. Просто я ставил эксперименты в том масштабе, который тогда был для меня доступен. Помню пронзительную скорбь, гнев, разочарование, которые потом долгие годы сопутствовали мне, когда оказалось, что голову, где кроются злые мысли, никогда не поражает молния, что выламывание из надлежащего уклада жизни не влечет за собой никаких, совершенно никаких последствий.

Я жаждал этой молнии или какой-нибудь другой ужасной кары и мести, я пытался ее вызвать и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщету всяких — а стало быть, и злых — мыслей и дел. Поэтому я никогда не мучил ни животных, ни даже растения, зато стегал камни, песок, издевался над вещами, терзал воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне, — и злоба моя становилась все бессильней по мере того, как я осознавал, до чего смешны и глупы мои поступки.

Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние как несчастье. Я сказал, что злость моя была изотропной; и действительно, она распространялась прежде всего на меня самого; мои руки, ноги, черты моего лица так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только у посторонних людей. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно; еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор уже старался держаться раз навсегда выработанной программы.

С точки зрения морального детерминизма в автобиографии, которая начинается с упоминания о трусости, злобности и высокомерии как об основах психики, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе, а вся разница меж-

ду мной и хорошими людьми сводится к различию в стимулах поступков. Другим ничего не стоит делать добро — они ведут себя согласно своим естественным склонностям; я же действовал вопреки своей натуре. Но ведь это я же сам себе и приказывал так поступать — значит, все же в конечном счете я был предназначен для добрых дел.

Это ложное заключение. Зная, чего это мне стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были нереальными.

В одном Йовитт, по-видимому, прав: я всегда искал трудностей. Ситуации, в которых можно было бы дать волю своей врожденной злобности, я обычно отвергал не потому, что видел в добре большую ценность, а как слишком легкие. Мне важен был баланс усилий, который не имеет ничего общего с арифметикой примитивной морали.

Я прекрасно понимаю, что все это можно было бы обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, — и какой-нибудь из моих биографов позднее постарается это сделать. Он докажет, что я с помощью разума героически обуздал свой характер, а хулил себя с целью самоочищения.

Пускай мой будущий биограф не хлопчет: я не нуждаюсь в апологетизации; мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хочу понять — только понять, ничего больше, — откуда взялось в человеке зло, коль скоро это свойство не порождено ни природой, ни культурой. Разум, склонный к антропоцентризму, может в конце концов решить, что создание господне есть не что иное, как жутковатая шутка: ведь бесцельность зла — это единственное объяснение, понятное человеку.

Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна, но она вводит нас в порочный круг: мы приписываем ему злобность, потому что мы сами таковы. Если вспомнить о полнейшей незначительно-

сти человека по сравнению с космосом, то миф этот выглядит примитивно до тривиальности. Скажу иначе: если б сотворение мира действительно имело место, чего я, впрочем, не допускаю, то необходимый для этого уровень знаний был бы уже не совместим с туповатыми шутками. Ибо — в этом, собственно, и состоит мое кредо — нет и не может быть идеально мудрого зла. Разум говорит мне, что идеальная мудрость несовместима с мелким пакостничеством, с жульничеством, которое подсмеивается над собственными выдумками.

То, что мы принимаем за плоды злобных намерений, можно было бы еще понять как обычный просчет, как ошибку, — но тогда мы приходим к еще несуществующей теологии, в которой всемогущество богов ограничено. А в этом случае область созидательной деятельности таких богов есть не что иное, как область, в которой творю я сам, — то есть вероятностная статистика.

Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана, потому что действительность предстает перед ним как множество возможностей и каждая из них возникает и обособляется очень легко, будто бы самопроизвольно.

Ребенок окружен множеством виртуальных * миров, ему совершенно чужд космос Паскаля — этот окоченелый труп. Позже, в зрелости, это первоначальное богатство выбора у человека уступает место незыблемому порядку вещей.

Я вынес из детства нечто вроде устойчивого неприятия действительности. Математика была моим дезертирством — потому что математика, мне казалось, не зависит от мира.

Время показало, что я ошибся. Что бы мы ни делали,

* Виртуальный (*лат. virtualis*) — возможный; могущий проявиться при определенных условиях. — *Здесь и далее прим. перев.*

мы не можем порвать с действительностью, и опыт говорит, что математика — тоже не идеальное убежище, потому что ее обителью является язык. А это информационное растение пустило свои корни и в действительность, и в нас самих.

В математике я искал того, что было самым ценным в детском восприятии — множественности виртуальных миров, которая дает возможность так легко оторваться от данного нам реального мира. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением открыл, до чего потрясающе неожиданна эта деятельность, вначале похожая на игру. Ты безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить. Но именно этот отказ, этот радикальнейший разрыв с действительностью и раскрывает нам сердцевину явлений, и кажущееся бегство от мира оборачивается его завоеванием, а разрыв — примирением. Мир молчаливо дает нам понять, что только в нем самом кроется возможность освободиться от его власти.

Математика ждет лишь своего открытия, а не изобретения, ибо она уже содержится не явно в любом языке: законы действительности запечатлелись в человеческом языке, как только он начал возникать.

Математика складывалась в течение тысячелетий языковой эволюции на поле ожесточенных схваток человека с окружающей его средой. Мудрость языка настолько же превосходит любой человеческий разум, насколько наше тело лучше ориентируется во всех деталях жизненного процесса, протекающего в нем, чем мы сами. Мы еще не исчерпали последствия этих двух эволюций — эволюции живой материи и эволюции информационной материи языка, — а уже мечтаем выйти за их пределы.

Причины, по которым я стал математиком, наверно, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я сделал бы в своей специальности не больше, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, играл ли какую-нибудь роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер, а не способности, но эта возможность не исключена: при таком масштабе событий ни гордость, ни застенчивость человека уже не имеют никакого значения.

Авторы воспоминаний обычно решаются на предельную искренность, если считают, что они могут рассказать о себе нечто невероятно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно не существенна; иначе говоря, к разговорчивости меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад данного индивидуума, и где начинается типичное для всего человеческого рода.

Мы ничего не знаем так плохо, как самих себя, — наверно, потому, что, непрестанно стремясь раздобыть несуществующую информацию о том, как сформировался человек, мы заранее исключаем возможность того, что в этом процессе глубочайшая необходимость могла сочетаться с нелепейшими случайностями.

Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение неких нейтральных существ — неких гомеостатов, которые должны познавать окружающую среду, не обладая в исходном состоянии никакими «этическими» или «эмоциональными» свойствами. Эти существа размножались — разумеется, внутри машины, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, — и несколько десятков поколений спустя во всех экземплярах возникала непонятная для нас особенность поведения — своеобразный эквивалент агрессивности. Мой

приятель, проделав трудоемкие и бесполезные контрольные расчеты, принялся наконец проверять даже самые несущественные детали опыта. И тогда оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха, которые и были неопознанной причиной отклонений.

Я не могу не думать об этом эксперименте, когда пишу все это; разве не могло случиться так, что социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте совершенно неподготовленными к этому стремительному взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Эти атомы были сырьем, которое успело подвергнуться лишь первичной биологической переработке и удовлетворяло лишь чисто биологическим критериям, а бросок вверх увлек сырой материал и вознес его в цивилизационное пространство. Разве при этом мгновенном взлете не могли запечатлеться в биологическом материале следы случайностей, подобно тому как глубоководный зонд, опустившись на морское дно, захватывает вместе с тем, на что был нацелен, ненужные обломки? Я вспоминаю отсыревающее реле в совершенной цифровой машине. Почему, собственно, процесс, который вызвал наше появление, должен — с какой угодно точки зрения — быть идеальным? То, что наш вид единствен во Вселенной, еще не означает, что он совершенен.

Но я собирался говорить о себе, а не о человеческом роде.

Математика была для меня не блаженной страной, а скорее соломинкой, протянутой утопающему. Главную мою работу по математике не случайно называли разрушительной. Я нанес сокрушающий удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статистики против ее же собственных основ — и взорвал их. Я созидал — но на пепелищах, и

прав Йовитт: я больше ниспровергал старых истин, чем утверждал новых.

Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, ибо я появился уже после Рассела и Гёделя, после того, как первый обнаружил трещины в фундаменте хрустального дворца, а второй расшатал этот фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени.

Я неоднократно размышлял, что было бы со мной, если б я родился в пределах одной из тех четырех тысяч культур, которые предшествовали современной в бездне восьмидесяти тысяч лет. В некоторых культурах я наверняка зачах бы, зато в других, может, проявил бы себя гораздо полней как вдохновенный пророк, создающий новые обряды и магические ритуалы, благодаря врожденной моей способности комбинировать элементы.

Но познание необратимо, и нельзя вернуться в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не смог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавал и формировал случай,— но неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в неисчислимых тиражах эволюционной лотереи?!

Сколько я себя помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности. Я сознательно создал для себя ее суррогат. Но для этого нужно было найти достаточно веские мотивы, потому что основывать этику на пустом месте — все равно, что причащаться, не веря в бога. Я, собственно, не планировал свою жизнь, исходя из таких вот теорий, как изобразил это сейчас. И не подгонял свое поведение задним числом под какие-то постулаты. Я просто всегда действовал в таком духе, только вначале бессознательно: мотивацию своего поведения я придумал позже. Если бы я считал себя человеком в глубине души добрым, то, наверно, никогда не смог бы понять зла. Я бы полагал, что люди творят зло

всегда умышленно. Но я знал больше — я знал и свои склонности, и свою невиновность в них: в меня было вложено то, чем я являюсь, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар.

Мои принципы непригодны для всеобщего употребления, но я вовсе и не считаю, что обязан найти этическую панацею для всего человечества. Я представил сугубо личные соображения, мою индивидуальную стратегию, которая, кстати сказать, ничего во мне не изменила. По-прежнему первой моей реакцией на сообщение о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения. Но я отвечаю ей сопротивлением и действую вопреки себе потому, что могу это сделать.

Если б я действительно собирался писать автобиографию, — которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями несомненно была бы антибиографией, — мне не пришлось бы оправдываться за все эти признания. Но у меня другая цель. Событие, которое я хочу описать, сводится вот к чему: человечество столкнулось с чем-то, что выслало в звездный мрак существа, не принадлежащие к человеческому роду. Событие это, первое в своем роде за всю историю человечества, я думаю, достаточно значительно для того, чтобы я счел необходимым обрисовать поподробней, кто же, собственно, представлял человечество в этой встрече. Тем более что плоды этой встречи оказались отравленными.

I

О проекте «Голос Неба» писали невероятно много — гораздо больше, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир хлынул такой водопад статей, книг, брошюр, что библиография на эту тему составляет увесистый том энциклопедических размеров. Официальная версия изложена в докладе Бэлойна, который «Американская библиотека» позднее издала десятиmillionным тиражом; квинтэссенция же этого доклада содержится в одной из статей восьмого тома Американской Энциклопедии. О Проекте писали и другие люди, занимавшие там командные должности, например С. Раппопорт («Первая в истории межзвездная связь»), Т. Дилл («Голос Неба — я его слышал») и Д. Протеро («Проект ГОН — физические аспекты»). Книга Протеро, моего ныне покойного друга, является одной из самых обстоятельных; впрочем, ее следует, собственно говоря, отнести к разряду узкоспециальной литературы, где объект исследования совершенно ограничен от личности исследователя.

Исторических разработок слишком много, чтобы можно было их перечислить. Монументальный четырехтомный труд создан специалистом по истории науки Вильямом Энгерсом («Хроника 749 дней»). Эта работа восхитила меня своей скрупулезностью — Энгерс добрался до всех бывших сотрудников Проекта и изложил их взгляды; но я не смог ее осилить — это показалось мне столь же невозможным, как чтение телефонного справочника.

Особый раздел составляют всевозможные интерпретации Проекта — от философских и теологических до психопатологических. Чтение таких работ неизменно утомляло

и раздражало меня. Не случайно, я думаю, пространней всего рассуждают о Проекте те, кто непосредственно в нем не участвовал.

Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем те сведения, полные пробелов и неясностей, которыми может располагать ученый. Авторы книг о Проекте, относящиеся к разряду интерпретаторов, как правило, втискивали добытые ими сведения в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний отсекая все, что туда не влезало. Некоторые из этих книг по крайней мере восхищают находчивостью и остроумием; но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в нечто вроде графомании на тему Проекта.

Количество информации, необходимое для того, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике Проекта, явно превышает емкость мозга отдельного человека. Но неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коей мере не сдерживает дураков; поэтому в океане печатной продукции, порожденной Проектом ГОН, каждый может найти нечто подходящее для себя — если его не слишком интересует истина.

Я не могу понять, почему людям, не имеющим водительских прав, запрещают разъезжать по дорогам, а вот сочинения людей, начисто лишенных порядочности — не говоря уж о знаниях, — могут проникать на книжные полки беспрепятственно и в любом количестве. Инфляция печатного слова, очевидно, вызвана экспоненциальным возрастанием количества пишущих — но не в меньшей мере и издательской политикой. В разлив макулатуры тонут действительно ценные публикации: ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди десяти плохих, чем тысячу — среди миллиона. Вдобавок неизбежным становится псевдоплагиат — невольное повторение уже кем-то высказанных мыслей.

Я тоже не уверен, что не повторяю кем-то уже сказанное. Это риск, неизбежный в эпоху цивилизационного взрыва. Я решил изложить собственные воспоминания о работе в Проекте лишь потому, что ничто из прочитанного о нем меня не удовлетворило. Не обещаю, что буду писать «правду и только правду». Это стало бы возможно, если бы наши усилия увенчались успехом, но тогда моя затея стала бы ненужной: история поисков истины показалась бы малоинтересной в свете самой истины. Но, коль скоро мы не разгадали загадку, у нас не остается ничего, кроме истории нашего поражения. Это — единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном.

В этой оценке я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам назвал объективными, — начиная с доклада Бэлойна, — потому что в них вообще нет слова «поражение».

Я долго колебался, прежде чем сесть за письменный стол, ибо понимал, что собираюсь увеличить и без того уж огромный список публикаций. Я рассчитывал, что кто-нибудь, владеющий словом лучше меня, сделает эту работу, но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных Проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего; но описание достигнутых успехов всегда занимает так много места, в то время как о непознанном упоминается на столь немногих страницах, что сама уже эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь лабиринт, кроме нескольких — наверное, тупиковых или обвалившихся — проходов, а между тем мы даже порога не переступили. А ведь одной из главных обязанностей ученого является определять не масштаб познанного — оно говорит само за себя, — но размеры еще непознанного.

Боюсь, что меня не услышат, потому что уже нет универсальных авторитетов. Разделение (а может быть, рас-

падение) науки на специальности зашло достаточно далеко, и специалисты объявляют меня некомпетентным, стоит мне ступить на их территорию. Давно уже сказано, что специалист — это варвар, невежество которого не всесторонне.

Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте. Деятнадцать лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торнопом (он впоследствии трагически погиб при автомобильной катастрофе) опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных альтерго-нистской программе (к ним относятся, в частности, все высшие животные). Подобная программа означает осцил-лирование между наказанием и поощрением, которые вос-принимаются при этом как страдание и наслаждение.

Мои расчеты показывают, что если число элементов ре-гулирующего центра (мозга) превышает четыре миллиар-да, то совокупность таких автоматов обнаруживает тяго-тение к крайним полюсам программы. В каждом отдель-ном автомате берет верх один из предельных вариантов, и, следовательно, возникновение таких вариантов в про-цессе антропогенеза было тоже неизбежным. Эволюция «согласилась» на такое решение, поскольку она оперирует статистическими расчетами: для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния отдельных его представи-телей. Как конструктор, она стремится сохранять, а не со-вершенствовать.

Мне удалось показать, что в любой человеческой попу-ляции не более чем у 10% ее представителей будет наблю-даться достаточно уравновешенное альтерго-нистское пове-дение, остальные же 90% будут отклоняться от нормы. Хотя я уже и тогда, девятнадцать лет назад, считался од-ним из лучших математиков в мире, влияние этой моей работы на антропологов, этнографов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять. Моя

работа была не гипотезой, а неопровержимым доказательством того, что некоторые черты человеческой психики, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, являются результатом чистой статистической флуктуации.

Позже я расширил это доказательство, используя превосходные материалы, собранные Торнопом, и распространил его на процесс возникновения этических норм в общественной группе. Однако и эту работу полностью игнорировали. Через годы, имея позади бесчисленные дискуссии со специалистами по изучению человека, я пришел к выводу: они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я репрезентовал, считался в этих кругах чем-то вроде безвкусицы, потому что он не оставлял места для риторических препирательств.

Это было бестактно с моей стороны — делать выводы о природе человека с помощью математики! В лучшем случае мою затею называли «любопытной». А по существу, никто из специалистов не мог примириться с тем, что великую Тайну Человека, необъяснимые черты его натуры можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не высказывались против этого открыто. Тем не менее упомянутые выводы вменили мне в вину. Этот опыт был весьма поучителен. Мы обычно недооцениваем инертность способа мышления в некоторых областях науки. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое мы оказываем статистическому подходу, значительно легче преодолеть в атомной физике, чем в антропологии. Мы охотно принимаем четко построенную статистическую модель атомного ядра, если она подтверждается опытом. Ознакомившись с такой моделью, мы потом не спрашиваем: «Ну, а как все-таки атомы ведут себя на самом деле»? Но открытиям такого же рода в антропологии мы сопротивляемся изо всех сил,

Вспоминая эту свою непризнанную работу, я не могу отделаться от невеселой мысли, что таких работ на свете, должно быть, немало. Залежи потенциальных открытий, вероятно, кроются в разных библиотеках, но остаются незамеченными.

Мы привыкли к простой, ясной ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все понятное и познанное находится у нее в тылу. Но по сути безразлично, таится ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ, — если факты не включены в кровообращение науки и не циркулируют там, порождая другие факты, то практически они для нас не существуют. В любой исторический период способность науки воспринять радикально новый подход к явлениям фактически была не так уж велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики — лишь частный пример этого*.

Кругозор нашей культуры (науки, в частности) ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль очень часто могут играть стечения обстоятельств самого разного рода. Я не случайно рассказываю обо всем этом. Наша культура не способна как следует воспринять даже концепции, созданные в ее же рамках, но вне ее главного потока; как же можно рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно отличную от нашей культуру, если она обратится к нам через космические просторы? Пока такого обращения не было, мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а поражение, которое мы понесли, сыграло в ней роль *experimentum*

* Имеется в виду самоубийство Л. Больцмана (1844—1906), связанное с непризнанием его работ по атомно-статистической теории.

crucis *, стало доказательством нашей беспомощности, — и этот результат не желают замечать! Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности воспринимать и понимать даже радикально иную, внеземного происхождения, информацию остался неприкосновенным.

Опубликованные сообщения, все эти официальные отчеты сосредоточивают внимание на так называемых успехах. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, там не сказано почти ничего. Я уже говорил, что такой подход был бы позволительным, если б в конечном счете исследование отделилось от исследователей. Но история проекта «Голос Неба» есть история поражения, то есть поисков, за которыми не последовало спрямления дороги, а поэтому нельзя пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги нашего пути — ведь, кроме них, у нас ничего не осталось.

С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше ждать я не могу — по чисто биологическим причинам. Я располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации Проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет ясно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать четко. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по работе. Мы стояли у подножия колоссальной находки, до предела неподготовленные и до предела самоуверенные. Все мы тотчас, как муравьи, облепили эту гору со всех сторон — быстро, жадно, ловко и сноровисто.

Я был одним из многих. Это рассказ муравья.

II

Коллега по специальности, которому я показал вступление, заявил, что я нарочно очернил себя, чтобы потом дать волю своей склонности к правдолюбию, — ведь тем,

* *Experimentum crucis* (лат.) — решающий эксперимент.

кого я не пощажу, трудно будет меня упрекать, коль скоро я для начала не пощадил самого себя. Это было сказано полусуто, но заставило меня задуматься. Хотя такой коварный замысел мне и в голову не приходил, я достаточно ориентируюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо. Возможно, мной руководила подсознательная хитрость и я лицемерил, как проповедник, который, громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеет согрешить. В таком случае все становится с ног на голову, и то, что я считал печальной необходимостью, продиктованной требованиями темы, оказывается главным источником вдохновения, а сама тема, «Голос Неба», — всего лишь удачным предлогом.

Впрочем, схему подобного рассуждения, которое следовало бы назвать «карусельным», потому что оно образует замкнутый круг, где посылки и выводы меняются местами, можно было бы в свою очередь перенести и на саму проблематику Проекта. Наше мышление должно сталкиваться с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и корректирует; если же такого корректора нет, оно легко превращается в проецирование тайных пороков (или же добродетелей) на предмет исследования.

Именно это угрожало сотрудникам Проекта. Чем мы располагали? Загадкой и джунглями догадок. Мы выковыривали из загадки обломки фактов, но эти факты не стыковались, не образовали прочный массив, способный корректировать наши предположения, эти предположения постепенно брали верх, и в конце концов мы попадали в лес гипотез, громоздящихся на гипотезах. Наши конструкции становились все более остроумными и смелыми — и все больше отрывались от тылов, от добытых знаний. Мы готовы были все разломать, нарушить самые святыя прин-

ципы физики или астрономии, лишь бы овладеть загадкой. Так нам казалось.

Читателю, который, добравшись до этого места, уже нетерпеливо ждет, когда же его введут в суть дела, и надеется, что он испытает при этом не менее сладостную дрожь, чем на сеансе фильма ужасов, я советую отложить мою книгу, потому что он разочаруется. Я не пишу сенсационную повесть, а рассказываю о том, как наша культура была подвергнута экзамену на космическую (или хотя бы не только земную) универсальность и к чему это привело. С самого начала моей работы в Проекте я считал ее именно таким экзаменом независимо от того, какой пользы ждали от работы моей и моих коллег.

Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно, заметил, что, перенося проблему «карусельного мышления» с отношений между мной и моей темой на саму эту тему (то есть на отношения между исследователями и Голосом Неба), я некоторым образом выпутался из щекотливого положения, поскольку упрек в «скрытых источниках вдохновения» расширил до того, что в нем уместился весь Проект. Но именно так я и намеревался действовать — еще до того, как выслушал критические замечания. Допуская некоторое преувеличение, дабы подчеркнуть суть моей мысли, могу сказать, что в ходе работы (затрудняюсь определить, когда именно) я начал подозревать, что звездное Послание, которое мы пытались разгадать, постепенно стало для нас чем-то вроде психологического теста на ассоциации, например усложненного теста Роршаха. Как испытуемому в цветных пятнах видятся ангелы или зловещие птицы, а в действительности он дополняет незавершенность этих пятен тем, что у него «на душе», так и мы пытались за преградой непонятных значков обнаружить присутствие того, что находилось прежде всего в нас самих. Никто из нас не знает, в какой мере мы были инструментами объективного анализа, в какой — сформированны-

ми современностью, типичными для нее представителями человечества, и в какой, наконец, каждый из нас представлял только самого себя и гипотезы о смысле Послания черпал из собственной психики.

Опасения такого рода многие из моих коллег считали чепухой. Они употребляли другие выражения, но смысл был именно таков.

Я их прекрасно понимаю. Никогда доселе физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информатики не располагали таким предметом исследований, который не был чисто материальной, то есть природной, загадкой, а был кем-то умышленно создан и послан — причем Отправитель должен был принимать в расчет своих потенциальных адресатов. Ученые воспитаны на «игре с Природой», которая никак не является сознательным противником; они не допускают возможности, что за исследуемым объектом на самом деле стоит кто-то и что понять объект можно лишь постольку, поскольку удастся постичь ход рассуждений этого совершенно неизвестного нам создателя. Так что хотя они знали и даже говорили, что Отправитель реален, но вся их жизненная практика, вся профессиональная подготовка противоречила этому знанию.

Физику и в голову не придет, что кто-то нарочно так расположил электроны на орбитах, чтобы люди ломали себе голову над их конфигурациями. Он прекрасно знает, что гипотеза о Создателе Орбит в его физике абсолютно излишня, более того, вообще недопустима. Но в Проекте недопустимое оказалось реальным, а физика в обычном своем виде стала непригодной; это было прямо-таки пыткой. Но тут уж я начинаю вдаваться в подробности — и преждевременно. Значит, пора переходить к изложению событий.

Когда Блэдергрэн, Немеш и группа Шигубова открыли инверсию нейтрино, возник новый раздел астрономии — нейтринная астрофизика. Она сразу же сделалась необычайно модной, и во всем мире начались исследования космических потоков этих частиц. Обсерватория на Маунт-Паломар установила у себя соответствующую аппаратуру, высоко автоматизированную и с наилучшей по тем временам разрешающей способностью. К этой установке — нейтринному инвертору — образовалась целая очередь жаждущих сотрудников, и у директора обсерватории (им был тогда профессор Риан) было немало хлопот с астрофизиками, особенно молодыми, ибо каждый из них считал, что его исследовательская программа должна стоять первой в списке.

Среди счастливчиков оказались Хэйлер и Мэгоун, оба очень честолюбивые и довольно способные (я был с ними знаком, хотя и отдаленно); они регистрировали максимумы нейтринного излучения в определенных участках неба, пытаясь обнаружить проявление так называемого эффекта Штеглитца (Штеглиц был немецким астрономом старшего поколения).

Однако этот эффект (нейтринный аналог «красного смещения» для фотонов) все не удавалось обнаружить. Как выяснилось несколько лет спустя, теория Штеглитца была ошибочной. Но Хэйлер и Мэгоун об этом не знали и сражались как львы, чтобы у них не отняли установку; благодаря своей предприимчивости они удержали ее почти на два года — и никаких результатов в конце концов не получили. Целые километры регистрационных лент пошли тогда в архив обсерватории. Несколько месяцев спустя значительная часть этих лент попала в руки смекалистого, хоть и не очень одаренного физика, — собственно говоря, недоучки, который был изгнан из какого-то малоизвест-

ного колледжа на Юге за аморальное поведение. Этот недоучившийся физик, по фамилии Свенсон, получил ленты при невыясненных обстоятельствах. Позже его допрашивали в связи с этим, но ничего не дознались, так как он непрерывно менял показания.

Получая, а может, и покупая у неизвестного лица ленты, Свенсон преследовал определенную цель. Он достаточно разбирался в физике, чтобы знать, что записи на этих лентах представляют собой, так сказать, «чистый шум», и додумался фабриковать при помощи их так называемые лотерейные таблицы. Эти таблицы, именуемые также сериями случайных чисел, необходимы в исследованиях различного типа; их изготавливают с помощью либо специально запрограммированных цифровых машин, либо же вращающихся дисков — на краях этих дисков нанесены цифры, которые вылавливает беспорядочно вспыхивающая точечная лампа. Можно изготавливать таблицы и другими способами. Но взявшийся за эту работу часто оказывается в затруднительном положении. Дело в том, что серии цифр редко получаются «достаточно случайными»; при тщательном анализе обнаруживаются более или менее явные закономерности в чередовании отдельных цифр, потому что некоторые цифры — особенно в длинных сериях — как бы склонны появляться чаще, чем другие, а этого достаточно, чтобы дисквалифицировать такую таблицу. Намеренно создать «абсолютный хаос» и притом «в чистом виде» — не очень-то легкое дело. А спрос на подобные таблицы не уменьшается. Поэтому Свенсон рассчитывал на неплохую прибыль, тем более что его шурин работал линотипистом в типографии одного из университетов; там Свенсон и печатал таблицы, а потом продавал, высылая по почте, то есть без посредничества книготорговцев.

Один из экземпляров его таблиц попал в руки некоего

Д. Ф.* Сэма Лейзеровитца. Подобно Свенсону, он отличался незаурядной предприимчивостью, с оттенком своеобразного идеализма, ибо он не все делал только ради денег. Он был членом, а нередко и учредителем многих, непременно эксцентричных организаций, вроде Лиги исследования летающих тарелок.

Он не получил физического образования и не имел права называться доктором физики, но, когда его пытались по этому поводу прижать к стенке, он заявлял, что эти буквы означают попросту псевдонимы, которыми он подписывает свои рассказы, — Дуглас и Филипп. Специальностью Лейзеровитца были сенсационные открытия. Он, в частности, основал музей, собрав экспонаты, якобы оставленные пассажирами летающих тарелок в различных районах Штатов — одним из этих экспонатов был обритый и окрашенный в зеленый цвет обезьяний зародыш в спирту. Собирая сведения о деятельности инопланетян, Лейзеровитц напал на след регистрационных лент из Маунт-Паломар и добрался до Свенсона. Сначала Свенсон не хотел давать ленты Лейзеровитцу, но тот представил убедительный аргумент в виде трехсот долларов — как раз в это время какой-то эксцентричный миллионер облагодетельствовал одно из его «космических учреждений».

Вскоре Лейзеровитц опубликовал ряд статей под крикливыми заголовками, извещая, что на маунт-паломарских лентах отдельные участки шума разделены «зонами молчания» — причем эти шумы и пропуски складываются в точки и тире азбуки Морзе. В последующих, все более крикливых сообщениях он ссыался на Хэйлера и Мэгоуна как на авторитетных астрофизиков, которые якобы подтверждают подлинность сенсационного открытия.

* D. Ph. (англ.) — Д. Ф., доктор философии; это общепринятое сокращение в англосаксонских странах обычно ставят перед фамилией человека, имеющего степень доктора (в любой области наук).

Когда некоторые провинциальные газеты перепечатали эти сообщения, взбешенный Хэйлер направил им опровержение, в котором объяснял, что Лейзеровитц — полнейший невежда (откуда инопланетяне могут знать азбуку Морзе?), а так называемые «зоны молчания» на лентах — это места, где запись отсутствует, потому что регистрирующую установку время от времени выключают. Но Лейзеровитц не был бы Лейзеровитцем, если б покорно снес такую отповедь; он ни с чем не согласился и лишь вписал доктора Хэйлера в черный список «врагов космического контакта».

Между тем вне связи с этой историей, получившей некоторую огласку в прессе, произошло действительно необычайное событие.

Доктор Ральф Лумис, статистик по образованию, имевший собственное агентство по анализу общественного мнения (он работал по заказам небольших торговых фирм), направил Свенсону рекламу, утверждая, что почти треть очередного издания свенсоновских лотерейных таблиц абсолютно копирует серию, опубликованную в первом издании, то есть он давал понять, что Свенсон перекодировал «шум» в цифры всего один раз, а затем механически копировал результат, лишь незначительно меняя порядок страниц.

Свенсон отверг претензии Лумиса и ответил ему довольно резким письмом. Лумис считал себя оскорбленным, а к тому же обманутым и передал дело в суд. Свенсона приговорили к штрафу за оскорбление личности, и вдобавок суд согласился с мнением истца, что новая серия таблиц была мошенническим повторением первой. Свенсон подал апелляцию, но пять недель спустя отказался от нее и, заплатив наложенный на него штраф, бесследно исчез.

Канзасская «Морнинг Стар» поместила несколько корреспонденций о деле Лумиса против Свенсона — был летний сезон и интересных материалов не хватало. Одну из

этих корреспонденций прочитал доктор Саул Раппопорт из Института высших исследований — он нашел газету на сиденье в метро.

Это был субботний, расширенный выпуск, и газета, чтобы заполнить страницы, кроме судебного отчета, поместила еще и интервью Лейзеровитца о «Братьях по разуму» рядом с гневным опровержением доктора Хэйлера. Так что Раппопорт мог ознакомиться во всем объеме с этой диковинной аферой. Когда он отложил газету, ему пришла в голову до смешного сумасшедшая мысль. Лейзеровитц, конечно, несет чушь, принимая «зоны молчания» на лентах за сигналы, но, может, он все же прав, усматривая в лентах запись некоего сообщения, если этим сообщением является шум!

Мысль была сумасшедшая, но Раппопорт не мог от нее отделаться. Поток информации, например человеческую речь, не всегда можно воспринять именно как информацию, а не как хаотический набор звуков. Речь на чужом языке может показаться нам совершеннейшей бессмыслицей. Для того, кто не знает этого языка, существует только один способ произвести это принципиальное различие: в подлинном шуме серии сигналов никогда не повторяются в той же последовательности. В этом смысле «шумовой серией» является, например, тысяча цифр, которые выходят на рулетке. Совершенно исключено, чтобы точно такая же серия цифр могла появиться в следующей тысяче игр в таком же порядке. В том и состоит природа «шума», что очередность появления его элементов — звуков или других сигналов — непредсказуема. Если же серии повторяются, значит, «шумовой» характер явления был кажущимся.

Доктор Раппопорт подумал, что Свенсон, быть может, и не лгал на суде, что он не копировал одну и ту же серию, а в самом деле поочередно использовал ленты, которые записывались в ходе многомесячной регистрации космиче-

ского излучения. Если излучение это было сознательной сигнализацией и за время наблюдения одна серия высылки сообщения закончилась, а потом сообщение начали снова передавать с самого начала, то последующие ленты запечатлели бы точно такие же серии импульсов, и эта повторяемость доказывала бы, что их «шумовое обличье» есть лишь видимость!

Это было в высшей степени неправдоподобно, однако же возможно. Раппопорт, человек довольно пассивный, проявлял необыкновенную предприимчивость и энергию, когда у него случались подобные озарения. Газета поместила адрес доктора Хэйлера, и Раппопорт легко мог с ним связаться. Прежде всего ему нужно было заполучить ленты. Поэтому он написал Хэйлеру, осведомляясь, не может ли Хэйлер дать ему ленты, оставшиеся в архиве Маунт-Паломар. Хэйлер, расстроенный тем, что его фамилию приплели к афере Лейзеровитца, отказал. Вот тогда-то Раппопорт по-настоящему загорелся и написал прямо в обсерваторию. Имя его было достаточно хорошо известно в научных кругах, и вскоре он получил целый километр лент.

Уже на этой стадии проблема была гораздо сложнее, чем я ее здесь излагаю. Информация тем больше напоминает чистый шум, чем полнее передатчик использует пропускную способность канала связи. Если эта способность использована полностью, то есть избыточность сведена к нулю, то для непосвященного сигнал ничем не отличается от хаотического шума. Как я уже говорил, в кажущемся «шуме» можно выявить информацию только в том случае, если передачи одного и того же сообщения циклически повторяются и их можно сопоставлять друг с другом. Именно это собирался сделать Раппопорт. Однако нейтринное излучение определенного квадранта небосвода — это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот, и если даже Хэйлер и Мэгоун, прочесывая однажды этот

спектр, совершенно случайно выхватили из него обрывок осмысленной передачи, то было бы уж настоящим чудом, если б им — опять же случайно — удалось это снова. Значит, нужно было раздобыть те ленты, которые находятся у Свенсона. Раппопорт обратился к адвокату Свенсона и через неделю располагал уже полным комплектом лент. По заключению эксперта все они оказались оригиналами, так что Свенсон не был повинен в мошенничестве — передача действительно периодически повторялась.

Об этом результате Раппопорт не сообщил ни Свенсону, ни его адвокату, но в тот же день — точнее, в ту же ночь — вылетел в Вашингтон; отлично представляя, как безнадежны попытки форсировать бюрократические препоны, он направился прямо к Мортимеру Рашу, советнику президента по вопросам науки, которого знал лично. Раш, физик по образованию и ученый действительно высокого класса, принял его, несмотря на позднее время. Раппопорт три недели ждал в Вашингтоне его ответа. Тем временем ленты изучались все более крупными специалистами.

Наконец Раш пригласил Раппопорта на конференцию, в которой участвовало девять человек; среди них были светила американской науки — физик Дональд Протеро, лингвист Айвор Бэлойн, астрофизик Тайхэмер Дилл и математик-информационист Джон Бир. Минуты формальности, конференция постановила создать специальную комиссию для изучения «нейтринного послания из космоса», которое, по шутливому предложению Бэлойна, получило криптоним «Голос Неба». Раш попросил участников конференции соблюдать секретность, разумеется, лишь временную, — он опасался, что пресса придаст делу сенсационный характер и это только затруднит получение необходимых фондов, если дело сразу же станет предметом политических интриг в Конгрессе.

И тут совершенно неожиданно в дело вмешался Д. Ф. Сэм Лейзеровитц. Из всех отчетов о процессе Свенсона он

уразумел лишь одно: судебный эксперт ни словом не упомянул, что «зоны молчания» на лентах были вызваны периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Меллвил, где происходил процесс, и в гостинице подкараулил адвоката Свенсона, чтобы заполучить ленты, которые, по его мнению, должны были находиться в музее «космических дикувинок». Однако адвокат не согласился отдать ленты, сочтя его несолидным человеком. Тогда Лейзеровитц, который во всем усматривал «антикосмические заговоры», нанял частного детектива, устроил слежку за адвокатом и выяснил, что какой-то человек приехал в Меллвил утренним поездом, получил от адвоката ленты и увез их в Массачусетс.

Лейзеровитц послал своего детектива по следам Раппопорта, а когда тот объявился в Вашингтоне и несколько раз побывал у Раша, Лейзеровитц решил, что пришло время действовать. Для Раша и будущих участников операции «Голос Неба» была весьма неприятной неожиданностью статья, появившаяся в «Морнинг Стар» и перепечатанная в одной из вашингтонских газет, где Лейзеровитц под соответствующим заголовком сообщал, что чиновники бесчестным образом пытаются похоронить великое открытие, точно так же, как в свое время похоронили НЛО — неопознанные летающие объекты (то есть пресловутые летающие тарелки).

Лишь тогда Раш понял, что дело может принять неблагоприятный оборот на международной арене, если кому-нибудь придет в голову, что Соединенные Штаты пытаются скрыть от всего мира факт установления контактов с космической цивилизацией. Правда, статья его не очень обеспокоила, поскольку ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждения; Раш, как человек весьма сведущий в практике паблисити, полагал, что, если хранить молчание, шумиха вскоре утихнет сама собой.

Однако Бэлойн решил совершенно частным образом встретиться с Лейзеровитцем; он попросту пожалел этого маньяка космических контактов. Бэлойн думал, что если с глазу на глаз предложить Лейзеровитцу какую-нибудь второстепенную должность в Проекте, то все уладится. Но шаг этот оказался легкомысленным. Бэлойн на основании букв Д. Ф. решил, что имеет дело с ученым — пусть даже тот слегка свихнулся и гонится за рекламой. А увидел он взбудораженного человечка, который, услышав о реальности звездного Послания, заявил с истерической наглостью, что ленты, а значит, и само Послание — это его частная собственность, которую у него украли, и в ходе дальнейшей беседы довел Бэлойна до бешенства. Видя, что Бэлойна словами не проймешь, Лейзеровитц выскочил в коридор, там начал кричать, что передаст дело в ООН, в Трибунал по защите прав человека, а потом нырнул в лифт и оставил Бэлойна наедине с невеселыми раздумьями.

Поняв, что он натворил, Бэлойн тотчас отправился к Рашу и все ему рассказал. Раш всерьез испугался за судьбу Проекта. Хотя шансы, что Лейзеровитца где-нибудь захотят всерьез выслушать, были ничтожны, но такую возможность нельзя было исключить, а если дело переключается из бульварной прессы в официальную, оно наверняка примет политический характер.

Посвященные отлично представляли себе, какой поднимется крик: Соединенные Штаты пытаются утаить от мира то, что должно стать общим достоянием человечества. Но дело было деликатное, и Раш вынужден был обратиться к своему знакомому, сенатору Барретту, лидеру демократического меньшинства в сенате. Тот, в свою очередь посоветовавшись со своими людьми, хотел было подключить к делу ФБР, однако оттуда его направили в ЦРУ, ибо некий высокопоставленный юрист в ФБР заключил, что космос, поскольку он лежит вне границ Соединенных Штатов, не входит в компетенцию ФБР, а относится к

сфере деятельности ЦРУ, которое всегда занимается заграничными делами.

В последующие дни прессу наводнили совершенно фантастические сообщения о всевозможных «двоичных» и «троичных» паузах, прибывающих на Землю из космоса, о высадке маленьких зеленых человечков, облаченных в «нейтринную одежду», и тому подобные бредни, в которых сплошь и рядом ссылались на Лейзеровитца, именуя его уже профессором. Но не прошло и месяца, как появилось сообщение, что «знаменитый ученый» оказался параноиком и отправлен в психиатрическую лечебницу.

К сожалению, на этом его история не закончилась. Даже в центральную печать, в большие газеты проникли отголоски фантастической борьбы Лейзеровитца (он дважды бежал из больницы, причем во второй раз — уже безвозвратно — прыгнул из окна восьмого этажа).

Как легко можно догадаться, поток все более бессмысленных сообщений в прессе был попросту отвлекающим маневром, который придумали ловкие профессионалы из ЦРУ. Ибо отрицать всю историю, опровергать ее, да еще на страницах серьезных газет, означало бы как раз привлечь к ней максимум внимания, к тому же самым нежелательным способом. А вот показать, что речь идет о бреднях, утопить зерно истины в лавине несуразных вымыслов — это было очень ловко придумано, тем более что всю эту акцию увенчала лаконичная заметка о самоубийстве безумца, которая своей красноречивостью окончательно пресекала всякие сплетни.

Судьба этого фанатика была поистине страшной, и я не сразу поверил, что его безумие и этот последний шаг из окна в восьмизэтажную пустоту не были подстроены, однако в этом меня убедили люди, которым я не могу не верить. Но так или иначе, уже над заголовком нашего гигантского предприятия была оттиснута *signum temporis* — печать времени, в котором, как никогда ранее, подлость соседст-

вует с благородством; случайный поворот событий, прежде чем швырнуть нам этот великий шанс, раздавил, как букашку, человека, который, хоть и вслепую, все же первым подошел к порогу открытия.

Гораздо легче отделался Свенсон, потому что он удовлетворился деньгами. И штраф за него заплатили (не знаю, кто это сделал — ЦРУ или администрация Проекта), и от подачи апелляции его отговорили, и щедро вознаградили за моральный ущерб, который он понес, будучи несправедливо обвинен в мошенничестве. И все это только для того, чтобы Проект мог спокойно разворачивать свою деятельность — в безоговорочно уже предпрешенной изоляции,

IV

Описанные выше события происходили без моего участия. Меня вообще пригласили в Проект на втором году его существования. В том, что меня обошли, я чувствую влияние кого-то из высоких сфер. Ведь Проект был почти сразу отнесен к категории высшей секретности, иначе говоря, к таким операциям, засекречивание которых обусловлено серьезнейшими соображениями государственной политики. Разумеется, явного вмешательства, откровенного нажима вначале не было. Сами научные руководители Проекта узнавали об этом постепенно и, как правило, по одиночке на соответствующих совещаниях, где деликатно взывали к их патриотическим чувствам и политическому благоразумию. В организационных вопросах у них руки были связаны — хотя они довольно долго не отдавали себе в этом отчета.

Как уж там было в действительности, какие средства убеждения, комплименты, обещания и рассуждения пускались в ход, я не знаю: эту сторону дела официальные документы обходят прямо-таки абсолютным молчанием, да

и члены Научного Совета, даже потом, когда мы стали коллегами, не слишком охотно рассказывали об этом. Если кто-то из них оказывался неподатливым, если на него не действовали напоминания насчет патриотизма и государственных интересов — начинались беседы «на высшем уровне». При этом засекречивание Проекта, его изоляция от мира преподносились как чисто временная мера, как краткое переходное состояние, которое обязательно изменится. Психологически это было удачно: как бы настороженно ни относились ученые к представителям администрации, но внимание, уделяемое Проекту государственным секретарем, а то и самим президентом, их благожелательное поощрение, разговоры о надеждах, возлагаемых на «наших мыслителей» — все это создавало ситуацию, в которой прямые вопросы о сроке, о дате ликвидации секретности прозвучали бы диссонансом, показались бы невежливыми, прямо даже грубыми.

Могу представить себе, как distinguished Бэлойн обучал менее опытных коллег принципам дипломатии, необходимым для сосуществования с политиками, и как он со свойственным ему тактом оттягивал мое приглашение и включение в состав Совета, объясняя наиболее нетерпеливым, что сначала Проект должен заслужить доверие у своих могущественных опекунов, а уж тогда можно будет действовать по собственному разумению. Впрочем, я говорю это без иронии, потому что могу мысленно поставить себя на место Бэлойна: он старался не ухудшать отношений ни с той, ни с другой стороной, а между тем хорошо знал, что в высоких сферах меня считают ненадежным человеком.

Итак, я не принимал участия в начале работы над Проектом, от чего, впрочем, — как мне сотни раз повторяли — только выиграл, потому что условия жизни в этом «мертвом городе», в ста милях к востоку от гор Монте-Роза, на первых порах были весьма суровыми.

Я решил излагать события в хронологическом порядке, поэтому расскажу сначала, что происходило со мной перед тем, как в Нью-Гемпшире, где я тогда преподавал, появился посланец Проекта.

В Нью-Гемпшир я прибыл незадолго до этого по приглашению декана математического факультета и моего университетского однокурсника Стюарта Комптона, чтобы вести летний семинар для группы докторантов. Я принял его предложение — нагрузка составляла всего девять часов в неделю, так что можно было целыми днями бродить по тамошним лесам и вересковым зарослям. Мне, собственно, полагалось бы по-настоящему отдохнуть (я только что закончил полугодовую совместную работу с профессором Хайакавой), но я знал себя и прекрасно понимал, что отдых будет мне не в отдых без кратковременного контакта с математикой.

Август был в разгаре, когда появился предвестник перемен в лице доктора Майкла Гротюса, который привез мне письмо от Айвора Бэлойна.

На втором этаже старого псевдоготического здания из темного кирпича со стрельчатой крышей, увитой слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей душноватой комнате (в старой постройке не было кондиционеров) я узнал от невысокого хрупкого, как китайский фарфор, молодого человека с черной бородкой полумесяцем о том, что на землю снизошла весть — и пока не ясно, добрая или дурная, поскольку, несмотря на двенадцатимесечные старания, ее не удалось расшифровать.

Хотя Гротюс мне об этом не сказал, да и Бэлойн в своем письме не упомянул ни словом, я понял, что исследования находятся под опекой — или, если угодно, надзором — очень важных лиц. Иначе как могли бы слухи о работах такого масштаба не просочиться в прессу, в радио или телевидение? Ясно было, что этому просачиванию препятствуют первоклассные специалисты.

Главным препятствием для меня была засекреченность работ. Бэлойн просил рассказать мне о его личной встрече с президентом, который заверил, что все результаты исследований будут опубликованы, за исключением той информации, которая могла бы повредить государственным интересам Штатов. Похоже было на то, что, по мнению Пентагона, звездное послание содержит нечто вроде секрета супербомбы или какого-нибудь другого ультимативного оружия.

Расставшись на время с Гроттусом, я отправился в заросли вереска и там улегся на солнцепеке, чтобы поразмыслить. Ни Гроттус, ни Бэлойн в своем письме и не заикались, что я должен буду дать какое-то обещание, может, даже присягу насчет сохранения секретности, но такой «обряд посвящения» в Проект подразумевался сам собой.

Это была одна из типичных для ученого нашей эпохи ситуаций — вдобавок специфически заостренная, прямо-таки экспонат. Легче всего соблюсти чистоту рук и не вмешиваться в такие дела, которые — хотя бы самым косвенным образом — помогают создавать средства уничтожения. Но то, чего мы не хотим делать, всегда сделают за нас другие. Говорят, что это не является моральным аргументом; согласен. Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, соглашается участвовать в таком деле, сумеет в критический момент пустить их в ход; и пусть это ему даже не удастся — но ведь если он уступит свое место человеку, лишенному всяческих сомнений, то исчезнут последние шансы на успех.

Я-то не собираюсь оправдываться таким способом. Мною руководили другие соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и в то же время потенциально опасное, я всегда предпочитаю быть в этом месте, чем ожидать развития событий с чистой совестью и пустыми руками. А кроме того, я не мог пове-

рить, что цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, пошлет в космос информацию, которая пригодится для изготовления оружия. Если сотрудники Проекта думали иначе — это их дело. И, наконец, перспективы, вдруг открывшиеся передо мной, превосходили все, что еще могло мне встретиться в жизни.

На следующий день мы с Гроттусом вылетели в Неваду, где нас уже поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий механизм. Этот второй полет продолжался около двух часов, и почти все время мы летели над южной пустыней.

Сверху поселок походил на неправильную звезду, утопавшую в песках пустыни. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели на плоскую крышу самого высокого в поселке здания. Этот комплекс массивных бетонных колод не производил приятного впечатления. Строили его еще в пятидесятых годах как технический и жилой центр нового атомного полигона.

Весь застроенный район окружала система наклоненных в сторону пустыни щитов — они предназначались для разрушения ударной волны. Все здания были без окон, с двойными стенами, пространство между которыми заполнялось водой. Коммуникации увели под землю, а жилью и подсобным зданиям придали закругленные формы и расположили их так, чтобы избежать опасной кумуляции ударных сил из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны.

Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий завинтили тогда наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнеры с тавотом и отправили в подземные склады (под уровнем улиц простирался второй уровень, где располагались склады и магазины; был еще и третий уровень — для скоростной доро-

ги). Природные условия гарантировали идеальную изоляцию — именно потому кто-то в Пентагоне и предназначил поселок для Проекта; вдобавок это спасало сотни миллионов долларов, которые были здесь истрачены на бетон и сталь.

Бэлойн ждал меня на крыше — она была главной посадочной площадкой для вертолетов. В самом здании размещалась администрация Проекта. В последний раз мы виделись с Бэлойном два года назад, в Вашингтоне.

Из тела Бэлойна удалось бы выкроить двух людей, а из его души — даже и четырех. Он немного походил на Фому Аквинского (который, как известно, не во всякую дверь пролезал) и всегда хотел сделать больше, чем мог. Это всего лишь догадка, но я подозреваю, что он проделал над собой ту же психокосметическую операцию (только на ином основании и в более широком масштабе), о которой я упоминал в предисловии, говоря о себе. Внутренне страдая от своих физических и духовных недостатков (повторяю, это лишь гипотеза), Бэлойн усвоил манеру, которую я бы назвал иронической. Все он произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой искусственностью и претенциозностью, словно играл заранее приготовленную роль; поэтому каждого, кто не знал его давно и хорошо, Бэлойн сбивал с толку: не известно было, что он считает истинной, а что ложью, когда говорит серьезно, а когда потешается над собеседником. Таким путем он мог высказывать чудовищные вещи, которых не простили бы никому другому. Он мог даже над самим собой издеваться сверх всякой меры; благодаря этому трюку, в принципе очень примитивному, но весьма последовательно применяемому, Бэлойн приобрел прямо-таки великолепную неуязвимость.

Наши приятельские отношения возникли по той причине, что Бэлойн вначале игнорировал меня, потом стал мне завидовать. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманисту, математика никогда в жизни не понадобится,

и, будучи натурой возвышенной, ставил науку о человеке выше науки о природе. Позже, однако, он втянулся в языкознание, как втягиваются в опасную любовную игру, столкнулся с господствовавшими тогда структуралистскими течениями и поневоле ощутил вкус к математике. Так Бэлойн очутился на моей территории и, понимая, что здесь он слабее меня, сумел признаться в этом так ловко, что по существу высмеял и меня, и математику.

Я так говорю о своем приятеле и так восстанавливаю его против себя потому, что я и о себе говорил в том же духе: я ведь не знаю, что именно в нас, сотрудниках Проекта, в конце концов решило его судьбу. Хоть Бэлойн и был *Homo animatus** и *Homo sciens*** в духе Возрождения, это не мешало ему питать пристрастие к общению с политиками. О политической карьере он не мечтал, а если и мечтал, то скрыл это даже от меня. Но в его доме удивительно часто можно было встретить всяких кандидатов на губернаторские посты, их жен, претендентов на место в Конгрессе или уже «готовых» конгрессменов вместе с седовласыми склеротичными сенаторами, а также тех гибридов, которые являются политиками лишь наполовину, а то и на четверть и занимают посты, подернутые туманной дымкой (но дымкой наилучшего качества).

Ради Бэлойна я иногда пытался поддерживать разговор с такими людьми, но все мои старания шли прахом через пять минут. А он мог часами точить с ними лясы — бог знает, зачем! Я как-то ни разу не спрашивал его об этом напрямик, а теперь оказалось, что эти контакты принесли плоды. Когда начали перебирать возможных кандидатов на пост научного руководителя Проекта, обнаружилось, что все, ну, буквально все советники, эксперты, чле-

* *Homo animatus* (лат.) — человек одухотворенный.

** *Homo sciens* (лат.) — человек сведущий.

ны всяких комитетов, председатели комиссий и четырехзвездные генералы, хотели только Бэлойна и только ему доверяли. Он-то сам, насколько мне известно, вовсе не жаждал заполучить это место. У него хватало ума понять, что рано или поздно конфликт — к тому же чертовски неприятный конфликт — между лагерями, которые ему предстоит объединить, станет неизбежным.

Кстати говоря, для этого достаточно вспомнить историю Манхэттенского проекта и судьбу тех людей, которые им руководили — ученых, а не генералов. Генералы там попросту сделали карьеру и спокойно уселись писать воспоминания, а ученых с удивительной последовательностью постигло «изгнание» и из политики, и из науки. Бэлойн изменил свое мнение только после беседы с президентом. Я не думаю, что он поддался на какой-то фальшивый аргумент. Просто ситуация, в которой президент просит его, имела для Бэлойна такую ценность, что он решился рискнуть всем своим будущим.

Впрочем, тут я заговорил языком памфлета — а ведь помимо всего прочего важным стимулом для Бэлойна, наверное, было любопытство. Известную роль сыграло и то, что отказ был бы похож на трусость, — а откровенно признаться в трусости может лишь человек, который обычно страха не знает.

Мне рассказывали, что генерал Истерлэнд, первый администратор Проекта, до такой степени не мог управиться с Бэлойном, что добровольно ушел со своего поста. Бэлойн же сумел внушить всем, будто только и жаждет удрать из Проекта; он громогласно мечтал о том, чтобы Вашингтон принял его отставку, и преемники Истерлэнда уступали ему во всем, лишь бы избежать неприятных разговоров «в верхах». Когда Бэлойн почувствовал, что прочно сидит в седле, он сам внес предложение включить меня в состав Научного Совета; ему даже не понадобилось угрожать для этого отставкой.

Наша встреча обошлась без репортеров и фотовспышек: ни о какой рекламе, понятно, не могло быть и речи. Спустившись с вертолета на крышу, я увидел, что Бэлойн искренне растроган. Он даже пытался меня обнять (чего я не выношу). Его свита держалась в некотором отдалении; он принимал меня как удельный князь, и, по-моему, мы оба одинаково ощущали комизм этой ситуации. На крыше не было ни одного человека в мундире; я было подумал, что Бэлойн старательно их спрятал, чтобы не оттолкнуть меня сразу, но оказалось, что я недооценил размер его власти: он вообще, как потом выяснилось, удалил военных из сферы своей юрисдикции.

Бэлойн, разумеется, говорил безостановочно всю дорогу, но, когда свита, словно ножом отрезанная, осталась за дверьми и мы оказались наедине, он выжидающе улыбнулся.

Пока мы смотрели друг на друга с чисто животной, так сказать, симпатией, ничто не нарушало гармонии нашей встречи; но я хоть и жаждал узнать тайну, начал прежде всего расспрашивать Бэлойна о взаимоотношениях Проекта с Пентагоном и с администрацией; конкретно о том, насколько свободно могут сотрудники публиковать результаты исследований. Бэлойн попытался, хоть и неуверенно, пустить в ход тот монументальный жаргон, который в таких случаях применяется в госдепартаменте, я же в свою очередь проявил больше ехидства, чем хотел. Позже я понял, что он вовсе не обюрократился, а попросту избрал ту манеру речи, при которой в максимум слов можно вложить минимум содержания, по той простой причине, что его кабинет был нашпигован подслушивающей аппаратурой. Этим электронным фаршем были битком набиты чуть ли не все здания поселка, включая мастерские и лаборатории. Я узнал об этом лишь через несколько дней из разговора с физиками, которых сей факт ничуть не волновал, — они считали это столь же естественным, как пе-

сок в пустыне. Впрочем, все они носили с собой маленькие противоподслушивающие аппаратики и прямо по мальчишески радовались, что перехитрили вездесущую опеку. Телефонами, как мне объяснили, пользоваться не стоило — разве когда договариваешься о свидании с девушкой из административного персонала. При всем при том ни единого человека в мундире или хотя бы в чем-то наводящем на мысль о мундире во всем поселке и в поmine не было.

Особое место среди членов Научного Совета занимал доктор юриспруденции Вильгельм Ини — самый эlegantный из сотрудников Проекта. Он представлял в Совете (да и в Проекте вообще) наших высокопоставленных опекунов. Ини прекрасно понимал, что научные сотрудники, особенно молодежь, стараются его разыграть — передают из рук в руки какие-то листки с таинственными формулами и шифрами или исповедуются друг другу, делая вид, что не заметили его, в ужасающе радикальных взглядах. Все эти шуточки он сносил с ангельским терпением и великолепно держался, когда в столовой кто-нибудь демонстрировал ему крохотный, не больше спички, передатчик с микрофоном, извлеченный из-под розетки в жилой комнате.

Меня все это ничуть не сместило, хотя чувство юмора у меня развито достаточно сильно. Ини представлял весьма реальную силу; ни его безукоризненные манеры, ни увлечение философией Гуссерля не делали его симпатичнее. Он превосходно понимал, что колкости, шуточки и неприятные намеки, которыми потчуют его окружающие, вызваны желанием отыгаться, ибо, откровенно говоря, именно он был молчаливо улыбающимся *spiritus movens** Проекта, или, скорее, его жандармом в эlegantных перчатках.

* *Spiritus movens* (лат.) — движущий дух.

Ини с самого начала обходил меня стороной, как злого пса, потому что превосходно учуял, как я отношусь к нему; без тонкого чутья он и не смог бы выполнять свои функции. Я его презирал, а он, наверное, с лихвой отплачивал мне тем же на свой безличный лад, хотя всегда был со мной вежлив и предупредителен. Меня это, разумеется, еще больше раздражало. Как ни странно, он, кажется, имел какие-то взгляды. А впрочем, может, это была лишь искусная имитация.

Еще более не по-американски, неспортивно относился к Ини доктор Саул Раппопорт, этот первооткрыватель звездного Послания. Прочел он мне однажды отрывок из книги девятнадцатого века, где описывались способы выращивания кабанов, которых дрессируют для отыскивания трюфелей; в возвышенном стиле, свойственном тому времени, говорилось там, как разум человеческий согласно со своим предназначением использует прожорливую жадность свиней, подбрасывая им желуды взамен вырытых ими трюфелей.

По мнению Раппопорта, такое рациональное выращивание ожидало в будущем американских ученых, а наш пример показывал, что это уже внедряется в жизнь.

Изложил он мне этот прогноз абсолютно серьезно. Оптовый торговец, говорил он, нисколько не интересуется духовным миром дрессированного кабана, рыщущего в поисках трюфелей; этот мир для него не существует, его интересуют только результаты деятельности свиней — и точно так же обстоит дело с нами и нашими хозяевами.

Раппопорт ничуть не таил своих взглядов, и я с интересом наблюдал за реакцией окружающих на такие его выступления — не на официальных заседаниях, разумеется. Молодежь просто хохотала до упаду, а Раппопорт сердился, потому что он, в сущности, думал и говорил это вполне серьезно. Но личный опыт в принципе нельзя передать и даже, собственно, нельзя пересказать другому

человеку. Раппопорт был родом из Европы, где пресловутые «соображения генералитета» и «соображения кабинета», по его словам, напоминают о кровавом месиве. Он никогда бы и не попал в число сотрудников Проекта, если бы случайно не стал одним из его создателей. Только из страха перед возможной «утечкой информации» его и включили в наш коллектив.

В Штаты Раппопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя было уже известно кое-кому из довоенных специалистов: на свете не слишком много философов с настоящими глубокими познаниями в математике и естественных науках, а Раппопорт относился именно к таким. Мы жили дверь в дверь в гостинице поселка, и вскоре я установил с ним прочный контакт. Он покинул свою родину в тридцать лет совершенно одинокий — вся его семья была уничтожена. Об этом он ни разу не говорил, только в тот вечер, когда ему единственному я раскрыл нашу с Протеро тайну.

Правда, я опережаю события, рассказывая эту историю сейчас, но мне кажется, так надо. То ли чтобы отблагодарить странной этой исповедью за мое доверие, то ли по совсем уж неизвестным мне причинам, Раппопорт тогда рассказал мне, как у него на глазах — кажется, в 1942 году — происходила массовая экзекуция в его родном городе.

Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; их расстреливали группами во дворе недавно разбомбленной тюрьмы, одно крыло которой еще горело. Раппопорт описывал подробности этой операции с ужасающим спокойствием. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, арестованные не видели самой экзекуции, потому что расстрел совершался за полуразрушенной стеной; некоторые из них впали в странное оцепенение, другие пытались спастись самыми безумными способами. Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, — но кричал он это по-еврейски,

так как немецкого языка, видимо, не знал. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм этой сцены; и вдруг самым важным для него стало сберечь до конца ясность разума — то, что позволяло ему сохранять интеллектуальную дистанцию по отношению ко всему происходящему. Необходимо было, однако, деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку «с той стороны», который в принципе не способен понять подобные переживания, найти какую-то ценность вовне, какую-то опору для ума; и — поскольку это было предельно абсурдным — он решил уверовать в перевоплощение. Ему было бы достаточно сохранить эту веру на пятнадцать-двадцать минут. Но абстрактным путем он даже этого сделать не смог, а потому выбрал одного из офицеров, стоявших поодаль от места экзекуции, и мысленно внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, душа его переселится в этого немца.

Он прекрасно сознавал, что мысль эта совершенно вздорная даже с точки зрения любой религиозной доктрины, включая само учение о перевоплощении, поскольку «место в теле» было уже занято. Но это ему как-то не мешало — напротив, чем дальше, тем активнее цеплялся его мозг за эту мысль, которая призвана была служить ему опорой до последнего мига.

Раппопорт описал мне этого человека так, будто смотрел на фотографию. То был молодой, статный, высокий офицер; серебряное шитье его мундира словно бы поседело или слегка потускнело от огня. Он был в полном боевом снаряжении — «Железный крест» у воротника, бинокль в футляре на груди, глубокий шлем, револьвер в кобуре, для удобства сдвинутый к пряжке ремня; рукой в перчатке он держал чистый, аккуратно сложенный платочек, который время от времени прикладывал к ноздрям, — экзекуция шла уже давно, с самого утра, пламя уже подобралось к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разлило жарким смрадом горящих тел. Впрочем,

сладковатый трупный запах Раппопорт уловил лишь после того, как увидел платочек в руке офицера.

Этот немец руководил всей операцией, не двигаясь с места, не крича, не впадая в тот полупьяный транс ударов и пинков, в котором находились его подчиненные с железными бляхами на груди. Раппопорт вдруг понял даже, почему эти подчиненные именно так и должны поступать: они прятались от своих жертв за стеной ненависти, а ненависть невозможно возбудить в себе без жестоких действий, поэтому они колотили евреев прикладами — им нужно было, чтобы кровь текла из рассеченных голов, коркой засыхая на лицах, потому что эта корка делала лица уродливыми, нечеловеческими, и таким образом во всем происходящем не оставалось места для ужаса или жалости.

Но офицер, на которого неотступно глядел Раппопорт, по-видимому, способен был выполнять свои обязанности, не нуждаясь в подобных приемах. В воздухе плавали хлопья копоти, гонимые струей горячего воздуха, которая исходила от пожара, за толстыми стенками в зарешеченных окнах без стекол ревел огонь, — а он спокойно стоял, прижимая к ноздрям белый платок.

Ошеломленный этой невозмутимостью, Раппопорт на мгновение даже забыл о себе. Тут вдруг распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Выстрелы тотчас смолкли. Раппопорт так и не узнал, что же произошло. Быть может, немцы собирались заснять груды трупов, чтобы использовать эту сцену в кинохронике, изображающей действия противника (это происходило в прифронтовой полосе на востоке). Расстрелянных демонстрировали бы как жертв большевистского террора. Возможно, что так оно и было, — но Раппопорт ничего не пытался объяснить, он только рассказывал о том, что видел.

Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Вслед за тем офицер с платочком потребовал одного

добровольца; он дал время на размышление и, повернувшись спиной, тихо и неохотно заговорил с одним из своих подчиненных.

Раппопорт вдруг ощутил, что должен вызваться; он не понимал толком, почему, собственно, должен, но чувствовал, что если не сделает этого, то с ним произойдет что-то ужасное. Он был доктором философии, автором великолепной диссертации по логике, но в эту минуту он и без сложных силлогизмов мог понять: если никто не вызовется — расстреляют всех, так что выбора, собственно, уже нет. Это было просто, очевидно и безошибочно. Он дошел до той черты, за которой вся сила его внутренней решимости должна была выразиться в одном шаге вперед, — и все же не шелохнулся. Он снова попытался заставить себя шагнуть, уже без всякой уверенности, что сумеет, — и снова не шелохнулся.

За две секунды до истечения срока кто-то все же вызвался; в сопровождении двух солдат он исчез за стеной, оттуда послышалось несколько револьверных выстрелов; потом его, перепачканного собственной и чужой кровью, вернули к остальным в шеренгу. Уже смеркалось; открыли огромные ворота, и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечерней прохлады, вышли на пустынную улицу. Раппопорт не знал, почему так случилось, он не пытался анализировать действия немцев; они вели себя словно рок, чьи прихоти толковать необязательно.

Вышедшего из рядов человека — нужно ли об этом рассказывать? — заставляли переворачивать тела расстрелянных; тех, кто был еще жив, немцы добивали из револьвера. Словно желая проверить, правильно ли он считает, что я действительно ничего в этой истории не смогу понять, Раппопорт спросил, зачем, по-моему, офицер вызвал «добровольца» и даже не подумал объяснить, что тому не грозит расстрел. Признаюсь, я не сдал экзамена; я сказал, что немец поступил так из презрения к своим

жертвам, чтобы не вступать с ними в разговор. Раппопорт отрицательно повертел своей птичьей головой.

— Я понял это позже, — сказал он, — благодаря другим событиям. Хотя он и обращался к нам, мы не были для него людьми. Он был твердо убежден, что хотя мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся. Он не мог вступать с нами в переговоры, потому что, по его представлениям, на этом тюремном дворе существовал только он сам да его подчиненные. Конечно, в этом есть логическое противоречие — но он-то действовал как раз в духе этого противоречия, и вдобавок очень старательно. Тем из его людей, что попроще, наши тела, наши две ноги, две руки, лица, глаза — все эти явные признаки человекообразия несколько мешали выполнять свой «долг»; поэтому они и кромсали, уродовали эти тела, чтобы сделать их непохожими на человеческие; но этому офицеру такие примитивные приемы уже не требовались.

Мы больше никогда не говорили об этом эпизоде из его прошлого, не касались и других. Немало прошло времени, прежде чем я перестал при виде Раппопорта инстинктивно вспоминать эту сцену, которую он мне так рельефно изобразил, — тюремный двор, изрытый воронками, лица людей, разрисованные красными и черными струйками крови, и офицер, в тело которого он хотел переселиться. Не берусь сказать, в какой мере сохранилось в Раппопорте ощущение гибели, которой он избежал. Впрочем, он был весьма рассудительным и в то же время довольно забавным человеком; я еще больше восстанавливаю его против себя, если расскажу, как развлекал меня его каждодневный утренний выход. У нас в гостинице за поворотом коридора находилось большое зеркало. Раппопорт, который страдал желудком и набивал карманы флакончиками разноцветных таблеток, ежедневно поутру, направляясь к лифту, высывал перед зеркалом язык, чтобы проверить, не обложен ли он. Он проделывал это ежедневно, и, пропусти он эту

процедуру хоть раз, я решил бы, что с ним стряслось нечто необычайное.

На заседаниях Научного Совета он откровенно скучал и обнаруживал странную аллергию к довольно редким и в общем-то тактичным выступлениям доктора Вильгельма Ини. Те, кому не хотелось слушать Ини, могли наблюдать мимический аккомпанемент к его словам на лице Раппопорта. Он морщился, словно чувствовал какую-то гадость во рту, хватался за нос, чесал за ухом, смотрел на выступавшего исподлобья с таким видом, будто хотел сказать: «Это он, наверное, не всерьез...» Однажды Ини, не выдержав, прямо спросил, не хочет ли он что-то сказать; Раппопорт выразил крайне наивное удивление, затряс головой и, разведя руками, заявил, что ему нечего, просто-таки абсолютно нечего сказать.

Я вдаюсь в эти детали, чтобы показать читателям главных людей Проекта в менее официальном свете и одновременно ввести в специфическую атмосферу нашей жизни, тщательно изолированной от окружающего мира. Действительно, наводит на размышления наша причудливая эпоха, когда такие невероятно разные люди, как, к примеру, Бэлойн, Ини, Раппопорт и я, собираются в одном месте и притом с целью «установления контакта», выступая тем самым в роли дипломатических представителей человечества по отношению к космосу.

Один из наших сотрудников, Ли Рэйнхорн, который в свое время, совсем еще молодым физиком принимал участие в Манхэттенском проекте, сказал мне, что здешняя атмосфера несравнима с тамошней прежде всего потому, что «Проект Манхэттен» нацеливал участников на исследования, по природе своей типично физические, естественнонаучные, тогда как наш органически связан с проблемами культуры и не может освободиться от этой зависимости. Рэйнхорн называл наш Проект экспериментальным тестом на космическую инвариантность земной культуры

и особенно раздражал наших коллег-гуманитариев тем, что независимо от работы в своей физической группе штудировал все, что было опубликовано в мире за последние пятнадцать лет по проблеме космического языка, а время от времени с наивным и невинным видом сообщал им всевозможные новинки из их же области.

Полнейшая бесплодность этой пирамиды ученых трудов (библиография которых, сколько я помню, насчитывает пять с половиной тысяч названий) была очевидна. Однако подобные труды продолжали выходить в свет,— ведь, кроме горсточки специалистов, никто в мире даже не догадывался о существовании звездного Письма.

Доходило даже до стычек, потому что лингвисты обвиняли Рэйнхорна в умышленных издевательствах.

Вообще трения между гуманитариями, которых у нас называли «гумами», и естественниками Проекта, или «физами», были обычным явлением. Довольно сложные причины заставили Бэлойна пригласить уйму специалистов по разным гуманитарным дисциплинам; не последнюю роль сыграло здесь то, что он ведь и сам был по образованию и по интересам гуманитарием. Однако соперничество между «гумами» и «физами» едва ли могло стать плодотворным, потому что наши антропологи, психологи и психоаналитики вместе с философами не располагали, собственно, никакими материалами для исследований.

Поэтому всякий раз, когда назначалось закрытое заседание какой-либо секции «гумов», кто-нибудь приписывал на доске объявлений рядом с названием реферата буквы «sf» (science fiction *); такое мальчишество, к сожалению, было вызвано бесплодностью всех этих заседаний.

Видно, Бэлойн все же зря поддался в этом вопросе влиянию Пентагона; тамошние деятели усвоили одну-

* Science fiction (англ.) — научная фантастика.

единственную праксеологическую * истину, но зато усвоили ее намертво. Эта истина гласит, что если один человек может выкопать яму объемом в один кубометр за десять часов, то сто тысяч землекопов выроют такую яму за долю секунды. Конечно, вся эта толпа разбила бы себе головы, прежде чем подняла бы на лопату первый комок земли; так и наши несчастные «гумы» вместо работы преимущественно дрались либо друг с другом, либо с нами.

Однако же Пентагон верил в то, что капиталовложения прямо пропорциональны результатам, и с этим ничего нельзя было поделать. Волосы поднимались дыбом при мысли, что нас опекают люди, искренне уверенные в том, что проблему, с которой не могут справиться пять специалистов, наверняка разрешат пять тысяч. У бедных наших «гумов» накапливались комплексы: они были по существу обречены на абсолютное, хотя и всячески маскируемое безделье, и, когда я прибыл в поселок, Бэлойн признался мне с глазу на глаз, что его величайшее, но совершенно неисполнимое желание — избавиться от этого ученого балласта. Об этом нельзя было даже заговорить по совершенно тривиальной причине: кто уж был включен в Проект, тот не мог просто взять да уйти, потому что это грозило «разгерметизацией» — иными словами, утечкой тайны в ничего пока не подозревающий громадный мир.

Отнюдь не все, что делали «гумы», было бесполезным, это я должен признать; например, смешанная группа Уэйна и Тракслера получила интересные теоретические результаты по проблеме «конечных автоматов без подсознания» (то есть автоматов, способных к исчерпывающему самоописанию), и вообще «гумы» дали много ценных работ, но к звездному Посланию эти работы имели весьма отдаленное отношение.

* Праксеология — наука, изучающая индивидов и коллектив в процессе производства.

Я говорю об этом, отнюдь не собираясь попрекать «гумов», а лишь для того, чтобы показать, какой огромный и сложный механизм запустили на Земле в связи с Первым Контактom и как много у этого механизма было неполадок, что наверняка не способствовало достижению главной цели.

Не слишком благоприятными, с точки зрения житейского комфорта, оставались и условия нашего быта. На территории Проекта почти не было машин, потому что проложенные ранее дороги засыпало песком, а в самом поселке курсировала миниатюрная подземка, построенная в свое время для обслуживания атомного полигона. Все здания, эти серые тяжеловесные ящики со скругленными стенами, стояли на огромных бетонных опорах, а под ними, по бетону пустых паркингов разгуливал раскаленный ветер, словно вырываясь из мощной домны, кружился в этом тесном пространстве и нес тучи отвратительного красноватого песка, мельчайшего, всюду проникающего, стоило только выйти из герметически закупоренных помещений. Даже бассейн располагался под землей — иначе было бы невозможно купаться.

И все же многие предпочитали ходить от здания к зданию по улицам в нестерпимом зное, но не пользоваться подземным транспортом; это кротовье существование сказывалось на нас, тем более что на каждом шагу встречались напоминания о прежней истории поселка. Например, гигантские оранжевые буквы SS (помню, о них с раздражением говорил мне Раппопорт), светившиеся даже днем; они указывали направление убежища — то ли Supershel-ter, то ли Special Shelter *, этого я уж не знаю.

И в гостинице все легкие перегородки, простенки, стеклянные стены, разгораживавшие холл, были помечены огромными пылающими надписями, которые извещали, что

* Special Shelter (англ.) — особое убежище.

во время испытаний в этом месте находиться опасно, так как оно не рассчитано на сопротивление ударной волне. И наконец на улицах кое-где сохранились еще громадные стрелы, показывавшие, в каком направлении распространяется наибольшая мощность ударной волны и каков здесь коэффициент ее отражения. Создавалось впечатление, что в любую минуту небо над головой может расколоться от термоядерного взрыва.

Сначала здешние условия показались мне невыносимыми. Если бы Гротнус еще в Гэмпшире сказал, что мне предстоит лететь в такое место, где каждая ванная и каждый телефон снабжены подслушивающим устройством, если б я мог хоть издали увидеть Вильгельма Ини, я бы не только понял, но и почувствовал, что здешние свободы могут исчезнуть, как только мы выполним свою задачу, — и тогда, кто знает, согласился ли бы я так легко. Но даже конклав * можно довести до людоедства, если действовать терпеливо и не спеша. Механизм психической адаптации неумолим. Если бы кто-нибудь сказал Марии Кюри, что через пятьдесят лет открытая ею радиоактивность приведет к появлению мегатонн и overkill'a **, то она, быть может, не отважилась бы продолжать работу и уж наверняка не обрела бы прежнего спокойствия после встряски, вызванной этим предсказанием. Но мы притерпелись, и никто уже не считает безумными людей, которые оперируют в своих расчетах мегатрупами и гигапокойниками. Умение ко всему приспособливаться и как следствие все принимать — одна из величайших опасностей для человечества.

* Конклав — совет кардиналов, собирающийся для избрания папы.

** Overkill (англ.) — сверхубийство.

Молчание космоса, знаменитое «*Silentium Universi*», успешно заглушавшееся грохотом локальных войн середины нашего века, многие астрофизики считают непреложным фактом, коль скоро настойчивые радиотелескопические поиски, от проекта Озма до многолетних исследований в Австралии, не дали никаких результатов.

Все это время, кроме астрофизиков, над проблемой работали и другие специалисты — те, что изобрели Логлан и Линкос и ряд других искусственных языков для установления межзвездной связи. Было сделано много открытий — вроде того, что экономнее вместо слов посылать телевизионные изображения. Теория и методика Контакта понемногу разрослась до размеров целой науки. Уже было в точности известно, как должна вести себя цивилизация, желающая установить связь с другими. Начаться все должно с посылки периодических позывных сигналов в широком диапазоне частот; ритмичность сигналов будет указывать на их искусственное происхождение, а используемые частоты — где, на каких мега- или килоциклах нужно будет искать передачу. Сама передача должна начинаться систематическим изложением грамматики, синтаксиса, словаря: это был настоящий *bon ton** в космическом масштабе, обязательный для всех, включая самые отдаленные туманности.

Но неизвестный Отправитель прислал Письмо без всякого предисловия, без грамматики, без словаря.

Когда я узнал об этом, то сразу подумал, что Послание либо предназначалось не для нас и мы по чистой случайности оказались на линии связи между двумя «беседующими» цивилизациями, либо же оно предназначалось для всех тех цивилизаций, которые преодолели определенный «порог знания» и могут не только обнаружить трудно уло-

* *Bon ton* (франц.) — правила хорошего тона.

вимый сигнал, но и расшифровать его содержание. В первом случае вопрос о «несоблюдении правил» вообще не существовал. Во втором же случае кажущееся «несоблюдение правил» в действительности имело более глубокий смысл: передаваемая информация — так я себе представлял — была в известной степени защищена от «непосвященных».

При нашем уровне знаний, при отсутствии сведений о кодовых символах, синтаксисе, словаре Послание можно расшифровать только методом проб и ошибок, используя частичный отбор, причем результата можно прождать двести лет или миллион, а то и целую вечность.

Вопреки распространенному мнению понятийное сходство языков всех земных культур, даже самых разнородных, просто поразительно. Сообщение «Бабушка умерла похороны в среду» можно перевести на любой язык, от латыни и хинди до диалекта апачей, эскимосов или племени Добу. Это наверняка удалось бы выразить и на языке мустьерской эпохи, если б мы его знали. Объясняется это тем, что у каждого человека есть мать его матери, что каждый смертен, что ритуал устранения трупа является обязательным элементом любой культуры, равно как и принцип исчисления времени. Однако существам однополым не знакомо различие между матерью и отцом, а у существ, способных делиться, как амебы, не может быть понятия родителя, даже однополого. Значит, они не поняли бы смысл слова «бабушка». Бессмертные существа (амебы, делясь, не умирают) не знали бы понятий «смерть» и «похороны». Поэтому им пришлось бы сначала изучить анатомию, физиологию, эволюцию, историю, быт и нравы человека, прежде чем они смогли бы перевести эту столь ясную для нас телеграмму.

Пример этот упрощен — здесь предполагается, что получатель сигнала знает, где в сигнале информационные знаки, а где их несущественный фон. Мы находились в

ином положении. Зарегистрированная периодичность могла обозначать, например, одни лишь знаки препинания, а сами «буквы» или идеограммы могли вообще не попасть на регистрирующий слой, если передавались такими импульсами, к которым наша аппаратура нечувствительна.

Отдельно стоит вопрос о различии уровней цивилизации. Историк искусства по золотой посмертной маске Аменхотепа определит эпоху и стиль ее культуры. Орнамент на маске объяснит специалисту по религиям характер тогдашних верований. Химик укажет, какие методы обработки золота тогда применялись. Антрополог решит, отличался ли представитель нашего рода 3500 лет назад от современного человека, а врач поставит диагноз, что у Аменхотепа были гормональные нарушения, которые привели к акромегалической деформации челюсти. Таким образом, предмет многовековой давности дает нам, современным людям, гораздо больше информации, чем имели его создатели,— ибо что они знали о химии золота, акромегалии и стилях культуры? Если мы обратим этот процесс во времени и отправим египтянину эпохи Аменхотепа написанное сегодня письмо, то он его не прочтет не только потому, что не знает нашего языка, но еще и потому, что не располагает адекватными словами и понятиями.

Так выглядели общие соображения насчет звездного Письма. Информацию о нем скомпоновали в виде стандартного текста, записали для удобства на магнитофоне и прокручивали для «Особо Важных Персон», которые нас посещали. Вместо того чтобы пересказывать ее, я процитирую дословно:

«Целью Проекта «Голос Неба» является всестороннее изучение, а также попытка расшифровать так называемое Послание со звезд, которое, по всей вероятности, представляет собой серию сигналов, намеренно высланных с помощью искусственных технических устройств существом или существами, принадлежащими к неопознанной вне-

земной цивилизации. Носителем информации является поток частиц, именуемых нейтрино, которые лишены массы покоя и обладают магнитным моментом, в 1600 раз меньшим, чем магнитный момент электрона. Нейтрино составляют наиболее проникающую разновидность из всех известных элементарных частиц. Эти частицы падают на Землю со всех сторон. Среди них имеются частицы, рождающиеся в звездах (стало быть, и на Солнце) в результате естественных процессов,— как, например, реакции бета-распада и других ядерных реакций,— а также частицы, появляющиеся в результате столкновений первичных нейтрино с ядрами элементов в земной атмосфере и земной коре. Энергия этих частиц колеблется от нескольких тысяч до нескольких миллиардов электроновольт. Благодаря исследованиям Шигубова была найдена теоретическая возможность создать так называемый нейтринный лазер, или «назер», который способен давать монохроматическое корпускулярное излучение. Возможно, что именно по такому принципу работает передатчик, посылающий принятые на Земле сигналы. Благодаря работам Хьюза, Ласкальи и Джеффриса было создано устройство для регистрации отдельных энергетических фракций нейтринного спектра, известное под названием инвертора или преобразователя нейтрино, основанное на принципе Айншофа (так называемый «принцип обмена псевдочастицами»); с помощью эффекта Синицына — Мессбауэра это устройство позволяет разделять потоки излучений с точностью до 30 000 электроновольт.

В процессе длительной регистрации низкоэнергетических потоков в полосе 57 Мэв был обнаружен сигнал искусственного происхождения, состоящий из более чем двух миллиардов знаков в пересчете на двоичный (бинарный) код, причем упомянутый сигнал передается подряд (без перерывов). Этот сигнал с широким радиантом, охватывающим весь участок Альфы Малого Пса, а также ее окре-

стности в пределах полутора градусов, несет информацию неизвестного содержания и назначения.

Поскольку избыточность канала связи, по-видимому, близка к нулю, сигнал имеет характер шума. О том, что этот шум является сигналом, свидетельствует тот факт, что каждые 416 часов 11 минут и 23 секунды вся модулированная последовательность повторяется снова с точностью, которая по меньшей мере равна разрешающей силе земных приборов.

Если принять, что из сорока обсерваторий мира, оборудованных аппаратурой Ласкальи — Джеффриса, по меньшей мере десять постоянно наблюдают созвездие Малого Пса, то вероятность, что на одной из них будет выделен данный сигнал, составляет округленно $\frac{1}{3}$ (10 : 34) — *caeteris paribus**. Однако регистрация порядка 416 часов считается весьма длительной. Такая длительная регистрация используется не чаще чем в одной из девяти-десяти исследовательских работ. Следовательно, можно считать, что открытие имело вероятность реализации, равную примерно 1 : 30—40, и с такой же вероятностью оно может быть повторено за пределами Соединенных Штатов».

Я процитировал весь этот текст, поскольку он любопытен и в заключительной своей части. Содержащиеся там вероятностные подсчеты выглядят не очень серьезно. Упоминание этих цифр было продиктовано циничными расчетами руководства Проекта. Речь шла о том, чтобы Особо Важные Персоны встревожились, поскольку шанс 1 : 30, вообще говоря, не кажется таким уж астрономически малым, а встревоженные Важные Персоны могли способствовать увеличению сумм, вкладываемых в Проект (самыми дорогостоящими, кроме больших цифровых машин, были аппараты для автоматизированного химического синтеза).

* *Caeteris paribus* (лат.) — при прочих равных условиях.

Чтобы начать работу над Посланием, нужно было с чего-то начать, в том-то и беда. Предыдущая фраза тавтологична лишь с виду. В истории несчетное количество раз появлялись мыслители, которые полагали, что процесс познания и вправду можно начать с нуля, а чистая логика однозначно приведет к единственно правильному результату. Такая иллюзия многих толкнула на поразительные попытки. А ведь это неосуществимая затея. Невозможно начать что бы то ни было без принятия исходных постулатов, и реальность этого акта не зависит от того, сознаем ли мы, что его совершаем.

Эти постулаты задаются уже самой биологической структурой человека, равно как и типом его культуры. Ведь культура — это тонкий слой, вклиненный между организмами и окружающей средой; ее можно создать лишь благодаря тому, что действия, необходимые для выживания организмов, диктуются средой не однозначно и остается зазор для свободного выбора. А этот зазор достаточно просторен, чтобы разместить в нем тысячи возможных типов культур.

Начиная работу над «звездным кодом», следовало свести к минимуму исходные постулаты, но совсем обойтись без них было невозможно. Если б они оказались ложными, весь труд пропал бы даром. Одним из таких постулатов было предположение о двоичности кода. Оно приближенно соответствовало форме зарегистрированного сигнала, но, с другой стороны, сама эта форма в известной мере зависела от техники регистрации.

Затем нужно было определить, к какой категории сигналов принадлежит Послание. Согласно нашим представлениям, оно могло быть «написано» на каком-нибудь понятийном языке, вроде нашего, либо могло представлять собой систему «моделирующих» сигналов, вроде телевизионных, или же, наконец, могло быть «производственным рецептом», то есть перечнем операций, необходимых для

изготовления некоего объекта. Наконец в нем могло содержаться описание этого объекта с помощью кода, не связанного с культурой,— то есть такого кода, который опирается исключительно на определенные, устанавливаемые физическим путем константы природы, имеющие математическую форму. Различие этих четырех категорий возможных кодов не является абсолютным. Телевизионное изображение возникает в результате проецирования трехмерных объектов на плоскость с временной разверткой, соответствующей физиологическим механизмам человеческого глаза и мозга. То, что видим на экране мы, не могут видеть другие организмы, даже далеко продвинувшиеся по эволюционной лестнице,— например собака не распознает на экране телевизора (как и на фотографии) собаку. Точно так же не существует четких различий между «предметом» и «производственным описанием». Яйцеклетка является одновременно «предметом», материальным объектом и производственным рецептом для той системы, которая из нее разовьется. Таким образом, взаимоотношения между носителем информации и самой информацией могут быть весьма различными и усложненными.

Понимая, таким образом, всю ненадежность своей классификационной схемы, но не располагая ничем лучшим, сотрудники Проекта попытались исключить явно неподходящие варианты. Сравнительно легко было проверить «телевизионную гипотезу». В свое время она пользовалась большим успехом и считалась самой экономной. Попробовали подать звездный сигнал на пластины телевизионного кинескопа. Не было получено никаких образов, что-либо говорящих человеческому глазу, хотя, с другой стороны, на экране не было и «абсолютного хаоса». На белом фоне возникали постепенно растущие, сливающиеся друг с другом и исчезающие черные пятна, причем вся картина в целом походила на кипение. Когда сигнал вводился в тысячу раз медленней, изображение напоминало колонию

бактерий в состоянии роста, взаимопоглощения и распада. Улавливался некий ритм и периодичность процесса, хотя это ни о чем не говорило.

Провели также контрольные опыты, подавая на кинескоп записи естественного нейтринного шума. В этом случае возникало беспорядочное трепетание и мерцание, лишенное центров конденсации и сливающегося в сплошной серый фон. Можно было предположить, что у Отправителей иная система телевидения — не оптическая, а, например, обонятельная или обонятельно-осязательная. Но даже если они были сконструированы иначе, чем люди, не подлежало сомнению, что они превосходят нас в познании, а поэтому они должны были бы также понимать, что шансы приема нельзя ставить в зависимость от того, идентична ли физиология адресата с физиологией Отправителя.

В результате второй, «телевизионный», вариант был отвергнут. Вариант первый заведомо обрекал Проект на неудачу, ибо без словаря и синтаксиса, как я уже упоминал, подлинно «чужой» язык расшифровать невозможно. Оставались два последних варианта. Их объединили, поскольку (об этом я тоже говорил) различие между «предметом» и «процессом» относительно. Проект стартовал именно с этих позиций, получил определенные результаты, «материализовав» небольшую часть Послания, то есть как бы сумев расшифровать некоторые фрагменты,— но потом работа зашла в тупик.

Задача, которую передо мной поставили, состояла в том, чтобы определить, справедливо ли исходное предположение (послание как «предмет-процесс»). При этом я не имел права обращаться к результатам, полученным на основе такого предположения, ибо это означало бы логическую ошибку (порочный круг). Так что не по злому умыслу, а во избежание предвзятости от меня вначале скрыли все полученные достижения. Ведь они могли быть в определенном смысле плодами «недоразумения».

Я даже не знал, пытались ли уже математики Проекта решать поставленную передо мной задачу. Я допускал, что пытались, и, если б я знал, на чем они потерпели поражение, это, наверное, избавило бы меня от бесплодных трудов, но Дилл, Раппопорт и Бэлойн сочли, что предусмотрительней будет ни о чем мне не говорить.

Короче говоря, меня вызвали, чтобы спасти честь планеты. Мне предстояло изрядно напрячь математические бицепсы, и я, хоть не без опаски, радовался этому. Объяснения, разговоры, ритуал вручения звездной записи заняли полдня. Затем «большая четверка» проводила меня в гостиницу, следя друг за другом, чтобы никто не проболтался о чем-либо таком, чего мне пока нельзя было знать.

VI

С самого момента посадки на крыше, при всех встречах и беседах меня не оставляло ощущение, что я играю роль ученого в довольно скверном фильме. Это ощущение еще усилилось из-за комнат, а точнее, апартаментов, в которые меня поместили. Не припомню, чтобы в моем распоряжении когда-нибудь было так много ненужных вещей. В кабинете стоял стол президентских масштабов, напротив него — два телевизора и радиоприемник. В кресле имелся регулятор для подъема, поворота и раскладывания — затем, наверно, чтобы в перерывах между умственными борениями можно было слегка вздремнуть. Неподалеку находился большой предмет, покрытый белым чехлом. Я сначала подумал, что это какой-нибудь гимнастический снаряд или конь-качалка (меня и конь уже не удивил бы), но это оказался совершенно новенький, очень симпатичный криотронный арифмометр фирмы ИБМ, который мне действительно пригодился. Стремясь возможно полнее подключить человека к машине, инженеры ИБМ требовали от него, чтобы он работал еще и ногами. Арифмометр имел

педальный сумматор, и всякий раз, нажимая на педаль, я инстинктивно ждал, что поеду к стене — до того эта педаль напоминала акселератор. В стенном шкафу за столом я обнаружил диктофон, письменную машинку, а также небольшой, весьма старательно заполненный бар.

Но главной диковинкой была подручная библиотека. Тот, кто ее комплектовал, был абсолютно убежден, что книги тем ценнее, чем больше за них заплачено. Поэтому здесь были энциклопедии, труды по истории математики и истории науки — даже по космогонии майя. Всюду царил полнейший порядок в том, что касалось корешков и переплетов, и полнейшая бессмыслица в том, что касалось содержания книг — за весь год я ни разу не воспользовался этой своей библиотекой. В спальне тоже было шикарно. Я обнаружил там электрическую грелку, аптечку и миниатюрный слуховой аппарат. До сих пор не знаю, была это шутка или недоразумение. Все это явилось результатом буквального исполнения приказа, гласившего: «Создать превосходное жилье для превосходного математика». Увидев на столике у кровати Библию, я успокоился — о моем комфорте действительно позаботились.

Книга со звездным Посланием, которую мне торжественно вручили, была не слишком интересной, — по крайней мере при первом чтении. Ее начало выглядело следующим образом: «000110101000011111100110111111001-010010100». Продолжение было в том же духе. Единственное дополнительное замечание гласило, что элемент кода содержит, по-видимому, девять элементарных знаков (единиц и нулей).

Расположившись в своей новой резиденции, я принялся размышлять. Размышлял я примерно так. Культура — это нечто и необходимое и случайное, как подстилка гнезда; это — прибежище от окружающей действительности, маленькая вселенная, на существование которой большой мир дает молчаливое согласие, ибо в самой природе нет

ответа на вопросы о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о законах и нравах. Язык, это порождение культуры, является как бы каркасом гнезда, он скрепляет все частицы подстилки и придает им ту форму, которая обитателям гнезда кажется необходимой. Язык — пароль тождественности этих существ, он общий знаменатель данной группы, ее инвариантный признак, поэтому его действенность кончается сразу же за порогом этой хрупкой постройки.

Отправители, наверно, знали об этом. На Земле ожидали, что содержанием звездного сигнала будет математика. Как известно, большим успехом у теоретиков Контакта пользовались знаменитые пифагоровы треугольники — геометрией Евклида мы собирались приветствовать иные цивилизации через космические бездны. Отправители приняли другое решение, и я считал это правильным. Этнический язык не позволяет оторваться от своей планеты, ибо каждый язык намертво прикреплен к местной почве. А математика — это уж слишком радикальный разрыв. Это разрыв не только с локальными особенностями, ставшими мерилом хорошего и дурного, — это итог поисков такой свободы, которая уже избавляет от всяких мерил.

С помощью математики можно сообщить только, что ты есть, что ты существуешь. Если хочется достичь большего, посылка производственного рецепта становится необходимой. Но такой рецепт предполагает технологию, а технология — это мимолетное, преходящее состояние, это переход от одних материалов и средств к другим. Тогда что же — описание «предмета»? Но и описывать данный предмет можно неисчислимым множеством способов. Это вело в тупик.

Одна мысль не давала мне покоя. «Звездный код» передавался непрерывно, он бесконечно повторялся, вот что было непонятно, — ведь это мешало распознать в нем сигнал. Несчастный Лейзеровитц был не так уж безумен: периодические «зоны молчания» казались действительно

нужными, более того, необходимыми, как прямое указание на искусственность сигнала. «Зоны молчания» обратили бы на себя внимание любого наблюдателя. Почему же их не было? Я не мог отделаться от этой мысли. Я попытался ее перевернуть: отсутствие пауз воспринималось как отсутствие информации, указывающей на искусственную природу сигнала. А если в этой непрерывности как раз заключалась дополнительная информация? Что же она может тогда означать? То, что «начало» и «конец» сообщения несущественны. Что его можно читать, начиная с любого места.

Концепция эта меня завороживала. Теперь я отлично понимал, почему мои друзья так старались ни словечком не обмолвиться о способах, которыми они атаквали Послание. В соответствии с их планом я был абсолютно непредубежден. В то же время мне предстояла борьба, так сказать, на два фронта: конечно, главным противником, мотивы которого я пытался разгадать, был неизвестный Отправитель; вместе с тем на каждом этапе размышлений я не мог не думать и о том, шли ли математики Проекта тем же путем, что и я. Об их работе я знал только одно — что она не дала окончательного результата; не только в том смысле, что они не расшифровали Послание до конца, но и в том, что не смогли доказать правильность своей исходной классификации Послания как информации типа «предмет-процесс».

Как и мои предшественники, я считал, что «код» слишком лаконичен. Ведь можно же было снабдить его вступительной частью, в которой простыми способами пояснялось бы, как следует его читать. Так по крайней мере казалось. Однако же лаконичность «кода» не является его объективным свойством, а зависит от уровня знаний получателя, точнее говоря — от различия в уровнях знаний отправителя и адресата. Одну и ту же информацию один получатель сочтет достаточной, а другой — слишком лаконичной.

Каждый, даже самый простой объект содержит потенциально бесконечное количество информации. Поэтому, как бы мы ни детализировали пересылаемое описание, оно всегда будет для одних слишком детальным, а для других отрывочным, неполным. Трудности, с которыми мы столкнулись, указывали, что Отправитель обращался к адресатам, по-видимому, более высоко развитым, чем люди на данном этапе их истории.

Информация, оторванная от объекта, не только неполна. Она всегда представляет собой некое обобщение. Она никогда не определяет объект с абсолютной точностью. В повседневной жизни мы этого не замечаем, потому что нечеткость определения объекта, даваемая информацией, здесь исчезающе мала. То же случается и в науке. Прекрасно зная, что скорости не складываются арифметически, мы все же не применяем релятивистскую поправку, когда складываем скорости корабля и автомобиля, движущегося по его палубе,— ибо для скоростей, далеких от световой, эта поправка так ничтожна, что не имеет никакого значения. Так вот, существует информационный эквивалент этого релятивистского эффекта: понятие «жизнь» практически одинаково для двух биологов, если один из них живет на Гавайях, а другой в Норвегии. Но две цивилизации в космосе разделяет уже такой громадный провал, что кажущаяся однозначность многих понятий непременно должна подвергнуться расшатыванию. Все обстоит намного проще, если Отправители использовали в качестве первичных объектов небесные тела. А что, если они ориентировались на атомы? Представление об атоме как о «предмете» в значительной степени зависит от уровня знаний о нем. Восемьдесят лет назад атом был «очень похож» на Солнечную систему в миниатюре. Сегодня он на нее уже не похож.

Предположим, что нам посылают шестиугольник. Его можно рассматривать как схему ячейки пчелиных сот,

или здания, или химической молекулы. Данной геометрической форме может соответствовать бесчисленное множество предметов. Понять, что именно имел в виду Отправитель, можно лишь после того, как будет точно опознан строительный материал. Если, например, им окажется кирпич, это, конечно, уменьшит класс возможных решений, но класс этот по-прежнему останется множеством с бесконечной мощностью — ведь зданий шестиугольной формы можно построить бесконечно много. Пересылаемый план следовало бы снабдить точными размерами. Существует, однако, такой строительный материал, в котором сами кирпичики задают необходимые размеры. Это — атомы. В атомной системе частицы нельзя произвольно сближать или раздвигать. Поэтому, получив «просто шестиугольник», я склонен был бы считать, что Отправитель имел в виду молекулу химического соединения, состоящую из шести атомов или атомных групп. Такое утверждение очень ограничивает область дальнейших поисков.

Предположим, сказал я себе, что Послание является описанием предмета и притом на молекулярном уровне. Ядром моей исходной концепции была мысль о том, что Послание не имеет ни начала, ни конца и является поэтому циклическим. Это может быть циклический объект или такой же процесс. Различие между тем и другим, как уже было сказано, зависит от шкалы наблюдения. Если б мы жили в миллиард раз медленней и во столько же дольше, если б секунда этой воображаемой жизни соответствовала столетию, мы, наверное, сочли бы континенты земного шара процессами, увидев воочию, как они изменчивы: ведь они текли бы на наших глазах, словно водопады или морские течения. А если б, наоборот, мы жили в миллиард раз быстрее, то приняли бы водопад за предмет, ибо он казался бы нам чем-то в высшей степени неподвижным и неизменным. Следовательно, выяснением вопроса: «предмет» или «процесс»? — можно было не заниматься. Речь

шла лишь о том, чтобы доказать, а не только угадать, что Послание представляет собой «кольцо», подобно молекуле бензола. Если собираешься посылать не изображение этой молекулы на плоскости, а ее код в линейной форме, в виде следующих друг за другом сигналов, то не имеет ни малейшего значения, с какого места бензольного кольца пачать описание. Любое место одинаково годится.

С этих-то исходных позиций я и приступил к переложению проблемы на язык математики. Наглядно изобразить, как и что я сделал, я не сумею, так как в обиходном языке нет для этого соответствующих понятий и слов. Могу лишь сказать в общих чертах, что, рассматривая Послание как математическое описание некоего объекта, я исследовал чисто формальные его свойства в поисках особенностей, которые являются предметом изучения топологической алгебры и теории групп. Я пользовался при этом трансформацией групп преобразований, которая приводит к так называемым инфрагруппам, или группам Хоггарта (они называются так, потому что это я их открыл). Если б я в результате получил «открытую» структуру, это ни о чем бы еще не говорило, потому что в работу могла вкрасться ошибка, вызванная ложным допущением (таким допущением, например, мог быть исходный постулат о количестве кодовых знаков в одном «слове» Послания). Но случилось иначе. Послание в моих расчетах прекраснейшим образом замкнулось как отграниченный от остального мира предмет или же циклический процесс (точнее говоря, как описание, как модель такого предмета или процесса).

Три дня я составлял программу для цифровых машин, которые на четвертый день решили задачу. Результат гласил: «что-то как-то замыкается». Этим «чем-то» было Послание во всей совокупности взаимоотношений между своими знаками, а относительно того, как происходит замыкание, я мог только строить догадки, поскольку мое доказательство было косвенным. Оно доказывало лишь то, что

описанный объект не является топологически открытым. Но с помощью применявшихся мною математических средств нельзя было однозначно определить «способ замыкания»: такая задача была на несколько порядков труднее, чем та, которую я сумел решить. То есть мое доказательство было настолько общим, что превращалось в общее место. Однако же не всякий текст обладает подобными свойствами. Например, партитура симфонии, или линейно перекодированное телевизионное изображение, или обычный языковый текст (повесть, философский трактат) не дают такого замыкания. Зато замкнулось бы описание геометрического тела или такого сложного объекта, как генотип или живой организм. Правда, генотип замыкается не так, как геометрическое тело; но если я вдаюсь в обсуждение этих различий, то скорее запутаю читателя, чем объясню, что же, собственно, я проделал с Посланием.

Я должен только подчеркнуть, что от проникновения в его смысл или, еще проще, в то, о чем там «шла речь», я был все так же далек, как и до решения этой задачи. Из неисчислимого множества особенностей Послания я выявил, и то лишь косвенно, одну, относящуюся к некоему общему свойству его целостной структуры. Поскольку это получилось удачно, я попытался затем атаковать вторую задачу — однозначно определить саму структуру в ее «замкнутом» виде, но за все время работы в Проекте не добился ни малейших результатов. Три года спустя, уже выйдя из Проекта, я возобновил свои попытки, потому что задача эта преследовала меня как наваждение; я сумел доказать лишь, что задача неразрешима в рамках трансформационной и топологической алгебры. Этого я, конечно, не мог знать, когда принимался за дело. Во всяком случае, я добавил серьезный аргумент в пользу того мнения, что мы получили из космоса нечто такое, чему действительно следует приписать черты «объекта» (то есть описания объекта — я выражаюсь упрощенно) вследствие его сконцентри-

рованности, компактности, цельности, приводящих к «замыканию».

Свои результаты я доложил не без опасений. Однако оказалось, что я сделал нечто такое, о чем никто не подумал, а произошло это потому, что уже во время предварительных дискуссий о Проекте восторжествовала концепция, согласно которой Послание должно представлять собой алгоритм (в математическом смысле), то есть некую общерекуррентную функцию, и все цифровые машины были впряжены в поиски вида этой функции. Это было толково в том смысле, что решение проблемы дало бы информацию, которая, как дорожный знак, помогла бы перейти к следующим этапам перевода. Однако уровень сложности заключенного в Послании алгоритма был таков, что задачу решить не удалось. Зато «цикличность» Послания хоть и заметили, но сочли не очень существенной, так как в эту начальную эпоху великих надежд она не сулила быстрых и в то же время значительных успехов. А потом все уже настолько увязло в алгоритмическом подходе, что не могли от него освободиться.

Может показаться, что я на первых же порах добился немалого успеха. Я доказал, что Письмо является описанием циклического процесса, а так как все эмпирические исследования развивались именно в этом направлении, то я как бы облагодетельствовал их математическим доказательством, дающим гарантию, что они на правильном пути. Этим я объединил враждующих, ибо между математиками информанистами и практиками царил все возрастающий разлад, который, в конце концов, дошел до высшей точки и заставил обе стороны обратиться к моей помощи.

Будущему суждено было показать, как мало я преуспел, победоносно выйдя из схватки всего лишь с одним, земным соперником.

VII

Если спросить естествоиспытателя, с чем ассоциируется у него понятие о циклическом процессе, он скорее всего ответит: с жизнью. Мысль о том, что нам прислали описание чего-то живого и мы сможем это реконструировать, была и ошеломляющей, и притягательной.

Два месяца после описанных событий я был в Проекте на ролях ученика и старательно изучал то, что успели сделать за год все исследовательские коллективы, именовавшиеся «ударными группами». Их было много — группы биохимии, биофизики, физики твердого тела. Впоследствии их частично объединили в лабораторию синтеза; организационная структура Проекта постепенно все более усложнялась, и некоторые утверждали, что она уже стала сложнее самого Послания.

Теоретический отряд, включавший информанистов, лингвистов, математиков и физиков-теоретиков, действовал независимо от «ударных групп». Все результаты исследований сопоставлялись на высшем уровне — в Научном Совете, где заседали координаторы групп, а также «большая четверка», которая после моего прибытия превратилась в пятерку.

Ко времени моего приезда Проект числил за собой два конкретных вещественных достижения, которые, собственно, представляли собой один и тот же результат, полученный независимо в группах биофизики и биохимии. В обеих группах была создана, сначала на бумаге, вернее — в машинной памяти, некая субстанция, «вычитанная» из звездного Послания. Каждая группа назвала ее по-своему: одна Лягушачьей Икрой, другая — Повелителем Мух*.

* Повелитель Мух (повелитель нечисти) — одно из имен Сатаны.

Дублирование работ может показаться расточительством, но оно имело свою хорошую сторону — ведь если два человека, не общаясь друг с другом, сходно переведут загадочный текст, можно полагать, что они действительно добрались до его «инвариантного смысла», нашли то, что объективно содержится в тексте и не является результатом их предубеждений. Правда, и это утверждение можно считать спорным. Если предпрограмма у людей идентична, то результаты их поисков могут совпасть, хотя бы эти люди и не общались друг с другом. Ведь достижения в каждую данную историческую эпоху ограничены общим уровнем знаний. Поэтому, например, так сходны были атомистические, вполне независимо созданные концепции Востока и Запада; поэтому лазерный принцип был одновременно открыт физиками разных стран. Так что не следует переоценивать познавательное значение подобных совпадений.

Лягушачья Икра — так называли ее биохимики — представляла собой некое вещество, полужидкое в одних условиях, студенистое — в других; при комнатной температуре, при нормальном давлении и в небольшом количестве это вещество выглядело как блестящая клейкая жидкость, действительно напоминающая лягушачьи яйца, покрытые слизистой оболочкой (откуда, собственно, и пошло название). Биофизики сразу синтезировали около гектолитра подобной псевдоплазмы; в условиях вакуума она вела себя иначе, чем Лягушачья Икра, и в связи с одним удивительным свойством получила более демоническое название.

В структуре этого вещества значительную роль играл углерод, но наряду с ним также кремний и тяжелые элементы, практически отсутствующие в земных организмах. Оно реагировало на определенные воздействия и, по-видимому, вырабатывало энергию, поскольку рассеивало ее в виде тепла, но у него не существовало обмена веществ в биологическом смысле. В конце концов ядерщики пришли к заключению, что оно поддерживает свое состояние за

счет энергии ядерных реакций холодного типа. Вещество инициировало в себе эти реакции, когда достигало определенной критической массы, причем существенна была не только сама масса вещества, но и его конфигурация.

Обнаружить эти реакции было чрезвычайно трудно, потому что вся выделявшаяся в них энергия — как лучистая, так и кинетическая энергия ядерных осколков — поглощалась без остатка самим веществом и шла «на собственные нужды». Для специалистов это открытие было прямо-таки ошеломляющим. По существу, ядра атомов внутри любого земного организма являются телами чужеродными или по крайней мере нейтральными. Жизненные процессы никогда не добираются до скрытых в ядрах энергетических возможностей, не могут использовать накопленные там огромные мощности — в живых тканях атомы существуют фактически только как электронные оболочки, потому что только эти оболочки и участвуют в биологических (химических) реакциях. Именно поэтому радиоактивные атомы, проникая в организм с водой, пищей или воздухом, оказываются там чужаками, которые обманули живую ткань своим чисто поверхностным сходством с нормальными атомами (то есть сходством электронных оболочек). Каждый «взрыв» такого радиоактивного атома, любой ядерный распад такого незваного гостя означает для живой клетки микрокатастрофу, всегда опасную, хотя бы и в ничтожной степени. А вот Лягушачья Икра не могла обойтись без таких процессов, они были для нее пищей и воздухом, потому что в других источниках энергии она не нуждалась и даже не способна была ими пользоваться. Лягушачья Икра стала фундаментом для целой башни гипотез; к сожалению, оказалось, что это — башня Вавилонская: слишком уж различны были эти гипотезы.

Согласно простейшим из них, Лягушачья Икра представляла собой протоплазму, из которой состоят Отправители звездного сигнала. Как я уже отмечал, для получения

Лягушачьей Икры была использована лишь малая часть (не более 3—4%) всей закодированной информации — именно та, которую удалось «перевести» на язык операций синтеза. Сторонники этого взгляда полагали, что весь сигнал представляет собой описание одного Отправителя и что если бы удалось его материализовать целиком, перед нами появился бы живой и мыслящий индивидуум — представитель галактической цивилизации, пересланный на Землю в виде потока нейтринного излучения.

Согласно иным, аналогичным предположениям, переслано было не «атомное описание» зрелого организма, а нечто вроде эмбриона или же способное к развитию яйцо.

Не было недостатка и в принципиально иных концепциях. Многие, например, предполагали, что «код» описывает не какую-то личность, а информационную машину. Одни понимали под такой машиной нечто вроде библиотеки, сделанной из Лягушачьей Икры, или же «плазматического резервуара памяти», который, возможно, способен сообщать содержащиеся в нем сведения и даже «вести дискуссию». Другие представляли себе «плазматический мозг» — аналоговый, цифровой или же смешанного типа; он не сможет отвечать на вопросы, касающиеся Отправителей, но зато будет своего рода «технологическим подарком», а сам сигнал символизирует акт вручения: одна цивилизация шлет через космическую бездну другой цивилизации свой самый совершенный инструмент для преобразования информации.

У всех этих гипотез имелись варианты, которые возникли, по мнению некоторых, вследствие слишком рьяного чтения научной фантастики. То, что прислано, — будь это «индивидуум», «зародыш» или «машина» — после материализации попытается завладеть Землей. Внутри этой группы верований в свою очередь существовало разделение: одни считали, что речь идет о запланированном вторжении из космоса, другие уверяли, что о «космическом дружелю-

бии», что таким способом высокоразвитые цивилизации оказывают другим «акушерскую помощь», облегчая рождение более совершенной общественной структуры в интересах местного населения, а не для пользы Отправителей.

Все эти гипотезы (их было еще больше) я считал не только ложными, но и бессмысленными. Я полагал, что звездный сигнал не описывает ни плазматический мозг, ни информационную машину, ни организм, ни зародыш, так как определяемый им объект вообще не входит в круг наших понятий; что это — план храма, посланный австралопитекам, библиотека, подаренная неандертальцам. Я утверждал, что сигнал не предназначался для цивилизаций, стоящих на таком низком уровне развития, как наша, и поэтому ничего у нас с ним не выйдет.

За это меня называли нигилистом, а Вильгельм Ини доносил своему начальству, что я саботирую Проект, о чем я дознался, хоть и не имел собственной системы подслушивания.

Я уже без малого месяц работал в Проекте, когда «Голос Неба» предстал перед нами в абсолютно новом свете благодаря работам группы биологов.

Это Ромни пришла в голову идея заняться исследованиями совершенно иного характера, чем те, которыми были поглощены его коллеги. Ромни, как и Рэйнхорн, был одним из ученых старшего поколения. Кто не читал его «Возникновения человека», тот ничего не знает об эволюции. Он искал причины возникновения разума и находил их в тех стечениях обстоятельств, которые являются нейтральными, когда происходят, и кажутся чуть ли не издевательством, в свете ретроспективных размышлений; ибо выясняется, что каннибализм способствовал развитию разума, угроза обледенения была предпосылкой пракультуры, обглаживание костей вдохновило на изготовление орудий, а унаследованное еще от рыб и пресмыкающихся объединение половых органов с выделительными послужило топографиче-

ской опорой не только для эротики, но и для различных метафизических конструкций, которые колебались в оценке этого факта от проклятия до благословения. Ромни прочел в зигзагах эволюции весь ее блеск и нищету, продемонстрировав, как цепочки случайностей порождают ответвления эволюции и становятся для этих ответвлений законом природы. Но более всего поражает в его книге то, что она проникнута духом сочувствия, — нигде не выраженным *expressis libris* *.

Не знаю, каким путем Ромни пришел к своей замечательной идее. На все расспросы он отвечал сердитым бормотаньем. Его группа вместо Послания, запечатленного на лентах, занималась изучением «оригинала», то есть самого нейтринного потока, непрерывно льющегося с неба. Я полагаю, что Ромни заинтересовался вопросом, почему именно нейтринный поток был выбран Отправителями для переноса информации. Как я уже упоминал, существует естественное нейтринное излучение, возникающее в звездах. Тот поток, который благодаря соответствующей модуляции нес Послание, составлял лишь узенькую полоску этого естественного целого. Ромни, должно быть, размышлял над тем, случайно ли выбрали Отправители эту полоску (соответствующую понятию «длины волны» в радиотехнике) или же их выбор был продиктован какими-то особыми соображениями. Поэтому он запланировал серию опытов, в которых самые различные вещества подвергались воздействию сначала обычного нейтринного излучения звезд, а затем потока излучения, переносившего Письмо. Это было возможно, поскольку предусмотрительный Бэлойн, глубоко запустив руку в государственную шкатулку, оспатил Проект целой батареей нейтринных преобразователей с высокой разрешающей способностью. Кроме того, естественное излучение усиливалось в несколько сот миллио-

* *Expressis libris* (лат.) — открыто, прямиком.

нов раз: физики создали для этого соответствующие усилители.

Нейтрино являются самыми проникающими из всех элементарных частиц. Все нейтрино, а в особенности низкоэнергетические, способны так же легко пронизывать галактические просторы, как и любые материальные тела, планеты, звезды, потому что материя для них несравненно более прозрачна, чем стекло для света. Строго говоря, опыты Ромни не должны были дать ничего примечательного. Но произошло иначе.

В камерах, размещенных на глубине сорока метров (для опытов с нейтрино это ничтожная глубина), были установлены слоноподобные усилители, подключенные к преобразователям. Все более концентрирующийся нейтринный лучик, выходя из металлического стержня толщиной в карандаш, попадал в различные жидкости, газы, твердые тела, которые устанавливали на его пути.

Первая серия экспериментов, в которых различные вещества облучались естественным излучением звезд, не дала, как и предвиделось, никаких интересных результатов. Зато нейтринный лучик, который являлся носителем Послания, обнаружил поразительную особенность. Из двух групп высокомолекулярных растворов та, которая подверглась облучению, оказалась химически более устойчивой. Подчеркиваю, что обычный нейтринный «шум» такого воздействия не оказывал. Так действовал только поток, модулированный информацией. Словно бы нейтрино этого потока вступали в какие-то — неуловимые и непонятные для нас — взаимодействия с молекулами коллоида и делали его нечувствительным к воздействию факторов, которые обычно вызывают распад больших молекул и разрывы химических связей. Это нейтринное излучение будто «покровительствоvalo» большим молекулам специального типа, оно словно содействовало тому, чтобы в водном растворе, достаточно насыщенном специфическими компонентами, начинали

возникать те атомные конфигурации, которые образуют химический костяк *живой материи*.

Нейтринный поток, в виде которого приходило к нам Послание, был слишком разреженным, чтобы удалось непосредственно на нем обнаружить этот эффект. Только многосотмиллионная концентрация потока позволила увидеть этот результат в растворах, облучавшихся целыми неделями. Но отсюда следовал вывод, что и без усиления поток обладает той же «благожелательной к жизни» особенностью, только проявляется она в промежутках времени, исчисляемых не неделями, а сотнями тысяч или, вернее, миллионами лет. Уже в доисторическом прошлом этот всепроникающий дождь увеличивал, хоть и в ничтожной мере, шансы возникновения жизни в океанах, потому что он как бы окружал невидимым панцирем определенные типы макромолекул, чтобы они могли противостоять хаотической бомбардировке броуновских движений. Звездный сигнал сам по себе не создавал живую материю, он только помогал ей на самом раннем, элементарнейшем этапе ее развития, затрудняя распад того, что однажды уже соединилось.

Эффект Ромни-Мёллера представлял собой одно из крупнейших наших достижений и вместе с тем — как это обычно происходило в Проекте — одну из тех специфических загадок, которые доставили исследователям немало бессонных ночей. Гипотезы, хлынувшие из этой скважины, ничуть не уступали по количеству тем, что, как лозы, оплели Лягушачью Икру. Но существует ли связь между этой «ядерной слизью» и «биофильностью» нейтринного сигнала, и если да, то каково значение этой связи, — вот в чем был вопрос!

VIII

Инициаторами моего вовлечения в Проект были Бэлойн, Бир и Протеро. В первые же недели я понял, что задание, которое передо мной вначале поставили и которое увенча-

лось предвиденным успехом, не было главной причиной для моей кооптации в Научный Совет. Специалистов, и притом самых лучших, Проект имел вдоволь; загвоздка была в том, что не имелось необходимых специалистов, ибо таковые вообще не существовали. Я так много раз изменял своей чистой математике, переходя от одной науки к другой в огромном диапазоне от космогонии до этологии, что не только успел вкусить от различнейших источников знания, но, главное, в ходе все новых и новых перемещений успел привыкнуть к роли иконоборца.

Я приходил извне, я не был всей душой привязан к святым законам и канонизированным обычаям той области, в которую вступал, и мне легче было подвергнуть сомнению то, на что у старожилов в этой области рука не поднималась. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок — плод чьих-то долгих, самоотверженных трудов, — чем создавать нечто новое. Именно такой человек нужен был сейчас руководителям Проекта. Большинство сотрудников (особенно естествоиспытателей) готово было продолжать работу по-прежнему; их не очень-то заботило, получится ли из всех этих работ монолитное целое, которое будет соответствовать тому информационному чуду, что явилось к нам со звезд, породило массу всесторонне интересных проблем и создало реальные шансы крупных открытий.

Но в то же время верхушка Проекта, пресловутая «большая четверка», начинала — может, не совсем еще ясно — понимать, что дело уже пахнет таким изучением деревьев, за которым теряется картина леса; что хорошо отлаженный и вполне исправно работающий механизм ежедневной систематической деятельности может поглотить сам Проект, растворить его в море разрозненных фактов и второстепенных данных — и будут потеряны шансы постигнуть происшедшее. Земля получила сигнал со звезд, известие, столь насыщенное содержанием, что извлеченными

из него крохами могли питаться на протяжении многих лет целые научные коллективы, но в то же время само известие расплывалось в тумане, заслонялось бесчисленным множеством мелких успехов, и загадочность его все меньше дразнила воображение. Может, тут действовали защитные механизмы психики, а может, навыки людей, приученных искать закономерности явлений, а не спрашивать, чем обусловлено появление именно этих, а не иных закономерностей.

На такие вопросы обычно отвечали философы, а не естествоиспытатели, поскольку последние не покушаются разгадывать мотивы, кроющиеся за сотворением мира. Но в данном случае все обстояло совершенно иначе: именно отгадывание мотивов, то есть занятие, дискредитированное всей историей эмпирических наук, оказывалось последней возможностью, еще сулившей надежды на победу. Разумеется, методология по-прежнему отвергала всякие поиски человекоподобных мотивов в свойствах атомов или молекул; но сходство Отправителей сигнала с его получателями — какое-то, пусть даже отдаленное сходство — было уже не просто утешительной выдумкой. Это была гипотеза, на острие которой колебалась судьба всего Проекта. И я с самого начала был убежден, что если такое сходство полностью отсутствует, то расшифровать Послание не удастся.

Ни в один из домислов о содержании Письма я не верил ни на йоту. Пересылка личности по телеграфу, план гигантского мозга, плазматическая информационная машина, синтезированный властелин, желающий поработить Землю, — все это были заимствования из убогого арсенала концепций, которыми располагала наша цивилизация (в ее общепринятом технологическом понимании). Эти концепции отражали общественную жизнь, прежде всего в ее американском варианте, экспорт которого за пределы Штатов развивался так успешно в середине века.

И, выслушивая все эти, казалось бы, смелые, а на деле огорчительно наивные гипотезы, я особенно ясно ощущал всю ограниченность нашей фантазии, ее прикованность к земной действительности, видимой сквозь узкую щель данной исторической эпохи.

Единственным, во что я верил, был эффект Ромни-Мёллера: звездный сигнал увеличивал вероятность возникновения жизни. Биогенезис, наверное, мог возникнуть и без сигнала — только позже и в меньшем числе случаев. В этой концепции было что-то бодрящее, ибо я вполне понимал тех, которые решили помогать жизни.

Можно ли было думать, что чисто материальная, жизнетворная сторона сигнала совершенно независима, полностью отрезана от его содержания? Не может быть, чтобы сигнал не содержал никакой осмысленной информации, кроме своего покровительственного отношения к жизни; доказательством была хотя бы Лягушачья Икра. Так, может, это содержание в какой-то мере соответствовало тому эффекту, который вызывал его носитель?

Допустим, наборщик наберет на линоTYPE стихотворную строчку из металлических литер. Строчка эта имеет определенный языковый смысл. Если провести по этой набранной строке гибкой металлической пластинкой, способной к колебаниям, то может случиться так, что возникший при этом звук составит гармонический аккорд. Но совершенно уже невероятно, чтобы звуки, возникшие таким образом, образовали первые такты Пятой симфонии Бетховена. Случись такое, мы скорее всего решили бы, что тут не простое совпадение, а кто-то обдуманно расположил литеры именно таким образом, подобрав соответственно их размеры и величину промежутков. Но если для произвольной типографской отливки эта «побочная звуковая гармония» была бы очень малоправдоподобной, то для сообщения такого типа, как звездное Письмо, неправдопо-

добность «посторонних эффектов» попросту равнялась невозможности.

Иными словами, жизнетворность этого сообщения не могла быть делом случая. Отправитель умышленно придал нейтринному потоку такие модулированные колебания, чтобы этот поток приобрел способность поддерживать биогенезис. Но это соприсутствие формы и содержания неминуемо требовало специальных объяснений, а простейшее из них наводит на мысль, что если форма благоприятствует жизни, то и содержание соответственно тоже должно быть «положительным». Если же отбросить гипотезу «всесторонней благожелательности», по которой к прямому биовоздействию добавляется содержание, соответственно благоприятное для адресата, то этим как бы обрекаешь себя на диаметрально противоположный подход, согласно которому Отправитель этого, внешне дружественного, жизнетворного послания с дьявольской хитростью вложил в него содержание, которое может оказаться гибельным для адресатов.

Я попробовал поставить себя на место Отправителя. Я не послал бы ничего такого, что можно использовать вопреки моим намерениям. Снабжать какими бы то ни было орудиями неизвестно кого — это все равно что давать детям гранаты. Тогда — что же послано? План идеального общества, снабженный описаниями энергетических источников, необходимых для этого общества? Но ведь такой план — это система, которая обусловлена своими составными элементами, то есть особенностями существ определенного типа. Нельзя составить план общества, идеально пригодного для любого места и для всех эпох. К тому же подобный план должен учитывать индивидуальные биологические особенности, а я не верил, что человек в этом смысле является какой-то универсальной космической константой.

Письмо, считали мы, не может представлять собой часть «галактической беседы», случайно подслушанную Землей. Ведь это никак не согласуется с непрерывным повторением «текста»: не может же разговор сводиться к тому, что один собеседник целые годы без конца твердит одно и то же.

Но опять-таки здесь имели значение масштабы времени; сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере два года, это бесспорно. Быть может, это «переговаривались» автоматические устройства, и аппаратура с одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал, что это сообщение принято? В подобном случае текст мог повторяться и тысячу лет, если собеседники были достаточно удалены друг от друга. Мы ничего не знали о том, можно ли налагать на «биофильное излучение» разнородную информацию; *a priori* это было весьма вероятно.

Тем не менее версия «подслушанной беседы» выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетия, такой обмен информацией трудно назвать беседой. В этих условиях скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения. Но тогда мы должны были бы принимать не одну передачу, а минимум две. Однако этого не было. Нейтринный «эфир», насколько могли проверить астрофизики, был абсолютно пуст — за исключением этой единственной занятой полосы. Тут-то, пожалуй, и было ядро всего этого твердого орешка. Простейшее толкование выглядело так: нет беседы и нет двух цивилизаций, а есть одна; она и передает изотропный сигнал. Но, согласившись с этим, пришлось бы снова ломать голову над двойственностью сигнала... *da capo al fine* *.

* *Da capo al fine* (итал., муз. термин) — с начала до конца (повторить).

Разумеется, в Послании могло содержаться нечто относительно простое. Например, схема устройства для установления связи с Отправителем. Тогда, значит, это схема передатчика на элементах типа Лягушачьей Икры. А мы, как ребенок, ломающий голову над схемой радиоаппарата, только и сумели собрать что пару простейших деталей. Это могла быть также «овеществленная» теория космопсихогенеза, объясняющая, как возникает, где размещается и как функционирует в Метагалактике разумная жизнь.

Может, нам следовало быть поскромнее и подбираться к разгадке методом последовательных приближений? Но тогда снова вставал вопрос: почему они объединили сообщение, предназначенное для разумных адресатов, с биофильным воздействием?

На первый взгляд это казалось необычайно странным, даже зловещим. Прежде всего — общие соображения подсказывали, что цивилизация Отправителей должна быть прямо-таки невероятно древней. Излучение такого сигнала по приближенным расчетам требовало затраты мощности, равной по меньшей мере мощности Солнца. Подобный расход не может быть безразличен даже для общества, располагающего высокоразвитой астроинженерной техникой. Следовательно, Отправители должны были считать, что такие «капиталовложения» окупаются, хоть и не для них самих, — в смысле реальных, жизнетворных результатов. Но сейчас в Метагалактике относительно мало планет, условия на которых соответствуют тем, что были на Земле четыре миллиарда лет назад. Их даже очень мало. Ведь Метагалактика — это более чем зрелый звездный организм; лет через миллиард она начнет «стареть». Молодость, эпоха бурного и стремительного планетообразования для нее уже миновала. Как раз тогда, среди прочих планет появилась Земля. Отправители должны были это знать. Значит, они шлют свой сигнал не тысячи и даже не миллионы лет.

Я боялся — трудно определить иначе чувство, сопутствовавшее таким размышлениям, — что они делают это уже миллиарды лет! Но если так, то, — оставляя в стороне абсолютную невозможность представить себе, во что превращается цивилизация за такое чудовищное, геологических масштабов время, — разгадка «двойственности» сигнала оказывается простой, даже тривиальной. Они могли высылать «жизнетворный фактор» с древнейших времен, а когда решили налаживать межзвездную связь, то не стали конструировать специальную аппаратуру: достаточно было использовать поток излучения, уже льющийся в космос. Понадобилось только соответствующим образом дополнительно модулировать этот поток.

Выходит, они задали нам эту загадку просто из соображений элементарной технической экономии? Но ведь проблемы, возникавшие в связи с задачей модуляции, непременно были чудовищно сложными как в информационном, так и в техническом плане. Для нас они, конечно, такими и были, а для них? Тут я снова терял почву под ногами.

Тем временем исследования продолжались; всеми способами пытались отделить «информационную фракцию» сигнала от «биофильной». Это не удавалось. Мы были бесильны, но еще не отчаивались.

IX

В конце августа я почувствовал такое умственное истощение, какого у меня, пожалуй, никогда еще не было. Потенциал человека, его способность браться за проблемы знает свои приливы и отливы, в которых трудно дать отчет самому себе. Я научился применять своеобразный тест: чтение своих собственных книг — тех, которые я считаю самыми лучшими. Если я замечаю в них оплошности, пробелы, если вижу, что все это можно было сделать луч-

ше, значит, результат проверки благоприятен. Но если я перечитываю собственный текст не без восторга, тогда дела мои плохи. Именно так и получилось на исходе лета.

Мне нужно было — это я знал на основе многолетнего опыта — не столько отдохнуть, сколько рассеяться, развлечься. Поэтому я стал все чаще заходить к доктору Раппопорту, моему соседу, и мы с ним разговаривали — нередко целыми часами. Но о звездном сигнале мы говорили редко и мало.

Я очень ценил беседы с доктором Раппопортом. Ему была присуща такая жесткость и беспощадность формулировок, которую я охотно бы усвоил. Тематика наших бесед была школьной: мы рассуждали о человеке.

Он был склонен к «термодинамическому психоанализу» и утверждал, например, что все основные движущие силы жизнедеятельности можно по существу вывести непосредственно из физики — если достаточно широко ее трактовать. Способность к разрушению может быть выведена прямо из термодинамики. Жизнь — это обман, попытка обойти законы, вообще-то неизбежные и неумолимые; если ее изолировать от остального мира, она немедленно вступает на путь распада, ибо эта наклонная плоскость ведет к нормальному состоянию материи, к тому равновесию, которое означает смерть. Чтобы существовать, жизнь должна поддерживаться упорядоченностью, но поскольку высокая упорядоченность нигде, кроме живой материи, не существует, то жизнь обречена на самопожирание: ей нужно питаться порядком, который является пищей в той мере, в какой его можно разрушить. Не этика, а физика диктует этот закон. Первым подметил это Шредингер.

Я возражал, ссылаясь на фотосинтез растений; они не уничтожают или по крайней мере в принципе не должны уничтожать другие живые системы, ибо питаются солнечными квантами. Раппопорт на это отвечал, что весь живот-

ный мир паразитирует на растительном. Он и вторую особенность человека (ту, которую человек, впрочем, разделяет почти со всеми организмами, а именно — наличие пола), философствуя на свой лад, тоже выводил из термодинамической статистики, в ее информационном ответвлении. Хаос, угрожающий любой упорядоченности, вызывает неизбежную деградацию сигналов при всякой их пересылке; чтобы противостоять губельному шуму, чтобы распространять достигнутую на время упорядоченность, необходимо вновь и вновь сопоставлять друг с другом «наследственные тексты»; именно это сопоставление, «считывание», которое призвано устранять ошибки, оправдывает и обуславливает возникновение половых различий. Следовательно, в информационной физике сигналов, в теории связи следует искать «виновников» появления пола. Сопоставление наследственной информации в каждом поколении было необходимостью, условием, без которого жизнь не могла бы сохраниться, а все остальные наслоения — биологические, альгедонические, психологические, культурные — уже вторичны; это лес последствий, который вырос из твердого, законами физики сформированного зерна.

Я говорил, что таким образом он универсализует наличие двух полов, превращая его в космическую константу; Раппопорт только усмехался и никогда не давал прямого ответа. В другом веке, в другую эпоху он несомненно стал бы суровым мистиком, основателем доктрины; а в наше время, отрезвляемое избытком открытий, которые, словно шрапнель, разрушают монолитность любой доктрины, в эпоху неслыханного ускорения прогресса и разочарования в нем, он был всего лишь комментатором.

Утонув в кресле, я слушал Раппопорта и, признаюсь, нередко терял нить его рассуждений. Мой мозг, как старая лошадь молочника, упорно возвращался на привычный путь — к звездному сигналу, но я умышленно застав-

лял его не сворачивать туда; мне казалось, что если временно забросить проблему, там, может, что-то само прорастет. Такое иногда случается.

Другим моим собеседником был Тайэмер Дилл, Дилл младший, физик, с отцом которого я был знаком... Впрочем, это целая история. Дилл старший преподавал математику в университете в Беркли. Он был довольно известным математиком старшего поколения, пользовался репутацией отличного педагога, уравновешенного и терпеливого, хотя и требовательного. Почему я не снискал его одобрения, не знаю. Конечно, мы отличались по складу ума; кроме того, меня привлекала область эргодики, к которой Дилл относился пренебрежительно. Но я всегда чувствовал, что дело тут не только в математике. Я приходил к нему со своими идеями (к кому же мне было еще обращаться?), а он небрежно отодвигал в сторону все, что я хотел ему сообщить, и всячески поощрял моего коллегу Майерса.

Майерс шел по его стопам; впрочем, признаю, что он неплохо разбирался в комбинаторике, но я уже тогда считал ее засыхающей ветвью. Ученик развивал идеи учителя, поэтому учитель верил в него, но все же это было не так уж просто. Может быть, Дилл питал ко мне инстинктивную, чисто животную неприязнь? Может, я был слишком назойлив, слишком уверен в себе, в своих возможностях? Глуп я был, наверное. Я ничего не понимал, но ни чуточки не обижался на Дилла. Ну, Майерса-то я терпеть не мог и до сих пор помню молчаливое сладостное удовлетворение, которое испытал от случайной встречи с ним много лет спустя. Он работал статистиком в какой-то фирме — если не ошибаюсь, в «Дженерал Моторс».

Но мне мало было того, что Дилл настолько обманулся в своем избраннике. Мне вообще не нужно было его поражение; я хотел, чтобы он поверил в меня. И каждый раз, когда я заканчивал более или менее значительную работу, мне представлялось, что Дилл смотрит на мою ру-

копись. Больших усилий стоило мне доказать, что вариационная комбинаторика Дилла является всего лишь несовершенной аппроксимацией эргодической теоремы! Пожалуй, ни одну работу ни до, ни после этого я не отделял так старательно; можно даже предположить, что вся концепция групп, позднее названных группами Хоггарта, была порождена той скрытой страстью, под напором которой я вывернул корнями наружу всю аксиоматику Дилла, а затем, словно желая сделать что-то еще — хотя делать там, собственно, было уже нечего, — начал разыгрывать из себя мегаматематика, чтобы взглянуть на всю эту устаревшую концепцию как бы сверху и вскользь.

Я знал, что у него есть сын. С Диллом младшим я познакомился только в Проекте. Мать у него была, кажется, венгерка — отсюда его странное имя, которое напоминало мне о Тамерлане. Хотя он и именовался младшим, но был уже немолод. Он принадлежал к разряду стареющих юнцов. Есть люди, словно предназначенные для одного какого-то возраста. Например, Бэлойн задуман как могучий старец, и это кажется его истинной формой, к которой он поспешно стремится, зная, что не только не утратит тогда своей энергии, но, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохраняющие черты периода созревания. Таким вот и был Дилл младший. От отца он унаследовал манеру держаться, торжественные, тщательно отработанные жесты; он наверняка был не из тех, кому безразлично, как выглядят в данную минуту их руки или лицо. Дилл был так называемым «беспокойным физиком», вроде того, как я — беспокойным математиком; он тоже все время перебирался с одного места на другое. Последнее время он работал в группе биофизиков под руководством Андерсона. У Раппопорта мы сблизились; мне это стоило некоторых усилий, потому что Дилл мне не нравился, но я превозмог себя — отчасти в память об его отце. Если это

покажется не слишком понятным, могу только заверить, что, собственно, и я тоже не все толком понимаю.

На вечерних собеседованиях у Раппопорта мы обычно избегали тем, непосредственно связанных с Проектом. Прежде чем перейти к Андерсону, Дилл состоял — кажется, по поручению ЮНЕСКО — в исследовательской группе, которая разрабатывала проекты противодействия демографическому взрыву. Он с удовольствием рассказывал об этом.

Там были биологи, социологи, генетики, а также антропологи. Один из этих ученых считал атомную войну единственным спасением от потопа тел. Рассуждал он примерно так. После атомной катастрофы суровая регламентация связей и зачатий стала бы неотложной жизненной необходимостью, иначе переродившаяся под действием радиации наследственная плазма породила бы несчетное множество уродов. Такая временная регламентация могла бы превратиться впоследствии в узаконенную систему, ведающую размножением вида в целях более эффективного управления его эволюцией и численностью. Атомная война является, конечно, чудовищным злом, но дальнейшие ее последствия могут оказаться благодетельными.

В таком же духе высказалась часть ученых, но другие запротестовали, и сформулировать единодушные рекомендации не удалось.

Этот рассказ возмутил Раппопорта.

— Сделать логику верховным судьей во всех жизненных вопросах, — говорил нам Раппопорт, — это тоже чистейшее безумие. Радость отца по поводу того, что ребенок похож на него, может показаться лишенной разумного основания, особенно если отец — личность заурядная, бесаланная. Тогда, рассуждая логически, нужно было бы основать «хранилище спермы», взятой от людей, наиболее полезных для общества, и с помощью искусственного оплодотворения фабриковать детей, подобных этим производи-

телям. Брак — дело рискованное, и с общественной точки зрения может оказаться пустой тратой сил; тогда, выходит, пары следовало бы подбирать, как при селекции животных, — исходя из критериев, обеспечивающих положительную корреляцию физических и психических особенностей супругов. Неудовлетворенные желания порождают психическую напряженность; выходит, надо либо удовлетворять все желания (естественным или эквивалентным техническим путем), либо же выключать (с помощью химии или хирургии) мозговые центры, которые порождают эти желания.

Ученый в таких случаях ведет себя, как обученный слон, которого погонщик поставил перед преградой. Он пользуется силой разума, как слон — силой мышц, согласно приказу. Это необычайно удобно: ученый тогда оказывается на все готовым, так как ни за что уже не отвечает. Наука становится орденом капитулянтов; логике суждено стать автоматом, заменяющим человеку нравственность; мы уступаем шантажу «высшей мудрости», которая осмеливается утверждать, что атомная война может быть косвенно благотворительной, поскольку это следует из арифметических подсчетов. То, что сегодня зло, завтра может оказаться добром, и из этого заключают, что само зло с определенной точки зрения есть добро. Разум перестает внимать интуитивной подсказке эмоций — образцом для него становится гармония идеально сконструированной машины, в которую надлежит превратиться цивилизации и каждому человеку в отдельности.

Тем самым средства цивилизации объявляются ее целями, и высшие ценности подменяются соображениями удобства. Соображения, по которым пробки в бутылках заменяют металлическими колпачками, а колпачки — пластиковыми крышками, отскакивающими при нажатии пальцем, сами по себе невинны, ибо это всего лишь ряд усовершенствований, облегчающих открывание бутылок.

Но когда теми же соображениями руководствуются при совершенствовании человека, это превращается в чистейшее безумие; любой конфликт, любая трудная проблема уподобляется пробке, которую трудно открывать, и потому ее предлагают вышвырнуть и заменить чем-нибудь более облегченным. Бэлойн назвал Проект «Голосом Неба», ибо это название двусмысленно: к какому голосу должны мы, собственно, прислушиваться — к тому, что со звезд, или к тому, что из Вашингтона? По существу весь Проект — это операция «выжимания лимона», то есть мы выжимаем, как лимон, смысл космического Послания; но горе власти имущим и их слугам, если его действительно удастся выжать.

Такими вечерними беседами мы развлекались на втором году работ Проекта, во все более ощутимой атмосфере недобрых предчувствий, предвещающих те события, что придали операции «выжимания лимона» уже не проницательский, а зловещий смысл.

Х

Чтобы впервые увидеть Лягушачью Икру в лаборатории Ромни, мне пришлось проделать традиционную уже процедуру, обязательную для всех прибывающих извне. Сначала я выслушал ту краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше; затем, после двухминутного путешествия подземкой, попал в здание химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале, под двухэтажным прозрачным колпаком трехмерную модель одной молекулы Лягушачьей Икры, похожую на скелет дафнии, увеличенный до размеров атлантозавра.

Отдельные атомные группы походили на гроздья — черные, пурпурные, лиловые и белые шары, соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, щелочные группы

и похожие на странные цветы «молекулярные рефлекторы», которые поглощали энергию, возникающую при ядерных реакциях. Реакции эти мне демонстрировали, включая устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил — и мог идти дальше.

Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах здания, под контролем программных устройств, в резервуарах, окруженных изолирующими цилиндрическими оболочками, потому что на некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение (однако в конце реакции оно исчезало). Главный зал синтеза был размером в четыре тысячи квадратных метров. Отсюда дорога вела к так называемой «серебряной» части подземелья, где, как в сокровищнице, покоилась пересланная со звезд субстанция. Там было полукруглое помещение, точнее — камера без окон, с зеркально отполированными серебряными стенами; тогда я знал, зачем это нужно, но теперь уже забыл. Залитый холодным светом люминесцентных ламп, на массивном постаменте стоял стеклянный резервуар, похожий на большой аквариум; он был почти пуст — только на дне его лежал слой ярко опалесцирующей неподвижной синеватой жидкости.

Стеклянная стена делила помещение на две части; напротив резервуара в ней зияло отверстие, куда был вмонтирован дистанционный манипулятор, окруженный массивным воротником. Марш наклонил щипцы, похожие на хирургический инструмент, к поверхности жидкости, а когда поднял их, за ними потянулась сверкающая на свету нить, ничуть не похожая на клейкую жидкость. Словно бы этот раствор выделил из себя эластичное, но достаточно крепкое волокно, которое слегка вибрировало, как струна. Когда Марш снова опустил манипулятор и ловко встряхнул его так, что волокно оторвалось, поверхность жидкости, сверкающая отраженным светом, не расступилась.

лась; волокно съежилось, стало толще, превратилось в сверкающую личинку и поползло, совсем как гусеница, а когда уткнулось в стекло, остановилось и повернуло обратно. Путешествие длилось около минуты, потом это диковинное создание расплылось, его очертания будто растаяли, и его снова всосало материнское лоно.

Сам по себе этот трюк с «гусеницей», впрочем, особого значения не имел. Но когда погасли все огни и опыт повторили в темноте, я в какое-то мгновение увидел очень слабую, но явственную вспышку — будто между дном и крышкой резервуара на миг зажглась крохотная звездочка. Марш объяснил мне, что это была не люминесценция. Когда нить разрывается, в месте разрыва образуется мономолекулярный слой, который уже не может держать под своим контролем ядерные процессы. Тогда возникает нечто вроде микроскопической цепной реакции; вспышка — это уже вторичный эффект: возбужденные электроны, попадая на более высокие энергетические уровни, а затем внезапно сваливаясь с них, выделяют эквивалентное количество фотонов.

Я спросил, имеются ли какие-нибудь перспективы практического использования Лягушачьей Икры. Надежд у них теперь было меньше, чем сразу после синтеза, ибо Лягушачья Икра вела себя подобно живой ткани — в том смысле, что не позволяла изъять свою нуклеарную энергию так же, как живая ткань использует свою химическую энергию только для себя самой.

В лаборатории Гроттуса, который синтезировал Повелителя Мух, порядки были совершенно иные; в подземелье там спускались, соблюдая чрезвычайные предосторожности. По правде говоря, я не знаю, то ли Повелителя Мух поместили двумя этажами ниже уровня земли потому, что его так называли, то ли его называли так потому, что он был создан в подземных помещениях, наводящих на мысль о царстве Аида.

Еще в лаборатории мы облачились в защитную одежду — прозрачный комбинезон с капюшоном и кислородный баллон на лямках. Эта хлопотливая процедура при всей ее деловой основе имела некоторый ритуальный оттенок. Насколько мне известно, никто еще не исследовал поведение ученых в их лабораториях с этнографической точки зрения, хотя я не сомневаюсь, что не все в их действиях обусловлено необходимостью. Подготовку и проведение эксперимента можно осуществлять очень по-разному, но раз уж утвердился некий образ действий, он становится в данном кругу, в данной научной школе привычкой, имеющей силу норм, чуть ли не догмы.

К Повелителю Мух я спускался с двумя сопровождающими; роль гида выполнял малыш Гротius. Двинулись мы в путь лишь после того, как нам накачали кислород внутрь прозрачных комбинезонов, манипулируя всякими рычажками, и мы стали похожи на сверкающие воздушные шары с зернышком-человеком внутри. Перед выходом костюм еще проверили на герметичность очень простым способом — поднося пламя свечи к тем местам комбинезона, где давление слегка превышало атмосферное; это напоминало магический обряд — что-то вроде снятия чар.

В отдельном помещении находился облицованный вход в вертикальный колодец. Один за другим спустились мы в них по стальной лесенке, вмурованной в стенки колодца, противно шелестя комбинезонами.

Внизу тянулся узкий проход, освещавшийся зарепеченными лампами, — что-то вроде штрека в старых шахтах. Несколькими десятками метров дальше стены засверкали — они были покрыты зеркально отполированными листами серебра. Это была единственная деталь, напоминавшая «серебряное» подземелье биофизиков.

Напрасно я оглядывался вокруг в поисках дальнейшей дороги — коридор здесь кончался тупиком. Сбоку, на уровне лица, виднелась стальная дверца; Гротius ее отпер, и

тогда в толстой стене открылась ниша вроде амбразуры. Оба мои спутника отступили, чтобы я мог как следует взглянуть внутрь. С противоположной стороны отверстие закрывал красновато поблескивающий пласт, словно кусок мяса плотно прижали к толстому стеклу. Сквозь капюшон, закрывающий лицо, сквозь ровную струю кислорода, льющуюся из баллона, я ощутил кожей лба и скул какое-то давление. Приглядевшись, я заметил очень медленное, но вполне равномерное движение — как будто гигантская улитка с содранной раковиной присосалась к стеклу и пыталась ползти, тщетно сокращая мускулы. Эта масса, казалось, давила на стекло с неведомой силой; неторопливо, но неустанно она ползла на месте.

Гротius вежливо, но решительно отодвинул меня от ниши, снова запер бронированную дверцу и достал из висевшего на плече вещмешка стеклянную колбу, по стенкам которой ползало несколько обычных комнатных мух. Когда он поднес колбу к закрытой дверце, — он сделал это хорошо рассчитанным и в то же время торжественным движением, — мухи сначала застыли на месте, потом распустили крылышки и мгновение спустя закружились в колбе обезумевшими черными комочками; мне показалось, что я слышу их пронзительное жужжанье. Гротius еще ближе придвинул колбу к дверце — мухи забились еще отчаянней; потом он спрятал колбу обратно и направился к выходу.

Наконец-то я узнал, откуда взялось это название! Повелитель Мух, попросту говоря, был Лягушачьей Икрой — только здесь ее было много больше, около двухсот литров; с увеличением объема она постепенно изменяла свойства. Что же касается действительно странного ее влияния на мух, то никто не имел ни малейшего понятия о его механизме — тем более что такое влияние она оказывала лишь на немногих перепончатокрылых. Пауки, жуки и множество других насекомых, которых биологи терпеливо подно-

сили к дверце, вообще не реагировали на присутствие субстанции, разогретой внутренними ядерными реакциями. Эффект этот не обнаруживался также у мух, брюшные узлы которых были предварительно парализованы. Но это было в сущности тривиальное утверждение. Несчастных мух одурманивали, вырезали у них поочередно все, что только можно, лишали подвижности то ножки, то крылышки, а в конце концов только то и выяснили, что толстый слой диэлектрика эффективно экранирует влияние: значит, это физический эффект, а не чудо. Ну еще бы. Но по-прежнему неизвестно было, чем он вызван. Меня заверили, что все это разъяснится — над этой проблемой работает специальная группа биоников и физиков. Если они что и открыли, я об этом по сей день ничего не знаю.

Впрочем, Повелитель Мух не был опасен для живых организмов, находящихся поблизости от него; даже мухам, в конце концов, ничего не делалось.

XI

С наступлением осени — лишь календарной, ибо солнце стояло над пустыней, словно в августе, — я снова, хоть и не скажу чтобы с новыми силами, принялся за расшифровку сигнала. В своих рассуждениях я не только отодвигал на второй план синтез Лягушачьей Икры, который считался в Проекте высшим достижением и в техническом плане наверняка был таковым, я его по сути игнорировал, словно считал эту диковинную субстанцию артефактом*.

* Артефакт (*лат. arte* — искусственно + *factus* — сделанный) — биологические образования, или процессы, возникающие вследствие внешнего воздействия на объект, а по сути не свойственные этому объекту.

Некоторые уверяли, что я недоволен эмпириками: зачем они к загадке самого сигнала добавили еще и вторую — этот продукт неизвестного назначения.

Такое обвинение было явно не по адресу — ведь эффект Ромни тоже усложнял загадку, однако именно в нем я видел, тогда по крайней мере, некоторый шанс разгадать планы Отправителей, а отсюда — и само Послание. Надеюсь развить свою находчивость, я проштудировал множество трудов, посвященных расшифровке генетического кода человека и животных. Временами я смутно догадывался, что двойственность сигнала в известной степени аналогична двойственности любого организма, который одновременно является и самим собой, и носителем информации, адресованной в грядущее — иным поколениям.

Но что же, собственно, можно было сделать с этой аналогией? Арсенал понятий, который предоставляла в мое распоряжение эпоха, казался мне подчас ужасающе убогим. Наше познание достигло громадных размеров только по отношению к человеку, но не по отношению к миру. Между биологическими возможностями человека и авангардом нашей техники, которая растет в кумулятивном взрыве, на наших глазах возникает непреодолимо разрастающаяся пропасть. Мы переступили — неизвестно, когда — порог, за которым совокупностью накопленных знаний уже не может овладеть разум отдельного человека.

Не приумножать дальше без разбору эти знания, а сначала ликвидировать огромные их залежи, скопление второстепенной, а следовательно, излишней информации — вот что кажется мне первейшей обязанностью современной науки. Высокий уровень информационной техники породил ощущение, будто каждый, кто захочет, может познать все; но это — чистейшая иллюзия.

Если б человечество так непрестанно не терзали, не тревожили, не жгли мучительные противоречия, избыток, скапливающийся в некоторых пунктах земного шара, при

одновременной нехватке в других (а ведь решение этой проблемы, по крайней мере принципиальное, находится уже в пределах наших технических возможностей), — тогда оно, быть может, сумело бы осознать то, что тем временем происходит «само собой», самотеком, без всякого контроля. Люди все еще, как в прежние века, принимают земной шар (теперь уже — вместе с окружающим его космическим пространством вплоть до Луны) за шахматную доску для состязаний и сведения счетов; между тем эта доска перестала быть нерушимой опорой и походит скорее на плот, который раскалывают удары незримых течений, несущих его в такую сторону, куда никто не смотрел.

Я прошу прощения за такую метафоричность. Но ведь хотя футурологи и размножились, словно грибы, с той поры как Герман Кан* онаучил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя целиком на милость и немилость технологической эволюции. Читатель футурологических трудов получал кривые и таблицы, напечатанные на роскошной мелованной бумаге и сообщающие о том, когда появятся термоядерные реакторы и когда внедрят в промышленность телепатические свойства мозга. Будущие эти открытия прогнозировались с помощью коллективных голосований в кругу соответствующих специалистов, и возникала ситуация, куда более опасная, ибо она рождала иллюзию точного знания там, где раньше, по всеобщему убеждению, царил полнейшее неведение.

* Герман Кан — идеолог империалистической реакции, американский футуролог, руководитель Гудзоновского института — одного из крупнейших научно-исследовательских футурологических центров США, известен как автор книги «2000-й год» (совместно с А. Винером). В данном случае речь идет о пессимистических прогнозах Кана, изложенных им в книге «Термоядерная война» (1960 г.).

Когда я высказывал такие взгляды, меня пазывали пораженцем, особенно те ученые, которые отдали свою совесть на откуп государственному департаменту. Между тем нам давно бы уже следовало начертать на знаменах: «За благо рода человеческого!» и обуздать технологический взлет, чтобы он не превратился в упадок. Следовало бы координировать прогресс, а не доверяться его автоматически возрастающей самостоятельности. Ведь безумием было бы верить, будто делать все, что технически возможно, это то же самое, что вести себя мудро и осторожно. Не можем же мы все время рассчитывать на сверхъестественную благосклонность Природы! Мы превращаем природу в пищу для своих тел и машин и тем самым все глубже впускаем ее в недра нашей цивилизации. А вдруг окажется, что это — троянский конь, сладкий яд, убивающий не потому, что Природа желает нам зла, а потому, что мы действовали вслепую?

В своих поисках я не мог игнорировать такую возможность. Я должен был помнить о ней, когда размышлял над двусторонностью послания. Дипломаты в неизменных фраках уже ждали со сладостной дрожью той минуты, когда мы завершим наконец нашу неофициальную, второстепенную, подготовительную работу и они, все обвешанные орденами, помчатся к звездам, чтобы предъявить свои верительные грамоты и обменяться протокольными нотами с миллиардолетней цивилизацией.

Мы должны построить мост в космос.

А они перережут ленточку у входа.

Но как это выглядело в действительности? В каком-то закоулке Галактики некогда появились существа, которые осознали феноменальную редкость жизни и решили вмешаться в Космогонию, чтобы подправить ее. Наследники древней цивилизации, они, видимо, располагали чудовищным, невообразимым запасом познаний, раз уж сумели так тщательно сочетать жизнетворный импульс с

абсолютным невмешательством в любой локальный процесс эволюции. Операция эта была в основе своей весьма проста; только она повторялась в течение времени, сравнимого с вечностью, образуя как бы нерушимые берега, далеко отстоящие друг от друга, а между этими берегами уже сам по себе должен был начаться процесс специализации жизни. Поддержка была максимально осторожной. Никакой детализации, никаких конкретных указаний, никаких инструкций, физических или химических, — ничего, кроме стабилизации состояний, которые термодинамически являются маловероятными.

Этот усилитель вероятности был до крайности маломощен и оказывал влияние только потому, что он проникал сквозь любую преграду; вездесущий, он пронизывал какую-то часть Галактики (быть может, всю Галактику? — мы ведь не знали, сколько таких сигналов высылается). Это был не единовременный акт, а постоянное присутствие, которое соперничало постоянством со звездами и в то же время переставало действовать, как только желаемый процесс начинался, потому что влияние сигнала на уже сформировавшиеся организмы практически равнялось нулю.

Постоянство излучения меня потрясало. Конечно, могло быть и так, что Отправителей уже нет в живых, а процесс, запущенный их астроинженерами в недрах звезды или созвездия, будет длиться, покуда не иссякнет энергия передатчиков. В сопоставлении с такими масштабами засекреченность наших работ казалась мне преступлением. Ведь речь шла не о сенсационном открытии, даже не о массе таких открытий, а о том, чтобы мы раскрыли глаза на мир. До сих пор мы были слепыми щенками. Во мраке Галактики сиял разум, который не пытался навязать нам своего присутствия, а напротив, весьма старательно скрывал его.

Невыразимо плоскими казались мне прежние гипотезы, пользовавшиеся популярностью до возникновения Проекта; их создатели метались между двумя полюсами — между пессимизмом, который считал Молчание Вселенной ее естественным состоянием, и бездумным оптимизмом, который ожидал, что космические известия будут передаваться четко по складам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, должны общаться друг с другом на манер дошкольников. Разрушен еще один миф, думал я, и еще одна истина взошла над нами; и, как обычно при встрече с истиной, мы оказались не на высоте.

Оставалась другая, смысловая сторона сигнала.

Ребенок может понять отдельные фразы, вырванные из философского трактата, но он не способен охватить целое. Мы были в аналогичном положении. Ребенка может потрясти содержание отдельных фраз, и мы тоже дивились маленьким частичкам того, что расшифровали. Я долго корпел над звездным сигналом, постоянно возобновляя попытки разгадать его, и поэтому как-то странно сжился с ним; и много раз, сознавая, что он высится над мной, как гора, я смутно ощущал какое-то величие в его конструкциях — значит, математическое восприятие как бы сменялось эстетическим; впрочем, быть может, они сливались.

Каждая фраза книги что-то означает, даже будучи вырвана из контекста; но, находясь в контексте, она еще соединяется со значениями других фраз, предыдущих и последующих. Из такого взаимопроникновения, наслаивания и нарастающей фокусировки значений образуется, в конечном итоге, та запечатленная во времени мысль, которой является произведение.

В случае звездного сигнала следовало говорить уже не столько о значении, сколько о назначении его элементов — «псевдофраз». Этого назначения я не мог постигнуть, но сигнал несомненно обладал той внутренней, уже

чисто математической гармоничностью, которую в здании храма может уловить даже тот, кто не понимает назначения храма, не знает ни законов статики, ни архитектурных канонов, ни, наконец, стилей, воплощенных в формы этого здания. Именно так я смотрел на сигнал — и поражался. Необычность его текста заключалась в том, что он не имел никаких «чисто локальных» признаков. Замковый камень*, вынутый из арки, из-под тяжести, которую он предназначен нести, становится просто камнем — это можно назвать нелокальностью архитектуры. Синтез Лягушачьей Икры как раз был следствием того, что мы выдернули из сигнала отдельные «кирпичи» и произвольно наделили их атомными и стереохимическими «значениями». В этом было нечто варварское — все равно, как если бы «Моби Дика» использовали взамен руководства по разделке китов. Можно поступать и так, — описание охоты на китов содержится в «Моби Дике», и, хотя оно имеет там смысл абсолютно, диаметрально противоположный, этим можно пренебречь — можно разрезать текст на кусочки и произвольно их переставить. Выходит, что, несмотря на всю мудрость Отправителей, сигнал был настолько незащищен? Мне суждено было вскоре убедиться, что дело обстоит еще хуже, и мои опасения получили новую пищу — вот почему я не отказываюсь от этих сентиментальных рассуждений.

Как показал частотный анализ, определенные разделы сигнала как будто бы повторялись, точно слова в фразах, но различное соседство порождало некоторые небольшие различия в расположении импульсов, а это не было учтено нашей «двойственной» информационной гипотезой. Нетерпеливые эмпирики, которые всегда могли сослаться на сокровища, замкнутые в их «серебряных» подземельях,

* Замковый камень (*архит.*) — верхний средний камень или кирпич, замыкающий арку или свод.

упорно твердили, что эти различия — всего лишь деформация, вызванная многопарсекowym путешествием нейтринных потоков через космическую бездну, проявление и без того ничтожной в этих масштабах десинхронизации сигнала, его размазывания. Я решил проверить эти утверждения. Я потребовал, чтобы провели новую регистрацию сигнала, по крайней мере наиболее важной его части, и сопоставил полученный от астрофизиков новый текст с соответствующими отрезками пяти последовательных, независимых записей прежнего текста.

Странно, что никто этого прежде, в сущности, не сделал. Когда исследуется подлинность чьей-то подписи, можно достичь цели, сравнивая ряд подписей, — именно ряд, а не две подписи, ибо тогда обнаружатся их постоянные особенности в отличие от тех, что возникают под влиянием непрерывно меняющихся флуктуаций.

Мне удалось доказать, что «размазывание», «десинхронизация», «расплывание» сигнала существуют только в воображении моих оппонентов. Строгая повторяемость сохранялась до самого предела разрешающей силы аппаратуры, которой пользовались астрофизики, и так как трудно было предполагать, что текст передавался в расчете на аппаратуру именно с такой калибровкой, то это означало, что неизменность сигнала превосходит исследовательские средства, с помощью которых мы хотели обнаружить предел стабильности передатчика.

Это вызвало некоторое замешательство. С тех пор меня прозвали «пророком Отправителя» и еще «вопиющим в пустыне». Поэтому под конец сентября я работал, окруженный все возрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам, когда между моим внесловесным мышлением и текстом сигнала возникало такое родство, словно я уже постиг его почти целиком; я уже ощущал близость того берега, но никогда меня не хватало на последнее усилие.

Сейчас эти состояния кажутся мне обманчивыми. Впрочем, сейчас мне легче согласиться с тем, что дело было не во мне, что задача эта превышала силы любого человека. И в то же время я считал и считаю, что ее невозможно решить коллективной атакой, — преодолеть преграду должен был кто-то один, тот, кто отбросил бы заученные навыки мышления, — кто-то один или никто. Наверное, такое признание своего бессилия выглядит жалко — и эгоистично, быть может. Кажется, будто я ищу оправдания. Но если где и надо отбросить самолюбие, амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, — так именно в этом случае.

Удивительнее всего, что эта неудача, совершенно ведь несомненная, оставила в моей памяти какой-то возвышенный след, и те часы, те недели, когда я о них вспоминаю, мне дороги.

XII

К началу октября жара ничуть не спала — днем, разумеется, потому что ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не выходил наружу, а по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему холодно, отправлялся на короткие прогулки.

Я раньше не знал пустыни; она оказалась совершенно не похожей на мои представления о ней, сложившиеся на основе книг и фильмов. Она была и совершенно однообразной, и необычайно многоликой. Особенно привлекал меня вид движущихся дюн, этих медлительных высоких волн, своей строгой великолепной геометричностью воплощающих совершенство решений, которые принимает Природа там, где придирчивая, назойливая яростная стихия биосферы не вторгается в ее безжизненные области.

Возвращаясь однажды с прогулки, я встретил Дональда Протера — как выяснилось позже, не случайно. Проте-

ро, потомок старинного корнуэльского рода, остался англичанином больше, чем кто-либо из знакомых мне американцев. Восседаая в Совете между огромным Бэлойном и жердеобразным Диллом, на фоне беспокойного Раппопорта и рекламно-элегантного Ини, Протеро выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Он был воплощением нормы: обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, естественное спокойствие, никакой подчеркнутой жестикюляции — только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при всем том — первоклассный ум.

В детстве я искренне верил, что существует категория идеальных людей, к которой относятся прежде всего ученые, а самые святые среди них — это профессора университета. Реальность вынудила меня отказаться от таких идеализированных представлений.

Но я знал Дональда уже двадцать лет, и, что поделаешь, он вправду был таким идеальным ученым. Бэлойн, тоже могучий интеллект, но вместе с тем и грешник, помню, однажды настойчиво упрашивал Протеро, чтобы тот ради сближения с нами соизволил хоть один раз выдать какую-нибудь свою грязную тайну, в крайнем случае совершить какой-то проступок — это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протеро только усмехался, попыхивая трубкой.

В тот вечер мы шли по ложбине между откосами дюн, в красном свете заката, и наши тени ложились на песок, и каждая песчинка словно излучала лиловое свечение, как микроскопический язычок газового пламени, — и Протеро начал рассказывать мне о своей работе над «холодными» ядерными реакциями в Лягушачьей Икре. Я слушал его больше из вежливости и удивился, когда он сказал, что теперешняя ситуация напоминает ту, что была в Манхэттенском проекте.

— Если даже удастся запустить цепную реакцию в Лягушачьей Икре в больших масштабах,— заметил я,— нам все равно, пожалуй, ничто не грозит: мощность водородных бомб и без того технически безгранична.

Тогда Протеро спрятал свою трубку. Это был очень серьезный признак. Он порылся в кармане и протянул мне раскрученный ролик киноплёнки; источником света послужил для меня огромный красный диск солнца. Я ориентируюсь в микрофизике настолько, что распознал на снимках серию треков в малой пузырьковой камере.

Дональд стоял рядом и неторопливо указывал мне на некоторые необычные детали. В самом центре камеры находился крохотный, с булавочную головку, комочек Лягушачьей Икры, а звезда, образованная пунктирными треками ядерных осколков, виднелась рядом, за миллиметр от этой слизистой капельки. Я не увидел в этом ничего особенного, но последовали объяснения и новые снимки. Происходило нечто невероятное: даже если капельку экранировали со всех сторон свинцовой фольгой, звезды расколотых ядер появлялись вне этого панциря!

— Реакция вызывается дистанционно,— заключил Протеро.— Энергия исчезает в одной точке вместе с дробящимся атомом, который появляется в другом месте. Ты видал когда-нибудь, как фокусник прячет яйцо в карман, а вынимает его изо рта? Тут то же самое.

— Но ведь то — фокус! — Я все еще не мог, не хотел понять.— А тут... Что же, атомы в процессе распада проникают сквозь фольгу?

— Нет. Они просто исчезают в одном месте и появляются в другом.

— Но это же противоречит законам сохранения!

— Вовсе не обязательно. Ведь они совершают это невероятно быстро: тут исчезают, там появляются. Баланс энергии сохраняется. И знаешь, что их переносит таким

чудесным образом? Нейтринное поле. Причем поле, модулированное звездным сигналом!

Я знал, что это невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашем полушарии разбирается в ядерных реакциях, так именно он. Я спросил, каков радиус действия этого эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне.

— Я не знаю, каким он может быть. Во всяком случае, он не меньше диаметра моей камеры — два с половиной дюйма. Я повторял опыт в Вильсоновской камере — там десять дюймов.

— Ты можешь контролировать реакцию? То есть можешь сам определять конечную цель этих «перемещений»?

— С любой точностью. Цель определяется фазой там, где поле достигает максимума.

Я пытался понять, что же это за эффект. Ядра атомов распадались внутри Лягушачьей Икры, а треки тут же возникали снаружи. Дональд утверждал, что это явление лежит вне пределов нашей физики — с ее позиций оно исключается. Квантовые эффекты в таком микроскопическом масштабе не дозволены в рамках наших теорий.

Постепенно у него развязался язык. На след явления он вместе со своим сотрудником Мак-Хиллом напал случайно — когда пытался (собственно говоря, вслепую) повторить опыты Ромни, — но в физическом варианте. Он воздействовал на Лягушачью Икру излучением сигнала. Он понятия не имел, получится ли что-нибудь из этого. Получилось. Было это как раз перед его поездкой в Вашингтон. Во время его недельной отлучки Мак-Хилл по их совместному плану собрал установку больших размеров, которая давала возможность переносить и фокусировать реакции на расстояние в несколько метров.

Несколько метров?! Я подумал, что ослышался. Дональд — с видом человека, который узнал, что у него рак,

но феноменально владеет собой,— заметил, что в принципе возможно создать установку, позволяющую усилить эффект в миллионы раз — и по мощности, и по радиусу воздействия.

Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не сказал — даже членам Научного Совета. Он изложил мне свои соображения. Бэлойну он полностью доверял, но не хотел ставить его в трудное положение, потому что именно Айвор непосредственно отвечал перед администрацией за всю совокупность работ. Но тогда уж Дональд не мог сказать об этом и никому из остальных членов Совета. За своего Мак-Хилла он ручался. Я спросил, в какой мере. Дональд посмотрел на меня, потом пожал плечами. Он был человеком здравомыслящим и не мог не понимать, что начинается игра, ставки в которой слишком высоки, и ни за кого уже нельзя ручаться.

Хоть было довольно прохладно, я обливался потом во время дальнейшей нашей беседы. Дональд рассказал мне, зачем он ездил в Вашингтон. Он написал докладную записку по поводу Проекта и, никому об этом не сообщив, вручил ее Рашу, а теперь помчался за ответом, — Раш его вызвал. В докладной он разъяснял администрации, какой вред приносит засекречивание нашей работы. Он писал, что даже если мы получим какие-то сведения, увеличивающие наш военный потенциал, это вызовет только глобальное возрастание опасности, поскольку нынешнее состояние основано на шатком равновесии. Я спросил, какой же он получил ответ. Впрочем, об этом легко было догадаться.

— Я говорил с генералом. Он заявил мне, что они отлично понимают все, о чем я написал, но нам следует продолжать свою работу, поскольку неизвестно, не ведет ли противник точно такие же исследования: а значит, мы этими возможными открытиями не нарушим равновесие, но, напротив, восстановим его. В хорошую я влияю исто-

рию! — заключил он. — Можешь себе представить, как теперь будут за мной следовать!

Он вспомнил о нашем «приятеле», Вильгельме Ини. Я тоже не сомневался, что Ини уже получил соответствующие инструкции. Я спросил Дональда, не считает ли он, что исследования нужно прекратить, а установку попросту демонтировать или даже уничтожить. К сожалению, я знал, что он ответит.

— Нельзя закрыть однажды сделанное открытие. Это ничего не даст, кроме некоторой отсрочки. Биофизики уже составили план работы на следующий год. Я видел черновик. Они собираются делать нечто похожее на то, что делал я. У них есть камеры, есть хорошие ядерщики — Пикеринг, например, есть инвертор; во втором квартале они хотят исследовать эффекты микровзрывов в мономолекулярных слоях Лягушачьей Икры. Аппаратура у них автоматическая. Они будут делать по паре тысяч снимков в день, и эффект сам бросится им в глаза.

— В будущем году, — сказал я.

— В будущем году, — повторил он.

Не очень-то ясно было, что еще можно к этому добавить. Мы молча шли среди дюн; на горизонте едва светился краешек багрового солнца. Помню, что я видел все окружающее так отчетливо и оно казалось мне таким прекрасным, словно я вот-вот должен был умереть. Я хотел было спросить Дональда, почему он именно мне решил довериться, но не сделал этого. Действительно, тут уж нечего было сказать.

XIII

Без скорлупы профессиональных терминов эта проблема выглядела просто. Если Протеро не ошибся и его первоначальные результаты подтвердятся, значит, можно будет со скоростью света перебрасывать разрушительную

энергию начавшегося ядерного взрыва в любую намеченную точку земного шара.

При очередной встрече Дональд показал мне принципиальную схему аппаратуры и предварительные расчеты, из которых следовало, что если эффект останется линейным, то увеличивать его мощность и радиус действия можно будет беспредельно. Можно будет даже Луну взорвать, сосредоточив на Земле достаточное количество расщепляющегося материала и сфокусировав реакцию распада на Луну.

Ужасны это были дни, и, может, еще хуже были ночи, когда я ворочал в уме всю эту проблему то так, то эдак. Протеро требовалось еще некоторое время, чтобы смонтировать аппаратуру. За это взялся Мак-Хилл; мы же с Дональдом занялись теоретической обработкой данных, причем, естественно, речь шла о чисто феноменологическом подходе. Мы даже не договаривались, что будем делать это вместе — сотрудничество возникло как-то само собой. Впервые в жизни пришлось мне соблюдать при расчетах некий «минимум конспирации» — уничтожать все заметки, стирать записи в памяти цифровой машины и не звонить Дональду даже по нейтральным поводам, ибо внезапное учащение наших контактов тоже могло пробудить нежелательный интерес. Я несколько опасался проницательности Бэлойна и Раппопорта, но мы теперь виделись реже. Айвор был очень занят в связи с приближавшимся визитом влиятельного сенатора Мак-Магона, который имел массу заслуг и был приятелем Раша; Раппопортом же в это время завладели информационисты.

Я был членом Совета, одним из «большой пятерки», но «без портфеля», а значит, не принадлежал ни к одной из групп и мог свободно распоряжаться своим временем; поэтому мои долгие ночные бдения у главного компьютера не привлекали ничьего внимания. Выяснилось, что Мак-Магон придет раньше, чем Дональд закончит монтаж

аппаратуры. Не желая подавать подозрительных заявок в администрацию, Дональд попросту одалживал необходимые приборы в других отделах, что нередко случалось и раньше. Однако для остальных своих сотрудников ему пришлось придумать другую работу, вдобавок такую, которая не вызывала бы сомнений в ее целесообразности.

Трудно сказать, почему, собственно, мы так стремились ускорить эксперимент. Мы почти не говорили о каких бы то ни было возможных последствиях положительного (следовало бы сказать — отрицательного) результата опытов в большом масштабе; но должен признаться, что в ночных раздумьях, ища выход, я взвешивал даже возможность объявить себя диктатором планеты или захватить эту власть вдвоем с Дональдом — разумеется, для всеобщего блага. Хотя известно, что ко всеобщему благу стремились чуть ли не все исторические деятели; известно также, чем обычно оборачивались эти стремления. Человек, обладающий аппаратом Протеро, в самом деле мог бы угрожать аннигиляцией всем армиям и странам. Однако такой вариант я не принимал всерьез. Не потому, что мне не хватало отчаянности — положение все равно уже было отчаянное, — но я был убежден, что эта попытка обязательно завершится катастрофой. Таким путем не утвердишь мира на Земле.

О всяком мировом кризисе можно рассуждать, применяя стратегическую терминологию, до тех пор, пока следствием такого подхода не становится перспектива нашей гибели как биологического вида. Когда же интересы вида становятся одним из членов уравнения, выбор уже автоматически предрешается, и апелляции к американскому патриотизму, демократии и так далее теряют всякий смысл. Того, кто занимает другую позицию в этом вопросе, я рассматриваю как потенциального убийцу человечества. Развитие технологии нарушает равновесие на-

шего мира, и ничто не спасет нас, если, осознав положение, мы не сделаем из этого практических выводов.

Сенатор наконец появился в сопровождении свиты и был принят с надлежащими почестями; он оказался человеком тактичным и не пускался с нами в разговоры наподобие тех, что Белый ведет с туземцами.

Близился новый бюджетный год, и поэтому Бэлойн был крайне заинтересован в том, чтобы максимально расположить сенатора к работе и достижениям Проекта. Веря в свои дипломатические способности, он старался полностью оккупировать внимание Мак-Магона. Но тот ловко вывернулся и выразил желание побеседовать за обедом со мной. Как я позже понял, дело было в том, что в Вашингтоне среди посвященных меня уже считали «лидером оппозиции», и сенатор хотел выяснить, каково же мое *votum separatum* *.

Во время обеда я об этом вообще-то и думать не думал. Бэлойн, более искушенный в такого рода делах и комбинациях, все пытался преподать мне соответствующую «установку», но между нами сидел сенатор, так что Бэлойн молча сигнализировал мне, строя мины; он старался сделать их и красноречиво-многозначительными, и таинственными, и предостерегающими в одно и то же время. Он раньше не удосужился дать мне инструкции и теперь хотел исправить эту ошибку, так что, когда мы вставали из-за стола, он было рванулся ко мне, но Мак-Магон дружески обнял меня за талию и повел в свои апартаменты.

Он угостил меня отличным мартелем, который, видимо, привез с собой — в ресторане нашей гостиницы я такого что-то не приметил. Передал мне приветы от общих знакомых, поговорил о том, что он, к сожалению, не способен даже прочесть те работы, которые принесли мне

* *Votum separatum* (лат.) — особое мнение.

славу, и вдруг, небрежным тоном, словно бы от нечего делать, спросил, расшифрован или все же не расшифрован сигнал. Тут-то он и попался.

Разговор шел с глазу на глаз — всю сенаторскую свиту в это время водили по тем лабораториям, которые мы называли «выставочными».

— И да, и нет,— ответил я.— Смогли бы вы установить контакт с двухлетним ребенком? Конечно, смогли бы, если б преднамеренно обращались к нему,— но что поймет ребенок из вашей бюджетной речи в сенате?

— Ничего не поймет,— согласился он.— Но почему же вы сказали «и да, и нет», когда на самом деле есть только «нет»?

— Потому что мы все же кое-что знаем. Вы видели наши «экспонаты»...

— Я слышал о вашей работе. Вы доказали, что Письмо является описанием какого-то объекта, правильно? Значит, Лягушачья Икра представляет собой частицу этого объекта, разве не так?

— Сенатор,— сказал я,— пожалуйста, не обижайтесь, если то, что я скажу, прозвучит для вас не слишком ясно. Тут я ничего не могу поделать. Для неспециалиста самое непонятное в нашей работе — а точнее, в наших неудачах,— это то, что мы частично вроде бы расшифровали сигнал, и на этом застряли, хотя специалисты по кодам утверждают, что если код удалось расшифровать частично, то уж дальше все пойдет как по маслу. Верно? Но, видите ли, существуют, в самом общем смысле, два типа языков: обычные языки, которыми пользуются люди, а кроме того, языки, которые не были созданы человеком. На языке второго типа беседуют друг с другом организмы: я имею в виду так называемый генетический код. Этот код не является разновидностью обычного языка, ибо он не только содержит информацию о строении организма, но сам способен превратить эту информацию в такой ор-

ганизм. Следовательно, этот код находится вне рамок культуры. Чтобы понять естественный язык людей, необходимо хоть немного ознакомиться с их культурой. А для того, чтобы понять код наследственный, вовсе не нужно знать хоть что-нибудь о свойствах культуры. Для этого хватит соответствующих сведений из области физики, химии и так далее.

— Ваш частичный успех означает, что Письмо написано на языке, похожем на язык наследственности?

— Если б было только так, мы не испытывали бы серьезных затруднений. В действительности дело обстоит хуже, потому что, как обычно, все гораздо сложнее. Математическое доказательство, о котором вы упоминали, свидетельствует лишь о том, что Письмо написано не на такого рода языке, как тот, которым мы с вами пользуемся в данный момент. Мы не знаем никаких других языков, кроме наследственного кода и естественного языка, но из этого еще не следует, что их нет. Я допускаю, что такие «иные языки» существуют и что на одном из них написано Письмо.

— И как же выглядит этот «иной язык»?

— На это я могу вам ответить только в самых общих чертах. То, что порождено культурой, и то, что порождено «природой», то есть самой действительностью, можно обнаружить в любом произвольно взятом высказывании как двухкомпонентную «смесь». В языке политических лозунгов республиканской партии процентная примесь «культуры» весьма значительна, а то, что не зависит от культуры и идет «прямо из жизни», находится там в незначительном количестве. В языке, которым пользуется физика, все обстоит наоборот — в нем много «естественного», того, что происходит «из самой природы», и мало того, что сформировано культурой. Но достигнуть полной «акультурной» чистоты языка в принципе невозможно. Пред-

ставление о том, что можно, посылая другой цивилизации модели атомов в конверте, изгнать из подобного «письма» всякие культурные примеси,— это представление, основанное на иллюзии. Такие примеси можно значительно уменьшить, но никто и никогда во всей Вселенной не сможет свести их к нулю.

— Значит, Письмо написано на «акультурном» языке, но содержит примесь культуры Отправителей? Да? В этом и состоит трудность?

— В этом состоит одна из трудностей. Отправители отличаются от нас как культурой, так и познаниями — назовем их природоведческими познаниями. Поэтому трудность по меньшей мере двойного порядка. Догадаться, какова их культура, мы не сможем — ни сейчас, ни, я полагаю, через тысячу лет. Это они должны отлично понимать. Поэтому они почти наверняка выслали такую информацию, для расшифровки которой не требуется знакомства с их культурой.

— Но тогда этот культурный фактор не должен вам препятствовать?

— Мы даже не знаем, что, собственно, больше всего нам препятствует. Мы оценили Письмо в целом с точки зрения его сложности. Эта сложность приблизительно соответствует классу известных нам систем — общественных и биологических. Никаких математических теорий общественных систем у нас нет; поэтому нам пришлось использовать в качестве моделей, «подставляемых» к Письму, генотипы — точнее, не сами генотипы, а тот математический аппарат, которым пользуются при их изучении. Мы выяснили, что объектом, наиболее адекватным сигналу, является живая клетка, а может быть, и живой организм в целом. Из этого вовсе не следует, что Письмо действительно является каким-то генотипом; но только из всех известных нам объектов, которые мы для сравнения «подставляем» к Письму, генотип наиболее пригоден. Вы

понимаете, какой огромный риск порождает подобная ситуация?

— Не очень понимаю. Не очень. Может, весь риск состоит в том, что если это все же никакой не генотип, то вам не удастся его расшифровать?

— Мы поступаем, как человек, который ищет свою пропажу не всюду, а только под фонарем, потому что там светло. Вы знаете, как выглядят ленты для пианолы? Для автоматического пианино?

— Да. Это ленты с соответствующей перфорацией.

— Так вот, для пианолы может случайно подойти лента с программой цифровой машины, и хотя эта программа не имеет совершенно ничего общего с музыкой — она может относиться, например, к какому-нибудь уравнению пятой степени, — но, если ее введут в пианолу, она будет порождать звуки. И может случиться, что не все эти звуки будут абсолютно хаотичны, что там и сям послышится какая-то музыкальная фраза. Вы догадываетесь, почему я выбрал этот пример?

— Пожалуй. Вы думаете, что Лягушачья Икра — это музыкальная фраза, которая возникла, когда в пианолу заложили ленту, предназначенную в сущности для цифровой машины?

— Да. Именно так я и думаю. Тот, кто использует цифровую ленту для пианолы, совершает ошибку, и вполне возможно, что мы именно такую свою ошибку приняли за успех.

— Но две ваши лаборатории совершенно независимо друг от друга синтезировали Лягушачью Икру и Повелителя Мух, — а ведь это одна и та же субстанция!

— Если у вас дома есть пианола и вы ничего не слышали о существовании цифровых машин так же, как и ваш сосед, и если вы где-то найдете цифровые ленты, то оба вы, вероятно, поступите одинаково — сочтете, что эти

ленты предназначены для пианолы, так как о других возможностях вы ничего не знаете.

— Понимаю. Это, наверное, ваша гипотеза?

— Да, это моя гипотеза.

— Вы что-то говорили о большом риске. В чем он состоит?

— Спутать ленту машины с лентой для пианолы — это, разумеется, неопасно, это всего лишь безобидное недоразумение, но в нашем случае может получиться иначе и ошибка может привести к непредвиденным последствиям.

— Каким образом?

— Этого я не знаю. Я имею в виду ошибку такого рода: допустим, кто-то прочел в поваренной книге слово «сахарин» как «стрихнин» и приготовил блюдо, от которого умрут все участники пиршества. Прошу помнить — мы делали то, что могли делать, и таким образом навязали сигналу наши знания, наши, быть может, упрощенные, быть может, ложные суждения.

Мак-Магон хотел выяснить, как же это возможно, если наша работа так похожа на расшифровку. Он видел Повелителя Мух. Разве можно неправильно расшифровать код и все же получить такие поразительные результаты? Разве отрывок перевода, каковым является Повелитель Мух, может быть совершенно ошибочным?

— Может, — ответил я. — Если б мы переслали по телеграфу генотип человека, а получатель смог бы на основе этого текста изготовить только лейкоциты, то он имел бы что-то вроде амёб и множество неиспользованной информации. Нельзя утверждать, что тот, кто синтезирует лейкоциты на основе генотипа человека, правильно прочитал сообщение.

— Так велика разница?

— Да. Мы использовали от двух до четырех процентов всей информации сигнала, но и это еще не все, — потому

что и эти немногие проценты могут состоять, скажем, на одну треть из наших же домыслов, из того, что мы сами вложили в перевод на основе наших познаний в стереохимии, физике и так далее. Если бы человеческий генотип расшифровали на таком же низком уровне, то и лейкоцитов не удалось бы получить. В лучшем случае, создали бы что-нибудь вроде мертвой белковой взвеси, не больше. Впрочем, я думаю, что провести такие эксперименты на человеческом генотипе, который уже расшифрован процентов на семьдесят, было бы для нас необычайно поучительно. Но у нас на это нет ни времени, ни денег.

Он спросил, как я оцениваю разницу в развитии между нами и Отправителями, и я сказал, что хотя по статистике фон Хорнера и Брайсуэлла наиболее вероятно встреча с цивилизацией, насчитывающей около 12 000 лет, мне кажется вполне реальным и миллиардолетний возраст Отправителей. В противном случае передачу «жизнотворного» сигнала нельзя было бы логически обосновать: ведь за дюжину тысячелетий он ничего не успеет сделать.

— На долгий срок, должно быть, они выбирают свое правительство,— заметил Мак-Магон.

Его интересовало еще мнение о целесообразности дальнейших работ, коль скоро дела обстоят таким образом.

— Мы можем долгие века питаться крохами со стола высокоразвитой цивилизации. Если будем вести себя благоразумно...

Тут я, может, и добавил бы еще кое-что, да прикусил язык.

Мак-Магон пожелал выяснить мое личное мнение о Письме и Отправителях.

— Они не рационалисты, в нашем понимании по крайней мере,— сказал я.— Знаете ли вы, сенатор, какая у них «себестоимость»? Допустим, что они располагают энергией порядка 10^{49} эргов. Тогда мощность отдельной звезды — а именно такая мощность нужна для посылки сигнала —

для них то же самое, что для нас в Штатах — мощность большой электростанции. Разве наше правительство согласилось бы расходовать в течение сотен и тысяч лет мощность такого комплекса, как Боулдер-Дэм, чтобы помочь возникновению жизни на планетах других звезд?

— Мы слишком бедны.

— А ведь доля энергии, израсходованной на столь благородную цель, одинакова в обоих случаях.

— Десять центов по отношению к доллару — это не то же самое в финансовом смысле, что миллион по отношению к десяти миллионам.

— Да у нас ведь именно миллионы. Физическое расстояние, отделяющее нас от этой цивилизации, меньше, чем моральная дистанция между нами, — ведь у нас масса людей умирает от голода здесь, на Земле, а они заботятся о том, чтобы возникла жизнь на планетах Центавра, Лебедя и Кассиопеи. Я не знаю содержания Письма, но при их альтруизме там не может быть ничего такого, что могло бы нам повредить. Одно слишком противоречит другому. Конечно, даже хлебом можно подавиться. Я рассуждаю так: если мы с нашими обычаями, с нашей историей являемся типичными для космоса, то Письмо нам ничем не угрожает. Ведь вы об этом спрашивали, правда? Отправители должны достаточно хорошо знать космический «тип психозои́ка». Если мы представляем собой отклонение, меньшинство, то они и это примут, точнее, должны были принять во внимание. Но если мы — редчайшее исключение, чудовище, диковинка, которая попадает раз в десять миллиардов лет в одной галактике из тысячи, — такую возможность они могли не учитывать в своих расчетах и планах. Так или эдак, они останутся невинными.

— Вы произнесли это, как Кассандра, — сказал Мак-Магон, и я видел, что ему было не до шуток; впрочем, мне тоже.

Мы еще немного поговорили, но я не сказал ничего такого, из чего можно было бы заключить — или хотя бы заподозрить, — что Проект вступил в новую фазу. Однако при расставании я чувствовал себя неловко — мне все же казалось, что я говорил слишком много, особенно под конец. Видимо, я производил впечатление Кассандры больше из-за мимики и интонации, чем из-за слов, — ведь я следил прежде всего за словами.

Сенатор еще оставался у нас, когда я вернулся к своим расчетам. С Бэлойном я увиделся только после его отъезда. Айвор был раздражен и удручен.

— К нам должен приехать Лирней, — сказал он. — С какой-то теорией о природе сигнала. С какой-то своей гипотезой. Не знаю точнее, в чем дело, потому что Мак-Магон сказал мне это буквально в последнюю минуту, когда садился в машину.

Лирней я знал: это был космогонист, один из бывших учеников Хайакавы — бывших, так как некоторые утверждали, что он уже перерос своего наставника. Я только не понимал, почему он мог заинтересоваться нашими делами и откуда вообще узнал о Проекте.

— На каком свете ты живешь? — возмутился Бэлойн. — Неужели ты не понимаешь, что администрация дублирует нашу работу?! Мало им, что они следят за каждым нашим шагом, так еще и это!

Мне не хотелось этому верить. Я спросил, откуда он об этом знает, да и возможно ли вообще, чтобы существовал какой-то Контрпроект, своего рода параллельный контроль наших действий. Бэлойн, по-видимому, никаких подробностей не знал, а он терпеть не мог признаваться в таком неведении, поэтому до предела взвинтил себя и, уже при Дилле и Протеро, подошедших к тому времени, закричал, что в этой ситуации он собственно должен подать в отставку! Мы общими силами начали его убеждать, он признал нашу правоту и приутих.

Вскоре выяснилось, что подготовка займет у Дональда больше времени, чем он предполагал. Мне тоже приходилось нелегко — теоретические расчеты становились все запутанней, я прибегал к разным фокусам, «личного» арифмометра мне уже не хватало, я то и дело ходил в главный вычислительный центр, а это было не слишком приятно, потому что стояла пора ураганных ветров и достаточно было пройти по улице сотню шагов, чтобы песок набился в уши, в рот, в нос, даже за воротник. Мы с Дональдом разработали феноменологическую теорию, которая неплохо согласовалась с результатами экспериментов; но работала она только «вспять», то есть применительно к тому, что нам уже было известно; стоило увеличить масштаб эксперимента, и предсказания теории начинали расходиться с результатами опыта. Осуществить эффект Дональда — он получил название Экстран (Explosion transfer*) — было чрезвычайно легко. Протеро расплющивал комок Лягушачьей Икры между двумя стеклянными пластинками, и, как только слой становился мономолекулярным, на всей поверхности начиналась реакция распада, а если порции Икры были побольше, установка (старая модель) вдребезги разлеталась. Но никто не обращал на это внимания, хотя в лаборатории стоял такой грохот, гремели такие залпы, словно на полигоне, где испытывают взрывчатку. Когда я спросил об этом Дональда, тот, и глазом не моргнув, объяснил мне, что его сотрудники исследуют распространение баллистической волны в Лягушачьей Икре — такую он им придумал тему, и теперь этой канонадой весьма успешно маскировал свои собственные каверзы!

А у меня между тем теория расплзлась по всем швам — я видел, что, собственно, она давно уже не существует, только не хотел признаваться в этом даже самому себе. Эти теоретические изыскания были тем труднее, что

* Explosion transfer (англ.) — перенос взрыва.

у меня к ним не лежала душа. Как иногда случается, слова, которые я сказал Мак-Магону, будто заворожили меня самого. Нередко опасения наши остаются как бы нереальными, несерьезными, пока их не сформулируешь отчетливо. Именно так и получилось у меня. Лягушачья Икра мне теперь безусловно казалась артефактом, результатом неправильной расшифровки сигнала.

Я представлял себе это так. Отправители наверняка не намеревались посылать нам ящик Пандоры; но мы, как взломщики, сорвали замки и оттиснули на извлеченной добыче самые корыстные, грабительские аспекты земной науки. Да ведь и недаром же, думал я, атомная физика добилась успеха именно там, где появилась возможность овладеть самой разрушительной энергией.

В первых числах ноября установка была запущена, но предварительные испытания, проводившиеся в малом масштабе, не удавались — взрывы неоднократно давали большой разброс; в конце концов один из них произошел за пределами основного экранирующего щита и, несмотря на ничтожную мощность, вызвал скачок радиации до 60 рентген; пришлось установить вокруг экрана еще одну, внешнюю защиту. Такую массивную стену уже нельзя было скрыть. И действительно, Ини, который до тех пор даже не бывал в физических лабораториях, теперь несколько раз появился у Дональда; и то, что он ни о чем не спрашивал, только сновал по лаборатории да приглядывался, тоже ничего хорошего не сулило. В конце концов Дональд выпроводил его, объяснив, что он мешает сотрудникам. Я обругал его за это, но хладнокровный Дональд возразил, что дело так или иначе скоро решится, а до той поры он не пустит Ини на порог.

Сейчас, вспоминая все это, я вижу, как неразумно мы оба поступали — более того, даже бессмысленно. Я и теперь не знаю, что же следовало делать; но вся эта наша подпольная деятельность — иначе ее не назовешь — только

одним и была хороша: мы сохраняли иллюзию, что руки у нас чистые.

Протеро питал смутные надежды на то, что в большом масштабе Экстран даст нечто вроде рикошета. Это действительно вытекало из исходной теории; но, во-первых, уже выяснилось, что сама теория никуда не годится, во-вторых же, этот запасной выход приоткрывался только при условии, что за основу будут приняты определенные постулаты, а эти постулаты на следующем этапе приводили к отрицательным вероятностям.

Бэллойна я в этот период избегал как мог, потому что совесть моя по отношению к нему была нечиста. Но его удручали иные заботы — мы теперь ждали еще одного «внепроектного» человека, кроме Лирнея; оба они собирались осчастливить нас своими докладами в конце месяца, и такое открытое признание Вашингтона, что он имеет «собственных» специалистов по «Голосу Неба», к тому же работающих без малейшего контакта с нами, ставило Бэллойна в чрезвычайно сложное и неприятное положение перед всеми сотрудниками.

Я завершил расчеты, необходимые Дональду, но у него еще не была готова установка. Оставшись без дела, я не находил себе места, наконец пошел в вычислительный центр и, тщательно запершись, занялся расчетами, которых от меня никто уже не требовал.

Я снова работал с опорощенной, так сказать, формулой Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии. Я оценил расчетную мощность инверторов и передатчиков взрыва при дальности, равной диаметру земного шара; некоторые технические трудности, возникшие при этом, увлекли меня, но не надолго. Удар, нанесенный с помощью эффекта Экстран, исключал всякое упреждение. Попросту в некий момент земля под ногами у людей должна была превратиться в солнечную плазму. Взрыв можно было вызвать и не на поверхности Земли, а под нею и притом на любой

глубине. Так что стальные заградительные плиты, равно как и весь массив Скалистых гор, которые должны были защитить штабы в огромных подземных бункерах, теряли всякое значение. Не было надежды даже на то, что генералы, эти наиболее ценные люди нашего общества (если ценность личности измерять средствами, вложенными в охрану ее здоровья и жизни), выберутся потом из своих бункеров на сожженную радиацией поверхность Земли и, сняв пока что ненужные мундиры, примутся восстанавливать цивилизацию, начиная с фундамента. Теперь последний из бедняков в трущобах подвергался той же опасности, что и первый из руководителей ядерной боевой техники.

Машина грела мне ноги легким теплым дыханием, пробивавшимся сквозь щели металлических жалюзи, и деловито выстукивала на лентах колонки цифр; ей-то было все равно, означают ли эти цифры гигатонны, мегатрупы или же количество песчинок на атлантических пляжах.

В этой ситуации не существовало выигрышной стратегии. Если уж очаг взрыва можно перенести из любого пункта земного шара в любой другой, — значит, можно уничтожить все живое на пространстве какой угодно величины.

С точки зрения энергетики классический ядерный взрыв является расточительством, ибо в эпицентре его происходит «сверхубийство». Здания и тела разрушаются в тысячи раз основательнее, чем это требуется для военных целей, и в то же время ослабление поражающей силы по мере удаления от эпицентра позволяет выжить — в сравнительно простом убежище — уже на расстоянии какого-нибудь десятка миль.

С точки зрения экономности Экстран был идеальным средством. Огненные шары классических взрывов с его помощью можно было расплющить, раскатать в виде смертоносной пленки и подстелить ее под ноги людям на всей

территории Азии или Соединенных Штатов. Этот тончайший локализованный в пространстве слой, выделенный из геологической коры континентов, можно было моментально превратить в огненную трясину. На каждого человека приходилось как раз столько высвобожденной энергии, сколько необходимо было для его смерти. Но у гибнущих штабов оставались считанные мгновения, чтобы отдать приказ подводным лодкам с ядерными ракетами. Умиравший еще мог уничтожить противника. А если он мог, то следовало ожидать, что он так и поступит. Значит, дверь технологической ловушки наконец захлопнулась!

Я искал выход, рассуждая с позиций глобальной стратегии, но после расчетов все мои варианты рушились. Я работал быстро и умело, но пальцы у меня дрожали, а когда я наклонялся над выползающей из машины лентой, чтобы прочесть результаты, сердце бешено колотилось, я чувствовал палящую сухость во рту и колики в животе, словно кто-то туго перевязал мне кишки, так что в них врезалась веревка. Я наблюдал эти симптомы висцеральной * паники своего организма с холодной насмешкой — как будто страх сообщился только моим мышцам и кишечнику. Я не ощущал ни голода, ни жажды, поглощая и впитывая колонки цифр, и почти пять часов подряд задавал машине все новые и новые программы. Вырванные из кассет ленты я комкал и совал себе в карман. Наконец я понял, что работаю уже впустую.

На улицу я вышел, как в чад. Смеркалось; поселок, залитый ртутным сиянием фонарей, врезался искрящимися очертаниями в темноту пустыни, и только в менее освещенных местах можно было заметить звезды на темном небе. Я нарушил слово, которое дал Дональду, и пошел к

* Висцеральный (лат. *viscera* — внутренности), анат.— внутренностный, относящийся к внутренним органам животного организма.

Раппопорту. Он был дома. Я вкратце рассказал ему все. Он оказался на высоте — задал всего лишь три-четыре вопроса, которые свидетельствовали о том, что он сразу ухватил всю значимость открытия и его последствия. То, что мы работали тайком, его ничуть не удивило. Он вообще не обратил на это внимания.

Не помню, что он сказал, просмотрев ленты, но из его слов я понял, что он чуть ли не с самого начала ожидал чего-то подобного. Страх неотступно ходил за ним, и теперь, когда его предчувствия сбылись, он ощутил даже некоторое облегчение — то ли от интеллектуального удовлетворения, то ли попросту от сознания конца. Видно, я был потрясен сильнее, чем полагал, потому что Раппопорт занялся сначала мною, а не гибелью человечества. Со времени скитаний по Европе у него сохранилась привычка, которая казалась мне смешной. Он следовал принципу *omnia mea tecum porto*, словно бы инстинктивно готовился к тому, что в любую минуту снова придется стать беженцем. Именно этим я объясняю, почему он хранил в чемоданах своего рода «неприкосновенный запас» — вплоть до кофеварки, сахара и сухарей. Была там и бутылка коньяку — она тоже очень пригодилась.

Началось то, что мы позже назвали погребальным пиршеством. Правда, наш покойник был еще жив и даже не подозревал о своем неизбежном конце.

Мы пили кофе и коньяк, окруженные такой тишиной, словно находились в абсолютно безлюдном мире, словно уже совершилось то, чему лишь предстояло совершиться. Понимая друг друга с полуслова, обмениваясь обрывками фраз, мы прежде всего прикинули последовательность предстоящих событий.

У нас не было разногласий из-за сценария. Все средства будут брошены на создание установок Экстрана. Та-

* *Omnia mea tecum porto* (лат.) — все мое ношу с собою.

кие люди, как мы, уже не увидят дневного света. За свою скорую гибель пентагоновские вояки захотят прежде всего отомстить нам. Они не падут ниц и не поднимут лапки вверх. Поскольку рациональные действия окажутся невозможными, они примутся за иррациональные. Коль скоро ни горные хребты, ни километровой толщины сталь не смогут защитить от удара, они увидят спасение в секретности. Начнется размножение, рассредоточение и самопогребение штабов, причем главный штаб перейдет, наверное, на борт какой-нибудь гигантской атомной подводной лодки либо специально построенного батискафа, который будет следить за ходом событий, укрывшись на дне океана.

Следуя афоризму Паскаля о мыслящем тростнике, который стремится познать механизм собственной гибели, мы набросали в общих чертах контуры своей и чужой судьбы. Затем Раппопорт рассказал мне о попытке, которую он предпринял весной этого года. Он представил генералу Истерлэнду, который был тогда нашим шефом, проект соглашения с русскими. Раппопорт предлагал, чтобы мы выделили группу, которая по характеру и численности специалистов соответствовала бы группе, выделенной русскими для совместной работы над расшифровкой Послания. Истерлэнд снисходительно объяснил ему, какая это была бы наивность. Русские, сказал он, выделили бы какую-то группу для видимости, а тем временем сами работали бы над Посланием.

Мы взглянули друг на друга и засмеялись, потому что оба подумали об одном и том же. Истерлэнд просто-напросто рассказал ему то, о чем мы узнали только в эти дни. Уже тогда Пентагон сам установил принцип «двойственности». Мы ведь представляли собой «мнимую группу», причем сами того не знали, а тем временем генералы имели в своем распоряжении другую группу, видимо облеченную большим доверием.

Какое-то время мы обсуждали склад психики наших стратегов. Они никогда не принимали всерьез людей, упорно повторяющих, что самое важное — это сохранение человеческого рода. Пресловутое *ceterum censeo speciem perservandam esse** они воспринимали как лозунг, похожий на все прочие лозунги, то есть как слова, которые положено произносить, а не как фактор, который нужно учитывать в стратегических расчетах. Мы выпили достаточно коньяку, чтобы потешить себя предвидением того, как генералы, живьем поджариваясь, будут отдавать последние приказы в оглохшие микрофоны — ведь морское дно, как и любой уголок планеты, уже не будет убежищем. Мы нашли одно-единственное безопасное место для Пентагона и его сотрудников — под дном Москва-реки, но как-то маловероятно было, чтобы наши орлы сумели туда пробраться.

После полуночи мы отошли наконец от таких тривиальных тем и разговор стал интересным. Мы заговорили о «тайне вида». Я вспоминаю об этом, ибо диалог-реквием, который посвятили Человеку Разумному два представителя того же вида, одурманенные кофеином и алкоголем, показался мне знаменательным.

Я был уверен, что Отправители отлично информированы о состоянии дел во всей Галактике. Наше поражение является следствием того, что они не учли специфику нашей ситуации, а не сделали они этого потому, что такая ситуация является нетипичной для Галактики в целом.

— Это манихейские идейки, по доллару за дюжину, — заявил Раппопорт.

Но я вовсе не считал, что катастрофа эта является следствием исключительной «злобности» человека. Дело

* *Ceterum censeo speciem perservandam esse* (лат.) — «Кроме того, считаю, что род надо сохранить»; перефразировка знаменитого изречения Катона Старшего *Ceterum censeo Carthaginem esse delendam* («Кроме того, считаю, что Карфаген должен быть разрушен»), которым он заканчивал все свои выступления в Сенате.

обстоит так: на каждой планете психозоики переходят от состояния разобщенности к состоянию глобального единства. Из орд, родов, племен образуются народы, маленькие страны, страны побольше, державы, и в конце концов возникает общественное единство всего вида. Объединение общества — это один ряд процессов, а накопление технических познаний — другой ряд. Объединение в масштабе всей планеты может не состояться, если будет преждевременно открыта ядерная энергия. Конечно, объединение общества всегда происходит на базе науки и техники, но возможно, что открытие ядерной энергии, как правило, совершается в период уже достигнутого единства, и тогда оно не имеет пагубных последствий. Следовательно, судьба тех или иных психозоиков в Галактике решается соотношением двух хронологий — той, что показывает последовательность научных открытий, и той, что регистрирует успехи в объединении отдельных стран. По-видимому, нам, на Земле, не повезло: переход от доатомной цивилизации к атомной произошел нетипичным путем, слишком рано, и именно это привело к замораживанию статуса кво — вплоть до той поры, когда мы обнаружили нейтринное излучение из космоса. Для планеты уже объединенной расшифровка Послания была бы явлением положительным — это помогло бы ей вступить в «клуб космических цивилизаций». Но для нас, в нашей ситуации, это звонок, извещающий, что пора опускать занавес.

— Быть может, — сказал я, — если бы Галилей и Ньютон умерли от коклюша в детстве, физика достаточно бы запоздала, чтобы расщепление атома произошло в XXI веке. Этот несостоявшийся коклюш мог нас спасти.

Раппопорт обвинил меня в вульгаризации: физика развивается эргодически *, и смерть одного или двух людей

* Согласно эргодической гипотезе статистической физики, любая «система» в ходе своей эволюции достигает каждого из возможных для нее состояний.

не могла изменить ее истории. Мое рассуждение предрекает людям ад, однако не касается Отправителей, они остаются идеально добрыми и невиновными. Но именно в этом и есть моя ошибка. Если говорить об Отправителях, то нужно сначала ввести понятие «порога солидарности». Понимание эволюции, то есть того факта, что разум возникает в процессе гомеостатического подъема против течения энтропии, позволяет нам осознать свою солидарность с тем эволюционным ответвлением, которое породило разумные существа. Но ощутить солидарность со всем древом эволюции невозможно, ибо «высшее» существо неизбежно должно питаться «низшими». Где-то нужно провести границу солидарности. На Земле никто не проводил ее ниже той развилки, где растения отделяются от животных. На практике невозможно распространять солидарность, например, на насекомых. Если бы мы пришли к выводу, что по каким-то причинам установление связи с космосом требует истребления земных муравьев, мы наверняка сочли бы, что муравьями стоит «пожертвовать». Но нельзя ли допустить, что мы, на нашем уровне развития, являемся для кого-то муравьями? Граница солидарности тех существ может не включать таких инопланетных мурашек, как мы.

— Доктор Рапиопорт,— сказал я ему.— Вы сделали из Отправителей «высшую расу», которая солидаризуется только с «высшими формами» жизни в Галактике. Тогда зачем же они стараются распространять биогенез? Зачем им засеивать планеты жизнью, если они могут их захватывать и колонизовать? Просто мы оба в своих рассуждениях никак не можем вырваться из круга привычных нам понятий. Может быть, вы и правы — я потому пытаюсь найти причины нашего поражения в нас самих, что так меня воспитали с детства. Только я вместо «человеческой вины» вижу стохастический процесс, который завел нас в тупик. Вы же, беглец из страны расстрелянных, всегда слишком сильно ощущали свою безвинность перед лицом гибели и

потому ищите источник катастрофы в другом месте — среди Отправителей. Дескать, не мы сами к этому пришли,— они сделали это за нас. Вот так кончается всякая попытка трансцендентальных рассуждений.

Я всегда повторял, что если б наше правительство было достаточно разумным, чтобы вытащить из этой пропасти не только своих подданных, но и всех людей,— тогда, может быть, мы и спаслись бы. Но средства Федерального бюджета всегда были наготове только для тех, кто экспериментирует с «новым оружием». Когда я говорил политикам, что нужно организовать антропологическую «программу прорыва», что нужно строить машины для моделирования процессов социальной эволюции и вложить в это такие же средства, какие идут на создание ракет и антиракет, они только усмехались и пожимали плечами. Никто не принимал этого всерьез, и самое большее, что мне остается,— это ощутить горькое удовлетворение от своей правоты. Прежде всего следовало изучить человека. Мы его не изучили; то, что мы о нем знаем,— недостаточно; признаемся себе наконец, что это так. *Ignoramus et ignorabimus* *, потому что уже не осталось времени.

Честный Раппопорт не пытался на это отвечать. Он проводил меня, порядком пьяного, в мою комнату. На прощанье сказал: «Не расстраивайтесь попусту, мистер Хоггарт. Без вас все обернулось бы так же скверно».

XIV

Дональд запланировал эксперименты на всю неделю вперед — по четыре опыта в день. Это был максимум того, что могла дать наспех собранная аппаратура. В ходе каждого очередного опыта она подвергалась частичному разрушению и ее приходилось восстанавливать. Дело продвига-

* *Ignoramus et ignorabimus* (лат.) — не знаем и не узнаем.

лось медленно, ибо необходимо было работать в защитных комбинезонах из-за радиоактивного заражения материала. Начали мы сразу же после «проводов покойника»; вернее — начал Дональд, а я при этом только присутствовал. Было уже известно, что сотрудники Контрпроекта (он же «Проект-Невидимка») придут к нам через восемь дней. Дональд решил было начать с утра, — он хотел, чтобы его сотрудники канонадой своих псевдоисследований маскировали неизбежный грохот взрывов; но все оказалось готово еще вечером, и он не смог дотерпеть до утра.

По существу, было уже все равно, когда именно Ини — а за ним и наши высокопоставленные покровители — обо всем узнают. Забывшись после ухода Раппопорта в тяжелом сне, я то и дело просыпался и вскакивал с таким ощущением, будто слышу громохание взрыва — но это мне лишь мерещилось. Бетонные стены зданий были в свое время рассчитаны и не на такие удары. В четвертом часу утра я выволок свои ноющие кости из постели и, поскольку не мог уже усидеть в комнате, решил начисто отказаться от «конспиративных» предосторожностей и пойти в лабораторию.

Мы не уславливались об этом, но мне попросту не верилось, что Протеро спокойно отправится спать, когда у него все готово для эксперимента. Я не ошибался: его поддержка тоже имела границы.

Я никогда еще не выходил из гостиницы так рано; свет в нижнем холле не горел, я натыкался на расставленные повсюду кресла. Было полнолуние, но бетонная колода перед входом заслоняла свет. Улица выглядела жутковато, — впрочем, может, это мне показалось. Пылали рубиновые опознавательные знаки для самолетов на здании администрации да кое-где на перекрестках светились фонари. Здание физического отдела было темным и будто вымершим, но я проник через приоткрытую дверь в центральный зал. Я сразу понял, что опыт уже кончился, так как

предостерегающие надписи, которые багрово пылают во время работы инверторов, не светились. Кругом царил полумрак; огромное кольцо инвертора делало зал похожим на машинное отделение какой-нибудь фабрики или судна: на пультах управления еще перемигивались огоньки сигнализации, но у камеры никого не было. Я знал, где искать Дональда; по узкому проходу между обмотками многотонных электромагнитов я пробрался в маленькое внутреннее помещение; там находилось нечто вроде крохотной комнаты — клетушка, в которой Протеро хранил все протоколы, пленки, записи. Тут действительно горел свет. Протеро вскочил, увидев меня. С ним был Мак-Хилл. Без всяких вступлений Дональд протянул мне исчерченные каракулями листки. Я не осознавал своего состояния и разобрался в нем лишь когда не сумел опознать обозначений, которые ведь были мне отлично известны; я тупо смотрел на столбики цифр. Когда же наконец результаты четырехкратного опыта дошли до моего сознания, я почувствовал, что у меня колени подгибаются.

У стены стоял табурет, я присел на него и еще раз просмотрел все результаты. Вдруг бумага потемнела: что-то застлало мне глаза. Приступ слабости длился несколько секунд. Когда он миновал, я был весь в холодном липком поту. Дональд встревоженно посмотрел на меня, но я заявил, что все уже прошло.

Чем больше была энергия, тем менее точно локализовался взрыв. Хотя четырех опытов было еще недостаточно для статистической обработки, эта зависимость бросалась в глаза. По-видимому, при зарядах больше микротонны (мы уже запросто оперировали единицами ядерной баллистики) разброс становился равным половине расстояния между местом детонации заряда и намеченной целью.

Теперь хватило бы еще трех, максимум четырех опытов, чтобы уточнить этот результат, — чтобы бесполезность Экстрана как оружия стала очевидной. Но я уже в этом не

сомневался, ибо тотчас же необычайно отчетливо припомнил все предыдущие результаты и мою борьбу с формулами феноменологической теории. Передо мной замаячило невероятно простое соотношение, дающее подлинное решение проблемы в целом; это был принцип неопределенности, обыкновеннейшим образом перенесенный на эффект Экстран: чем больше энергия, тем меньше точность фокусировки, чем меньше энергия, тем точнее можно сфокусировать эффект. На расстоянии порядка километра эффект можно было сфокусировать даже на участке величиной с квадратный метр, если взрывать всего лишь несколько атомов; никакой разрушительной мощности, никакой поражающей силы, ничего.

Подняв глаза, я понял, что Дональд все это уже знает. Нам хватило нескольких слов. Оставалось еще одно затруднение: дальнейшие опыты с увеличенной на порядок энергией, необходимые, чтобы бесповоротно перечеркнуть карьеру Экстрана, были уже опасными, ибо неопределенность места, где высвобождалась энергия, ее совершенно непредвидимые перемещения ставили под угрозу самих экспериментаторов. Нужен был какой-то специальный полигон, аппаратура, управляемая с большого расстояния. Дональд и об этом уже подумал. Мы говорили, сидя под запыленной голой лампочкой. За все это время Мак-Хилл не проронил ни слова. Мне показалось, что он не столько потрясен, сколько разочарован, — но, возможно, я обижаю его таким суждением.

Мы еще раз, очень тщательно все обсудили; голова теперь у меня была такая ясная, что я сразу же набросал примерный вид зависимости и даже экстраполировал ее на более мощные заряды — порядка килотонны, а потом назад — на наши предыдущие результаты. Совпадение было вплоть до третьих десятичных знаков.

Дональд взглянул на часы. Было почти пять. Он разомкнул главный рубильник, отключив питание от всех агре-

готов, и мы вместе вышли из лаборатории. На улице уже рассвело. Воздух был холоден, как лед. Мак-Хилл ушел, а мы еще постояли перед входом в гостиницу — в нереальной тишине и такой мертвенной пустоте, словно, кроме нас, никого в живых не осталось; подумав об этом, я вздрогнул, — но это был уже рефлекс памяти, обращенной к прошлому. Мне хотелось сказать Дональду что-нибудь такое, чтобы подвести всему итог, чтобы выразить свое облегчение, радость, но я вдруг заметил, что ни облегчения, ни радости на самом деле не испытываю. Я был лишь опустошен, ужасающе обессилен и так равнодушен, словно ничего уже не должно было и не могло произойти. Мы пожали друг другу руки, хоть обычно этого не делали, и разошлись.

Когда наносят удар кинжалом, а клинок скользит по скрытой под одеждой кольчуге, в этом нет заслуги того, кто нанес безрезультатный удар.

ХV

Историю эффекта Экстран мы собирались доложить на Научном Совете только через три дня — нужно было время, чтобы систематизировать результаты, подготовить более детальные протоколы наблюдений и увеличить некоторые снимки. Но уже завтра в полдень я отправился к Бэлойцу. Он принял новость удивительно спокойно; я недооценивал его выдержку. Больше всего он был задет тем, что мы хранили от него нашу тайну до конца. Я много распространялся на эту тему, словно поменявшись с ним ролями — ведь когда я приехал в поселок, то именно Бэлойн тогда из всех сил старался объяснить, почему меня не пригласили раньше. Но теперь речь шла о деле, несравненно более серьезном.

Я попытался подсластить пилюлю всевозможными доводами; Бэлойн на все отзывался ворчанием. Он долго сер-

дился на меня — и его можно было понять, — хотя под конец разговора будто бы согласился с нашими доводами. Дональд таким же неофициальным образом предупредил Дилла; и единственный, кто обо всем узнал только на заседании, был Вильгельм Ини. Хотя я его терпеть не мог, но невольно восхищался — он и глазом не моргнул во время сообщения Дональда. Я непрерывно наблюдал за ним. Этот человек был прирожденным политиком. Только, пожалуй, не дипломатом, ибо дипломат не должен быть слишком злопамятным. А между тем Ини почти через год после этого заседания, когда Проект уже перестал существовать, передал в печать через подставное лицо целую кучу сведений — и в первую очередь о нашей с Дональдом затее, в соответствующем свете и с соответствующими комментариями. Если б не Ини, эта история вообще не приобрела бы того сенсационного характера, который заставил различных высокопоставленных людей, включая Раша и Мак-Магона, взять меня и Дональда под защиту.

Читатель мог убедиться, что если мы и были в чем виноваты, то лишь в непоследовательности, ибо наша секретная работа в конечном счете так или иначе должна была пройти через жернова Проекта. Но дело изобразили как весьма опасный саботаж с гнусной целью повредить Проекту — мы-де не обратились сразу к компетентным специалистам (то бишь к ядерным баллистикам Пентагона), а работали кустарными средствами, в малом масштабе, и тем самым давали «противнику» возможность обогнать нас.

Я забежал столь далеко вперед, чтобы показать, что Ини был совсем не таким безобидным, каким старался выглядеть. Во время заседания он позволил себе лишь бросить несколько взглядов в сторону Балойна, которого он наверняка считал соучастником нашего заговора; хотя мы и старались сформулировать предварительное сообщение так, будто секретность нашей работы была продиктована требованиями методики и неуверенностью в успехе (под

«успехом», попятно, подразумевалось то, чего мы больше всего боялись); однако все эти оправдания ни чуточки не обманули Ини.

Затем завязалась дискуссия, в ходе которой Дилл довольно неожиданно заявил, что осуществление Экстрана могло принести человечеству не гибель, а мир, ибо тогда рухнула бы доктрина «своевременного предупреждения», которая базируется на существовании интервала между запуском межконтинентальных ракет и появлением их на экране оборонительных радаров. Глобальное оружие, разящее со скоростью света, исключало возможность «своевременного предупреждения» и ставило обе стороны в положение людей, которые приставили друг другу револьверы к виску. Это могло бы привести к всеобщему разоружению. Дональд ответил ему, что с равным успехом это может закончиться и совершенно иначе.

С этого момента Ини перестал притворяться, будто он всего лишь нейтральный представитель или наблюдатель от Пентагона; это проявлялось по-разному, но всегда самым неприятным образом. Так, нашествие армейских специалистов-ядерщиков и баллистиков, начавшееся сутки спустя и походившее на оккупацию вражеской территории (вертолеты налетели, как саранча), было уже в полном разгаре, когда Ини наконец удосужился известить об этом Бэлойна по телефону. Вместе с тем проезд обещанных сотрудников Контрпроекта отсрочили. Я был абсолютно уверен, что армейские ядерщики, которых я учеными ни в каком смысле не считал, только подтвердят наши результаты на опытах в масштабе полигона, но бесцеремонность, с которой у нас изъяли все данные, забрали аппаратуру, ленты, протоколы, развеяла остатки моих иллюзий, если я их вообще питал.

Дональд, которого едва пускали в собственную лабораторию, относился к этому философски и даже объяснял мне, что иначе и быть не может; в лучшем случае могли

бы соблюсти внешние приличия, а это ничего не меняет — ведь подобные действия логически вытекают из положения дел в мире... и так далее. В определенном смысле он был прав; но человека, который явился ко мне поутру (я еще лежал в постели) и потребовал все мои расчеты, я все-таки спросил, есть ли у него ордер на обыск и не собирается ли он меня арестовать. Это несколько умерило его прыть, и я хоть смог почистить зубы, побриться и одеться, пока он ожидал в коридоре. Все это было порождено ощущением полнейшего бессилия. Я только твердил себе, что должен радоваться — каково бы мне было, если б пришлось отдавать расчеты, предсказывающие *finis terrarum* *.

Мы ползали по поселку как мухи, а тем временем Армия все сбрасывала с неба свои, казалось, нескончаемые отряды и снаряжение. Эту операцию наверняка не импровизировали в последнюю минуту: ее подготовили заранее в каких-то общих чертах — ведь они не знали, что именно выскочит из Проекта. Им потребовалось всего три недели, чтобы непосредственно приступить к серии микротонных взрывов; меня несколько не удивило, что мы и о результатах узнавали лишь благодаря тому, что просачивалось от младшего технического персонала, который соприкасался с нашими людьми. Впрочем, когда ветер дул в сторону поселка, взрывы слышны были всем. Из-за их ничтожной мощности радиоактивных осадков практически почти не было. Не приняли даже каких-нибудь особых мер предосторожности. К нам уже никто не обращался; нас игнорировали так, будто мы вообще не существовали. Раппопорт объяснял это тем, что мы с Дональдом нарушили правила игры. Возможно. Ини пропадал по целым дням, курсируя со сверхзвуковой скоростью между Вашингтоном и поселком.

* *Finis terrarum* (лат.) — конец Земли.

В первых числах декабря, когда начались бури, установку в пустыне разобрали и упаковали; четырнадцатитопные вертолеты-краны, вертолеты пассажирские и всякие прочие в один прекрасный день поднялись в воздух, и Армия исчезла так же внезапно и слаженно, как появилась, забрав с собой нескольких научно-технических сотрудников, получивших лучевое поражение во время последнего испытания, когда был взорван заряд, эквивалентный, как утверждали, одной килотонне тротила.

И сразу же, словно с нас сняли заклятье, мы начали суетиться; в скором времени произошло множество событий. Бэлойн подал в отставку, мы с Протеро потребовали, чтобы нам разрешили выйти из Проекта, Раппопорт из лояльности — очень неохотно, по-моему, — сделал то же самое. Один лишь Дилл не устраивал никаких демонстраций, а нам советовал расхаживать по улицам с плакатами и выкрикивать лозунги, — наше поведение казалось ему легкомысленным. В известной мере он был прав.

Нашу мятежную четверку немедленно вызвали в Вашингтон; с нами разговаривали поодиночке и чохом; кроме Раша, Мак-Магона и нашего генерала (с которым я только теперь познакомился), тут были также советники президента по вопросам науки; и оказалось, что наше дальнейшее пребывание в Проекте прямо-таки необходимо. Бэлойн, этот политик, этот дипломат, во время одной из таких встреч заявил, что раз Ини пользовался полным доверием, а он лишь четвертью, то пусть теперь Ини и вербует подходящих людей и сам руководит Проектом. Когда подобные высказывания повторялись часто, с нами обращались как с избалованными, капризными, но любимыми детьми.

Однажды вечером в гостинице ко мне в номер пришел Бэлойн, который в тот день неофициально, с глазу на глаз, встречался с Рашем; он объяснил мне причины, кривящиеся за этими настойчивыми уговорами. Советники пришли

к выводу, что Экстран — всего лишь случайная осечка в начавшейся серии открытий, что по существу это прямое указание на перспективность дальнейших исследований, которые являются теперь проблемой государственной важности, вопросом жизни и смерти. Я счел эти рассуждения бессмысленными, но, пораздумав, пришел к выводу, что мы действительно можем вернуться, если только администрация примет наши условия (которые мы тут же начали разрабатывать). Ибо я уяснил себе, что если эта работа будет продолжаться без меня, то я никогда уже не смогу со спокойной душой вернуться к своей чистой, незапятнанной математике. Ведь моя вера в полную безопасность, сопутствующую звездному сигналу, была только верой, а не абсолютно надежным знанием. Впрочем, Бэлойну я объяснил это короче: будем следовать афоризму Паскаля о мыслящем тростнике. Если уж мы не можем противодействовать, то будем хотя бы знать.

Посоветовавшись вчетвером, мы докопались и до того, почему Проект не был отдан Армии. Военные воспитали для своих целей особый тип ученого — дрессированных специалистов, таких, которые решают элементарные задачи и способны к ограниченной самостоятельности; они делали свое дело превосходно — но только «от» и «до». А космические цивилизации, мотивы их действий, жизнетворное влияние сигнала — все это было для них черной магией. «Как и для нас, положим», — с обычным ехидством заметил Раппопорт.

В конце концов мы согласились продолжать работу. Доктор юриспруденции Вильгельм Ини исчез из Проекта, но его тут же заменили другой личностью в штатском, мистером Хью Фантоном. Иными словами, мы поменяли шило на мыло. Бюджет был увеличен, сотрудников Контрпроекта (мы о нем напомнили несколько смутившимся попечителям) включили в наши коллективы, а сам Контрпроект перестал существовать, — хотя по официальной вер-

сии он вроде никогда и не существовал. Накричавшись, насовещавшись, поставив условия, которые подлежали скрупулезному соблюдению, мы вернулись «к себе», в пустыню — и так начался, уже в новом году, очередной, последний этап Проекта «Голос Неба».

XVI

Все пошло по-старому — только на заседаниях Совета появилось новое лицо, Хью Фэнтон; мы его прозвали невидимкой, потому что он существовал каким-то неприметным образом. Не то, чтобы он был очень маленький, но как-то умел держаться в тени.

Зима ознаменовалась частыми бурями — песчаными; а дожди выпадали крайне редко. Мы без труда включились в прежний ритм работы — точнее говоря, в ритм существования. Я снова заходил к Раппопорту, мы вели разговоры; иногда я снова встречал у него Дилла. Мне стало казаться, что Проект — это, собственно говоря, и есть жизнь, что одно кончится вместе с другим.

Единственной новинкой были еженедельные конференции — деловые, совершенно неофициальные по тону; на них мы поочередно обсуждали различные темы — такие, например, как перспективы аутоэволюции (то есть управляемой эволюции) разумных существ.

Что это сулило? Казалось бы — подход к определению анатомии, физиологии, а отсюда и цивилизации Отправителей. Но в любом обществе, достигшем сходного с нами уровня развития, появляются две противоположные тенденции, отдаленные последствия которых предвидеть невозможно. С одной стороны уже сформировавшаяся технология оказывает нажим на существующую культуру и как бы заставляет людей адаптивно подчиняться потребностям технических процессов. Так появляются симпто-

мы интеллектуального соперничества человека с машиной, а также различные формы их симбиоза, а инженерная психология и физиоанатомия выявляют «слабые звенья», неудачные параметры человеческого организма; и отсюда уже прямой путь к разработке соответствующих «усовершенствований». А на этом пути рождается мысль о создании киборгов, то есть людей, у которых многие части тела и органы заменены искусственными; такие киборги предназначались бы для исследований в космосе и для освоения планет, где условия резко отличаются от земных. Появляется также мысль о прямом подключении человеческого мозга к резервуарам машинной памяти, о создании таких устройств, в которых достигался бы невиданный доселе уровень механического или интеллектуального сращивания человека с машиной.

Эта тенденция потенциально угрожает разрушить прежнюю однородность человеческого вида. Под влиянием таких перемен не только единая, общечеловеческая культура, но даже и единый, универсальный телесный облик человека может стать реликтом мертвого прошлого. Человек сумел бы превратить свое общество в психозои-ческую разновидность муравейника, где анатомия подчинена специализации.

С другой стороны влияние культуры, то есть обычаев, может подчинить себе сферу технических процессов. Могут появиться, например, биотехнические методы, расширяющие область воздействия моды. До сих пор вмешательство косметологов не шло глубже человеческой кожи. Кажется иногда, будто влияние моды простирается и дальше, но эта иллюзия порождена тем, что в разные времена объявляется модным тот или иной тип физической красоты. Достаточно вспомнить различие между рубенсовским идеалом красоты и современной женщиной. Непредубежденному наблюдателю земных обычаев могло бы показаться, что в соответствии с диктатом сменяющихся се-

вонов у женщин (которые более явно подчинены требованиям моды) расширяются то бедра, то плечи, увеличивается или уменьшается грудь, ноги становятся то полными, то длинными и тонкими — и так далее. Но все эти «приливы» и «отливы» телесных форм — лишь иллюзия, порожденная тем, что из разнообразия имеющихся физических типов отбираются именно те, которым отдается предпочтение сегодня. И как раз биотехнические методы могли бы исправить такое положение. С помощью генетического контроля диапазон видовой разнородности можно было бы сдвинуть в любом избранном направлении.

Разумеется, генетический отбор по чисто анатомическим признакам кажется чем-то незначительным по силе его воздействия на культуру, — хотя в то же время он очень желателен по эстетическим соображениям (как возможность сделать физическую красоту видовой нормой). Но речь идет лишь о начале пути, который можно было бы обозначить стрелкой с надписью: «Разум на службе желаний». Ведь подавляющее большинство материализованных творений разума уже и сейчас вкладывается в чисто сибаритскую продукцию. Мудро сконструированный телевизор распространяет интеллектуальную жвачку; великолепные средства транспорта служат тому, чтобы какой-нибудь недоумок под маркой туриста мог наклюкаться не в своей родной забегаловке, а рядом с собором Святого Петра. Если б эта тенденция завершилась вторжением техники в человеческие тела, то все свелось бы паверняка к тому, чтобы максимально расширить гамму чувственных наслаждений. Коль скоро у нас в мозгу есть «центр наслаждения», что мешает, например, подключить к нему органы синтетических ощущений? Но аутоэволюция, осуществляемая подобным образом, означает окончательное замыкание внутри культуры, внутри быта, изоляцию от мира за пределами планеты и кажется исключительно приятной формой духовного самоубийства.

Наука и техника наверняка способны создать устройства, удовлетворяющие требованиям как первого, так и второго пути развития. То, что оба эти пути, каждый на свой лад, кажутся нам чудовищными, ничего еще не предпрещает. Ведь негативное отношение к подобным переменам не имеет под собой никаких оснований. Требование не слишком угождать себе является разумным лишь до тех пор, пока один человек, получая удовольствие, тем самым причиняет ущерб другому (либо собственному духу и телу, как в случае наркомании). Это требование может быть выражением простой необходимости, и тогда надлежит безоговорочно ему подчиняться; но развитие технологии направлено как раз на то, чтобы одну за другой ликвидировать любые так называемые «необходимости», то есть «технические ограничения» человеческих действий. Люди, которые утверждают, что некие «технические ограничения» всегда будут сковывать цивилизацию, по существу исповедуют наивную веру, будто природа специально «устроена» так, чтобы разумные существа никогда не смогли освободиться из-под ига извечно предустановленных «повинностей». Эта вера основана на экстраполяции в необозримое будущее библейского приговора, согласно которому человек якобы навечно обречен добывать хлеб насущный в поте лица своего. Такие наивные люди полагают, будто говорят о моральных обязанностях человека, но в действительности их утверждение откровенно относится к области онтологии* — «помещение», предназначенное роду человеческому для жилья, меблировано-де так, что, невзирая на любые усовершенствования, человек

* Онтология — гр. *on (ontos)* сущее + *logos* понятие, учение — в домарксовской философии и в современной идеалистической философии — метафизические измышления о бытии, о «началах» всего существующего, противопоставляемые научному естествознанию.

никогда не сможет, по их мнению, почувствовать себя в нем удобно.

Но на такой примитивной вере нельзя базировать дальние прогнозы. Подобные тезисы провозглашаются если не из пуританских или аскетических соображений, то просто из страха перед любой переменой.

Технико-экономическая растянутость цивилизации (когда авангард далеко опережает тылы) сама по себе во многом влияет на направление дальнейшего развития. Но разве цивилизация не может достичь свободы выбора дальнейшего пути? Какие условия нужны для достижения такой свободы? Общество должно стать независимым от технологии, обеспечивающей удовлетворение элементарных потребностей. Удовлетворение этих потребностей должно стать незримым, как воздух, избыток которого был до сих пор единственным избытком в человеческой истории.

Цивилизация, которая уже сумела бы удовлетворить элементарные биологические потребности всех своих членов, могла бы начать поиски различных дальнейших путей в будущее.

Но пока что на Земле, посланцы которой уже ступают по другим планетам, многие люди мечтают лишь о куске хлеба.

XVII

Несмотря на различие взглядов, разделявшее нас в делах Проекта, все мы — я имею в виду не только Научный Совет — составляли достаточно сплоченный коллектив, и прибывшие к нам гости (которых у нас уже прозвали «наймитами Пентагона») несомненно понимали, что их выводы будут встречены нами в штыки. Я тоже был заранее настроен к ним довольно неприязненно, однако не мог не признать, что Лирней и сопровождавший его

молодой астробиолог добились впечатляющих результатов. Просто в голове не укладывалось, что после целого года наших мучений кто-то мог выдвинуть совершенно новые, даже не затронутые нами гипотезы о Голосе Неба. Гипотезы эти к тому же отличались друг от друга и были подкреплены вполне прилично разработанным математическим аппаратом (с фактами дело обстояло хуже). Более того, хотя эти новые трактовки темы кое в чем исключали друг друга, они позволяли найти некую золотую середину, оригинальный компромисс, который неплохо их объединял.

То ли Бэлойн решил, что при встрече с сотрудниками Контрпроекта не следует придерживаться нашей «аристократической» структуры—деления на всеведущую элиту и слабо информированные коллективы отделов,— то ли он был твердо убежден, что нам сообщат нечто сенсационное, но только он организовал лекцию-встречу для всей тысячи с лишним наших сотрудников. Если Лирней и Синестер и отдавали себе отчет в некоторой враждебности собравшихся, то они этого никак не проявили. Впрочем, все вели себя корректно.

Как вначале отметил Лирней, их работа имела чисто теоретический характер; они не располагали никакими данными, кроме самого звездного сигнала и некоторых общих сведений о Лягушачьей Икре; так что речь шла совсем не о какой-то «параллельной работе», не о попытке перегнать нас, а всего лишь об ином подходе к Голосу Неба, и делалось это с мыслью о таком вот сопоставлении взглядов, какое сейчас происходит.

Он не сделал паузы для аплодисментов — и поступил правильно, ибо аплодисментов наверняка не последовало бы,— а сразу перешел к очень ясному изложению существа дела; он подкупил меня и своим докладом, и личным обаянием; других, видимо, тоже, судя по реакции зала.

Будучи космогонистом, он шел от космогонии в ее хаб-

бловском варианте и в модификации Хайакавы (а также и моей, если позволительно так сказать, хотя я всего лишь плел математические плетенки для бутылей, в которые Хайакава вливал новое вино). Я попытаюсь изложить общий смысл его аргументации и воспроизвести, если удастся, атмосферу выступления, неоднократно прерывавшегося репликами из зала, ибо сухой конспект убил бы все очарование этой концепции. Математику я, разумеется, опущу, хотя свою роль она сыграла.

— Мне это видится так, — сказал Лирней. — Космос есть пульсирующее образование, он сжимается и расширяется попеременно каждые тридцать миллиардов лет. По мере сокращения наступает в конце концов состояние коллапса, когда распадается само пространство, свертываясь и замыкаясь уже не только вокруг звезд, как в сфере Шварцшильда, но и вокруг всех частиц, даже элементарных. Поскольку «общее» пространство атомов перестает существовать, то исчезает, разумеется, и вся известная нам физика, ее законы подвергаются видоизменению... Этот беспространственный рой материи продолжает сжиматься и наконец — образно говоря — целиком выворачивается наизнанку, в область запрещенных энергетических состояний, в «отрицательное пространство», то есть не в «ничто», а в нечто, меньшее, чем ничто, по крайней мере в математическом смысле.

Ныне существующий мир не имеет антимиров, — точнее говоря, он превращается в них периодически, раз в тридцать миллиардов лет. «Античастицы» в нашем мире — это лишь след прошлых катастроф, их архаический реликт, а также, конечно, указание на возможность очередной катастрофы. Но в результате выворачивания (я возвращаюсь к прежнему сравнению) возникает своего рода горловина, в которой еще мечутся остатки непогасшей материи, — щель между исчезающим «положительным», то есть нашим пространством и тем, отрицательным... Эта

щель остается открытой, она не зарастает, не смыкается, потому что ее непрерывно распирает излучение — именно нейтринное излучение! Оно подобно последним искрам костра, и с него начинается следующая фаза, ибо когда «вывернутый мир» уже полностью вывернулся наизнанку, в «ничто», создал «антимир», расширил его до крайних пределов,— он сам в свою очередь начинает сжиматься и выворачиваться обратно через щель, и прежде всего — в виде нейтринного излучения, самого жесткого и самого устойчивого из всех излучений, ибо на этой стадии не существует еще даже света: одни лишь самые короткие гамма-лучи да нейтрино. Именно эта разбегающаяся во все стороны нейтринная волна начинает заново распирает и формировать расширяющийся космос; и эта волна одновременно является матрицей для созидания всех частиц, которые вскоре заполнят нарождающуюся вселенную; эти частицы, только в виртуальном виде, содержатся в ней, поскольку она обладает достаточной для их создания энергией.

Когда новый космос уже находится на стадии крайнего разбегания своих галактик — как ныне наш,— в нем все еще продолжает блуждать эхо породившей его нейтринной волны, и именно это и есть *Голос Неба!* Из этого вихря, прорвавшегося сквозь щель, из этой нейтринной волны возникают атомы, звезды и планеты, галактики и метagalктики, и потому проблема «звездного послания» снимается. Никакая другая цивилизация ничего не высылала нам по нейтринному телеграфу, на другом конце не было Никого, никакого передатчика,— ничего, кроме космической пульсации, кроме «горловины». Есть только излучение, порожденное чисто физическими, естественными процессами, абсолютно внечеловеческое и потому лишенное какой бы то ни было языковой формы и языкового содержания... Это излучение играет роль постоянного связного между следующими друг за другом мирами, гаснущими и

вновь создающимися, оно связывает их энергетически и информационно, благодаря ему они сохраняют преемственность, являются не случайными, а закономерными повторениями, — и можно поэтому сказать еще, что этот нейтринный поток является зародышем нового космоса, что он осуществляет своего рода смену поколений в разделенных во времени Вселенных; по эту аналогию, разумеется, не следует трактовать в биологическом смысле Нейтрино — это семена космоса; они уцелевают от распада потому, что это самые устойчивые из частиц. Их неуничтожимость служит гарантией цикличности космогенеза, его повторений...

Он изложил это, разумеется, куда подробнее, подкрепил, насколько мог, математикой; во время его выступления стояла глубокая тишина, а как только он кончил, началась атака.

Его забросали вопросами. Как он объясняет «жизнетворность» сигнала? Как она возникла? Является ли она, по его мнению, чистой случайностью? И прежде всего — откуда мы взяли Лягушачью Икру?

— Я об этом думал, конечно, — ответил Лирней. — Вы спрашиваете, кто все это рассчитал, создал и выслал? Ведь если б не жизнетворные свойства сигнала, жизнь в галактике была бы чрезвычайно редким явлением! Так вот, я спрошу в свою очередь — а как обстоит дело с физическими свойствами нашей воды? Если б вода при четырех градусах тепла не была тяжелее воды при нулевой температуре и лед не всплывал бы, то все водоемы промерзли бы до дна и никакие водные организмы не могли бы выжить вне экваториальной зоны. А если б вода имела иную, не столь высокую диэлектрическую постоянную, в ней не могли бы возникнуть белковые молекулы, а значит, не было бы и белковой жизни. Но разве в науке спрашивают, кто об этом позаботился, кто и как придал воде большую диэлектрическую постоянную или большую плот-

ность, чем у льда? Никто об этом не спрашивает — подобные вопросы бессмысленны. Если б вода имела другие свойства, то возникла бы небелковая жизнь или не возникла бы жизнь вообще. Точно так же бессмысленно спрашивать, кто выслал биофильное излучение. Оно увеличивает вероятность выживания высокомолекулярных комплексов, и это является такой же случайностью или, если хотите, закономерностью, присущей природе, как те свойства воды, благодаря которым она является субстанцией, «благоприятствующей жизни». Всю проблему нужно перевернуть, поставить с головы на ноги, а тогда она выглядит так: благодаря тому, что вода имеет такие-то и такие-то свойства, как и благодаря тому, что в космосе существует излучение, стабилизирующее биогенезис, жизнь может возникать и противостоять росту энтропии более успешно, чем было бы в ином случае...

— Лягушачья Икра! — слышались возгласы. — Лягушачья Икра!

Я боялся, что сейчас все начнут скандировать — зал был накален, как во время боксерского матча.

— Лягушачья Икра? Вы знаете лучше меня, что Послание не удалось прочесть целиком; расшифрованы одни лишь фрагменты — из них-то и возникла Лягушачья Икра. Это означает, что Письмо как осмысленное целое существует лишь в вашем воображении, а Лягушачья Икра представляет собой попросту результат извлечения той части информации нейтринного потока, с которой удалось что-то сделать. Сквозь «расщелину» между мирами — погибающим и создающимся — вырвался клубящийся сгусток нейтринной волны. Энергии этой волны достаточно, чтобы «выдуть» очередной космос, как выдувают мыльный пузырь; ее фронт несет в себе информацию, как бы унаследованную от минувшей фазы; так вот, в этой волне, как я уже говорил, содержится информация, создающая атомы, а также информация, благоприятствующая биогенези-

су; а вдобавок там есть и такие фракции, которые с нашей точки зрения ничему не служат, являются бесполезными. Вода имеет свойства, благоприятные для жизни — вроде тех, которые я перечислял, — а также свойства, безразличные для жизни, например прозрачность; вода могла быть непрозрачной, и в возникновении жизни это не играло бы никакой роли. Нелепо спрашивать: «А кто же все-таки сделал воду прозрачной?» — и точно так же нелепо спрашивать. «Кто создал рецепт Лягушачьей Икры?» Это одна из особенностей данного космоса, это свойство, которое мы можем изучать, как изучаем прозрачность воды, но оно не имеет никакого «внефизического» смысла.

Поднялся страшный шум; наконец, Бэлойн спросил, как Лирней объясняет непрерывное повторение сигнала и тот факт, что практически весь эмиссионный спектр неба в нейтринном диапазоне представляет собой обычный шум, а на одном-единственном участке содержится столько информации?

— Но это же очень просто, — ответил космогонист, который, казалось, наслаждался всеобщим возмущением. — Вначале вся эмиссия была сконцентрирована в этом участке, ибо именно в этой области спектра она была сфокусирована, сжата, промодулирована «горловиной между мирами», подобно струе воды, проходящей через узкое отверстие; вначале было игольчатое излучение — и ничего больше. Потом, вследствие расхождения, расползания, десинхронизации, дифракции, преломления, интерференции все большая доля излучения расщеплялась, расплывалась, пока наконец через миллиарды лет из первичной информации не возник шум, из резко сфокусированного излучения — широкий энергетический спектр; ведь за это время были приведены в действие вторичные, шумовые генераторы нейтрино — звезды; а то, что мы регистрируем в качестве сигнала, является горсточкой, которая еще не растаяла, не расплылась окончательно в результате бес-

численных отражений и странствий из конца в конец метagalактики. Сегодня всеобщей нормой является шум, а не информация. Но в момент возникновения нашего космоса, его взрывоподобного рождения, этот нейтринный пузырь содержал в себе полную информацию обо всем, что впоследствии возникло из него; и поскольку он представляет собой реликт эпохи, других следов которой мы уже не видим, он и кажется нам поразительно непохожим на «обычные» формы материи и излучения...

Она была вполне убедительна, ничего не скажешь, — эта великолепная, логически монолитная конструкция, которую он нам представил. Затем последовала очередная порция математики; Лирней показал, какими свойствами должна обладать «горловина», чтобы точно соответствовать в качестве матрицы именно тому участку нейтринного спектра, где находится излучение, которое мы называли звездным сигналом. Это была отличная работа; он использовал теорию резонанса, и ему удалось наконец объяснить даже непрерывное повторение сигнала, а также место — тот сектор Малого Пса, откуда прибывало так называемое Письмо.

После этого я взял слово и сказал, что фактически это Лирней поставил проблему с ног на голову, поскольку он приделал к Письму целую Вселенную — именно такую, какая была ему нужна, — к известным энергетическим свойствам сигнала просто-напросто подогнал размеры своей пресловутой горловины и даже так переименовал геометрию этого *ad hoc** изобретенного космоса, чтобы направление, откуда приходит сигнал, оказалось случайным.

Лирней, улыбаясь, признал, что я до некоторой степени прав. Но добавил, что если б не его «щель», то миры возникали бы и гибли без всякой когерентной связи, каждый отличался бы — точнее, мог бы отличаться — от пре-

* *Ad hoc* (лат.) — специально для данного случая.

дыдущего; или же космос вообще мог навсегда остаться в состоянии «антимира», в безэнергетической фазе, и тогда наступил бы конец всякого становления, конец всех возможных миров, не было бы ни нас, ни звезд над нами, и некому было бы ломать голову над тем, что не произошло... Но оно произошло! Чудовищная сложность Письма объясняется следующим: ужасающая «предсмертная» концентрация космоса приводит к тому, что, погибая, он отдает заложенную в нем информацию; она не исчезает, а согласно неизвестным нам законам (ибо физика уже не действует при таком сжатии, в распадающемся на куски пространстве) соединяется с тем, что продолжает существовать — с нейтринным сгустком в самой «горловине».

Бэлойн, который председательствовал на собрании, спросил, хотим ли мы сразу начать дискуссию или же выслушаем сначала еще и Синестера. Мы, понятно, проголосовали за второе. Лирнея я немного знал, потому что встречал его у Хайкавы, но о Синестере до сих пор даже не слышал.

Он начал совсем как Лирней. Космос является пульсирующим образованием, с чередующимися фазами «голубых» сжатий и «красных» расширений*. Каждая фаза длится около тридцати миллиардов лет. В «красной» фазе, когда галактики разбегаются, после достаточного разрежения материи и остывания планетоподобных тел на них возникает жизнь, которая иногда приводит к разумным формам. В фазе «голубой» расширение кончается, и космос начинает медленно сжиматься к центру; возникают огромные температуры и все более жесткое излучение,

* Во время расширения космоса, которое наблюдается сейчас, спектральные линии излучения удаляющихся друг от друга галактик смещаются в красную часть спектра в соответствии с эффектом Доплера (это «красное смещение» было обнаружено Хабблом); во время сближения галактик линии должны смещаться в голубую область спектра — отсюда названия в тексте.

уничтожающее всю живую материю, которой за миллиарды лет успели обрасти планеты. Разумеется, в «красной» фазе, вроде той, в которой довелось нам родиться, существуют цивилизации различного уровня. Среди них должны быть и такие, которые достигли вершин технологии и благодаря развитию науки, в частности космогонии, понимают, что ожидает в будущем их самих — и космос. Такие цивилизации, или, скажем для удобства, — такая цивилизация, находящаяся в какой-нибудь определенной галактике, знает, что процесс упорядочения пройдет через пик и затем начнется процесс уничтожения всего сущего в раскаляющемся горниле. Если эта цивилизация обладает намного большими познаниями, чем мы, она сумеет до некоторой степени предвидеть и дальнейшее течение событий — после «голубого светопреставления»; а если она приобретет еще больше познаний, то сможет даже повлиять на эти грядущие события...

Тут по залу пробежал легкий шум: Синестер в сущности излагал теорию управления космогоническими процессами!

Астробиолог, вслед за Лирнеем, предполагал, что «реверсивный космический двигатель» не является жестко детерминированным (ибо в фазе сжатия особенно легко возникают значительные неопределенности — из-за случайных в принципе вариаций в распределении масс, из-за различного хода аннигиляции) — и невозможно с абсолютной точностью предсказать, какой тип космоса возникнет после очередного сжатия. Поэтому отдельные «красные вселенные», которые поочередно рождаются из «голубых», могут сильно отличаться друг от друга и вполне вероятно, что существующий ныне тип космоса, в котором жизнь возможна, представляет собой эфемерное, неповторимое образование, за которым следует длинная череда абсолютно мертвых пульсаций.

Видение вечно мертвого, безжизненно раскаляюще-

гося и безжизненно остывающего космоса может не удовлетворять цивилизацию высшего типа; она предпримет тогда попытки изменить будущее и прибегнет с этой целью к необходимым астроинженерным мерам. Зная об ожидающей ее гибели, эта цивилизация может особым образом «запрограммировать» звезду или систему звезд, существенно изменяя их энергетику так, чтобы сделать из них нечто вроде нейтринного лазера, который начнет действовать в тот момент, когда тензоры гравитации, параметры температуры, давления и так далее превысят некоторые максимальные значения, когда сама физика данного космоса начнет как бы распадаться в прах. Тогда-то это гибнущее созвездие под влиянием процессов, которые являются для него детонатором накопленной энергии, целиком обратится в сплошную черную нейтринную вспышку, очень детально, очень тщательно запрограммированную миллиарды лет назад! Эта монохроматическая нейтринная волна, самое жесткое и стабильное из всех излучений, будет не только погребальным звоном над гибнущей фазой космоса, но также зародышем новой фазы, ибо она будет участвовать в формировании новых элементарных частиц. А кроме того, «запечатленная» в звезде программа включает и «биофильность» — увеличение шансов появления жизни.

Следовательно, в этой грандиозной концепции звездный сигнал оказывался вестью, посланной в наш космос из космоса, который ему предшествовал. Значит, Отправители не существовали уже по крайней мере тридцать миллиардов лет. Они создали столь незыблемое послание, что оно пережило гибель их вселенной и, включившись в процессы последующего созидания, положило начало эволюции жизни на планетах. И мы, в свою очередь, тоже были Их детьми...

Это было остроумно придумано! Сигнал вовсе не являлся письмом, его жизнестворность вовсе не представляла

собой формы в противовес содержанию. Это лишь мы, в силу наших привычек, пытались разделить неразделимое. Сигнал, а точнее — творящий импульс, начинает прежде всего с такой «настройки» материи (в ее новом воплощении), чтобы образовались частицы с требуемыми свойствами, — а когда уже возникнет астрогенез, а за ним планетогенез, тогда как бы включаются в работу другие структурные особенности сигнала, которые присутствовали в нем и раньше, но до тех пор не имели адресата; и лишь тогда они обнаружат свою способность помогать зарождению жизни. Увеличивать шансы макромолекул на выживание легче, чем дирижировать и управлять возникновением самых элементарных частичек материи. Поэтому мы и приняли жизнотворный эффект за нечто отдельное, за форму письма, а эффект второй, атомотворящий, сочли содержанием.

Мы не расшифровали Письма, потому что нам, нашей науке, физике, химии, такая расшифровка в целом не под силу. Но из обрывков зафиксированных знаний, содержащихся в импульсе, мы соорудили себе рецепт Лягушачьей Икры! Следовательно, сигнал является программой, а не сообщением, он адресован всему Космосу, а не каким-либо существам. Мы можем лишь пытаться углубить наши познания, используя как сам сигнал, так и Лягушачью Икру.

Когда Синестер кончил, поднялся шум. Вот уж подлинно *embarras de richesse* *. Какая впечатляющая альтернатива! Сигнал — творение Природы, последний нейтринный аккорд погибающего космоса, запечатленный между миром и антимиром на нейтринной волне; либо же сигнал — завещание уже не существующей цивилизации!

Нашлись и среди нас сторонники сбеих концепций. Напоминали, что в обычном, естественном жестком излучении имеются частоты, которые увеличивают количество

* *Embarras de richesse* (франц.) — трудности изобилия.

мутаций и тем самым могут ускорять ход эволюции, тогда как другие частоты не имеют таких свойств,— но из этого вовсе не следует, будто одни частоты что-то означают, а другие нет. Какое-то время все пытались говорить разом. Мне казалось, что я присутствую у колыбели новой мифологии. Завещание... и мы — наследники Тех, кто умер за-долго до нашего рождения...

Поскольку от меня этого ждали, я попросил слова. Для начала я напомнил, что через произвольное количество точек на плоскости можно провести произвольное число различных кривых. Я никогда не считал, что моя задача состоит в выдвижении максимально возможного количества разнородных гипотез, ибо можно придумать бесконечное множество гипотез. Вместо того чтобы подгонять наш космос и предвалявшие его события к свойствам Письма, достаточно, например, допустить, что наша приемная аппаратура примитивна — в том смысле, в каком примитивен радиоприемник с низкой избирательностью. Такой приемник ловит сразу несколько станций, и получается кавардак; но человек, не знающий ни одного из языков, на которых ведутся передачи, может попросту зарегистрировать все без разбора, а потом ломать над этим голову. Мы тоже могли стать жертвой такой технической ошибки.

Возможно, что так называемое Письмо представляет собой регистрацию нескольких передач одновременно. Если допустить, что в галактике работают автоматические передатчики именно на этой частоте, в той полосе, которую мы считаем единичным каналом связи, то можно объяснить даже непрерывное повторение сигнала... Это могут быть сигналы, с помощью которых общества, образующие «цивилизационное объединение», систематически поддерживают синхронность каких-то своих технических устройств — астроинженерных, к примеру.

Этим можно было бы объяснить цикличность сигнала. Но с существованием Лягушачьей Икры эта гипотеза

плохо согласуется, хотя с некоторой натяжкой можно было бы включить в данную схему и этот факт. Во всяком случае, такая гипотеза более скромна, а значит, и более реалистична, чем те гигантские картины, которые развешивали сейчас перед нами. Существует еще одна загадка, связанная с сигналом, — то, что он одиночен. Таких сигналов должно быть очень много. Но переделывать весь космос для того, чтобы разгадать загадку, — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Ведь можно было бы счесть, что сигнал — это «музыка сфер», своего рода гимн, нейтринные фанфары, которыми Высшая Цивилизация приветствует, например, рождение Сверхновой звезды. Можно рассматривать Письмо и как апостольское послание: там есть и Слово, которое становится плотью; есть также, в противоположность ему, Лягушачья Икра, которая в качестве Повелителя Мух, то есть порождения мрака, указывает на манихейскую природу сигнала — и Вселенной. Множить подобные гипотезы недопустимо. По существу, обе концепции, а особенно концепция Лирнея, консервативны, потому что они сводятся к защите, к отчаянной защите эмпирической точки зрения. Лирней не хочет расставаться с традиционным подходом, характерным для точных наук, которые с самого своего зарождения занимались явлениями Природы, а не Культуры. Не желая отказаться от трактовки космоса как чисто физического объекта, лишенного всяких «значений», Лирней поступает подобно человеку, который намерен изучать письмо, написанное от руки, как сейсмограмму (поскольку и письмо, и сейсмограмма — определенного рода сложные кривые линии).

Гипотезу Синестера я определил как попытку ответить на вопрос: «Наследуют ли друг другу очередные космосы?» Он дал такой ответ, по которому наш сигнал, оставаясь искусственным образованием, перестал быть письмом. Под конец я перечислил ужасающее количество до-

пущений, взятых авторами с потолка: отрицательное выворачивание материи, ее превращение в информацию в момент предельного сжатия, выжигание «атомотворящих» символов на нейтринной волне. Эти допущения, по самой их природе, никогда нельзя будет проверить, ибо все это должно происходить там, где уже не будет не только никаких разумных существ, но даже и самой физики. Это — не что иное, как дискуссия о загробной жизни, замаскированная физической терминологией. Либо же это философская фантастика (по аналогии с научной фантастикой). Математическое одеяние скрывает под собой мир; я вижу в этом знамение времени, и ничего более.

Уж после этого, разумеется, дискуссия вспыхнула, как пожар. Под конец Раппопорт неожиданно выдвинул еще одну гипотезу. Она была настолько оригинальна, что я ее изложу. Раппопорт защищал тезис, что различие между искусственным и естественным не является чем-то абсолютным, что оно относительно — и зависит от системы отсчета, выбранной для познания явлений. Например, вещества, выделяемые живыми организмами в результате метаболизма, мы считаем продуктами естественного происхождения. Если я съем слишком много сахара, мои почки будут выделять его избыток. От меня зависит, будет ли сахар в моче искусственным или естественным по происхождению. Если я, зная механизм явления и предвидя его последствия, съел столько сахара нарочно, чтобы его выделять, то присутствие сахара искусственно; если же я съел сахар, потому что мне так захотелось, и ничего более, то его присутствие будет естественным. Это можно доказать. Если кто-то будет исследовать мою мочу и я с ним соответствующим образом условлюсь, то количество обнаруженного сахара может приобрести значение информационного сигнала. Наличие сахара будет, например, означать «да», а отсутствие — «нет». Это — процесс символической сигнализации, как нельзя более искусствен-

ный,— но только между нами двумя. Тот, кому наш уговор неизвестен, ничего о нем не узнает, исследуя мочу. Так получается потому, что в природе, как и в культуре, на самом деле существуют лишь естественные явления, а искусственными они становятся только потому, что мы связываем их друг с другом определенным образом — с помощью уговора или действия. Полностью искусственными являются лишь чудеса, поскольку они невозможны.

После этого вступления Раппопорт нанес решающий удар. Допустим, сказал он, что биологическая эволюция может идти двумя путями: либо она создает отдельные организмы, а потом из них возникают разумные существа, либо же, на другом пути, она создает «неразумные», но необычайно высоко организованные биосферы,— скажем, леса живого мяса или другую какую-то форму жизни, которая в процессе очень долгого развития осваивает даже ядерную энергетику. Но осваивает не так, как мы осваиваем технику изготовления ядерных бомб и реакторов, а в том смысле, в каком наши тела освоили обмен веществ. Тогда продуктами метаболизма этих биосфер станут явления радиоактивного типа, а на следующем этапе — даже и нейтринные потоки, которые будут представлять собой просто выделения этих планетарных организмов; эти выделения мы и получаем — в виде звездного сигнала. В таком случае речь идет о совершенно естественном процессе, поскольку существа эти ничего никому не собирались пересылать или сообщать, и эти потоки — всего лишь неизбежный результат их обмена веществ, всего лишь их выделительная эмиссия. Но, может быть, другие организмы-планеты узнают о существовании себе подобных благодаря таким следам, оставленным в пространстве. Тогда это будет своего рода сигнализация между ними.

Раппопорт добавил, что его гипотеза согласуется с образом действий, принятых в науке: наука ведь не разделяет явления на искусственные и естественные, а значит,

он поступил согласно ее указаниям. Гипотеза эта не отсылает нас к другим космосам и поэтому может быть проверена — по крайней мере, принципиально, — если будет установлено существование или хотя бы теоретическая возможность существования нейтринных организмов.

По окончании этой встречи мы собрались небольшой компанией у Бэлойна и долго, заполночь спорили; если Лирней и Синестер нас и не убедили, то уж наверняка подлили масла в угасавший огонь. Обсуждали гипотезу Раппопорта. Он дополнил ее, уточнил, и в результате возникла поистине невероятная картина — гигантские биосферы, которые «телеграфируют» в космос, не ведая при этом, что творят; это был неизвестный нам, следующий уровень гомеостазиса — объединение биологических процессов, которые, добравшись до источников ядерной энергии, начинают мощностью своего метаболизма уравниваться с мощностью звезд. Биофильность их нейтринных выделений становилась таким же точно эффектом, как деятельность растений, которые наполнили атмосферу Земли кислородом и создали тем самым возможность появления других организмов, не обладающих фотосинтезом, — но ведь трава без всякого умысла дала нам эту возможность! Лягушачья Икра и вообще вся «информационная сторона» Письма оказывалась просто продуктом невероятно сложного метаболизма. Лягушачья Икра обращалась в некий отход, в шлак, структура которого зависела от планетарных метаболических процессов.

Когда мы возвращались с Дональдом в гостиницу, он вдруг сказал, что чувствует себя, по существу, обманутым: веревку, на которой мы бегали по кругу, удлинили, но мы по-прежнему остались на привязи. Мы наблюдали эффектный интеллектуальный фейерверк, но вот он догорел, а мы остались ни с чем. «Возможно, мы даже чего-то лишились, — продолжал он. — До сих пор все мы соглашались, что получили письмо, в конверт которого попало немного

песка (так он называл Лягушачью Икру). Пока мы верили, что это — письмо (хоть и непонятное, хоть и загадочное), сознание, что существуют Отправители, имело ценность само по себе. Но если оказывается, что это, быть может, не письмо, а бессмысленные каракули, у нас не остается ничего, кроме песка в конверте... и даже если это золотиносный песок, мы чувствуем себя обнищавшими,— более того, ограбленными».

Я размышлял об этом, когда остался один. Я пытался понять, откуда, собственно, берется у меня та уверенность, что позволяла мне расправляться с чужими гипотезами, серьезно обоснованными? Ибо я был уверен, что мы получили письмо. Мне очень важно передать читателю не эту веру — она не имеет значения,— а то, на что она опирается. Если мне это не удастся, то зря я писал эту книгу. Ведь именно в этом состояла ее цель.

Такой человек, как я, который многократно и подолгу, на различных фронтах науки, бился над разгадкой шифров Природы, знает об этих шифрах куда больше, чем это можно вычитать из его математически отутюженных публикаций. Опираясь на это не поддающееся передаче знание, я утверждаю, что Лягушачья Икра с ее запасами ядерной энергии, с ее эффектом «переноса взрыва» неизбежно должна была в наших руках обернуться оружием — поскольку мы так сильно, так страстно стремились к этому. И то, что нам это не удалось, не может быть случайностью. Ведь удавалось — в других ситуациях, естественных — уже слишком много раз! Я отлично могу себе представить существа, которые послали сигнал. Они сказали себе: сделаем так, чтобы его не могли расшифровать те, что еще не готовы; нет, будем еще осторожней: пусть даже ошибочная расшифровка не даст им ничего такого, что они ищут, но в чем им следует отказать.

Ни атомы, ни галактики, ни планеты, ни наши тела не были снабжены такой предохранительной системой, и

мы пожинаем все печальные плоды ее отсутствия. Наука — это та часть Культуры, которая соприкасается с окружающим миром. Мы выковыриваем из него кусочки и поглощаем их не в той последовательности, которая бы нам наиболее благоприятствовала, — ибо никто нам этого любезно не подготовил, — а в той, которая определяется лишь мерой противодействия материи. Атомы и звезды не располагают никакими аргументами; они не могут нам возражать, когда мы создаем модели по их образцу, они не преграждают нам доступа к знанию — даже если оно смертельно опасно. Но когда действуют не силы Природы, а силы Разума, ситуация радикально меняется. Те, кто послали Письмо, руководствовались соображениями, наверняка не безразличными по отношению к жизни.

С самого начала я больше всего опасался недоразумения. Я был уверен, что нам не послали орудия самоубийства; однако все говорило о том, что мы получили описание какого-то орудия, — а ведь известно, как мы умеем его использовать. Орудием у нас бывает даже человек для человека. Зная историю науки, я не представлял себе, что возможны идеальные меры защиты от злоупотреблений. Ведь техника сама по себе нейтральна — и тем не менее мы сумели любую технику нацелить на уничтожение. В период нашей наивной и отчаянной конспирации, наверняка глупой, но инстинктивно необходимой, я решил было, что на Них мы уже не можем рассчитывать: вряд ли Они предусмотрели, что мы сделаем с ложно понятой информацией. Можно обезопасить, — считал я, — то, что планируется обдуманно, но не то, что возникает как результат нашей ошибки. Даже Природа, которая четыре миллиарда лет учила биологическую эволюцию избегать ошибок и действовать со всевозможными предосторожностями, не сумела наглухо закрыть от нее все наклонные плоскости жизни, все ее тупики и закоулки. И если Отправители сумели это сделать, значит, они уже оставили да-

леко позади это недостижимое для нас совершенство биологических решений. Но я не знал — да и откуда мне было знать, — что их решения, более эффективные, чем решения биологической эволюции, так уж загерметизированы, так всесторонне застрахованы от вторжения непосвященных.

В ту ночь в огромном зале инвертора, над листками исписанной бумаги, я вдруг почувствовал обморочную слабость не только потому, что внезапно исчез ужас, который многие недели висел надо мной, но еще и потому, что в это мгновение я отчетливо ощутил Их величие. Я понял, в чем может состоять и чем может быть цивилизация. Когда мы слышим это слово, то думаем об идеальном равновесии, о моральных ценностях, о преодолении собственной слабости и ассоциируем его с тем, что в нас есть наилучшего. Но цивилизация — это прежде всего мудрость, которая навечно исключает именно такие, обычные для нас ситуации, когда лучшие умы многомиллиардного человечества трудятся над подготовкой всеобщей гибели, делая то, чего они не хотят, чему внутренне сопротивляются — потому что не имеют иного выхода. Этим иным выходом не может быть самоубийство. Разве мы с Протеро хоть сколько-нибудь изменили бы дальнейший ход событий, предотвратили бы вторжение металлической саранчи с неба, если б оба покончили с собой? Если Отправители предвидели такую ситуацию, то я могу объяснить это только тем, что они когда-то были похожи на нас, — а может, и остались похожими...

Я ведь говорил в начале книги, что только существо, по природе злое, может понять, какую свободу оно обретает, творя добро. Письмо существовало, оно было послано, оно упало на Землю, к нашим ногам, оно падало на нее нейтринным дождем, когда мезозойские ящеры еще бороздили брюхом болота в юрских лесах, и тогда, когда палеопитек, прозванный прометейским, обгрызая кость,

вдруг увидел в ней первую дубину. А Лягушачья Икра? Я угадываю в ней фрагменты того, на что указывал сам факт отправления Письма — но фрагменты, карикатурно искаженные нашим неумением и незнанием, а также и нашим знанием, уродливо скособоченным в сторону разрушения. Я убежден, что Письмо не было просто брошено в космический мрак, как камень в воду. Оно было задумано как призыв, эхо которого вернется обратно, — если он будет услышан и понят.

Этим своеобразным побочным продуктом правильного понимания должен был стать обратный сигнал, извещающий Отправителей о том, что связь установлена, и одновременно указывающий, где это произошло. Я могу только смутно догадываться о механизме, с помощью которого это должно было осуществиться. Энергетическая автономность Лягушачьей Икры, замкнутость на себя ее ядерных реакций, которые ничему не служат, кроме самоподдержания, — все это говорит о допущенной нами ошибке, указывает на промах. Тут мы вторглись глубже всего — и натолкнулись на загадочный эффект, который способен в совершенно иных условиях высвободить, сконцентрировать и швырнуть обратно в пространство импульс огромной мощности. Да, при правильной расшифровке сигнала эффект Экстран, открытый Дональдом Протеро, мог бы осуществиться в виде обратного сигнала, в виде ответа, посланного Отправителям. Об этом говорит его фундаментальный механизм — переброска воздействия с максимальной в природе скоростью, перенос сколь угодно большой энергии на сколь угодно большое расстояние. Только энергия эта, разумеется, должна служить не уничтожению, а пересылке информации. Та форма, в которой нам предстал Экстран, была результатом искажения, которому подверглась в процессе синтеза информация нейтринного потока. Ошибка возникла из ошибки, иначе быть не могло, это только логично. Но меня по-прежнему изумляет их все-

сторонняя предусмотрительность, которая нейтрализовала даже потенциально опасные последствия ошибок, пет, хуже, чем ошибок,— сознательных попыток превратить неисправный инструмент в разящий клинок.

Метагалактика — это необъятное скопище психозои-ков. Цивилизации, отличающиеся от нашей лишь несколько особым направлением собственного развития, но не объединенные, погрязшие во внутренних конфликтах, сжигающие свои запасы в братоубийственных схватках, тысячелетиями пытались и будут снова и снова пытаться расшифровать звездный сигнал — так же неуклюже и так же весьма неумело попытаются превратить добытые столь тяжким трудом причудливые обломки в оружие,— и так же, как нам, им это не удастся. Когда укрепи-лась во мне уверенность, что именно так оно и есть? Затрудняюсь сказать.

Только самым близким людям, Айвору и Дональду, я рассказал это,— да еще перед окончательным отъездом из поселка поделился этой своей «личной собственностью» с желчным доктором Раппопортом. Удивительно,— все они сначала поддакивали с нарастающей радостью понимания, а потом, поразмыслив, заявляли, что если поглядеть на мир, который нам дан, то уж слишком распрекрасное целое складывается из моих рассуждений. Возможно. Чтб мы знаем о цивилизациях, которые «лучше» нас? Ничего.

Я не могу привести никаких неопровержимых доводов в пользу моего убеждения. У меня их нет. Но можно ли, будучи в здравом уме, допустить, что нам шлют загадки, какие-то там тесты для проверки интеллекта, галактиче-ские шарады? Такая точка зрения кажется мне абсурдной: непонятность сигнала — это не просто внешняя оболочка. Послание не предназначено для всех, так я это понимаю и не могу иначе. Прежде всего — оно не для тех цивили-заций, которые находятся на низкой ступени чисто техно-

логической лестницы; ведь ясно же, что шумерийцы или древние франки даже не заметили бы сигнала. Но можно ли ограничивать круг адресатов, исходя только из критерия технических возможностей?

Оглянемся вокруг. Сидя здесь, в глухой комнате бывшего атомного полигона, я не мог отделаться от мысли, что огромную пустыню за стенами, и нависающий над ней небосвод, и всю Землю неустанно, час за часом, столетие за столетием, эпоха за эпохой пронизывает безбрежный поток невидимых частиц, несущий с собой весть, точно так же приходящую и на другие планеты солнечной системы, и на другие галактики, что поток этот выслан в незапамятные времена из невообразимой бездны и что все это действительно так.

Я не мог принять этого факта без внутреннего сопротивления, — он слишком противоречил всему привычному для меня. И в то же время я видел наш Проект, громадные коллективы ученых, незаметно контролируемые государством, подданным которого я являюсь; нам, опутанным сетью подслушивания, предстояло установить связь с разумом, обитающим в космосе. А в действительности мы были ставкой в глобальной игре, наш Проект вошел в ее фонд. В скоплении несчетных криптонимов, переполняющих бетонное нутро Пентагона, в каком-то сейфе, на какой-то полке, в какой-то папке с отиснутым знаком «совершенно секретно» появилось еще одно сокращенное обозначение — шифр операции «Голос Неба», уже в зародыше пораженной безумием. Ибо безумна была попытка засекретить и упрятать в сейфы то, что миллионы лет заполняет бездну Вселенной, попытка извлечь из звездного сигнала информацию, обладающую смертоносной ценностью.

Если уж это не безумие, то его вообще нет и не может быть. Так, значит, Отправитель имел в виду определенных существ, определенные цивилизации, но не все — даже не

все цивилизации технологического круга. Какие же цивилизации являются настоящими адресатами? Не знаю. Скажу только: если эта информация по мнению Отправителей не относится к нам, то мы ее и не поймем. Я питаю к Отправителям огромное доверие, ибо они его не обманули.

Но не могло ли все это быть только стечением обстоятельств? Разумеется, могло. Разве не случайно был обнаружен сам нейтринный сигнал? Разве он в свою очередь не мог возникнуть случайно? Может, он только по случайным причинам затрудняет распад органических макромолекул, только случайно повторяется — и, наконец, только по случайности из него извлекли Повелителя Мух? Все это возможно. Случай может так сформировать приливные волны, чтобы при отливе на гладком песке остался глубокий отпечаток босой человеческой ступни.

Скептицизм подобен непрерывному, многократному усилению разрешающей силы микроскопа: резкое поначалу изображение под конец расплывается, ибо предельно малые объекты нельзя увидеть, их существование можно только логически вывести.

Впрочем, после закрытия Проекта мир продолжает идти своим путем. Миновала мода на высказывания ученых, политиков и звезд сезона о космическом разуме. Лягушачью Икру удастся использовать, так что бюджетные миллионы не пропали даром. Над опубликованным сигналом может теперь ломать голову любой из легиона маньяков, которые раньше изобретали вечный двигатель и трисекцию угла; а кроме того — ведь каждый может верить в то, во что ему заблагорассудится. Тем более, если эта вера, подобно моей, не имеет никаких практических последствий. Ведь меня-то она не раздавила. Я остался таким же, как до вступления в Проект. Ничто не изменилось.

Заканчивая эту книгу, мне хочется сказать несколько слов о сотрудниках Проекта. Я уже упоминал, что Дональда, моего друга, нет больше в живых. Ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений — рак. Айвор Бэлоин не только профессор и ректор, — он вообще человек настолько занятой, что даже не понимает, как он счастлив. О докторе Раппопорте мне ничего не известно. Письмо, которое я послал ему несколько лет назад на адрес Института высших исследований, вернулось обратно. Дилл находится в Канаде — у нас у обоих нет времени на переписку.

Но что, собственно, значат эти сухие примечания! Что я знаю о затаенных страхах, мыслях и надеждах тех, кто был моими друзьями в то время? Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство. Животное приковано к своему «здесь» и «сейчас» всеми своими чувствами, а человек будто бы способен освободиться от этого, вспоминать, сочувствовать другим, представлять себе их состояние, их чувства — но, к счастью, все это лишь иллюзия. Такие попытки псевдovoплощения, псевдопереселения в других мы только воображаем — туманно, неясно. Что случилось бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать то же, что они, страдать вместе с ними? То, что человеческие горести, страхи, страдания исчезают вместе со смертью организма, что не остается ни следа от падений и взлетов, наслаждений и пыток, — это достойный похвалы дар эволюции, которая тем самым уподобляет нас животным. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если б таким образом росло наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку, — мир переполнился бы криком, в муках исторгнутым из груди.

Мы, как улитки, прилепились каждый к своему листку. Я отдаюсь под защиту своей математики и повторяю, ко-

гда и она не спасает, последнюю строфу стихотворения
Суинберна:

Устав от вечных упований,
Устав от радостных пиров,
Не зная страхов и желаний,
Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать,
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь.

Закопане, июль 1967 г.

Краков, декабрь 1967 г.

В поисках формулы человеческого...

На первый взгляд, только имя автора объединяет рассказы Ст. Лема о навигаторе Пирксе и новый его роман «Голос Неба». «Навигатор Пиркс» — серия остросюжетных приключенческо-фантастических новелл. «Голос Неба» — произведение, где собственно сюжет (в традиционном понимании этого термина) чрезвычайно элементарен и занимает в повествовании подчиненное место. В центре — детальный анализ формирования социально-философской идеи, ее развитие, ее парадоксы. Человек действия — космонавт Пиркс и человек мысли — математик Хоггарт во многом антиподы. И все же этих героев объединяет главное: поиски сохранения и развития формулы «человеческого» в современном изменяющемся мире.

В основе рассказов о Пирксе и романа «Голос Неба» — события, связанные с проникновением человека в космос. Выход в космос поставил человечество перед множеством разнообразных проблем. Отнюдь не случайно космическая тема составляет основу почти всего творчества Ст. Лема. Лем ясно и точно сказал об этом еще в романе «Солярис»: выход в космос ставит человечество перед «зеркалом», в котором оно может увидеть себя, выход в космос позволяет найти шкалу для измерения степени зрелости своей цивилизации.

В девяти рассказах о Пирксе перед нами проходит почти вся его жизнь. В первом из них — «Испытания» (1958 г.) мы с улыбкой и сочувствием следим за трагикомическими злоключениями молодого курсанта в искусно имитируемом учебном полете. В последнем рассказе — «Дознания» (1967 г.) перед нами опытный командир корабля, глубоко осознавший свою ответственность перед людьми, не теряющий самообладания и способности логически мыслить в самых невероятных обстоятельствах.

Серия рассказов о Пирксе — образец увлекательного исследования в художественной форме поведения человека в космосе.

Главное достоинство героя, помогающее ему успешно выходить из самых тяжелых, самых невероятных испытаний, состоит не только в уравновешенности его психики, его психической устойчивости. При любом стечении обстоятельств, будь то удачи или неудачи, Пиркс выступает как представитель всего человеческого общества, как олицетворение человеческой социальной сущности.

Проблемы, возникающие перед Пирксом в его разнообразных приключениях,— это, по существу, извечные проблемы гуманизма: жизни и смерти («Испытание», «Патруль»), товарищества и долга («Условный рефлекс», «Альбатрос», «Терминус»), сохранения и утверждения человеческого начала на самой высокой ступени развития техники («Охота», «Несчастный случай», «Дознание»). На новом уровне развития человечества — космическом — эти «вечные» проблемы приобретают новое качество, новую глубину и остроту и требуют новых решений.

В космосе, утверждает Лем, нет места индивидуализму и самолюбованию (Бёрст в «Испытании»), нет места пренебрежению к ближнему — хотя бы в данном конкретном случае это был всего лишь «разумный» робот Анел (Круль в «Несчастном случае»), нет места суевериям, какому-либо недоверию к строгому, логическому, научному анализу ситуации («Патруль», «Условный рефлекс») и т. п. В рассказе «Дознание» мы видим, как погоня одной из крупных фирм, производящих кибернетическую технику, за прибылью создает опаснейшую угрозу не только для товарищей Пиркса по полету, но, по-существу, и для всего человечества. Как бы Пиркс ни был одинок в той или иной конкретной ситуации, как бы ни сужалась в данное мгновение направленность его действий — всегда и во всем за ним стоят нравственные завоевания человечества, совокупный человеческий разум, все лучшее, что накоплено человеком... Поэтому и происходит здесь становление нового в человеке, вырабатывается та новая «формула человеческого», поиски которой составляют содержание фантастики Лема.

Однако это новое человечество, его культура, психология и мораль не появятся автоматически в результате только взаимно-

действия человека с природой, выхода в космос, открытия атомной энергии или развития кибернетики. За определенным порогом сама возможность найти и эффективно использовать что-то существенно новое в овладении природными силами оказывается ограниченной теми социальными целями, которыми руководствуются люди. Возможность выхода человечества на новый уровень своей истории необходимо предопределяется *коренным революционным изменением социальных отношений*.

Всем своим творчеством Ст. Лем утверждает, что способность человечества к познанию нового сама по себе безгранична. Однако в каждую историческую эпоху, в том числе в наше время, старые, отживающие общественные отношения воздвигают предел познанию — предел, который необходимо и неизбежно должен быть преодолен. Анализ такого предела полному и всестороннему вступлению человечества в космическую эру, поставленного буржуазностью общественных отношений и общественного сознания, образует главную идею романа «Голос Неба».

...Математик Хоггарт (роман написан в форме его воспоминаний) неторопливо, с многочисленными философскими отступлениями, рассказывает нам внешне весьма простую, но полную глубокого внутреннего драматизма историю неудачи Проекта «Голос Неба», созданного правительством США и Пентагоном для расшифровки сигнала из космоса, полученного от некоей цивилизации. Для реализации Проекта собраны выдающиеся ученые — представители различных отраслей знания. Проект оснащен самой совершенной исследовательской техникой, созданы, казалось бы, все мыслимые (и даже немислимые) условия для его успешного завершения, но... все попытки расшифровать Послание заканчиваются неудачей. Неудача тем более обидна и тем более сокрушительна, что какие-то отрывки, какие-то частицы Послания, казалось, уже удалось понять, какие-то его элементы осмыслить... Но даже и эти частные успехи оказываются весьма сомнительными, ибо они лишь оттеняют отсутствие нужного обобщающего решения.

В романе Лема получили развитие две линии, два аспекта анализа неудачи Проекта. Одна линия составляет явное и непосредственное содержание записок Хоггарта: она лежит на поверхности и неискушенный читатель может даже не заметить за ней основного.

Вторая линия — это как раз те выводы, которые должен сделать сам читатель, призванный не только выслушивать исповедь Хоггарта, но и судить ее с позиций современного мировоззрения. Эта линия отнюдь не столь очевидна и далеко не столь проста, однако именно в расчете на нее и написан роман, для ее реализации в романе расставлены автором все акценты, созданы необходимые предпосылки.

Хоггарт понимает, что человечество, может быть, пока еще не в состоянии расшифровать Послание со звезд потому, что многого попросту не знает. Естественные науки еще не поднялись пока на те вершины знания, которых достигли неведомые Отправители. Мучительно ощущая неполноту, односторонность своих представлений о мире, Хоггарт понимает, что причина этого явления в шаткости, неполноте философской и социологической базы его знаний. Без подлинного единства философского и научного мышления все усилия найти ключ к звездным сигналам заведомо обречены на неудачу. Именно с этих позиций Хоггарт подвергает уничтожающей критике бесплодие и бессилие позитивизма, претендующего в системе буржуазного мировоззрения на роль пастиры естественных и социальных наук.

Хоггарт — плоть от плоти окружающего его мира. Но, будучи ученым, мыслителем, творцом, он логически приходит к его отрицанию. Отрицание Хоггартом буржуазного мира скорее интуитивно и эмоционально, чем последовательно логично. Окружающее для него неприемлемо прежде всего потому, что оно кажется ему «неразумным». Но как бы там ни было, для Хоггарта очевидна удушливость окружающей обстановки, бессмысленность и неадекватность общественных форм своего мира, ограниченность и негуманность буржуазной культуры.

Хоггарт вполне обоснованно предполагает, что непосредственное, образное восприятие конкретных особенностей чужой культуры, ее конкретных форм, сложившихся на иной естественной и эмоциональной основе, по-видимому, невозможно. Тем не менее в системе научного знания можно воспринять рациональное содержание, предметный мир, сами идеи чужой жизни — в этом Хоггарт, отнюдь не страдающий агностицизмом, твердо убежден. Поэтому он и приходит к выводу, что одна из главных трудностей, мешающих расшифровке звездного Послания, состоит не столько в отсутствии позитивного *знания*, сколько в недостатке некоей обобщенной социальной *«мудрости»*.

Главной причиной, почему человечество еще не созрело для космических контактов (а шире — для космического этапа своей истории) является его разъединенность. Наиболее страстны те страницы повести, где Хоггарт говорит об этом социальном «неразумии» человечества — о политическом антагонизме, гонке вооружений, поглощающей колоссальные средства, о секретности, подозрениях, тотальной слежке, которой окружает участников Проекта Пентагон. Высшая мудрость Отправителей (которые, как полагает Хоггарт, тоже прошли путь развития, подобный нашему) состоит в том, что они уже преодолели эту — прежде всего социальную — неподготовленность. Символом их высшей мудрости является та надежность, с которой Отправители оградил от «неподготовленных» знания, содержащиеся в посланном ими сигнале.

Нетрудно увидеть в рассказе о фантастическом, вымышленном проекте «Голос Неба» многочисленные параллели с известным и вполне реальным Манхэттенским проектом, разработанным в свое время для создания атомной бомбы. Параллели эти не случайны. И проект «Голос Неба», и Манхэттенский проект посвящены, по существу, сходным целям — овладению такого рода знаниями, которые по своей природе должны принадлежать *всему* человечеству. Иначе не только цели исследования, использование его результатов, но и сама исследовательская процедура не могут не искажаться, не деформироваться. Не может быть эффективной творческая деятельность, если люди не принимают навязанных им

антигуманных целей, если они боятся результатов собственного творчества и презируют себя за участие в этом процессе. Буржуазность враждебна не только поэзии (как писал когда-то Маркс), она враждебна и гуманистическим целям науки. Именно в этом в конечном счете состоит, по мнению Хоггарта, одна из главных причин заранее предопределенного краха Проекта.

Осуждая буржуазный социальный мир, его культуру, горестно сетуя на «неподготовленность» земной цивилизации к космическим контактам и космическому этапу своей истории, Хоггарт, безусловно, рассуждает как гуманист. Однако его концепция «неразумности» буржуазного социального мира скорее эмоциональна, чем научна. Гуманизм Хоггарта абстрактен, умозрителен, ибо он пытается, по существу, рассматривать наше земное бытие, современный нам мир с позиций «надчеловеческих», внеисторических и неконкретных. Гуманизм Хоггарта лишен прочного научного основания, позволяющего не только разрушать, но и уверенно созидать. Именно потому его гуманизм не может вылиться в активное социальное действие, не дает представления о путях реальной, практической созидательной борьбы с отжившим. Именно эта абстрактность гуманизма Хоггарта и его друга физика Протеро делает их беспомощными и безоружными перед силами зла. В этом — источник той трагической тональности, которой окрашены размышления Хоггарта.

Хоггарт многое понял, но не понимает еще главного: капитализм, его социальные свойства, его цели, его практика, его идеология — источник разъединения человечества. Именно они органически не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют к человечеству новая, могущественная технология и новые масштабы человеческой деятельности. Только они тормозят движение вперед всего человечества. «Мертвый хватает живого» — такова сейчас историческая роль пережившего свой век капитализма. Его уничтожение — главное условие общего социального прогресса современности. Правда, вывод этот профессор Хоггарт пока сделать не смог, но Ст. Лем дает в романе все для того, чтобы читатель оказался способным преодолеть ограниченность представле-

ний литературного героя. По-человечески сочувствуя своему герою, во многом соглашаясь с ним, Ст. Лем вместе с тем осуждает абстрактность, беспомощность, бездеятельность его гуманизма.

Постижение во всей полноте глубокой философской концепции романа Ст. Лема требует от читателя романа «Голос Неба» известного напряжения ума. Однако идейная острота романа, его яркая антибуржуазная направленность, увлекательная логика формирования сложного и глубокого социально-философского обобщения вполне оправдывают это напряжение.

З. И. Файнбург

СОДЕРЖАНИЕ

Испытание. Перевод Г. Гуляницкой	5
Условный рефлекс. Перевод А. Борисова	42
Патруль. Перевод Р. Нудельмана	124
Альбатрос. Перевод Т. Агапкиной	152
Терминус. Перевод Е. Вайсброта	170
Охота на Сэавра. Перевод Ф. Широкова	221
Рассказ Пиркса. Перевод А. Громовой	262
Несчастный случай. Перевод Е. Вайсброта	284
Дознание. Перевод А. Громовой и Р. Нудельмана	318
Голос неба. Роман. Перевод А. Громовой и Р. Нудельмана	413
Э. Файнбург. В поисках формулы человеческого...	585

Станислав Лем

НАВИГАТОР ПИРКС. ГОЛОС НЕБА

Редактор Е. Ванслова.

Художник В. Янкилевский. Художественный редактор Ю. Максимов

Технический редактор А. Ревоухова. Корректор Г. Болгарева

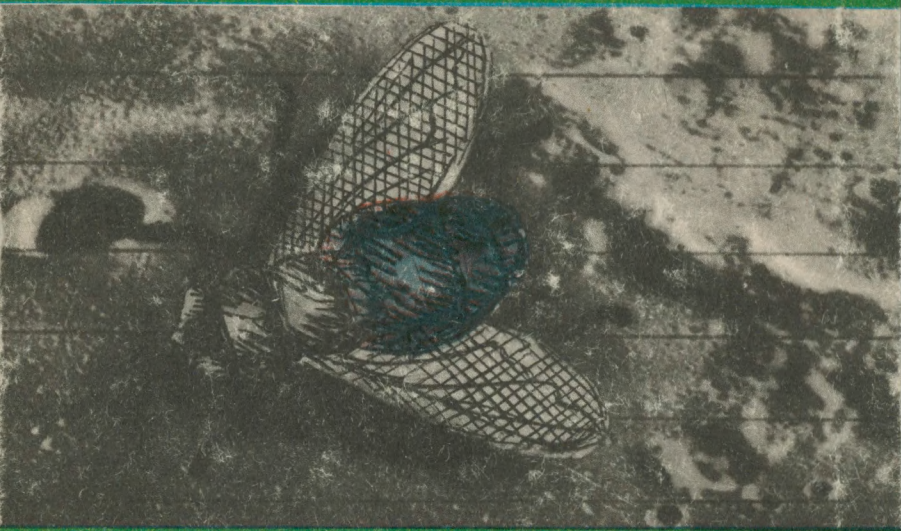
Сдано в производство 10/VI 1970 г. Подписано к печати 9/X 1970 г.
Бумага № 2 70×108¹/₃₂ = 9,25 бум. л. Усл. печ. л. 25,90. Уч.-изд. л. 26,36.
Изд. № 12/5777. Цена 1 р. 42 к. Заказ № 1158

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров СССР

Москва, М-54, Валовая, 28



1 р. 42 к.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ